



ИНОСТРАННАЯ

литература

1964

9

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

- ДИТЕР НОЛЛЬ — Приключения Вернера Хольта (Продолжение) 12
ГРЭХЕМ ГРИН — Ценой потери 110

РАССКАЗЫ

- ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ — Двое и серна. Когда родился день (Из партизанских рассказов) 100

СТИХИ

- ПАВЕЛ МАТЕВ — Возвращение к началу (Из поэмы) 3
СУАН ЗИЕУ — То, во что верю... (Вступление М. Матусовского) 96
ДЖОН ОКАЙ — Гимн человечеству 155

КРИТИКА

- Б. РЮРИКОВ — Какое знамя они хотят водрузить? (Полемические заметки) 158
ПЕНЧО ДАНЧЕВ — Лирическая летопись двадцатилетия (О современной болгарской поэзии) 171
ГУМАНИЗМ СБЛИЖАЕТ НАРОДЫ (На семинаре по изучению и переводу литератур стран Азии и Африки) 179

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

- Обзорные зарубежной прессы 215



СЕНТЯБРЬ

1964

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ПУБЛИЦИСТИКА

- ЖАК ДЮКЛО — Первый Интернационал . . . 226
ТОМАС ДЖ. БЬЮКЕНЕН — Кто убил Кеннеди?
(Фрагменты из книги) 231

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

- А. КОКОРИН — В Голландии 248

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

- ФЕДОР КЕЛЬИН — Мигель де Унамуно (К 100-
летию со дня рождения) 254

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Арсений Тарковский — На самой
вершине пламени. ♦ Валерий Маки-
ев — Учитесь у Димитрова! ♦ Н. Орли-
нская — Новые хозяева земли. ♦ С. Бо-
чаров — Интересное исследование. ♦ И. Ру-
мянцева — Когда вырастают крылья. ♦
Н. Пономарева — Современный болгар-
ский рассказ. ♦ Е. Евнина — Книги Робе-
ра Мерля. ♦ А. Грузинова — Новая вес-
на. ♦ Н. Полянский — Книга продолжает
жить : : 257

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Александр Исбах — На линии огня.
♦ Б. Диденко — Для тех, кто молод ду-
шой и сердцем. ♦ И. Шептунов — Новые
границы. ♦ В. Злыднев — Рождение наци-
ональной эпопеи. ♦ Д. Марков — В борьбе
за социалистическую литературу. ♦ Ула
Пальмер — «Кларте» и шведские писа-
тели : : 266

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 274

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

- Хроника 276

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ, 288

На обложке фрагмент мозаичного
панно «Плосбородие» болгарских
художников САМИ БИДЖЕРАНО
и АТАНАСА КОЖУХАРОВА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К НАЧАЛУ

ИЗ ПОЭМЫ

Перевод с болгарского
В. ВИНОГРАДОВА

Вступление

Ах, как трудно идти человеку к началу!
Очень трудно ему возвращаться обратно!
Путь, что пройден уже, самый длительный путь:
через нивы, левады,
через рытвины, взгорки,
через детство и юность,
сквозь любовь и аресты...
Нужно долго качаться

вот так против ветра
(прожитые годы в лицо тебе хлещут).
Нужно долго бороться

с течением на реках,
где сшибаются
льдины воспоминаний...

Но иду я.
Прощайте,
живые товарищи!
До свидания, Солнце
в горячем зените!
Нахлобучу каскетку
и старые гольфы —
дорогие реликвии

из музея Восстания,
в них пульсирует,
бьется

Сопротивление.

Я сегодня шагну
за порог своей комнаты,
я оставлю асфальт
приглаженных дней.
Направляюсь я к первым.

Направляюсь я к мертвым.
Начинаю поэму
о памятных, первых.
Начинаю поэму,
освященную мертвыми.
Начинаю поэму,
живым посвященную.

Милая моя девушка

Она была девушка.
Семнадцатилетняя.
Молодой тополек,
возросший во Фракии.
Она мылась под вечер
в Маришкиных омурах
и увидела в водах
две ясных звезды —
они ясным огнем засветились в очах ее...
Босиком она в поле ржаное врывалась —
рожь пылала огнем
от цвета кудрей ее.
Она мчалась над рожью:
она была бабочка
с алым, желтым, зеленым
узором на крыльях.
Она солнце встречала язычницей юной,
целовала ветра,
как влюбленная птица...
Скрывала подпольщиков.
Втайне от солнца.
Втайне от матери и от отца.
Втайне и от закона...
Для нее
истина была голой, как сердце,
которое требовалось защитить.
Когда ее арестовали,
солнце закатилось,
потому что она его попросила.
Ночь погасила все звезды
и оставила гореть
только ее глаза.
Рожь согнулась, поникла,
словно прошел град.
В последний раз поцеловал ее ветер
и заплакал.
Бабочка не могла больше лететь —
ее крылья сгорели...
Она копала себе могилу.
Переворачивала заступом землю,
из которой выходят
тополя и цветы,
рожь и реки.

Пыль была черной,
но очи светились.
Лишь одна птица всплеснула крылами
и полетела.

(Птица — ее вера —
была жива
и летела.)
Она рыла землю и молчала.
Она рыла землю и разговаривала
с белой болгаркою Марой,
с Райной-княгиней и Лиляной,*
с любовью и комсомольским уставом...

Милая моя девушка.
Семнадцатилетняя.
Молодой тополек,
возросший во Фракни...

Гимназист-мой друг

У него был порок сердца.

Он был худосочным и бледным гимназистом,
со светлыми и дальнотзорными глазами.
Из-под козырька фуражки
он смотрел на мир с его улицами,
домами, отблесками и собраниями,
с его закатами и небосклонами,
с его судьбами, самолетами и танками,
с его босоногим детством,
с его совершеннолетием,
построенным в роты,
марширующим в сапогах...

Он вбирал весь мир в свою грудь,
и ему было тяжело,
потому что у него был порок сердца.

А ему хотелось взлететь, как другие
молодые орлы.

И он взлетел.
За синими горизонтами
его дальнотзорные светлые глаза
видели степные просторы,
северные сияния,
осветившие подвиг Чкалова,
ледяные поля,
где жили челюскинцы...

* Мара — героиня болгарского эпоса, символ непокоренности народа турецкому владычеству; Райна-княгиня — прозвище учительницы Райны Попгеоргиевой, болгарки-патриотки, принимавшей участие в восстании 1876 года против турецких захватчиков; Лиляна Димитрова (1918—1944) народная героиня, погибшая в борьбе с фашистами.

Магнитами сотен волнений
его влекла страна,
в которой исчезли пороки общества...
А у него был порок сердца...

Однажды
он очутился в клетке камеры.
От мрака он казался еще бледнее,
но не испугался.
Его дальнзоркие глаза видели кусок неба,
этого было довольно —
ничего, что его перечеркивала решетка.
У него были крылья,
пронизанные оптимизмом,
и он никогда не склонял головы.
Может, поэтому его и осудили
на смерть через повешение...
На рассвете
он ступил на траву
и удивил палачей,
твердо шагнув на эшафот.

Тогда
из темных башен тюрьмы выползла Смерть,
а из ялого рассвета
вторглась Жизнь.
Они хотели поговорить с ним.
Первой вступила Смерть.

— Слушай,— сказала она ему,—
сейчас ты, сломленный, умрешь.
Твоя дожата нива.
В моих объятьях ты уснешь
спокойно и счастливо.
Закрой глаза, не жди зари
всем сердцем дерзновенным.
Все ближе этот миг.
Умри
смирненным и согбенным.

Но говорит ей Жизнь:
— Постой!
Он, может, и погибнет,
но будет он всегда строкой
в моем бунтарском гимне!
Он ощущает тлен и прах,
не веря им нисколько:
ведь знает он, что и в концах
всегда живет начало,
начало жизни
и борьбы,
победы — в смехе, в блеске!
И с высоты своей судьбы
смеется он, как Левский *.

* Васил Левский (1837—1873) — революционный демократ, деятель болгарского освободительного движения.

Виселица стояла, как огромная буква Г,
на фоне высокой стены.
Рассвет отпечатал ее контур.
Солнце показало свой красный циферблат,
и гимназист закачался под ним,
между землей и небом, как маятник,
определяющий ход времени,
перипетии битв,
неотменимость зенита.

Трепетали крылья оптимизма.

Полет продолжался...

Отец и сын

В партизанском отряде встретились двое:
отец и сын.
Старый был металлист,
со стальными руками, и стальными глазами,
и со стальным сердцем, которое плавилось
от любви к ребенку.
Молодой был учитель.
Он оставил классную комнату,
где висели портреты Ботева и Левского,
и ушел, чтобы встретиться с героями
в Балканах.

Мягкие очи детишек
долго светили ему в темноте...

В партизанском отряде встретились двое.

Ночью, когда не случалось боев,
они разговаривали.
Старый кашлял и предавался воспоминаньям:
о восстании в двадцать третьем,
о матери,
с которой он встретился
на одном перекрестке в городишке
и сказал ей:
«Ты будешь моей женой!» —
и дне,

в который родился сын,
а отец в тюрьме узнал эту новость,
и что если порой
теперь сын его вспыльчив —
это лишь потому, что тогда молоко
материнское, верно, горчило...

Молодой его слушал и думал:
нет, не надо бы старому уходить в горы —
стар уже, постоянно кашляет..
Что одна там делает мама?..
Посещают ли дети школу,
вьют ли венки в день Кирилла и Мефодия,
кто им будет вручать аттестаты?..

Старый умолкал.
Но в мыслях он спорил:
можно мне, можно остаться с орлами.
Разве другие не оставались?
Где-то близко Хаджи Димитр *...
Был бы лишь сын жив и здоров,
а то горевать будет старая...

За три месяца до Сентября
отряд попал в окруженье.
Сначала рухнул отец.
Сломалось стальное сердце.
Кровь обожгла скалу,
и она раскололась.

Старый смотрел в небо.
Серый сокол вился над ним,
тень скользнула по лицу старика.
Единственное, что подумал отец:
сокол ищет

Хаджи Димитра...

Молодой выпрямился,
прокричал что-то,
выстрелил
и... упал...

Вдалеке раздавалось «Ура!».
В наступление шли лавины.
Русая голова склонилась над ним,
он увидел звездочку на ушанке
и успел прохрипеть:
«Товарищ...»

Леса шумели.
Звезды горели на небесном своде.
Веяли ветры.
Шагали партизаны.
Балканские горы кипели.

Реквием

Мы,
живые,
знаем победу,
потому что встречали ее.
Она шла по пыльным дорогам,
босая и трепетная:
мать,

* Национальный герой, борец против турецкого ига. Описан в стихотворении Христо Ботева «Хаджи Димитр».

которая всегда будет скорбеть;
вдова,
прижимающая осиротевшего ребенка,
чтобы он мог вырасти
и принять отцовское знамя;
любимая,
которая завтра расцветет
в улыбке отечества...

...Я слышу голоса мертвых,
но бессмертных.

Они поздравляют родину
с ее двадцатилетием.

Слушайте!

Слушайте голоса тех,
кто сосал мятежное молоко

болгарок!

Слушайте молодую девушку —
она защитила голое сердце истины!

Слушайте гимназиста —

он говорит о нашем времени,
когда исчезнут пороки людей,
даже пороки сердца!

Слушайте металлиста —

друга Хаджи Димитра!

Слушайте учителя —

он вручает аттестаты и нашим детям!

Слушайте!

Слушайте побратимов

на жизнь и на смерть!

Они сходят с пьедесталов,

идут к живым

и говорят им пароль будущего —

пароль-имя

той,

которая для нас все:

земля и небо,

разум и сердце,

совесть и честь —

имя партии...

Братская могила!

Это последний памятник борьбе
и первый памятник строительства.

Братская могила — старт.

Спите спокойно, товарищи!

Слава вам,

сгоревшим, как последние ступени
ракет нашего времени,
выведшим Болгарию
на сияющую орбиту.

Слава!

Апофеоз

...И, присягнувшие жертвам,
мы идем двадцать лет.
Двадцать лет верности,
труда и преданности.

Апрель —
 это пленум весны,
когда исчезли
черные тени зимних туч
и весенний ветер ворвался в грудь,
унося клевету и недоверие.

Апрель —
 импульс нового наступления.
Моторы сердец
 задыхаются от напряжения.
В проводах нервов
 едва не прерывается ток.
Лампы разума горят
 над проектами пятилетних планов.
За двадцать лет
Болгария прошла столько километров,
сколько раньше проходила за век.

Болгария!
Тяжко мне помнить тебя такой,
какой ты была тогда.
Горжусь я, глядя на тебя такую,
какою ты стала...

Поэты —
 бессонные свидетели твоего расцвета —
пишут свои песни
 в сиянье электросварки.
Горы раскрылись
и отдали геологам
 свои сокровища.
Черное море подняло свои воды
и понесло твои корабли
и твои знамена
по широтам всех континентов.
Уполномоченные Мира,
твои делегаты
 входят на мировые трибуны.
Музеи ожили
и стали работать на будущее.
Университеты утоляют жажду.
Детишки играют в космонавтов
и покупают билеты
 на московские космодромы.
Родившиеся летят с мечтою родителей,
Политбюро обсуждает планы,
по которым наступит
XXI век.

Болгария!
Отечество!
Благословляю
твое золотое жито,
твою верность
революции и Советам,
твои дороги
и дуги мостов,
высокое напряжение
электропередач и душ,
полноводие рек и мечты,
температуру доменных печей
и солнца,

шепот ветра,
ласку дождя,
мерцанье звезд,
прошедшее,
настоящее,
будущее.

Преклоняю колени. .
Благословляю.
Пою.

1964



ДИТЕР НОЛЛЬ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Вернера Хольта



РОМАН.

Перевод с немецкого
И. ГОРКИНОЙ, Е. ЗАКС и И. МЛЕЧИНОЙ

Часть вторая



1

Хольт, без сил, охваченный чувством безысходности, сидел в пустом зале деревенского трактира. Под самым потолком красовался рождественский венок из еловых веток; за стойкой, в кожаном фартуке, держа руку на пивном кране, стоял хозяин, толстый, краснолицый, с бородой старого морского волка. Он подвинул наполненную кружку к краю стойки и, бросив на Хольта подозрительный взгляд, скрылся за дверью. Хозяйка подала пиво. Озабоченно, пожалуй даже сочувственно, смотрела она на Хольта.

— До границы далеко? — спросил он.

— Боже вас сохрани, не вздумайте только переходить здесь, в лесу стоят русские, тут повсюду их посты.

Хольт спросил еще:

— Поесть у вас что-нибудь найдется?

— Ступайте скорей, — торопила его хозяйка, — у нас каждый вечер проверка!

Хольт уплатил за пиво. Хозяйка опустила деньги в карман.

— Поесть, говорите? Самим есть нечего.

Она отошла и скрылась за той же дверью, что и хозяин.

Хольт отвернул штору. Белая от снега деревенская улица была безлюдна. Он вышел черным ходом во двор. От сарая до конюшни тянулась невысокая ограда. За ней он увидел открытое поле, увидел, что лес близко, и, довольный, вернулся в дом.

Трактир тем временем наполнился людьми. На Хольта никто не обращал внимания. Он перебросил через плечо свернутую плащ-палатку,

Продолжение. Начало в № 8.

закурил сигарету, глотнул пива. Его знобило, он был бледен, измучен бессонной ночью. Весь день он ничего не ел и ослабел от голода. Зря не послушался он Фетера. Было ошибкой так рано сойти с поезда. Он решил вернуться на станцию, хотя мысль пройти сейчас семь километров его пугала.

Крестьянин, сидевший за соседним столиком, посмотрел в окно, перевел взгляд на Хольта и предостерегающе наклонил голову. Хольт ринулся к черному ходу. В сенях он услышал, как открылась дверь с улицы, услышал стук кованых сапог...

Он перемахнул через ограду и побежал напрямик полем. На опушке леса остановился, оглянулся и бросился в чащу — будь что будет. На какой-то лужайке он по звездам сориентировался. Ночь была студеная, небо ясное.

Хольт повернул на запад. Там, за лесом, горизонт чуть светлел, хотя солнце давно зашло. Он шел не останавливаясь. Пересекая шоссе, не обратил внимания на следы грузовиков в снегу и упорно шагал на запад — туда, где горизонт был так удивительно светел. Лес стал гуще. Продравшись сквозь частый кустарник, Хольт неожиданно очутился на открытой площадке, залитой светом сильных электрических фонарей; перед ним был высокий забор из колючей проволоки.

Страх обуял его. Этот отблеск вечерней зари на горизонте оказался не чем иным, как огнями воинского лагеря, о котором его предупреждали. Хольт оцепенел. С деревянной вышки раздался оклик на непонятном языке.

Хольт отскочил в кусты. За его спиной тишину разорвала короткая автоматная очередь. Он побежал. Сосновые ветки хлестали по лицу, он споткнулся о корни, упал, вскочил и понесся дальше. А когда пересекал опять то же шоссе, его осветили лучи автомобильных фар. Крики, выстрел... Хольт бежал через лес, отчаянный страх гнал его, он налетел на дерево так, что чуть не лишился чувств, но добежал до уже знакомой лужайки и повернул на север. Лес ожил. Хольт бежал, тяжело дыша, вокруг слышались голоса — то близко, то отдаляясь. Он свернул влево, снова на запад, а голоса все приближались, и он бросился на землю между двумя соснами.

Голоса раздавались почти рядом. Он зарылся лицом в снег. Его примут за шпиона, если схватят здесь. Голоса затихли. Хольт вскочил, он изнемогал, местность шла под гору, лес кончился, опять послышались голоса — нет сомнения, его обнаружили. Он скатился с обрыва, увидел камышовые заросли и помчался по берегу. Деревянные мостки вели в камыши, доски под ним громыхнули; перед Хольтом было озеро, узкое, замерзшее, занесенное снегом. Он ступил на лед, ледяной наст прогибался под ногами, звенящие стоны опережали его прыжки. Он услышал крик, на бегу оглянулся и увидел на мостках, у подножия белого обрыва, человеческие фигуры. Кто-то прыгнул на лед, и лед со звоном треснул.

Хольт бежал. Защелкали выстрелы, он бросился ничком на лед и пополз. Наступила тишина, преследователи отстали, им сейчас было не до него. Он уже видел камышовую кромку западного берега.

Снег здесь не покрывал льда, талого и рыхлого. Хольт полз на четвереньках, под руками тонкий лед проломился, он стал погружаться в воду лицом, грудью — всем телом. Смертельный страх охватил его, одежда сразу намокла, но страх был сильнее ледяного холода. С невероятными усилиями, пытаясь плыть, он продвигался вперед, обдирая руки о крошащиеся льдины — все было напрасно, он только больше погружался в воду, захлебывался, ноги вязли в глубоком иле, мысли путались, руки судорожно сжимались, хватались за камышины, силы его гасли, но он все же выбрался на мель и пополз к берегу. Там он потерял сознание.

Долго он лежал неподвижно, ничего, кроме спасительного покоя, не ощущая. Его манил сон, забытие. Озноб не давал ему уснуть, по телу, как дурман, разливалось блаженное тепло. Он не помнил, как заставил себя встать и двинуться дальше, неумный страх и полное изнеможение притупили все чувства, туманили сознание. Одежда смерзлась и похрустывала при каждом движении.

Полоска леса. Парк, огни, виллы, сады. Он наткнулся на забор, стал перелезать через него и свалился по другую сторону. Долго лежал на снегу. Но вот отчаянный озноб еще раз вывел его из оцепенения, он встал, потащился к дому и кулаками забарабанил в дверь.



Непостижимо — медицинская сестра, залитая светом, в белом халате, в белой шапочке на золотистых волосах... Видение, возникшее из воспоминаний, нереальное, сказочное. Девушка смеется, смеется: «Вам не нравится, что я предпочитаю Хольта, я всегда кого-нибудь предпочитаю. Что это вы говорите? Вам надо спать, попробуйте все-таки помолиться...» Сестра Регина!

Хольта трясло, зуб на зуб не попадал. Испугалась, увидев его? Узнала?

— Помогите, — сказал он.

Видение вздохнуло, отступило, растаяло в свете. Крутая лестница вела все выше, выше, на самый верх. Шепот: «Тише! Да, тише, озеро близко, тише поворачивайте ключ, тише отпирайте замок». Каморка, свет.

— Сестра Регина! — говорит Хольт.

— Меня зовут Мария, — отвечает она. — Через десять минут придет ночная сестра, и я освобожусь.

Она заперла его. Хольт прислушался к звуку ее шагов. Затем машинально разделся, снял с вешалки над умывальником полотенце, стал растираться; обессилев, опустился на стул и задремал, но от острого холода вздрогнул и проснулся. Возле железной печки лежали уголь и щепки. Он стал на колени, затопил, потом все так же машинально выжал мокрую одежду над умывальником и, дрожа от холода, залез в постель. Тело его одеревенело, мысли одеревенели, он провалился в сон, как сквозь тонкую корку льда, и проснулся в смертельном страхе.

По комнате ходила сестра Мария. Она развесила его вещи и на цыпочках подошла к постели. Заметив, что Хольт не спит, молча, в смущении посмотрела на него.

— Сестра Регина!

Она покачала головой:

— Меня зовут Мария.

Он кивнул:

— Хорошо. Пусть Мария. Вы меня не узнаете?

Она покачала головой.

— Вы же меня выхаживали в Словакии.

— Вы с кем-то меня путаете, — сказала она холодно, — это была не я.

— Это были не вы, — повторил он, пристально глядя ей в лицо, — нет, нет, мы все были не мы, мы все не те, что были, мы вообще еще не были мы, в этом все дело... — Он закрыл глаза. — Мы должны наконец стать самими собой.

Она пощупала его пульс.

— У вас жар!

— Нет у меня никакого жара! Я вижу сон, но я не сплю. И не знаю, где я.

— В Ратцебурге,— сказала она.

На печке зашумел чайник. Сестра Мария заварила чашку мятного чая и подала ее Хольту. Он приподнялся и выпил чай маленькими глотками. Ему стало жарко.

— А вы? — спросил он. — Как вы попали сюда? Вы ведь собирались вернуться домой, в Шверин, и там поискать работу!

— Я не из Шверина,— терпеливо сказала она и взяла у него из рук пустую чашку. — Я из Гамбурга. Нас там разбомбили. Мои родители погибли во время налета.

У Хольта опять начался озноб. Он натянул одеяло до подбородка и продолжал расспрашивать:

— Вы остались одна?

После долгого молчания она ответила:

— Я помолвлена. Еще жду. Последняя весточка от него была из России.

Она взяла несколько одеял, устроила себе на диване у окна постель и, погасив свет, в темноте, возле печки, разделась.

— Сестра Регина, почему вы не хотите меня узнать? — Она не отвечала. — Вы сразу меня узнали, иначе не испугались бы так! — Она не отвечала. — Вы испугались! — настаивал он.

— Я думала... — сказала она и умолкла. — Завтра вы должны уйти. Если вас здесь увидят, у меня будут неприятности.

Когда, направляясь к дивану, она проходила мимо него, он удержал ее за руку. Потом она лежала, прижавшись к его груди, и плакала, плакала...

— Перестань! — сказал он. — Ты могла лежать под развалинами разбомбленного дома, а меня могли весной выудить со дна озера. — Он гладил ее по голове. — Не плачь. Радуйся, что мы живы.

— И зачем только ты пришел? — говорила она, всхлипывая. — Я уже со всем примирилась и обрела свой покой.

Он крепче прижал ее к себе. Ее тепло вливалось в него, и он ожил.

— Нас прибило друг к другу — и тогда, и сегодня. Радуйся, что мы живы!

Под утро у него опять начался жар, швырнувший его из теплой постели в ледяную могилу озера. Лдины трещали, он тонул, в отчаянии метался и кричал. За приступами следовала слабость, короткое забытие, и опять волна жара уносила его в глубины прошлого.



Мансарда, лаборатория, колбы, мензурки, бутылъ... Одной кражей больше, одной меньше... Коридор, опьянение... Ты мне противен такой... Если ты вступишь меня к себе, я подчинюсь отцу!.. Удар кулаком... Каторжник, сволочь пьяная... Танцзал, мягкий сумрак и глаза Гундель, взгляд Гундель... Ступай к Шнайдерайту, ступай, на мне слишком много грязи, ступай... Лоб озабоченно нахмурен, добрые глаза... Вы ничего не знаете, говорите о гуманности, а выбрали Гитлера... Опушка осеннего леса, березовые кресты... Это ты, я думал, ты забыла меня... Я забыла тебя?.. И глаза Гундель, улыбка Гундель... Хаос, лагерь, голод, огонь, головной танк, подвал, лейтенантская фуражка, повесить, повесить на груше и точка... Лед, снег, мост через Одер... Лес в Карпатах, лесопилка, осипший голос, имя ему было Смерть, и ад гонится за ним... Стоял у дороги ребенок, над девочкой нависло тяжелое небо, затянутое тучами, почему она так грустна?.. Слепящий сноп света, подвал... Брось же ребенка, спасай меня... Горит асфальт, черные иглы пляшут в огне... Поле в воронках, опрокинутые пушки, орудийные расчеты, разорванные в клочья... Вихрь видений, страх и нечеловеческая слабость... А в проме-

жутках опять и опять — белая шапочка на золотистых волосах... Кто ты? Я не знаю тебя... И чье-то чужое лицо, роговые очки, халат врача... Температура еще не упала? Попробуем внутривенно элоидрон и люминал, если опять начнет метаться...

Сестра Мария укутывала Хольта влажными простынями. Он открыл глаза.

— Ты видишь меня, узнаешь меня? Я вижу тебя... но, послушай, что это?

— Это рождественские колокола в соборе, — сказала она. — Сегодня сочельник! Я помолюсь за тебя, а ты спи, тебе нужно спать.

Температура упала, видения померкли. Хольт спал, спал сном выздоровления.



Он очнулся в больничной палате. У стены напротив стояла пустовавшая койка. Через настежь распахнутое окно врывался холодный зимний воздух.

Сестра Мария не отходила от его постели. Она называла его Вернер, говорила ему ты. Но он видел ее впервые. У нее было молодое круглое лицо, добрые серые глаза, а брови такие же золотистые, как волосы, заплетенные в косы и короной уложенные вокруг головы.

Он смотрел на нее и думал.

До бегства через замерзшее озеро он помнил все до мельчайших подробностей. А что было дальше? Он мучительно напрягал память, стараясь восполнить провал, но тщетно.

— Подо мной проломился лед, — сказал он вдруг. — Потом... потом мне все снилось и снилось. — Она отвела глаза. — На фронте я знал одну сестру, ее звали Регина, — продолжал он, — с тех пор я ни разу о ней не вспомнил... Мне снилось, что я утонул, что я умер, и кругом тьма и адский холод... Вдруг все ярко осветилось, и я увидел сестру Регину, залитую светом. Потом стало тепло, наступила ночь, и она лежала со мной... А сейчас я проснулся здесь.

Сестра Мария упорно смотрела мимо него.

— Мне кажется, что это был вовсе не сон, — сказал Хольт.

Она молча вышла из комнаты.

После обеда в сопровождении Марии пришел врач, тридцатилетний мужчина в роговых очках, благожелательный, этакий подмигивающий балагур.

— Ну как наш сердцеед, как мы оба поживаем, а?

— Что со мной было? — спросил Хольт.

— Немножко подскочила температурка, — ответил врач, осматривая его, — мы изрядно пофантазировали, было, возможно, какое-то воспаление в легких... Сначала, правда, смахивало на менингит, но такими глупостями наша мозговая оболочка, к счастью, не занимается, рискуем назвать это небольшим аментивным синдромом, как сказал бы медик, ну, мы ведь намытарились изрядно, не так ли? А сейчас мы быстренько выкарабкаемся. — И обратился к сестре Марии: — Завтра, на всякий случай, надо сделать рентген, может, все-таки в легких что-нибудь и было... — Он положил руку ей на плечо. — Ну, ну! — сказал он бодро, и сестра Мария покраснела. — Вот он и вернулся, сердцеед наш, жених, которого мы считали уже по ту сторону добра и зла, вернулся в полночь, как некогда из пражской битвы Вильгельм к своей Леноре, и задумал было отправиться к праотцам, но таких глупостей мы не разрешаем делать, правда, сестра?

Врач благодушно рассмеялся и вышел из палаты. Сестра Мария поспешила за ним, не взглянув на Хольта.

Засунув руки в карманы, Хольт стоял в комнате сестры Марии, привалившись к дверному косяку. На столе зеленела новогодняя елочка. На листке отрывного календаря значилось: 3 января 1946 года. Хольта сверлила мысль: что же дальше? Все, что было до болезни и провала памяти, так и не восполненного, отодвинулось куда-то очень далеко. Месяцы, проведенные у отца, стерлись, будто только приснились. Хольт подошел к окну и посмотрел вниз. За его спиной открылась дверь.

Сестра Мария, войдя, кивнула ему. Ее дежурство кончилось. Она вскипятила чай, поставила на стол тарелку с мятными пряниками и зажгла свечи на елочке. Потом села на диван и, повернувшись к свету, принялась зашивать свой белый халат. У Хольта нечего было курить, и он, держа в зубах спичку, разглядывал круглое доброе лицо Марии. «Что дальше?» — упорно думал он.

— На рентгене ничего не обнаружено, — сказал он. — Я здоров. Что же теперь?

Она опустила на колени руки с шитьем.

— Время тяжелое, — медленно произнесла Мария. В его присутствии она чувствовала себя скованной и всегда говорила беспомощно, с трудом подыскивая слова, а иной раз, собираясь с мыслями, по несколько секунд рассматривала свои руки. — У многих теперь нет пристанища, — продолжала она своим хриловатым голосом. — Я говорила с шефом, тебе не надо уезжать. Когда окрепнешь, будешь работать истопником, а весной — в саду. На первое время тебе обеспечена комната и питание. Потом, может, выучишься на санитаря.

Хольт ничего не ответил. «Чего я хочу от жизни? — спросил он себя. — Почему бы мне не остаться здесь — топить котел, а потом выучиться на санитаря?»

Сестра Мария отложила шитье. Скованность ее вдруг прошла.

— Мне кажется, что господь бог хотел тебя предостеречь, когда чуть не утопил в озере, — сказала она. — Ты много грешил в своей жизни.

Хольт вынул изо рта спичку и раскрошил ее двумя пальцами.

— Откуда ты знаешь? — спросил он.

— В бреду ты все рассказал. Это перст божий, что ты пришел сюда.

Она говорила убежденно, и Хольт видел — она верит тому, что говорит. Перст божий, господь бог... И вдруг он почувствовал, что слова эти успокаивают его и манят, манят после безбожных лет хаоса и страхов зажить наконец смиренной и праведной жизнью, без тревог, без затаенных, мучительных вопросов.

Он сел на диван рядом с ней. В наивных мыслях Марии, простой, скромной девушки, была какая-то слепая вера и вместе с тем убедительность. Он уважал ее и к ее словам отнесся с полной серьезностью.

— Я много грешил... — повторил он задумчиво. — Но ведь я не всегда был таким. Когда-то и я верил в идеалы, а потом меня, как всех нас, швырнули в мрак и ужас.

— Мы отступили от веры, — сказала она с несвойственной ей горячностью. — Поэтому бог и покарал нас.

Хольт почувствовал разочарование. Нет, это не ее слова, она уже не подбирает их с трудом. Несомненно, ей часто приходилось их слышать и повторять самой.

— Война, лишения, утраты — все учит нас одному: мы должны вернуться к богу.

— Ну, хорошо. — Хольт поднялся и стал посреди комнаты. Чувство разочарования усилилось. — Так с чего же начать возвращение к богу?

— Когда ты в последний раз молился? — спросила она.

Он сунул руки в карманы и сверху вниз посмотрел ей в лицо, порозовевшее от рвения. Сестра Регина тоже говорила: «Попробуйте все-таки помолиться». И как тогда, в нем поднялся протест, и волнение охватило его. «Не хочу никакого бога! — думал он. — Только люди виноваты во всем — в терзаниях и ужасах, в разгуле смерти. Может, потому, что они неполноценны, или, черт его знает, почему. Бог тут ни при чем, иначе нет просвета!»

И вдруг он словно с высокой горы увидел всю свою жизнь вплоть до сегодняшнего дня. Он блуждал. Он шел неверной дорогой вместе с другими, и он знает — не в божье дело. Ибо одна истина для него незыблема: не провидение, не судьба, не божья воля направляют шаги человека, нет, человек решает судьбу человека, а сила провидения — это и есть сила одного человека над другим. Но почему один обладает силой, а у другого ее нет, почему сильный властен над слабым, кто распределил роли и установил мерило добра и зла, права и бесправия, и почему человек человеку враг и между ними лежит пропасть? На эти вопросы он не мог ответить. В одном он теперь уверен: надо неустанно добиваться ответа, надо начать все сначала, переучиваться, искать, спрашивать: «Почему?» — вот так, как рисовалось ему однажды в туманной мечте, когда он думал о возможности уцелеть и жить дальше. Вот то единственное, что дает смысл и направление его жизни.

Хольт смотрел на горящие елочные свечки. Он думал о Гундель. Потом спросил вслух, но спрашивал, в сущности, самого себя:

— Почему эта мысль раньше не пришла мне в голову? Неужели нужно было, чтобы я сначала потерял последнее, что у меня оставалось?

Только сейчас он вспомнил о Марии. Она сидела на диване, но была где-то очень далеко от него. И ему стало жаль ее.

— Я знаю, что, если бы не ты, меня, может, уже не было бы в живых, — сказал он. — Спасибо тебе за все. Но никто не в силах меня удержать. Если тебя это может утешить, знай, что я ухожу отсюда умнее, чем был, когда пришел.

Он сел рядом, положил ее голову к себе на плечо. Она плакала.

— Нас прибило друг к другу, — сказал он. — И та же буря гонит прочь друг от друга.

2

Около полудня Хольт приехал в Гамбург. В вокзальной парикмахерской он постригся, побрился и в телефонной будке перелистал список абонентов. Реннбах Францискус, коммерции советник — Лангенхорн, Оксенцолльвег, 3. Номер телефона был теперь другой, пришлось справиться в почтовом отделении. Долго раздавались гудки «занято», едва он набирал первые три цифры, пока ему удалось набрать полный номер.

Коммерции советник в этот час был у себя в конторе на Хольстенвале. И снова телефон-автомат испытывал терпение Хольта, потом еще раздражающее объяснение с секретаршей, и наконец он услышал энергичный голос дяди:

— Кто говорит? — В телефоне шипело и трещало. Хольт уже думал, что их прервали, но вот опять голос дяди: — Вы в самом деле Вернер Хольт? Мальчик, да мы тебя разыскиваем через все мыслимые каналы. Доротеа надеялась, что ты у отца.

— Где живет мама? — нетерпеливо крикнул Хольт.

— У Марианны в Видентале, Нейграбенерштрассе, 11.

Хольт не скоро добрался до Виденталя. Пригородные поезда отправлялись каждый час, но были настолько переполнены, что ему пришлось долго ждать на перроне. От Харбурга он пошел пешком, сначала по шоссе, затем по лесистым холмам Шварценберге, а потом вдоль железной дороги, на которой работали бригады рельсоукладчиков. Снега здесь было мало. Хольт пересек пути, вошел в городок и спросил, как пройти на Нейграбенерштрассе.

И вот двухэтажный особняк. Нижний этаж выложен темным клинкером, оштукатуренный верхний обвит диким виноградом. В палисаднике голубая ель, поднимающаяся высоко над домом. Хольт бессмысленно дергал калитку — он все-таки был взволнован. Потом опомнился и позвонил.

В дверях показалась девушка лет восемнадцати, черноволосая, в белом передничке поверх ситцевого платья. «Да, верно, — подумал Хольт, — мама всегда следила, чтобы у горничной были чистые передники!» Два маленьких коричневых пуделя с лаем выскочили из дверей. Наконец загудел зуммер, Хольт нажал на ручку калитки и пинком отогнал собак.

— Мокка! — позвал женский голос. — Мокка! Кока-кола! — Лай мгновенно прекратился. Собаки, виляя хвостами, побежали к крыльцу. Там стояла высокая, статная темноволосая женщина. Она улыбалась.

Это была мать.

Она обняла его.

— Мы счастливы, — сказала она. — Два часа назад позвонил Франц и сообщил радостную весть. Добро пожаловать! Все готово. Можешь сейчас же принять ванну. Или сначала поешь?

В холле он украдкой разглядывал мать. Сколько он ее не видел? Два с половиной года. Она ничуть не изменилась. Время не оставило на ней ни малейших следов. Фрау Хольт была по-прежнему стройная, по-прежнему очень холеная, и по-прежнему улыбке ее не хватало тепла. Да, эта женщина, эта на редкость красивая женщина была его матерью. Доротеа Хольт, урожденная Реннбах. Ей теперь сорок... «Пудели — это новость, — думал Хольт, глядя на собак, с любопытством обнюхивающих его сапоги, — раньше пуделей не было...»

— Значит, ты сначала поешь, — сказала мать. — Бригитта, завтрак готов?

Девушка ждала в холле, у дверей в кухню. Хольт повернулся к ней.

— Бригитта? — спросил он. — Разве вас не Лизхен зовут? — Она покачала головой. — Раньше всех маминых горничных звали Лизхен. — Маме было затруднительно каждый раз привыкать к новому имени, правда, мама?

Фрау Хольт приветливо улыбалась, чуточку излишне приветливо. Она раздвинула застекленную дверь и повела сына в гостиную. Он беглым взглядом окинул персидские ковры и мебель красного дерева. «Все как прежде, тот же стиль», — думал Хольт. Он опустился в кресло против матери и вытянул ноги, радуясь, что наконец избавился от бесконечных дорог, от переполненных поездов.

Он был похож на мать. Но только внешне. Ни в мимике, ни в жестах, ни в темпераменте, ни в быстроте реакции у него не было с ней ничего общего. Фрау Хольт была медлительна и в речи, и в повадке. Когда она говорила, лицо ее оставалось неподвижным; и улыбалась ли она, или вскидывала брови, это всегда делалось сознательно, произвольно, она всегда владела выражением своего лица. Сидя, она прижимала локти к туловищу, а руки складывала, как певица у рояля. Все ее движения были точно рассчитаны и целесообразны; голос низкий, речь взвешенна, и каждое слово она произносила, четко артикулируя. На ней было светло-серое шерстяное платье, закрытое доверху, строгого покроя,

с широкими рукавами. Единственным украшением служил широкий золотой браслет на правой руке.

— Расскажи, пожалуйста, откуда ты сейчас? — начала она. — В конце года я писала твоему отцу, но по сей день ответа не получила.

— Откуда? — повторил Хольт. — Как тебе сказать? Из лагеря военнопленных, отовсюду, куда меня заносило. Не стоит и вспоминать.

Услышав «лагерь военнопленных», фрау Хольт повернулась к сыну и внимательно посмотрела на его перекрашенный мундир.

— Лучше всего, пожалуй, сейчас же сжечь твои вещи. Франц прислал для тебя брюки, джемпер и белье. — Она вскинула темные брови. — Насекомых на тебе нет?

Он усмехнулся. «По крайней мере год она не знала, жив ли я вообще... «Насекомых на тебе нет?»

— С уверенностью сказать не могу, — ответил он.

Она пропустила иронию мимо ушей.

— Полагаю, что ты был некоторое время у твоего... — она умолкла на полуслове.

Бригитта внесла завтрак. Потом накрыла маленький круглый столик, поставила перед Хольтом тарелку, положила прибор и салфетку. Завтрак состоял из омлета с повидлом. Обилие фарфора и серебра ошеломило Хольта. Бригитта положила ему с серебряного блюда серебряной лопаточкой половину омлета, пододвинула блюдо и, прошептала: «Приятного аппетита», вышла.

В самом деле: «Приятного аппетита!»

— ...У твоего отца, — закончила фрау Хольт начатую фразу, как только дверь за горничной закрылась. — Он послал тебя ко мне?

Раньше, чем Хольт успел ответить, в комнату вошла его тетка, сестра матери, на пятнадцать лет старше ее, высокая, седая, ширококостая женщина с жестким, точно из дерева вырезанным лицом. Улыбка, открывшая два ряда безупречных, явно искусственных зубов, не вязалась с ее лицом, неподвижным, как маска. Карие глаза ее смотрели на Хольта холодно, чуть ли не враждебно, хотя губы и улыбались.

Он встал.

— Сиди, пожалуйста, — сказала тетя Марианна низким мужским голосом. — Желаю приятного аппетита.

Он сел и продолжал есть, чувствуя на себе взгляды обеих женщин.

— Смотри-ка, Теа, — продолжала тетя Марианна, — Вернер в полном смысле слова твоя копия!

Фрау Хольт ничего не ответила. Сестра ее окинула критическим оком сервировку и, понизив голос, быстро сказала:

— Эта Бригитта никогда не поймет, что нельзя к омлету класть две вилки. *Le style c'est l'homme!* *

Хольт отодвинул тарелку и откинулся на спинку кресла.

— А теперь советую тебе прежде всего искупаться, — сказала мать.

В холле, как угорелые, носились оба пуделя. У лестницы лежала свернутая красная циновка. Наверху, в ванной, Хольт смотрел, как мать открыла никелевые краны и как вода лилась в ванну.

— У Марианны одно время были на постое английские офицеры, — рассказывала она. — К счастью, дома здесь не подверглись конфискации. И пока Францу удавалось избавить нас от необходимости селить у себя людей из разбOMBленных кварталов. — Она направилась к дверям. — Англичане оставили нам уголь, — сказала она, выходя. — А то пришлось бы еще и мерзнуть.

* Стиль — это человек (франц.).

Хольт запер дверь и вытянулся в горячей ванне. Благодатное тепло разлилось по телу. Здесь все осталось по-старому. Война, разгром Германии прошли мимо обитателей этого дома почти бесследно. Как в доброе старое время, горничная в белом переднике отворяла дверь; как в доброе старое время, на стол подавали на серебряных блюдах, и мать точно так же умолкала на полуслове, когда в комнату входила горничная. В холле резвились два пуделя — Мокка и Кока-кола, а тетя Марианна возмущалась, что к омлету подают две вилки: «Стиль — это человек». Немыслимо!

Хольт намылился большим душистым куском мыла. Он решил во что бы то ни стало крепко держать себя в руках, не действовать сгоряча. Необходимо выждать, а пока надо вести себя вежливо, в крайнем случае облегчать душу иронией. Спускать он никому и ничего не намерен, но и ссориться ему ни с кем нельзя.

Он вышел из ванны и растерся мохнатой простыней. «Мать всю жизнь старалась чем-нибудь подкупить меня, наверняка и сейчас попытается», — подумал он.

На табуретке лежало приготовленное белье, мягкие фланелевые брюки и пуловер с широкими рукавами. Хольт поглядел на себя в зеркало. Итак, это вторая попытка вернуться к мирной жизни. Быть может, сейчас ему больше повезет, еще раз потерпеть неудачу невозможно. Хорошо, что он не приехал к матери в том состоянии подавленности и отчаяния, в каком ушел от отца. Хорошо, что он мог в Ратцебурге опомниться и прийти в себя. Хольт вынул из старых брюк деньги, которые, как ни странно, не очень пострадали от воды, и бумажку с адресом ратцебургской больницы. В новых фланелевых брюках оказалась пачка сигарет «реемтсма». Довоенный товар!..

На лестнице Хольт остановился в удивлении. Внизу в сером халате ползала на коленях Бригитта и воском натирала паркет. В его памяти сразу ожила почти такая же картина... Темная лестница, душно. Девушка, босая, в переднике, стоит на коленях и скребет деревянные ступеньки. Гундель. Еще в те дни.

Хольт задумчиво прислонился к перилам, достал сигарету и закурил. Бригитта пока еще не заметила его. Сцена на темной лестнице отчетливо стояла перед ним, но вот ее сменила другая — Гундель сидит за ужином между отцом и доктором Хагеном... Хольт мог опять спокойно думать о Гундель. Время, прожитое у отца, отошло, казалось, в далекое прошлое.

Он медленно спустился в холл. Бригитта встала, чтобы пропустить его. Он кивнул ей. Он ничего о ней не знал, но помнил, как тетя Марианна всегда обращалась с домашней прислугой. Возможно, что он слишком долго смотрел на Бригитту — она опустила глаза и взялась за тряпку. У нее было нежное худое личико и руки были нежные, а глаза темные и темные стриженные волосы, гладко зачесанные назад.

— Вы давно здесь? — спросил он.

— С августа.

Ему понравилось звучание ее речи, напоминавшей местный диалект.

— А раньше где вы жили? — спросил он.

— Во время войны отбывала трудовую повинность, — ответила она уже спокойно, не поднимаясь с колен и глядя на него снизу вверх. — Я из Померании... Эвакуация, лагеря и все такое... А теперь я здесь.

Он рассеянно кивнул. Трудовая повинность — все как у Гундель... И он представил себе Бригитту рядом с доктором Хагеном за общим

ужином. А почему бы и нет? У нее умные глаза. Он еще раз кивнул ей, все так же рассеянно. Он думал: игра случая — так было с Гундель, с Бригиттой, да и с ним самим, пожалуй.



Мать сидела в гостиной на диване. Оба пуделя лежали у ее ног.

— Хорошо себя чувствуешь после ванны? — приветливо спросила она. — Франц заедет сегодня вечером. Будем держать семейный совет.

«Семейный совет? Попахивает древностью», — подумал он. Фрау Хольт закрыла двустворчатую дверь, выходившую в холл. Неподвижно и прямо восседала она между собаками, прыгнувшими к ней на диван.

— Ты не обидишься на меня за откровенность?

Он тотчас сообразил: дверь была открыта, и мать слышала его разговор с горничной. «Любопытно, что она скажет». Он улыбнулся.

— Нет, конечно. Пожалуйста.

— Ты знаешь, я всегда разрешала тебе делать все, что захочешь, — сказала фрау Хольт, поглаживая пуделя. — Тебе девятнадцать лет, ты был в плену. Поверь, я ничего не имею против твоей дружбы с Бригиттой. Прошу только об одном — соблюдать приличия. Марианна в своих взглядах очень нетерпима.

Еще немного и Хольт громко расхохотался бы. Но тут до него дошел смысл ее слов. Он поднялся и стал у окна спиной к матери. «Она ничего не имеет против того, чтобы я спал с Бригиттой, но при этом я должен «соблюдать приличия», чтобы не оскорбить высоконравственных чувств тети Марианны», — думал он.

— Надеюсь, ты на меня не в обиде за это замечание? — спросила мать.

— Нисколько, — ответил он и повернулся к ней лицом. Наперекор своим благим намерениям он вскипел и сказал с такой нескрываемой иронией, что пропустить ее мимо ушей фрау Хольт никак не могла: — Чрезвычайно рад, что ты лишена предрассудков. Я уж боялся, что за мой разговор с Бригиттой ты попрекнешь меня моей старой «тягой к простонародью».

Фрау Хольт перестала гладить пуделя и выпрямилась. Она сидела на диване прямая, как свеча, прижав локти к туловищу и сложив руки.

— Я знаю, что поражение смело многие общественные переговоры, — сказала она спокойно. — Твое поколение после всего, что оно пережило, обязательно поставит под сомнение традиционные формы общественных отношений. После первой мировой войны было точно так же. Поэтому я ничего страшного не вижу в том, что ты любезничаешь с горничной — девушкой, намного ниже тебя по социальному положению. Но такие вещи делают втихомолку, во всяком случае не афишируя, только это я и хотела сказать. Твоя ирония была излишней. — Точно рассчитанным движением она подняла левую руку. — Вопрос исчерпан. Пришлись тебе впору вещи Франца? Нынче вечером он привезет два своих костюма и пальто. Марианна вызвала на завтра портного. Мокка, перестань! — прикрикнула она на одного из пуделей, который неугомонно теребил ее лапкой. — Будь так добр, Вернер, выпусти собак в сад.

Хольт прошел в маленькую переднюю, которая служила гардеробной, и отпер дверь. Собаки выскочили в сад и побежали меж закутанных соломой и мешковиной розовых кустов. Он на мгновение заколебался, глядя в вечернее небо, и спустился с крыльца.

Отгнав собак, бежавших за ним, Хольт зашагал по безлюдной улице. Он шел на север, к низине. У шоссе стояло несколько старых фахверковых домов, напоминавших большую нижнесаксонскую крестьянскую усадьбу.

Он остановился у кромки Эллерхольцких болот. Поросшие ольховым кустарником, они тянулись далеко на север, до самого низовья Эльбы. Быстро темнело. Он глядел в туман, который поднимался с болот, заползал в сады и дома, проглатывал огни. И, дрожа от холода, он спрашивал себя, домой ли он вернулся сегодня?

■
Перед виллой стоял автомобиль, черный «оппель-супер». Бригитта, открывшая Хольту дверь, сказала с легким упреком: — Вас ждут.

Дядя Франц, Францискус Реннбах, пятидесятидвухлетний бездетный вдовец, безукоризненно одетый, двинулся с распростертыми объятиями навстречу Хольту и долго тряс ему руки.

— Добро пожаловать, добро пожаловать, — повторял он, — от всего сердца — добро пожаловать!

Хольт сел. Он с интересом разглядывал седовласого, брызжущего жизненной силой сангвиника, своего дядю, называвшего себя коммерции советником. Этого человека так и распирало от избытка энергии.

Коммерции советник забрасывал Хольта самыми разнообразными вопросами, удовлетворялся лаконичными ответами, а если тот или иной ответ ему особенно приходился по душе, оживленно кивал седой головой с еще пышной жестковатой шевелюрой. Двери в столовую раздвинулись. Все сели за стол.

Темные обои и тяжелая дубовая мебель производили мрачное впечатление. Хольт сидел на стуле с высокой спинкой в кругу своих родных. Бригитта обслуживала. И опять самая простая еда — картофельный салат и хлеб из серой муки — подавалась, как всегда здесь, с большой помпой. На серебряных подносах обносили сидящих за столом хрустальными мисочками, в которых лежало несколько кружочков свеклы или две-три маринованные луковицы. Картофельный салат, украшенный несколькими ломтиками моркови, искусной горкой высился на тяжелом серебряном блюде. Стол буквально ломился от самой разнообразной посуды — судков, судочков, ложек, вилок, ножей, — которой хватило бы на сервировку большого праздничного ужина со множеством перемен. Для двух напитков — пива и минеральной воды — у каждого прибора стояло по два роскошных граненых бокала.

Хольт переводил взгляд с одного на другого — все были заняты едой. Тетя Марианна истуканом восседала во главе стола и едва заметными движениями руки дирижировала. Вот Бригитта налила пива коммерции советнику, вот подала кому-то на фарфоровой тарелочке маленькую солонку, а кому-то, держа на правой руке тяжелое серебряное блюдо, левой положила на тарелку салат. Фрау Хольт не уступала сестре в строгой неподвижности, и только коммерции советник держал себя более или менее непринужденно.

Он рассказывал о дяде Карле, своем сводном брате, бременском судовладельце, судостроителе и банкире, первенце и главном наследнике давно умершего судовладельца Реннбаха, от второго брака которого и появились Марианна, Францискус и Доротеа Реннбах. Задав несколько вопросов, Хольт узнал, что дядя Карл, имя которого произносилось здесь с величайшей почтительностью, давно выплатил своим сводным сестрам и брату долю их наследства. Коммерции советник и тетя Марианна вложили свои капиталы в гамбургские табачные фабрики, а мать Хольта успешно поместила свое состояние в предприятия тяжелой промышленности. С ними был тесно связан и бременский дядя, генеральный директор и главный акционер крупной компании морского транспорта и родительской верфи, давно преобразованной в акционерное общество.

— Разукрупнение картелей, как оно рисуется союзникам, — сказал дядя Франц, — все это прекрасно. Но чтобы строить корабли, нужна

сталь, а если хочешь быть независимым, тогда сталь нужно производить самим, и тут уж без угля не обойдешься.

— Интересно,— вежливо вставил Хольт.

Коммерции советник, собрав на лбу горестные складки, сообщил также, что Контрольный совет секвестровал капиталы концерна «ИГ-Фарбениндустри».

— Все очень неясно,— сказал он.— Надо выждать, посмотреть, во что это выльется.— Он заговорил о намечающемся просвете; по-видимому, в лагере западных держав назревает противодействие упрощенной политике реванша и подрыва экономической мощи Германии. Во всяком случае, об этом свидетельствует недавняя отставка видного американского чиновника военной администрации, который был председателем комиссии по разукрупнению концернов.

— Но оставим в покое политику,— сказал в заключение коммерции советник.— Мы ничего не требуем, пусть только нам не мешают мирно вести наши дела.

И в тоне светской болтовни он наглядно и с мельчайшими подробностями живописал, как утром на глазах увлеченной зрелищем толпы была поднята из Кильского канала затонувшая подводная лодка.

— Твой дядя Карл,— сказала тетя Марианна, важно кивнув Хольту,— тоже строил в Бремене подводные лодки.

— Конечно. Корпуса подводных лодок и торпедные катера,— добавила фрау Хольт и выразительно взглянула на сына, точно хотела пробудить в нем интерес к верфи бременского дяди.

Но Хольт молчал. Он не мог отделаться от ощущения, что здесь все ему чужие, включая родную мать. Обе женщины казались ему призраками — тетя Марианна с деревянным неподвижным лицом и длиннейшей, трижды обмотанной вокруг шеи серебряной цепочкой, и мать с ее безупречной красотой и холодными заученными жестами. А между ними — дядя Франц, сверх меры элегантный, в костюме из английского сукна, приветливый, многословный, веселый, будто в городах и деревнях его страны нет ни руин, ни длинных очередей перед булочными, ни откопанных подвалов с рассыпавшимися в прах человеческими останками... Хольт не мог попросить ломтика черствого хлеба, чтобы не привести в движение тетю Марианну, Бригитту со всеми подносами, мисочками, вилками, ложками, ножами. Он не мог откашляться без того, чтобы все сразу не повернули к нему свои застывшие лица-маски. «О, пожалуйста, Вернер... Что ты сказал?» И ему страшно было подумать, что придется трижды в день так сидеть за столом и молчать, стиснув зубы.

Он вдруг спросил:

— У меня есть своя комната?

— Я давно хотела показать ее тебе,— сказала фрау Хольт.— Конечно, у тебя есть своя комната. Надеюсь, что здесь ты будешь чувствовать себя в родном доме.

— Можно мне завтракать у себя?

— Разумеется, если тебе так хочется,— ответила тетя Марианна, оскалив передние зубы, что означало улыбку.

Хольт вздохнул с облегчением. Значит, только дважды в день придется выполнять этот ритуал, а со временем удастся, быть может, уклониться и от совместного ужина.

Наконец тетя Марианна встала. Ужин окончен. Бригитту послали в погреб, и в гостиную была подана бутылка «рауэнтальского» — светлого рейнского вина, которое коммерции советник настоятельно рекомендовал к сегодняшнему вечеру. Он закурил сигару, а Хольту пододвинул пачку сигарет уже знакомого сорта «реесмтсма». Хольт рассеянно закурил. То, что последовало, и было заранее объявленным семейным советом. Францискус Реннбах почитался обеими женщинами главой семьи.

— Как у тебя обстоит со школой? — спросил он Хольта и, услышав ответ, оживленно кивнул. — Я предлагаю, чтобы ты... скажем, к пасхе... поступил в школу, а затем сдал выпускной экзамен.

Хольт ограничился весьма красноречивым жестом.

— Сначала, разумеется, тебе нужно привыкнуть к обстановке, — продолжал коммерции советник, — снова войти в колею мирной жизни, а об остальном мы не спеша поразмыслим. — Помолчав, дядя добавил, что очень озабочен будущим Вернера и уверен, что самое разумное для него — заняться юриспруденцией.

Юриспруденцией? Тогда уж лучше математикой! Хольт вспомнил Блома. Но здесь он не у Блома. Здесь он у матери, и мать — его законный опекун, она даже имеет право диктовать ему. Диктовать? Он опустил уголки рта. Этого он никому не позволит! Не прерывая коммерции советника, Хольт слушал все его рассуждения дальнего прицела о преимуществах юриспруденции.

— Следует иметь в виду ситуацию, создавшуюся в Германии...

Когда коммерции советник обращался к Хольту с вопросом, тот отвечал великолепными жестами, перенатыми у матери в первые же часы пребывания здесь.

— Будущее Германии, — сказал коммерции советник, задумчиво попыхивая сигарой, — зависит от заинтересованности союзников в ее экономике. Есть надежда, что американцы кое-чему научились на ошибках, которые они допустили в своей экономической политике после первой мировой войны. — Коммерции советник говорил о развитии экономики, о том, что многое еще неясно и точно предсказать что-нибудь чрезвычайно трудно. — Да, — продолжал он, — все зависит от размера капиталов, которые разрешат импортировать ключевым отраслям промышленности. Интерес к немецким фондовым ценностям достаточно велик. Надо выждать, быть может, американцы решатся предоставить нам кредиты. Все совершенно, совершенно еще неясно. — Коммерции советник покачал головой. Он провел рукой по своей жесткой шевелюре и сказал Хольту: — При благоприятных обстоятельствах перед тобой, как юристом, откроются широчайшие возможности в области промышленности. В противном случае юристу государственная служба всегда обеспечена.

Хольт вежливо кивнул. Он устал. Больше всего ему хотелось поднестись к себе и завалиться спать. Он сидел в кресле, вытянув ноги. «Пусть говорят, — думал он, — пусть импровизируют насчет моего будущего сколько им угодно. Главное, пусть оставят меня в покое с их идиотскими трапезами!»

Заговорила фрау Хольт.

— Прежде всего, необходимо общение с людьми, — сказала она. — После одичания военных лет тебе нужна подходящая среда.

— На войне человека ведь окружает всякий сброд! — вставила тетя Марианна.

Фрау Хольт кивнула.

— Вернеру необходимо встречаться с молодыми людьми своего круга, я считаю это очень важным — положение в обществе много значит. Быть может, — обратилась она к брату, — ты представишь его некоторым нашим знакомым. Например, Хеннингам. У них сын ненамного старше Вернера.

— У Тредеборнов, — сказала тетя Марианна с деревянным лицом, — у Тредеборнов прелестные дочери. Особенно младшая, ну, просто, солнышко!

Коммерции советник пообещал этот вопрос уладить и в самое ближайшее время заехать за Вернером.

— Я уверен, — сказал он, — что Вернер получит много приглашений, к молодежи уже начинает возвращаться ее естественная общительность. — Он взглянул на часы и стал прощаться.

— Одну минутку, — остановил его Хольт, доставая из кармана записку с адресом ратцебургской больницы.

— Я попрошу прислать из больницы счет и все урегулирую, — сказал коммерции советник.

— Ты был болен? — спросила мать.

— Да, я болел, — сухо сказал Хольт.

Коммерции советник ушел. Хольт остался с обеими женщинами. Мать проводила его в отведенную ему комнату на верхнем этаже. Он тотчас лег в постель и, измученный, заснул глубоким сном.

3

Осторожный стук разбудил Хольта.

— Я принесла завтрак, — стоя за дверью, сказала Бригитта.

Он вскочил с кровати, смущенный донельзя, — молодая девушка должна приносить ему завтрак в постель! И без того у нее дел не оберешься. Он надел купальный халат, открыл дверь и взял из рук Бригитты поднос.

— Не нужно меня обслуживать, — сказал он. — Я сам буду брать завтрак наверх.

Она удивленно посмотрела на него.

— Как вам угодно.

Он услышал голос матери — она снизу звала его. Так и есть: пришел портной! Маленький толстый человечек с усиками ждал в холле, через плечо у него висел сантиметр. Молча и терпеливо стоял Хольт, пока портной снимал с него мерку. Завтрак подают в постель, портной приходит на дом. Он — у матери, он вернулся домой. Мысленно он видел отца: раннее утро, еще нет шести, а отец в белом халате уже идет в свою лабораторию... видел Мюллера, до поздней ночи сидящего за работой... видел Блома, седого и невзрачного, и его тесную комнатку, видел сейчас все, что осталось там... И Гундель, ее глаза, ее улыбку.

Хольт пошел за матерью в гостиную. Там сидела тетя Марианна со злым, перекошенным лицом и раскладывала пасьянс. В одиннадцать утра! Мать и портной листали английский журнал мод: «Faschion Paper, Spring and Summer 46, Gentleman's suits».

Они всесторонне обсуждали вопросы о талии, спущенных плечах; фрау Хольт вникала во все с неподдельным жаром.

Тетя Марианна сказала:

— Папа всегда носил короткие пальто спортивного фасона.

Пасьянс у нее не выходил, и лицо становилось все злее.

В широком шкафу красного дерева Хольт нашел книги. Мать и тетка с готовностью разрешили ему порыться на полках. Книги стояли в два ряда. Впереди непрменные классики: Гёте, Шиллер, Шекспир и другие, полные собрания сочинений, в роскошных кожаных переплетах, знакомые ему с детства. Его гораздо больше интересовали задние ряды. Там стояли книги, по которым было видно, что их действительно читали, — Герцог, Штратц, Отто Эрнст, Джон Книттель. Хольт собирался уже закрыть шкаф, как вдруг между Френсеном и Омптедой увидел Ремарка.

Он сразу же вспомнил: «Я вас так хорошо понимаю, — сказала ему Карола, — я только что прочла «Возвращение» Ремарка...» Хольт извлек из шкафа «Возвращение» и взял еще «На Западном фронте без перемен».

— Потрясающие произведения, — сказала тетя Марианна и принялась раскладывать новый пасьянс.

Хольт три дня читал, сначала первую книгу, за ней вторую, потом ещё раз обе книги. Три дня он появлялся внизу только к обеду, а завтрак и ужин брал к себе в комнату. Читал до глубокой ночи. «На Западном фронте без перемен» потрясло его. Он прочел множество книг о войне, но здесь война не прославлялась как испытание мужских добродетелей, она вставала перед глазами во всем своем неприкрашенном ужасе и бессмысленности. Юнгер, Этигхофер, Боймельбург и как их там еще — с ними Ремарк ничего общего не имеет.

И все же что-то не удовлетворяло Хольта. Вихрь мыслей одолевал его. Бесчеловечность и жестокость первой мировой войны не предотвратили второй такой же войны. Значит, важно, единственно важно — кто виновен в развязывании войн? А Ремарк наглядно воссоздает ужасы войны не для того, чтобы заклеить виновных в ней, которых, по крайней мере, надо искать! Ремарк проклинает войну, но в ночи бессмысленного разгула смерти он зажигает огонек товарищеской дружбы. И это знаменитое хрестоматийное товарищество оборачивается все-таки чем-то вроде добродетели, рожденной войной.

Хольт шагал по комнате из угла в угол и курил сигарету за сигаретой. Он думал обо всем, что сам видел и пережил, он восстанавливал реальную действительность войны. Было такое крылатое словечко, которое ни в каких хрестоматиях, разумеется, не найти: камрады — это мерзавцы. Ничего удивительного, ведь война — мерзость и подлость. Хольт вспомнил Зеппа Гомилку — их, может быть, в самом деле связывало нечто похожее на дружбу. Но «содружество» — Вольцов, Петер и он — это была форменная банда, бесчинствовавшая сначала в горах, потом на войне. Война, в которой он участвовал, — преступная война; поэтому там не было товарищей, там были только сообщники. И если преступность первой мировой войны была, возможно, еще не так ясна всем, как преступность второй, то все же идеал фронтового товарищества и тогда оставался туманом, фразой, повязкой на глазах солдат, блуждающим огоньком во мраке, подслащенной пилюлей для человеческого стада, которое гнали на бойню. Нет, спасибо за такой идеал!

Хольт вспоминал людей с руническими знаками в петлицах — он хорошо знал этих кровавых марионеток. Искал тех, кто дергал их за ниточки. Еще раз перечитал эпиграф к роману «На Западном фронте без перемен». Это произведение не претендовало даже на то, чтобы стать обвинительным актом! Да и кого оно обвиняло, кроме нескольких трактирных стратегов или озверевшего самодура Химмельштоса? Ремарк хотел рассказать о «поколении, загубленном войной, не пощадившей и ту часть его, которую пощадили пули».

«И меня пощадили пули, — думал Хольт, — пощадили на войне страшнее, войне с бомбежками и танками, с боями за каждый дом. Я тоже загубленный человек. Но... черт возьми, в девятнадцать лет стоять здесь, на прекрасном ковре, и твердить: я загубленный человек — разве это достойное поведение? Нет, достойным поведением это никогда не было, даже тогда! Я восстал против отца, не отдавая себе отчета почему. Я плыл по течению и, вместо того чтобы искать правильный путь, искал одного — возможности забыться. А когда пришла опустошенность, пришло похмелье, думал: я банкрот, пусть снаряды и пули пощадили меня, все равно я конченный человек».

— Я придумываю себе оправдания! — вслух сказал он.

Хольт закурил новую сигарету и разломал спичку. Он понял, что его не удовлетворяло в книгах Ремарка: Ремарк тоже придумывает себе, да и другим, оправдание, ибо трагедия — уцелеть и все же быть конченным человеком, образ жертвы, на пороге жизни обманутой судьбой, —

приятнее некоторым людям, чем прямые резкие вопросы: как такое могло произойти и кто в этом виноват? Юнгер, Боймельбург — в их книгах ложь, но и у Ремарка нет правды. У него все повисает в воздухе, никто ничего не знает и — что еще хуже — не хочет знать. Когда солдаты возвращаются домой, справедливый гнев, накопленный на фронте, находит себе ложный выход, они изливают в пустых фразах свой протест против фраз, которыми их морочили другие. Да и то с крайней осторожностью, только бы не ущемить добрый старый мир, тот самый, который и вверг человечество в это безумие. Великое Почему, это *Cui bono* *, выброшено на свалку. Забудь, и только! А в третьей книге, которая, к сожалению, не написана, те самые камрады, что здесь бунтовали, теперь, действуя в духе фронтового товарищества, идут к урнам и выбирают сначала господина Гинденбурга, а затем господина Гитлера.

Хольт швырнул книгу на стол. «Потрясающие произведения». Еще бы! Растоптанная душа фронтовика была чем-то вроде аттракциона. Хольт с горечью подумал: мне следовало бы позволить себе шутку и разыграть этакого юнца из загубленного поколения. Не сомневаюсь, что я нашел бы здесь любовное понимание и, быть может, меня благодетельствовали бы еще парой подержанных костюмов. А вести себя с Бригиттой, как мне заблагорассудится, — на это благословение уже получено.

Но нет, он и не помышляет воспользоваться свободой шута в этой комедии, где в лучшем виде сохранились те же старые декорации. В суровую, холодную зимнюю ночь, в последнюю ночь Петера Визе, он, Хольт, мечтал о том, чтобы выжить в этой войне и тогда все начать сначала — учиться, искать. Да, бескомпромиссно доискиваться, спрашивать: почему? Точнее: кто виноват? Еще точнее: какие силы развязывают мировую войну? Он забыл об этих вопросах, он потерял почву под ногами. Но еще не поздно, надо только взяться за ум.



11 января, в день рождения Хольта, явился дядя Франц с чемоданом, набитым бельем, сорочками, галстуками, обувью. Фрау Хольт подарила сыну золотые запонки. Портной принес удобный серый костюм спортивного покроя, строгий черный пиджак, пару черных брюк и пару полосатых, темно-серое пальто-реглан из толстого мягкого материала. Костюмы были лицеванные.

— В нынешнее время никто не осудит за это, — сказала фрау Хольт. Она была довольна. — Теперь ты можешь показаться в любом обществе.

Коммерции советник Реннбах обещал в воскресенье приехать к завтраку. Хольт как-то уже смирился с нудной церемонией семейных трапез. Но застольный разговор в воскресенье утром невыносимо томил его своей смертельной скукой. Он вдруг спросил:

— Скажи мне, дядя, как возникают войны? Что ты думаешь на этот счет?

Фрау Хольт, склонив набок тщательно причесанную голову, посмотрела на сына долгим взглядом.

Коммерции советник размалывал челюстями ломтик поджаренного хлеба.

— М-да, — сказал он, — вопрос чрезвычайно злободневный. — Он дожевал, похрустывая, ломтик хлеба. — На этот счет существуют различные точки зрения, подчас самые противоречивые. По-видимому, все сводится к материалистической предпосылке, что война — это особая форма борьбы человека за существование. Дарвин и все такое, понимаешь? Стремительный натиск, преследующий расширение жизненного

* В чьих интересах (лат.).

пространства, как его толкует теория «народ без пространства», этим, само собой, не охватывается...

Хольт с легкой иронией смотрел на дядю. Бесспорно, это человек ловкий и энергичный, но если его сравнить с отцом... А что такое «народ без пространства»? Надо надеяться, что на такую приманку никто больше не клюнет!

— Газеты там, у отца, в русской зоне, — сказал он, — категорически оспаривают нехватку жизненного пространства. Они утверждают, что в результате аграрной реформы всем хватит земли. — Хольт с удивлением наблюдал за тем, как нервозно реагировал на его слова коммерции советник.

— Этот раздел земли, — сказал Францискус Реннбах, — представляется мне крайне преждевременным и спорным, не говоря уже о моральной стороне, о вопиющем нарушении священного права собственности, каким он является! Если только не будет сформирована центральная администрация для всей Германии, как об этом поговаривают, то Восточная зона экономически окажется отрезанной от остальных зон, и это приведет ее, не в последнюю очередь по вине земельной реформы, к тотальному краху. Они сорвутся на непреодолимых трудностях, которые неизбежно ждут и при восстановлении экономики. — И он заговорил об англо-французских переговорах, касающихся интернационализации Рейнско-Рурской области. — Переговоры кончились ничем, к нашему счастью, — сказал он. — Но, с другой стороны, и к нашему несчастью, ибо это мешает разрешению вопроса о центральной администрации. Французы с поразительным упорством противятся всякой попытке создать центральный административный аппарат. Они прежде всего хотят уверенности в том, что вопрос о Рейнско-Рурской области будет урегулирован согласно их желанию. Возвращаясь к Восточной зоне, надо сказать, что большевизация хозяйства, которая выражается в отчуждении собственности, — это не что иное, как полная беспомощность перед лицом трудностей.

Хольт слушал, откинувшись на спинку стула. Опушенные уголки крепко сжатого рта придавали его лицу задумчивое и несколько презрительное выражение.

— Твой дядя Карл смотрит на положение в Восточной зоне гораздо пессимистичнее, — продолжал коммерции советник. — Он просто сбрасывает Восточную зону со счетов.

— Разреши задать тебе один вопрос, — начал Хольт. — На верфи дяди Карла, где он теперь генеральный директор, строились подводные лодки, не так ли?

— С девятьсот тринадцатого года, — торжественно и строго произнесла тетя Марианна, повернув к Хольту маску с ослепительным рядом передних зубов. — В пятницу 21 февраля кайзер Вильгельм вручил нашему папе благодарственную грамоту за его заслуги в строительстве германского подводного флота.

— Интересно, — сказал Хольт. И обратился к дяде: — Мне хотелось бы знать, кто, собственно, оплачивал эти лодки?

— Сложный вопрос, тут ты вторгаешься в область финансовой науки, — ответил коммерции советник, намазывая себе новый ломтик поджаренного хлеба. — В принципе оплачивало государство.

«Так, государство, Гитлер, нацисты! — Хольт задумчиво помешивал ложечкой чай. — Где они брали деньги, оставалось неясным. Кто знает? Возможно, из налоговых сумм. Другими словами, оплачивали лодки те самые люди, которые потом плавали на этих лодках. Плавали? Тонули!»

Он положил ложечку. Он смотрел на дядю. «Разве дядя Франц не знает, что подводные лодки шли ко дну, едва выйдя из гавани? Разве

дядя Франц не знает, что на каждой лодке погибало два-три десятка человек? Тонули, как крысы!»

Хольт ничего не сказал, он боролся с захлестнувшим его волнением. Ему вдруг многое стало ясно из того, что там, у отца, он слышал или читал в газетах и чего не понимал. Вежливо, но с ноткой иронии он спросил:

— Прошу прощения, как ты думаешь, сколько зарабатывал дядя Карл на каждом утонувшем подводнике?

Звякнул нож, упавший на тарелку у тети Марианны. Наступила тишина. Фрау Хольт неподвижно смотрела на сына. Деревянным истуканом застыла на своем стуле тетя Марианна. Склонив голову набок, она кивком велела Бригитте выйти из комнаты. Коммерции советник вскинул голову, он был озадачен. Вопрос племянника не столько удивил его, сколько развеселил.

— Ты седлаешь коня не с того конца,— сказал он благодушно.— Правильно было бы спросить тебя: как ты построишь подводную лодку без денежных средств?

— Никаких подводных лодок я строить не собираюсь,— ответил Хольт.— Но оставим эту тему, поговорим о чем-нибудь другом.

Он старался запомнить диалог с дядей. Однако коммерции советник не считал разговор оконченным.

— Вопрос о военном финансировании, несомненно, заслуживает большого внимания,— сказал он.— В основном военные расходы, вероятно, покрывались за счет кратковременных займов, что, естественно, повлекло за собой серьезные явления инфляции. Задолженность по краткосрочным займам рейха превысила в тысяча девятьсот сорок третьем — сорок четвертом годах полтораста миллиардов марок, и, как прямое следствие этого, обращение бумажных денег возросло почти на десять миллиардов. А это значит...

Тут вмешалась тетя Марианна. Она кашлянула. Она подняла левую руку. Любезно, но твердо — за столом авторитет хозяйки дома почитался выше авторитета коммерции советника — она сказала:

— Тебе ведь известно, Франц, что я не люблю за столом разговоров о политике.

— Ты права,— ответил брат,— трижды права! Как поживает твой отец? — переменяя тему, спросил он Хольта.

Хольт нехотя ответил. Красивое лицо его матери окаменело.

— Я только одного не понимаю,— сказал коммерции советник.— У твоего отца недюжинные способности, это светлая голова! Что ему делать у русских? Ему следовало бы приехать сюда, изучить обстановку. Химическая промышленность, вероятно, скорее всякой другой встанет на ноги, быть может, с помощью иностранного капитала, но не все ли равно? Такой человек, как твой отец, не может не видеть, что здесь для него большие возможности.

Хольт молчал. «Пусть они оставят отца в покое!» — думал он с раздражением.

— У него никогда не было честолюбия,— сказала мать.— Это человек не от мира сего и таким был всегда. Он только и делал, что носился со своими проектами, со своими утопическими идеями. Понимание возможностей, которые открывала перед ним жизнь, всегда было у него до смешного невелико.

— Зато твое понимание отца было чрезвычайно велико,— сухо сказал Вернер, и столько издевки было в его голосе, что лицо тети Марианны постепенно заледенело. Но фрау Хольт лишь пренебрежительно махнула рукой. Коммерции советник рассмеялся искренне, добродушно.

— Вот тебе, Теа... Нынешняя молодежь рубит с плеча, придется к этому привыкнуть. Пойдем, Вернер, пора одеваться!

Были три старинные гамбургские семьи, куда Францискус Реннбах надеялся ввести своего племянника: Тредеборны, Хеннинги и Вульфы. Дядин «оппель-супер» покати́л в центр города.

— У Тредеборна оптовая торговля кофе, — рассказывал он Хольту. — Это старая, хорошо зарекомендовавшая себя фирма. Кроме того, Тредеборн — совладелец крупной колбасной фабрики в Альтоне. Он немного чудаковат, и надо, чтобы ты это знал. От своих домашних требует высокой нравственности и дочерей воспитывает в большой строгости.

Коммерции советник осторожно вел «оппель-супер» сквозь поток машин на улицах Харбурга, не прерывая разговора.

— Тредеборнские дочери чрезвычайно милы. Особенно младшая! Старшей двадцать первый год, младшей — восемнадцать. Старики живут очень замкнуто. Главное, чтобы ты понравился дочерям!

— Главное, чтобы они мне понравились, — сказал Хольт.

Коммерции советник рассмеялся, но по лицу его было видно, что он нервничает.

Тредеборны жили в Георгсвердере. Визит дяди с племянником был непродолжителен. Хозяин дома так и не появился. Гостей принимала фрау Тредеборн. Она предложила им по неполной рюмке вермута и обменялась с коммерции советником несколькими фразами. Это была тощая бесцветная женщина лет сорока пяти. Расчесанные на прямой пробор волосы придавали ее облику нечто от старой девы. На шее у нее, как у монашки, висел серебряный крест на тяжелой цепочке.

— Господь бог обратит к лучшему ниспосланные нам тяжкие испытания, — сказала она, набожно воздев очи к потолку, а в лице ее затаилась какая-то злая складка.

Хольт сдержанно отвечал на вопросы, но когда в комнату вошли обе дочери, он очнулся от своей летаргии.

Они сразу заинтересовали его. Девушки, похожие друг на друга, были одного роста. Младшая, Ингрид, носила высокую искусно уложенную прическу, ее густые каштановые волосы отливали червонным золотом. Она опустила́сь на низенький пуф, придвинув его почти вплотную к матери, и та театральным жестом нежно обняла ее за плечи. Старшая, Гитта, была блондинкой. У обеих сестер были большие серые глаза с черными ресницами и одинаково нежные руки с сетью голубых жилок, просвечивающих сквозь тонкую кожу. У стройной Ингрид все было пышным — волосы, рот, грудь.

Гитта, напустив на себя важность, порой со скучающим, порой с чрезвычайно умным видом разговаривала с Хольтом. Язык у нее был хорошо подвешен. Ей явно хотелось произвести впечатление человека, ко всему равнодушного. У нее нет никаких иллюзий, заявила она, все суeta суeta; минуй этот мир, он — ничто. Время от времени она, подражая матери, набожно вскидывала глаза кверху, и в уголках рта у нее, как у матери, уже наметилась черствая, злая складка.

Ингрид, в противоположность сестре, казалась еще ребенком — то очаровательно наивным, то не по летам развитым.

— Наше солнышко, — сказала фрау Тредеборн и потрепала младшую дочку по круглому плечу. Старшая поджала губы.

Хольт сразу же почуял, что сестры играют перед гостями, а может быть, и перед самими собой какую-то роль...

Ингрид ему понравилась. Но он не мог отделаться от ощущения, что наивность ее наигранна. Она рассказывала об уроках танцев, которые

посещала вместе с несколькими знакомыми. Коммерции советник ухватился за предлог:

— Может, и ты присоединишься, Вернер?

Хольт рассмеялся. Ингрид спросила:

— Вы танцуете?

— Немного, — ответил он. — На фронте мы, между прочим, и танцам обучились. — Говоря это, он смотрел ей прямо в глаза, и по тому, как она совсем не по-детски тотчас опустила веки, поняв двусмысленность его ответа, он заключил, что неотвязное ощущение наигранности его не обмануло. Интерес его к Ингрид возрос.

Коммерции советник стал прощаться.

— Ну? — спросил он в машине и нажал стартер.

Хольт весело ответил:

— Ингрид, по-моему, мила. Но в матери есть что-то коварное, пожалуй, даже низкое.

Замечание Хольта так ошеломило советника, что он заглушил мотор.

— Мне очень любопытно, — помолчав, сказал он, — какое впечатление на тебя произведут Хеннинги.

Хеннинг был владельцем конторы по перевозке портовых грузов и отбуксированию судов каботажного и дальнего плавания.

— Его сын, — рассказывал дядя Франц, — весьма дельный молодой человек, всего на несколько лет старше тебя. У старика камни в желчном пузыре. Фактически дело ведет сын. Они работают по договорам с англичанами и уже снова преуспевают.

— Сын был в армии? — спросил Хольт.

— Во флоте. Если не ошибаюсь, в чине лейтенанта.

Миновав разрушенный центр, они приехали в Нинштедт — район, расположенный на северном берегу Эльбы. В большой квартире на втором этаже их принимали фрау Хеннинг и ее сын. На пять минут в гостиной появился старик Хеннинг в халате, больной, желчный; он что-то промычал, немного посидел и скрылся. Жена его, седая, хрупкая, подвижная женщина, с обожанием смотрела на сына, Роланда Хеннинга, высокого, стройного молодого человека со смелым лицом. Спокойный и самоуверенный, он непринужденно придвинул свой стул к Хольту, и у них завязалась дружеская беседа. Говорили об автомобилях и морских судах, о Гамбурге, о ночной жизни в Санкт-Паули.

— У нас здесь жизнь уже кипит, как в мирное время, — сказал Роланд и, подмигнув, добавил: — Знаете что, господин Хольт... Давайте пошатаемся как-нибудь вместе! Идет?

— Идет! — согласился Хольт.

Прощаясь, Хеннинг сказал Хольту:

— Я позвоню вам на днях.

Коммерции советник так шумно и многословно выражал радость по поводу симпатии, возникшей между племянником и Хеннингом, что Хольту показалось, будто дядя нарочито преувеличивает.

Вульфы жили в северной части города, в Осдорфе. Машина оставилась перед особняком, идиллически расположенным на краю заливных лугов. Вульф был владельцем крупной фирмы по импорту продовольственных товаров. До войны фирма необычайно процветала, а сейчас находилась еще в упадке.

Дядя с племянником застали всю семью в сборе — Вульфа, его жену и обоих детей: восемнадцатилетнего бледного, хилого юношу и шестнадцатилетнюю девушку. Чета Вульфов с мученическими лицами без конца ныла: какая страшная катастрофа постигла страну, какие тяжкие времена, какой разгром, какое бедствие! Хольт тем временем поглядывал на дочь, худую некрасивую девушку с глазами навывкате, болезнен-

но утолщенной шеей и так сильно выступающей верхней челюстью, что верхние зубы касались нижней губы. Сквозь вьющиеся пепельные волосы просвечивали оттопыренные уши. Звали ее Аннероза. Ее брат, Гисберт, своей тихой раздумчивой речью напомнил Хольту Петера Визе. Гисберт был на голову ниже Хольта. Мелкие прыщики усеяли его заостренное лицо, большие уши торчали.

Хольт разговорился с ним. Гисберт, видно, был начитан. Он так и сыпал именами — Бодлер, Карл Ясперс, Готфрид Бенн, Хайдеггер. Юноша говорил о сиротливости человека, о нашем глубоко пессимистическом веке, о бытии под знаком смерти. Хольт внимательно наблюдал за ним, его нисколько не смутило множество имен, которые он услышал впервые. Он закурил сигарету.

— Если вы интересуетесь литературой и философией... У нас есть маленький кружок, и мы устраиваем иногда поэтические чтения. Я мог бы, если хотите, позвонить вам.

Хольт поблагодарил.

— Я и сам пишу стихи,— понизив голос, признался Гисберт.

Хольт с любопытством посмотрел на него. Уши юноши медленно зарделись.

— Я пытаюсь, исходя из духа нашей эпохи, ответить на тысячи вопросов, оставленных нам Рильке,— сказал Гисберт.

Рильке? Хольт задумчиво курил.

— С удовольствием почитал бы что-нибудь Рильке, я слышал о нем, но совсем его не знаю.

Гисберт тотчас встал и принес изрядно потрепанный томик в издании «Инзель».

— Вот, я с удовольствием дам вам почитать. Это избранные произведения Рильке.— Он перелистал несколько страниц.— «Ангел»,— прочел он.— «Кто внемлет мне, когда кричу я...» Понимаете? Кто услышит нас в ангельских сферах? Это оно и есть — одиночество европейского человека. Да, именно! — Уши его горели. Заложив пальцем страницу, он говорил Хольту: — Отсюда и я отталкиваюсь в своих стихах: «И даже, если он прижмет меня к груди»... Ангел, понимаете? Эти слова я поставил эпиграфом к своей «Бланкенесской элегии». Она начинается так: «Прижми меня к груди, о ангел, возьми меня с собой!» Я иду в этой элегии еще дальше Рильке, понимаете? Рильке спасается бегством в одиночество, а я...

Хольт встал. Он перехватил взгляд юной Аннерозы; не таясь, она буквально пожирала его восторженными глазами. Ему стало жаль ее. Он решил быть к ней внимательнее, если придется встретиться еще раз.

При прощании чета Вульфов, точно так же, как и в первые минуты встречи, ныла: какие времена, какая катастрофа постигла страну, как все ужасно тяжело...

— Им действительно так трудно живется? — спросил Хольт дядю, когда они сидели в машине.

— Нисколько,— ответил коммерции советник.— Заокеанские клиенты не оставили Вульфа в беде. Они присылают ему огромные продуктовые посылки. Но у многих считается теперь хорошим тоном жаловаться на времена.

Он остановил машину у виллы тети Марианны.

— Так. Теперь только от тебя зависит завоевать успех в обществе,— сказал дядя.— Деньги у тебя есть? — Он вытащил бумажник и протянул Хольту три кредитки по двадцать пять марок, потом добавил еще две.— Деньги с каждым днем обесцениваются. Если срочно не будут приняты меры, мы вползем в расчудесную инфляцию! Смотри не траться на сигареты, ты можешь всегда их получить у меня.

■

Тетя Марианна и мать еще не вернулись из церкви. Хольт уселся в кухне и попросил Бригитту дать ему поесть. Бригитта взяла поднос.

— Зачем это? — сказал Хольт. — Я поем прямо здесь. — Она заколебалась. — А что, разве нельзя?

Ответ, видимо, дался ей нелегко.

— Ваша многоуважаемая тетушка недовольна, когда вы заходите на кухню.

— Мне совершенно безразлично, довольна моя многоуважаемая тетушка или нет.

— Это вам безразлично, — сказала Бригитта.

— Вы думаете, что вас будут ругать из-за меня? — Хольт растерялся.

Она молча поставила на поднос тарелки и прибор.

— Час назад мне было сказано, что если только я сделаю попытку... сблизиться с молодым господином, меня сейчас же рассчитают. Теперь нелегко найти место.

— Моя тетя мерзкая гадина! И всегда была старой гадиной!

— Пожалуйста, идите в гостиную, — сказала Бригитта.

Хольт поднялся. Он знал: слова бесполезны. Между ним и этой девушкой лежит пропасть, и симпатии молодого господина, как бы велики они ни были, бессильны что-либо изменить. Он пошел в гостиную. Будь Бригитта дочерью Хеннинга или Тредеборна, тетя Марианна сказала бы: какая очаровательная девушка! Он без всякого аппетита глотал суп-пюре из овощей. Потом отбросил ложку. Столько чванства, и как они не подавятся им!

Но было бессмысленно восставать против деревянного лица тети Марианны и ее правил, а бунтовать против матери — и подавно.

4

В понедельник тетя Марианна принимала у себя нескольких дам, приглашенных на партию «ромме»*, и Хольту полагалось свежесбритым, в тщательно отутюженном костюме показаться на десять минут в гостиной, посидеть с дамами и ответить на их вопросы. Та же комедия повторялась по средам, когда мать собирала у себя гостей на бридж. Все остальное время Хольт был предоставлен самому себе. Ему потакали, подавали обед и ужин в комнату, если он не спускался в столовую. Целыми днями он лежал на кровати и читал.

Хольт прочел книгу избранных сочинений Рильке, которую ему дал Вульф. Стихи раннего Рильке ему понравились. Они были в духе народных песен, простые, как песни Шторма, очаровавшие его еще в детстве. Дальше он уже перестал что-либо воспринимать. «Звучит прекрасно, но я ни единого слова не понимаю! Неужели я так туп? — думал он. — «Любовная песня» — стихи как будто хорошие». А через минуту Хольт спрашивал себя: что это за игрок, у которого мы в руках, кто здесь имеется в виду? Он достаточно долго чувствовал себя в руках судьбы или провидения. Баллада об Орфее поразила его своеобразным глубокомыслием. Но все, что следовало затем, была, очевидно, тайнопись. «То говорит, быть может, Суший...» Теперь по крайней мере Хольт знал, откуда молодой Вульф черпает эти удивительные слова. Или: «Когда Спаситель нас с толпою обессестрит...» Он прочел еще раз. Нет, в самом деле так

* Французская карточная игра.

и сказано: «обессестрит, и мы, некие двое, под звуки внезапно ожившей фанфары, встанем, шатаясь, из-под рухнувших стен...» Хольт беспомощно пожимал плечами. При случае он непременно проэкзаменует Гисберта и посмотрит, понимает ли тот подобный словесный трезвон. Хольт чувствовал уверенность в себе и в своем опыте. Теперь он уже не даст себя околпачить. Разве дядя Франц на поставленный ему прямой и ясный вопрос не ответил потоком пустых фраз? С тех пор как Хольт прошел курс военной подготовки у лейтенанта Вейнерта, слух его обострился. Нет, морочить его никому больше не удастся... Надо задать один прямой, точно нацеленный вопрос — и внимательно слушать, что тебе ответят.

Он взял из книжного шкафа тети Марианны несколько томов классиков. Давно он не перечитывал «Фауста», и теперь, читая его, не раз вспоминал Блома.



Бригитта позвала Хольта к телефону в холл. Говорил Роланд Хеннинг.

— Как вы отнесетесь, господин Хольт, к тому, чтобы в субботу вечером кутнуть? Утром я по делам отправлюсь в Любек, а затем свободен. Ну как, договорились?

Хольт обрадовался и ответил согласием.

— Если вы располагаете временем, поедете вместе в Любек. Утром, часов в десять, я засду за вами!

Фрау Хольт, сидевшая в гостиной, все слышала. Она была очень довольна и проявила несвойственную ей хлопотливость.

— Бригитта, погладьте кремовую сорочку и хорошенько вычистите серый костюм! Марианна, будь добра, если тебе не трудно, позвони сейчас же Францу. Он собирался прислать Вернеру шляпу, к этому пальто непременно нужна шляпа!

На следующее утро, когда тетя Марианна еще спала, фрау Хольт с удовлетворением оглядывала сына. Она дала ему сигареты и заставила взять деньги. Он сунул их во внутренний карман пиджака, где лежали кредитки Фетера и дяди Франца. В холле уже стоит Роланд Хеннинг, высокий, спокойный, в распахнутом пальто из верблюжьей шерсти, в руках — мягкая шляпа.

— Сударыня... — говорит он. — Благодарю. Не жалуемся. Только вот отца часто донимает желчный пузырь... Благодарю... Почтительнейше прошу передать мой поклон вашей уважаемой сестре и коммерции советнику Реннбаху.

Фрау Хольт проводила их до двери в сад и долго смотрела вслед.

Хеннинг вел «мерседес», вел уверенно, несмотря на гололедицу.

— Ну, как вы? — спросил он. — Еще не акклиматизировались?

Обе руки его лежали на баранке. Время от времени он опускал правую руку на рычаг скоростей или включал «дворник». Его невозмутимая уверенность передавалась Хольту, а сердечный, дружеский тон все больше располагал к нему. Они ехали через центр по совершенно разрушенным улицам.

— Как вам хотелось бы провести сегодняшний вечер? — спросил Хеннинг. — Не возражаете, если организацию я возьму на себя? Отлично. Тогда прежде всего обеспечу себе по тепленькой девочке. Разве вам не кажется, что вы только сейчас вырвались из лагеря? Значит, необходимо как следует встряхнуться!

Хольт посмотрел на Хеннинга. Мотор жужжал, Хеннинг говорил негромким голосом. Быть может, он ослышался? Хеннинг остановил машину у большой парикмахерской и вошел внутрь. Через стеклянную

дверь все было видно. К нему подошла высокая, стройная блондинка в белой куртке, и они вышли на улицу. Хеннинг о чем-то заговорил с ней, в ответ она кивнула, с любопытством поглядела на машину, где сидел Хольт, и что-то сказала Хеннингу. Он расстегнул пальто, сунул руку во внутренний карман и незаметно что-то передал ей. Хольт все же успел увидеть деньги. Она опустила их в карман куртки. Хеннинг сел за руль, и машина тронулась. Девушка помахала им рукой.

— Это Анита. Ее порекомендовал мне один знакомый. Мы встретимся в семь. Она приведет свою подругу, Зигрид, и вечером вы можете заняться этой Зигрид вплотную. Только не забудьте дать ей немножко денег, сотнягу, примерно, или больше, в зависимости от того, как она себя поведет.

Хольт невольно повернул к нему голову, но Хеннинг только улыбнулся.

— Будьте покойны, парикмахерши дважды в неделю проходят осмотр. Так что ничего дурного случиться не может.

Хольт откинулся на спинку сиденья. «Быть начеку,— думал он,— не клонуть на приманку».

— Отлично,— сказал он,— я готов к любым сюрпризам.



В Любеке Хеннинг собирался побывать у нескольких влиятельных знакомых и поговорить об открытии любекского филиала фирмы. С Хольтом он условился в три часа встретиться в одном из ресторанов Старого города.

Хольт бродил по улицам. О вечере старался не думать. Он чувствовал себя неуверенно. Здешний образ жизни представлялся ему весьма сомнительным, но все это, думал он, вероятно, трудности привыкания. Ни в коем случае не поддаваться малодушию, не впадать в депрессию! Лучше уж, закрыв глаза и заткнув уши, плыть по течению. Проходя мимо здания почты, он вдруг остановился.

«Любек, до востребования». И вот он уже стоит у окошечка. Чиновник перебрал пачку писем и подвинул ему белый конверт. Хольт отошел в сторону и нетерпеливо надорвал его. Он узнал почерк.

«Если ничего лучшего тебе не предвидится,— прочел он,— приезжай сюда, сейчас или позднее, надолго или ненадолго, как захочешь. Работы здесь сколько угодно. Я живу одна. Решила навсегда удалиться от людей».

Ута Барним».

Хольт долго стоял, не двигаясь, в углу почтового зала, по которому гулял сквозняк. Нельзя сказать, чтобы ему захотелось к Уте, нет. Но у него было такое чувство, словно открылась какая-то дверь, запасный выход, место, куда можно бежать...

Он вышел из почтамта и долго бродил по Старому городу, видел наполовину разрушенную церковь Богоматери и опустошения, произведенные бомбежками на узких средневековых улочках.

Хольт чувствовал себя свободным человеком, письмо шуршало в кармане... Со спокойным любопытством шел он навстречу всему, что принесет ему жизнь в Гамбурге. С любопытством ждал и сегодняшнего вечера.

В самом лучшем настроении встретился он с Хеннингом. В невысоких залах старого солидного ресторана с готическими сводами вдоль стен, обшитых темными панелями, стояли столики, покрытые белыми дамастовыми скатертями и сверкающие стеклом бокалов и серебром приборов. За многими столиками сидели английские офицеры, штатских почти не было видно.

Метрдотель остановил Хольта.

— Господин Хольт из Гамбурга? Вас ждут.

Он проводил его к Хеннингу, который сидел за столиком, скрытым колонной. Кельнер подал Хольту меню на нескольких страницах. Цены почему-то проставлены не были.

— Сказочно, правда? — сказал Хеннинг. — Но не спрашивайте, что сколько стоит! Можете истратить на обед несколько сот марок?

— Вполне, — сказал Хольт. Из честолюбия ему не хотелось отста-
вать от Хеннинга.

Они заказали эскарго, бульон с говяжьим костным мозгом, телячью отбивную с шампиньонами, пломбир и в заключение — черный кофе. Хеннинг тоже был в чудесном настроении.

— Вкусный, обильный обед — одно из самых беспорных наслаж-
дений, — заметил он.

Жуя отбивную, он рассказывал о своих делах.

— Повсюду пессимизм, подавленность, никто не верит, что мы
опять встанем на ноги, а между тем сейчас самое время оглядеться и
постепенно набирать силу.

— В этих вопросах я профан, — сказал Хольт.

— Как же так? Ваш дядя... самый дальновидный человек из всех,
кого я знаю. Он раскрыл мне глаза на возможности, которые таит в себе
наша катастрофа, как ни парадоксально это звучит.

— Возможности? Что вы имеете в виду?

Хеннинг помещивал кофе.

— Видите ли, в довоенной Германии все было заморожено. До-
рваться до какой-нибудь интересной акции было нельзя, все мало-маль-
ски стоящие биржевые ценности прочно захватили монополисты. В бли-
жайшие годы лед тронется, и не один кит превратится в плотичку, а если
плотичка себе на уме и потихоньку высматривает, где что лежит, она
в один прекрасный день может выйти в киты. Нас ждет новая волна
предпринимательской горячки и сказочных барышей, нечто вроде нового
грюндерства.

Он подозревал кельнера.

Около пяти часов они поехали назад, в Гамбург.



Машина остановилась у Главного вокзала. Было около семи.

— Тут за углом есть маленький кабачок, — сказал Хеннинг. — Да-
вайте опрокинем по рюмочке-другой для поднятия духа.

У высокой деревянной стойки они заказали коньяку, по две двойных.
Хеннинг уплатил.

— За попутный ветер! — сказал он. Они выпили.

На улице, несмотря на холод, Хольт чувствовал, как приятное тепло
разливалось по телу. Городские огни засияли ярче. Захотелось что-то
предпринять, дать волю развязавшейся энергии. Он уже давно не чув-
ствовал себя так легко.

Девушек они встретили под вокзальными часами. Хеннинг снял
шляпу, преувеличенно низко поклонился и поцеловал руку блондинке.
Та хихикнула.

— Ну что вы, многоуважаемая фрейлейн! — воскликнул Хеннинг.

Рядом с пышной блондинкой стояла ее подруга. Не говоря ни сло-
ва, Хольт повернул ее к свету. Она была небольшого роста, хрупкая; из-
под платочка выбилась прядь темных волос. На молодом курносом лице
блестели зеленовато-серые глаза. Тонкие губы девушки растянулись в
улыбке, когда Хольт бесцеремонно рассматривал ее, и эта улыбка на
несколько мгновений стерла печать порока с ее лица.

— Стало быть, это Зигрид,— сказал Хольт.— Так что ж, Зигрид, «вы» или «ты»?

Все медленно направились к машине. Хеннинг обернулся к Хольту.

— Но, послушайте! «Ты» говорят, когда представится повод...

— То есть как это — когда представится? — перебил его Хольт.

Быть может, ему захотелось покрасоваться перед Хеннингом, а быть может, коньяк придал ему смелости: он схватил девушку за обе руки выше локтей, она поддалась и закинула голову. Он поцеловал ее.

— Черт возьми! — воскликнул Хеннинг.— Я бы никогда не отважился, даю вам слово, многоуважаемая фрейлейн.

Хольт все еще сжимал руки Зигрид. Ее податливость возбуждала его. Наконец он ее отпустил.

— Стало быть, «ты»,— решил он.

Зигрид склонила голову набок и сделала книксен.

— Как прикажешь.— Она подмигнула ему.

— Вечер, кажется, обещает быть увлекательным,— сказал Хольт.

В машине Хеннинг спросил:

— С чего мы начнем?

— Поехали на Репербан,* — предложила блондинка.

— Ну что вы, уважаемая! — воскликнул Хеннинг и грубо ткнул ее локтем в бок.— Мы ведь не какие-нибудь провинциалы.

Хольт тихонько рассмеялся. Он почувствовал легкое злорадство. «Ну и здорово же влип Хеннинг со своей покупочкой, хороша блондинка, нечего сказать!» Хеннинг нажал на стартер, и они поехали в Альтону.

И здесь, в ресторане, было полно военных из оккупационных войск, но не офицеров, а только нижних чинов. Блондинка, сняв пальто, оказалась в открытом платье из тафты. Хеннинг заглянул за глубокий вырез и сказал:

— Интересно! — Он подозвал кельнера. Тот угодливо поклонился.

— Очень рады, что вы вспомнили дорогу к нам, сударь!

— Шотландское еще есть? — спросил Хеннинг.— Бутылку, пожалуйста. И четыре порции мяса по-гамбургски.

Кельнер принес бутылку и открыл ее. Натуральное шотландское виски. Хеннинг сразу налил себе и блондинке и подвинул бутылку Хольту... Зигрид обняла Хольта за шею и шепнула ему на ухо:

— Меня можешь не напавать!

Хеннинг налил себе солидную порцию, а блондинке наполнил до краев тяжелый бокал. Зажав бокал ей в руку, он сказал: «За попутный ветер!» Она выпила половину, но Хеннинг стиснул ей запястье и насильно влил в рот остаток. Она поперхнулась, закашлялась и опять захихикала. Лицо ее покраснелось. Хеннинг снова налил ей полный бокал.

Хольт и Зигрид тоже пили. Когда кельнер принес дымящееся жаркое, бутылка была пуста. Хеннинг уплатил по счету. Сразу после ужина они вышли из ресторана. Хеннинг долго кружил по ночным улицам, алкоголь на него, казалось, не действовал. А Хольт совсем потерял над собой власть и все время возился с податливой Зигрид. Наконец Хеннинг остановил машину и молча вышел. Все последовали за ним.

В сумрачном и прокуренном баре едва можно было разглядеть парочки, сидевшие в нишах. Хеннинг прошел к стойке и, обменявшись несколькими словами с барменом, сделал знак Хольту и девушкам идти за ним. Они поднялись на второй этаж. Блондинку шатало. Хольт за руку тащил Зигрид. В конце длинного коридора они вошли в комнату с двойной дверью.

Комната была большая, жарко натопленная. На полу лежал рваный ковер. Вся обстановка состояла из старинной кровати, кушетки,

* Квартал в Гамбурге, где расположены увеселительные заведения.

круглого столика и двух кресел. У кровати горела ночная лампа. Зигрид села на кушетку и поджала ноги. Блондинка упала в кресло. Она была пьяна.

В дверь постучали. Кельнер в потертом фраке поставил на стол несколько бутылок, коньячные рюмки и бокалы для шампанского. Хеннинг сунул ему горсть кредиток и запер за ним дверь. Блондинка хихикала. Хольт подсел к Зигрид. Хеннинг, широко расставив ноги, встал у столика. Он был сильно пьян — темные волосы свисали на лоб, галстук съехал набок, но стоял он твердо. Он сразу откупорил бутылку коньяку, налил всем до краев в бокалы для шампанского, первый залпом осушил свой бокал, тут же опять наполнил его и, показывая пальцем на блондинку, извиняющимся тоном сказал Хольту:

— Мне нужно, видите ли, как следует накачать милостивую фрейлейн. — И он осушил свой бокал. — Так! — сказал он. — За попутный ветер! — Он пристально посмотрел на блондинку, спросил: — Почему не пьешь? — рывком поднял ее с кресла, обхватил за талию и влил коньяк ей в рот. Она упала в кресло.

Хеннинг показался вдруг Хольту таким страшным, что он в два глотка выпил коньяк, и хмель, наконец, туманом застилал глаза; сквозь туман он видел Зигрид, растянувшуюся на кушетке, сквозь туман видел, как Хеннинг скинул с себя пиджак, жилет, развязал галстук, расстегнул ворот сорочки, затем поднял с кресла обессиленную блондинку и, наклонившись над ней, с неописуемым цинизмом сказал отяжелевшим языком:

— Дерьмо... Ах ты дерьмо...

Зигрид, приподнявшись, обеими руками обхватила Хольта за шею, но он высвободился, и, уже почти ничего не сознавая, схватил пустую бутылку, и швырнул ее в лампу. Раздался треск, звон, и комната погрузилась во мрак.

Два дня Хольт не мог отделаться от головной боли и противного ощущения в желудке. Пытался читать, но мешали тяжелые мысли. Он выходил из комнаты, бродил под холодными зимними ветрами в Харбургских горах, а после полудня отправлялся далеко в Машенскую пустошь с ее курганами. Наконец почувствовал себя лучше. На холмах лежал глубокий снег.

Хольт не очень ясно помнил, что было в комнате над баром — той ночью он напился до бесчувствия. Сейчас, как ни тяжело все это было, он не терзался угрызениями совести, а сумел трезво, без прикрас, посмотреть на себя. На Хеннинга он не злился: справедливо ли, в самом деле, сваливать вину с больной головы на здоровую? Он ни в чем не мог упрекнуть Хеннинга, не упрекнув в том же себя. Разве Хеннинг тянул его насильно? Хольта угнетало не пьянство, не распутство — это его мало трогало. Угнетало сознание, что он все еще плывет по течению. Мехтильда или Зигрид, танцзал Ноймана или гамбургские кабаки — все одно и то же. «Не тешься самообманом, — говорил себе Хольт, — ты катишься по наклонной плоскости. Куда девались все твои благие намерения?»

Возвращаясь в Виденталь, он не видел ни пылающего красками заката, ни своеобразной прелести болотного пейзажа. Засунув руки в карманы пальто, он шагал понурясь, и снег скрипел у него под ногами. Отсюда, издалека, он все отчетливее видел путь, который там, у отца, по необъяснимым причинам привел его к крушению. И пытался представить себе другой путь — тот, на который ступил теперь и в который, честно говоря, по-настоящему не верил.

Там крушение, а здесь его гонит, как щепку. Видно, опять его занесло неведомо куда. Если так, значит, необходимо, не теряя ни минуты, осознать это. Он полон решимости на этот раз вовремя, без промедления свернуть с неверного пути. На этот раз он не впадет в отчаяние и в бесплодный пессимизм. У него в кармане письмо Уты. «Приезжай сейчас или позднее, надолго или ненадолго, как захочешь...» «Сейчас или позднее,— думал Хольт,— но только не слишком поздно. Тогда уж лучше немедленно!» «Я живу одна. Решила навсегда удалиться от людей...» Хольт вспомнил Блома. Жить без людей или в смирении и страхе божьем, как наставляла сестра Мария? Нет, лучше, живя вдали от людей, быть самим собой, навек искоренить в себе тщеславие и честолюбие. Разве не люди были всегда причиной его бед? И Шнайдерайт, и Гундель. А отчужденность, враждебность всех остальных... Удаляясь от людей, разве не бежит он от ударов судьбы? Жизнь в уединении, несомненно, гармонична и послушна всем желаниям человека.

Он пошел быстрее, уже почти решившись. Охотничий дом у озера, затерянный в горах, вдали от больших городов... Хольту рисовалась идиллическая картина. Только поднявшись на крыльцо и отряхнув снег с ботинок, он вернулся к действительности.

В передней Бригитта взяла у него пальто. Через открытую кухонную дверь Хольт увидел, что в кухне хозяйничает какая-то пожилая женщина.

— Господин коммерции советник прислал на ближайшие дни вашей тетушке свою кухарку,— объяснила Бригитта.

— Уму непостижимо!— сказал Хольт.— Разве моя тетушка сама не может сварить картофель в мундире?

— Господин Реннбах,— продолжала Бригитта,— привез всякие продукты, птицу и американские консервы.

— Мне кажется, он спекулирует,— заметил Хольт.— А зачем все это?

Бригитта громко произнесла:

— Фрау Хольт просила вас срочно зайти к ней.

Мать сидела на диване между обоими пуделями. Перед ней на столике лежали письма.

— Садись поближе, мне надо с тобой поговорить,— сказала она.— Курить хочешь? Прошу.— Усвоенный матерью холодный, невозмутимый тон каждый раз заново раздражал Хольта. Он взял сигарету, стараясь успокоиться. Мать вынула из конверта исписанный листок.— Твой отец прислал мне письмо. Он беспокоится о тебе, спрашивает, где ты. Разве ты не сказал ему, что едешь ко мне?

— Можно мне прочесть?— спросил Хольт и закурил.

Фрау Хольт вложила письмо обратно в конверт.

— Все, о чем пишет твой отец, не представляет для тебя интереса,— сказала она и протянула руку за другим письмом.

Хольт откинулся на спинку кресла.

— На днях мы ждем гостей,— продолжала фрау Хольт.— Обещал приехать твой бременский дядя Карл Реннбах. Он собирается по делам в Рурскую область, оттуда в Людвигсхафен и Мангейм. По дороге он остановится у нас, чтобы встретиться с юстиции советником доктором Дёрром.

Хольт задумался. Щурясь и моргая — табачный дым щипал ему глаза,— он старался мысленно представить себе на карте Людвигсхафен. «Далеко ли от Людвигсхафена до Шварцвальда?»

— Надеюсь, ты понимаешь, что означает для тебя приезд этого гостя?— сказала мать.

— А что именно?

— Перестань, Мокка! — Фрау Хольт прогнала пуделя, который, вытянув морду, обнюхивал ее лицо. — Если ты произведешь на Карла благоприятное впечатление, то в будущем он, быть может, примет в тебе участие.

— Так! — сказал Хольт. Он встал, но мать жестом заставила его сесть.

— Несколько слов о докторе Дёрре, — чуть бесстрастнее, чем обычно, продолжала мать, и сыну за ее спокойными словами и сдержанностью почудилась непривычная взволнованность. — Я знаю доктора Дёрра свыше двадцати лет. После первой войны он был председателем земельного суда. В тридцать третьем, ввиду принадлежности к партии центра, ему пришлось оставить суд, найти себе место в промышленности. При бомбежках погибли его жена и дочери. Сейчас это чрезвычайно влиятельный человек, пользующийся доверием оккупационных властей и немецкой администрации. Он вошел в учрежденный на днях зональный совет, который будет консультировать английскую военную администрацию. Видимо, поэтому Карл и хочет посоветоваться с доктором Дёрром. — Она сделала многозначительную паузу. — Ты знаешь, — мать повысила голос и подняла правую руку, как бы требуя особого внимания, — ты знаешь, что я считаюсь с твоим характером, вполне понимаю тебя и не сержусь ни за твою, часто чрезмерную, самонадеянность, ни за твою грубость, столь присущую нынешней молодежи. Но я желаю, чтобы с дядей Карлом и с доктором Дёрром ты был изысканно вежлив, почтителен и скромен. Надеюсь, ты исполнишь желание своей матери. — Она опустила руку и погрузила пальцы в коричневую шерсть пуделя, лежащего около нее. — Все. — И переменив тон, добавила приветливее: — А теперь расскажи о твоём кутеже с Хеннингом.

— Предпочитаю не рассказывать, — сказал Хольт и улыбнулся. — Наша грубость, столь присущая нынешней молодежи, завела нас несколько далеко. Кроме того, с нами были девушки, по своему социальному положению намного ниже нас, а ты ведь знаешь, мама, такие вещи делаются втихомолку.

Фрау Хольт бровью не повела, она даже понимающе кивнула. Хольт встал.

— Что касается дяди Карла и господина председателя земельного суда, юстиции советника доктора Дёрра, — сказал он, бессознательно подражая интонации матери, — то, будь покойна, я не посрамлю полученного мною первоклассного воспитания. — Он улыбнулся. Была ли насмешка в этой улыбке или ярость — он и сам не мог разобраться в своих взбудораженных чувствах.



Празднично, с удвоенным количеством серебра и фарфора был накрыт стол в мрачной столовой. Карл Реннбах и доктор Дёрр при участии большого числа заинтересованных лиц несколько часов совещались за закрытыми дверями. Но вот длинная вереница машин перед виллой поредела. Около пяти часов уселись за стол в узком семейном кругу. Во главе стола восседала тетя Марианна с серебряной цепью, трижды обмотанной вокруг шеи; по правую руку ее занял место доктор Дёрр, рядом с ним — фрау Хольт. Вернер сидел напротив матери, слева от коммерции советника, а против тети Марианны — Карл Реннбах. Посреди стола горел семисвечный канделябр. Мужчины облачились в черные костюмы, тетя Марианна — в темно-серое бархатное платье. И только фрау Хольт была в светлом: на ней было скромное и в то же время нарядное, с узорчатым тиснением, шелковое платье, казавшееся почти белым в этом освещении, без рукавов, с высоким воротником.

Карлу Реннбаху, легендарному бременскому дяде, которого Хольт с детских лет знал только по рассказам взрослых, а теперь впервые увидел воочию, было лет шестьдесят пять. Между ним и его сводными сестрами и братом не существовало никакого сходства. Это был маленький, согбенный, почти горбатый человечек с впалой грудью, короткой шеей и узкой большой головой. Совершенно белые, прямые, длинные волосы были гладко зачесаны назад и почти касались воротника. Над маленькими, глубоко сидящими глазами нависал высокий крутой лоб. Карл Реннбах косил. Лицо его с сильно выступающим тяжелым подбородком было изрезано тысячей морщинок. Он ел фаршированную утку, ел молча, с большим аппетитом, и жир стекал у него по подбородку. Тыкая вилкой в компот из груш, а компотной ложкой зачерпывая соус из соусника, он обильно накладывал себе на тарелку баварский салат. Время от времени, отложив нож и вилку, он старательно вытирал салфеткой подбородок, лоб, шею и снова принимался за еду. Согнутым указательным пальцем он подзывал Бригитту, подкладывал себе все новые и новые куски мяса и опять принимался жевать. За весь обед он не проронил ни слова. Хольт, сидевший наискосок, остерегался заговорить с ним; ему важно было завоевать расположение этого могущественного человека.

Общий разговор не клеился. Коммерции советник что-то оживленно рассказывал тете Марианне. Второй гость, доктор Дёрр, юстиции советник и бывший председатель земельного суда, пятидесятилетний мужчина на respectableйшей внешности, в роговых очках, с темной густой шевелюрой, слегка седеющей на висках, был высок и осанист. Черты лица у него были правильные, только нос несколько крупноват и широк; левую щеку Дёрра пересекал шрам — след студенческой дуэли. Вокруг его красиво изогнутого рта неизменно витала улыбка, голос оставался глубоким и полнотонным, даже когда доктор Дёрр говорил негромко. Сейчас он был всецело занят своей соседкой.

— Дорогая и многоуважаемая сударыня, — часто повторял он, — кто же в эти тяжелые времена станет... Нет, дорогая и многоуважаемая сударыня, мы все-таки надеемся, что события примут счастливый оборот...

Фрау Хольт слушала, чуть склонив набок безупречно красивую голову. Лицо ее, слегка размякшее, выражало отлично сыгранное юное смущение, она улыбалась чаще обычного, а один раз даже негромко рассмеялась залихватным смехом, щаловливо закинув голову.

— Дорогая, высокочтимая, милостивая сударыня, — сказал доктор Дёрр, держа в руке бокал вина и всем корпусом повернувшись к фрау Хольт, — ведь мы все в конце концов хотим одного — мирно жить и трудиться, так давайте же выпьем за долгие, счастливые годы!

Бокалы зазвенели; фрау Хольт медленно опустила ресницы и пригубила вино. Доктор Дёрр, держа бокал у подбородка, описал туловищем полукруг, заглянул каждому в глаза и, улыбаясь, обратился к Хольту:

— Мой милый юный друг, разрешите выпить за вашу юность и в вашем лице приветствовать будущее нашей страны!

Хольт с бокалом в руке обошел вокруг стола, отвесил поклон доктору Дёрру и чокнулся с ним. Все выпили, только Карл Реннбах продолжал есть, ни на что не обращая внимания.

Кофе был сервирован в гостиной. Тетя Марианна встала, пригласив всех следовать за ней. Дамы уселись на диван, мужчины — в кресла за круглый столик. Хольт сел на пуф между обоими дядями и скромно отодвинулся вглубь. Карл Реннбах откинулся коротким туловищем на спинку кресла и вытянул ноги.

— Проклятая подагра! — простонал он и согнутым указательным пальцем поманил к себе Хольта. Тот послушно подсел к нему. Карл Реннбах вытащил кожаный портсигар и, взяв сигару, протянул его племяннику:

— Ну, а ты?

— Спасибо! — сказал Хольт. — Большое спасибо, но я предпочитаю сигарету.

— Понятно, — сказал Карл Реннбах. Он произносил это слово, чуть растягивая и отделяя первый слог: «паа-нятно». Говорил он хрипло, с похрахтыванием.

Дядя Карл откусил кончик сигары и выплюнул его на ковер. Хольт поспешил шелкнуть зажигалкой.

Бригитта с подносом в руках обносила всех коньяком. Карл Реннбах отмахнулся. Он почти лежал в кресле с сигарой во рту и держал у впадой груди чашку кофе. Его косящий взгляд остановился на Хольте. Называл он его «племянник».

— Расскажи-ка, племянник, что там на самом деле творится?

Хольт придвинулся поближе к дяде и тихо заговорил, стараясь не мешать оживленной беседе коммерции советника с доктором Дёрром, обладателем звучного голоса:

— Что там творится? На первый взгляд то же, что и тут, — ответил он. — Но если говорить о перспективах, то они безнадежны. Прокладывает себе путь волна национализации; начали с концерна Флика. Не говоря уже о моральной стороне вопроса, о варварском оскорблении священного права собственности, это и экономически — шаг чистого отчаяния, и если не будет создано центральное управление, то при восстановлении их экономика окажется перед непреодолимыми трудностями. Да и земельная реформа представляется мне преждевременной и спорной.

Карл Реннбах кивнул.

— Паа-нятно! — проскрипел он. — И такая политика популярна там?

— Земельная реформа — безусловно, — сказал Хольт. — Земельный голод был, несомненно, велик. На фронте я знал одного фельдфебеля, так он действительно дрался за свой двор и, вернувшись, увидел, что его здорово надули. Таких немало. Популярна ли национализация в других областях, будет видно. Думаю, что популярна, но ведь предстоит еще референдум. Я познакомился с одним мебельным фабрикантом, у которого, судя по всему, не отнимут фабрику, и он сейчас на седьмом небе — от конкурентов-то его избавляют.

Карл Реннбах рассмеялся. Смех был хриплый, грохочущий, похожий на затаившееся откашливание.

— И ты представь себе, — продолжал Хольт, — как я был поражен, когда в первый же день здесь услышал, что союзники секвестровали имущество «ИГ-Фарбениндурии». Что ж это, по русскому образцу, что ли? Не понимаю.

Карл Реннбах опять рассмеялся: Хольт его забавлял. Смеющимся косящим взглядом он посмотрел на племянника.

— Не только ты не паа-нимаешь, — сказал он, — сами союзники этого не паа-нимают. Но в Потсдаме они приняли какие-то решения, которые окрестили демократизацией германской экономики. А тот, кто в Нюрнберге хочет обвинить нас в нарушении международных соглашений и называет это заговором, не может взять да стереть свою подпись, даже если он и сожалеет о ней. — Дядя допил свой кофе, отставил чашку и опять вытянулся в кресле. — А здесь, племянник, у нас, тебе нравится? — спросил он.

— Благодарю, очень нравится, — ответил Хольт. — Я наконец чувствую себя по-настоящему дома, в своей среде, а в армии ведь водишься со всяким сбродом. Здесь мне хорошо. Меня оптимистически настраивает мысль о тех возможностях, какие таятся в катастрофе Германии, как ни парадоксально это звучит.

— Возможностях? — переспросил Карл Реннбах. — Как это паанять?

— В довоенной Германии ведь все было заморожено, — сказал Хольт. — Все мало-мальски стоящие биржевые ценности были захвачены монополистами. Я убежден, что в ближайшие годы лед тронется, и наступят новые грюндерские времена, что мы вновь станем на ноги. Тот, кто сейчас не дремлет, кто верит, в один прекрасный день может проснуться сказочным богачом!

Карл Реннбах ничего не ответил. Несколько секунд он неподвижно лежал в кресле. Затем встал, взял со стола две полные рюмки коньяку, вернулся в кресло и, протянув одну из них Хольту, засмеялся своим хриплым смехом.

Все разговоры вокруг умолкли.

— Теа, — Карл Реннбах, выпрямившись в кресле, слегка поклонился своей красивой сводной сестре, от чего его сутулая спина согнулась еще больше, — Теа, твой Вернер... парень что надо!

Он потянулся, чтобы чокнуться с Хольтом, глядя на него одним глазом, тогда как второй, косящийся, смотрел в другую сторону. Хольт, улыбнувшись косящему глазу, звякнул своей рюмкой о рюмку дяди. Выпив, Карл Реннбах вновь откинулся на спинку кресла и дружески наклонился к Хольту так, что седые космы на затылке скользнули за уши.

— Что касается твоих грюндерских времен, то до них еще далеко-далеко, — сказал он. — Пока приходится в оба смотреть, если хочешь сохранить то немногое, что осталось. Но твой оптимизм, племянник, меня порадовал, поэтому скажи, чего бы ты сейчас больше всего хотел?

Хольт покачал головой и под маской благовоспитанности скрыл чувство торжества. Все молчали в ожидании его ответа.

— Мне хотелось бы, — сказал он, — чтобы ты взял меня с собой в Людвигсхафен. Я был бы очень доволен.

— Конечно, поедем вместе, разумеется, — согласился Карл Реннбах.

Хольт вежливо поблагодарил. Мать милостиво кивнула ему. В лице его была сдержанность, на губах безупречная улыбка. А в душе — ничего, кроме насмешки.

5

Людвигсхафен был сильно разрушен. В одной из немногих уцелевших гостиниц Карл Реннбах и Хольт с трудом получили один номер на двоих. Педерсен, шофер Реннбаха, притащил наверх чемоданы.

Дядя Карл, в бумазейных кальсонах и душегрейке из кошачьего меха, надетой поверх грикотажной рубашки, сидел на кровати и покрывал, опустив ноги в таз с горячей водой. Хольт достал ему из чемодана носки и свежую сорочку. Потом сам переоделся.

Они поужинали внизу, в ресторане, и Карл Реннбах пригласил племянника в бар выпить грогу.

Хольт устал. Они два дня провели в Дортмунде, еще два в Дюссельдорфе и много часов, не выходя из машины, ехали сюда. «До Шварцвальда недалеко», — думал Хольт. Будь что будет, завтра он туда отправится, хотя мысль о новых мытарствах совсем не радовала его. Из окна машины он наблюдал гяжелые сцены. На всех дорогах — толпы возвращающихся на родину и переселенцев, города и села в развалинах, хаос

первой послевоенной зимы... Хольта пугала мысль снова попасть в этот поток, пугали нетопленные вагоны, залы ожидания, занесенные снегом шоссе.

Горячий грог освежил его. Он спросил дядю:

— Ты надолго удержишься здесь?

Карл Реннбах расслабленно лежал в кресле, узкая голова его торчала между приподнятых плеч, подбородок уперся во впалую грудь.

— Неделью пробуду, не меньше, — ответил он.

Хольту не хотелось уехать тайком и обидеть старика. Он сказал, будто в Карлсруэ у него есть знакомые, хорошо бы воспользоваться возможностью навестить их.

— Ну, конечно, — согласился Карл Реннбах. — Педерсен отвезет тебя.

Он достал сигару, откусил кончик, сплюнул под стол и, закурив, стал разглядывать посетителей. Большинство иностранцы, почти все в штатском, но встречались и офицеры оккупационных войск. После второго стакана грога Карл Реннбах оживился. Как всегда по вечерам, он был благодушно настроен.

— Здесь приятно посидеть, не правда ли, племянник? — спросил он.

Яркое освещение ресторанных залов и уютное тепло бара не могли отвлечь Хольта от тяжелых картин, увиденных там, на заснеженных дорогах; слишком свежо было впечатление безнадежности. Он выпил второй стакан грога и вежливо кивнул:

— О да, здесь действительно очень приятно.

Он не хочет обидеть дядю. А почему в сущности? Вот уж сколько дней носит он маску благовоспитанности и лицемерия, от которой его воротит. Дядя Карл прав, несомненно, «здесь приятно посидеть», и Хольт сказал:

— Мне жалко этих бедолаг на дорогах!

Дядя посасывал сигару. «Дядя — старая лиса, по лицу его никогда не видно, о чем он думает». Хольт пустился на военную хитрость:

— Маленький человек опять за все отдувается!

«Пусть дядя удивится — что это стало с племянником? Пусть рассердится!» Но дядя только посмотрел на Хольта смеющимся косящим глазом и сказал:

— Больше грога не получишь, племянничек, ты уже впадаешь в меланхолию.

Хольт замолчал, раздосадованный.

Карл Реннбах расплатился и велел принести в номер графинчик коньяку. Он поставил его на ночной столик и, лежа в постели, продолжал курить сигару. Лежал он на спине, в ядовито-зеленой пижаме, и лицо его казалось серым и жалким. Натянув стеганое одеяло до подбородка, дядя раскрыл книгу «Исторический труд Геродота Галикарнаесского».

В баре Хольт очень уж неуклюже повел разговор; нет, так просто ему не выманить лису из норы.

— Вот ты ездил в Дортмунд, в Дюссельдорф, приехал сюда, в Людвигсхафен, какие дела у тебя повсюду? — спросил он.

Дядя не ответил. Приподнявшись, он опрокинул в рот рюмку коньяку и продолжал читать.

Хольт лег в постель, закинул руки за голову и спросил изысканно вежливым тоном:

— Союзники тебе простили, что ты строил подводные лодки для нацистов?

Карл Реннбах, держа руку с сигарой на отлете, стряхнул пепел на ковер и сказал:

— Среди союзников немало идеалистов.

— А ты не идеалист?

Карл Реннбах углубился в Геродота. Послюнив палец, он перевернул страницу и ответил:

— Я предпочитаю мыслить практически.

Хольт сел, закурил сигарету и спросил:

— Кто же восторжествует — идеалист или практик?

— Не знаю. — Карл Реннбах захлопнул наконец книгу, заложив все же пальцем страницу. — Не кури в постели, племянник! Курить в постели — дурная привычка!

Хольт погасил сигарету. Карл Реннбах глубоко затянулся и, довольный его послушанием, сказал:

— Я надеюсь, что у западных держав восторжествует реалистическое мышление.

— Ты полагаешь, — сказал Хольт, — что они откажутся от упрощенной политики реванша и подрыва экономической мощи Германии? Ну да, конечно... Ведь председатель этой... американской комиссии по разукрупнению концернов как будто уже получил отставку.

Карл Реннбах бросил косящий взгляд на Хольта и снова раскрыл Геродота.

— Не знаю, племянник, — сказал он. — Я не политик.

— А кто же ты?

— Я предприниматель.

Хольт, лежа со скрещенными под головой руками, разглядывал на потолке лепные украшения в стиле барокко.

— До конца дней моих знать не знал бы о политике, — сказал он. — Но иной раз от нее куда не денешься!

Карл Реннбах помотал головой. Глядя в книгу, он сказал:

— В стране, расположенной у подножия высоких гор, живут люди, мужчины и женщины, которые рождаются лысыми... Скажи, племянник, какой народ имеется в виду?

— Лысые?... недоумевая, повторил Хольт. — Так сказано у Геродота?

Карл Реннбах выпятил нижнюю губу, послюнил палец и, перевернув страницу, спросил:

— Почему от политики куда не денешься?

— Жизнь навязывает ее, — ответил Хольт. — Столько всего видишь, невольно задаешься вопросами. Вот ты сказал, что я впадаю в меланхолию, потому что думаю о людях, бредущих по дорогам. Это не сентиментальность. Я сам бродил по дорогам, не зная, куда меня несет. И сегодня опять наткнулся на контраст.

Карл Реннбах положил книгу на ночной столик и повернулся на бок.

— Проклятая подагра! — простонал он и устремил на Хольта косящий взгляд. — Так, значит, ты наткнулся на контраст... Какой же?

— На вилле у тети Марианны или в аристократическом баре, там, внизу, — это один мир. А есть еще и другой. — Он замолчал. «Какой смысл говорить с дядей, с этой лисой, о таких вещах? О них надо говорить с Утой».

— Так. Значит, есть еще и другой мир. — Дядя Карл явно потешался. — Ты наивен, племянничек! В нашем мире богатства распределены неравномерно, вот что ты хочешь сказать. Один живет в вилле, другой в подвале, и советую тебе не философствовать, а радоваться, что ты не живешь в подвале.

— Значит, забыть, что в мире нет справедливости? — с вызовом спросил Хольт.

Но Карл Реннбах не обратил внимания на его запальчивый тон; он приподнялся, выпил рюмку коньяку и протянул руку за сигарой. Сидя в постели, сгорбившись в своей ядовито-зеленой пижаме, он заговорил. Видно, последняя рюмка коньяку развязала ему язык.

— Справедливость! Это иллюзия, племянник. Посмотри на меня: разве похож я на апостола справедливости? Я судовладелец и банкир, я капиталист, я строю суда, а не царство справедливости на земле.— Взглянув на озадаченное лицо Хольта, он хрипло рассмеялся.— Ты хочешь, племянничек, чтобы я смотрел на мир глазами святоши? Но я смотрю на мир реально: мы живем в век капитализма и желаем этому веку здравствовать, ибо мы с тобой захватили вполне сносное место.

— А если бы... тебе достался подвал? — спросил Хольт.

— Тогда бы я, наверно, вовремя стал коммунистом. Но так как слушаю было угодно уберечь меня от подвальной доли и выделить мне приличный кусок общественного пирога, то я противник коммунизма и слышать ничего не хочу о равномерном распределении богатств. Справедливость, племянничек, — это очень просто. Справедливость коммунистов — это борьба против нашей собственности, а наша справедливость — борьба против коммунизма.

— По-твоему выходит, что Гитлер справедливо уничтожал коммунистов? — спросил Хольт.

— Хватит болтать о справедливости, — сказал Карл Реннбах. — Жизнь показала, что это была ошибка. Я бы отказался от насилия и испробовал иную тактику.

— Какую же? — спросил Хольт.

— Я кормил бы их до отвала, и тогда у них исчезли бы революционные настроения. Эрнст Аббе* был великий человек! Рабочий, который обзавелся собственным домишком, не интересуется революцией, паанимаешь, племянничек? — Карл Реннбах отложил сигару и потянулся к лампе. Свет погас.

Хольт лежал в темноте и думал. Вскоре его начало клонить ко сну. Завтра он отправится в путь, где его ждет неизвестность. Завтра он будет стоять у подножия высоких гор... Высоких гор?.. В комнате было так тихо, что Хольт слышал тикание дядиных часов на ночном столике.

— Ох и шутник же он! — воскликнул Хольт.

— Кто? — спросил дядя, разбуженный его возгласом.

— Геродот, — ответил Хольт. — Дети-то всегда рождаются без волос! Не так ли?.. Вот видишь!



Шофер Педерсен, которому пришлось по дороге сменить покрывку, со значительным опозданием привез Хольта в Карлсруэ и тотчас отправился назад в Людвигсхафен. Холод пронизывал до костей. У Хольта был легкий саквояж, который одолжил ему дядя. На вокзале возле кассы вытянулась длинная очередь. Поезд на Фрейбург уходил около полуночи, и Хольт решил, что возьмет билет позднее. Зал ожидания был битком набит: возвращающиеся на родину, переселенцы, люди, лишенные крова, тащившие в чемоданах и узлах все свое добро. В привокзальном ресторане Хольт с трудом нашел свободный стул. Кельнер только покачал головой. Никакой еды нет, даже самой простой, ничего.

* Аббе, Эрнст (1840—1905) — немецкий физик-оптик. После смерти К. Цейса стал фактическим собственником его мастерских, но отказался от прав владельца и создал особый устав, по которому в правление предприятия входили представители рабочих, государства и университета. Своеобразный либерализм Аббе сочетался у него с резкой враждебностью к рабочему движению.

— За ценой не постою,— пообещал Хольт. Кто знает, когда и где еще можно будет поесть. Но кельнер уже убежал. Хольт закурил сигарету.

— Ничего не поделаешь, господин начальник! — раздался чей-то нахальный голос. За соседним столиком, рядом с многолетней измученной семьей переселенцев, сидело двое мужчин в потрепанных шинелях; один высокий, полный, с одутловатым лицом и ничего не выражающими глазами, другой — небольшого роста, тщедушный. Заискивающе улыбаясь Хольту, тщедушный встал и подмигнул верзиле с одутловатым лицом. Оба подошли к нему. Молодые, лет по двадцать пять, они производили впечатление настоящих бродяг. На верзиле была меховая шапка с опущенными наушниками. Тщедушный обмотал голову шарфом, а поверх нахлобучил фуражку. Глаза на его худом небритом лице беспокойно бегали, рот ни на секунду не закрывался — типичный жулик. Непрерывно подмигивая, он фамильярно заговорил с Хольтом:

— Ничего не поделаешь, господин начальник, — «натша-а-льник» произносил он, — придется переменить ресторан, этот вам не подходит, надо пойти в хороший, если желаете покушать, господин натша-а-льник. Мы проводим вас, мы здесь все знаем, все трактиры и рестораны, поверьте, господин натша-а-льник!

— Сколько? — рассеянно спросил Хольт.

— Окурочек, господин натша-а-льник! За окурочек мы все сделаем, и еще сигареток нам дадите, вон у вас их целая пачка.

Судя по произношению, оба были не местные, но здесь, видно, окочалчивались уже давно.

— Пошли, значит! Кельнер! — позвал тщедушный. — Получите! За наше пиво платит этот господин, верно, господин натша-а-льник? Ведь мы вас проводим, большое спасибо, господин натша-а-льник...

Хольт разменял кредитку в пятьдесят марок, которую достал из внутреннего кармана, и застегнул пальто. Он был слишком хорошо одет по этому времени, для этой поездки, для этого средоточия горя и отчаяния. Верзила шагал позади, тщедушный, не умолкая, угодливо забежал вперед. Они шли по безлюдным улицам, между рядами разрушенных домов.

— Вполне приличный ресторан, господин натша-а-льник, все есть, как в мирное время, самые лучшие кушанья — свиные отбивные, клёцки, что только вашей душе угодно, но дорого, бешеные цены, прошу, вот сюда, уже недалеко — меньше пяти минут ходу, так точно, а теперь направо, да-да, еще только за угол...

Хольт свернул в какой-то неосвященный переулок. Даже не в переулок, а через арку — во двор разрушенного дома. Он так внезапно остановился, что замахнувшийся сзади верзила попал ему в голову не кирпичом, а локтем. Хольт круто повернулся, но тщедушный схватил его за ноги, и он упал ничком на засыпанную снегом кучу щебня. Верзила коленом придавил ему голову. Выкрутив руки за спину, они стащили с него пальто, взяли деньги из внутреннего кармана, отобрали сигареты, саквояж. Хольт изо всех сил сопротивлялся, ему удалось высвободиться, но верзила ударил его ногой по голове, и оба грабителя пустились наутек.

Оглушенный, Хольт лежал на снегу — верзила угодил ему сапогом в лоб. Вскоре он поднялся и в бессильной ярости, шатаясь от боли и тяжести в голове, выбрался на улицу. Фары проезжавшего грузовика осветили его; он ладонью отер лоб, залитый кровью. Грузовик, подпрыгивая на выбоинах, подъехал к нему и остановился. Водитель вез в Оффенбург бочки с мазутом; Оффенбург лежал на полпути к Фрейбургу. Хольт сел в кабину. Водитель, пожилой человек, сказал:

— Заявить в полицию? Бесполезно.

Зал ожидания на вокзале во Фрейбурге был, как всюду, битком набит. Хольт сидел на полу, привалившись к теплой батарее, и без конца думал: как быть, как пробираться дальше, в мороз, без пальто, без единого пфеннига в кармане? Он ослабел от голода, неудачи его преследовали, все оборачивалось против него. У окошечка билетной кассы ему сказали:

— Поезда на Нейштадт не идут, на Хаузах-Фрёйденштадт не идут, на Хелленталь тоже. Попробуйте через Штутгарт — Туглинген — Донауэшинген.

Это такой окольный путь, что Хольту нечего и думать о нем. Ни одна машина не отваживалась подняться в горы по занесенным снегом, обледенелым дорогам.

Его охватила паника: как он мог решиться покинуть теплый отель и пуститься в путь в такое время, по такой стране! У него мелькнула мысль — вернуться. В Людвигсхафене его ждал дядя Карл, в Гамбурге — покой, комфорт, деревянное лицо тети Марианны.

Упорство Хольта оказалось сильнее страхов. Ему необходимо повидать Уту! Он не знал, что ему нужно от Уты. Все равно, необходимо ее повидать! Он вспомнил, что доктор Гомилка жил в Нюрнберге. Но доехать до Нюрнберга было, пожалуй, еще труднее, чем подняться в горы. — до них ведь рукой подать.

Ему удалось поест. Женщины из какого-то благотворительного общества раздавали миски с горячей похлебкой. Наевшись, он уже был в состоянии соображать. Надо искать выход из положения, видно, ничего другого не остается, как ехать через Штутгарт. Но срок справки об освобождении из лагеря военнопленных, которая служила и проездным билетом, кончился. Где же взять денег? Просить милостыню? Нет! Необходимо найти работу. Если ночевать на вокзале, а кормиться у этих благотворительниц, тогда достаточно проработать недели две на очистке развалин, например, — и он скопит деньги на дорогу. Он наугад расспросил нескольких человек, показавшихся ему местными жителями. Работа? Люди только пожимали плечами. Но вот какой-то человек в кожаном пальто не только выслушал его, но и откликнулся.

Хольт шел за ним, опасаясь нового подвоха. Второй раз он уже не попадет в ловушку. Незнакомец говорил по-немецки с каким-то очень твердым произношением. Он долго водил Хольта по улицам Фрейбурга, пока не предложил ему идти дальше одному, все прямо и прямо, до трактира «Лесное озеро», который находится уже за городом, и сказать хозяину, что его послал человек в кожаном пальто. Все это показалось Хольту чрезвычайно странным, но выбора не было, работу надо найти, и теперь-то он на чеку.

Улица, по которой он шел, вела в горы, стеной поднимавшиеся по ту сторону Фрейбурга. Мрачные, покрытые черным лесом Шварцвальдские горы, с непроходимыми тропами, занесенными глубоким снегом. Ледяной ветер вздымал снежную пыль с тротуаров, где ноги по щиколотку погружались в снег. За городом вьюга свирепствовала всюду, и, как ни толст был слой газет, которыми Хольт обернул себя под рубашкой, он замерз и выбился из сил. Наконец он добрался до трактира.

В двух шагах отсюда начинался лес. Дорога круто поднималась в горы. В трактире было пусто. Хольт сел у большой кафельной печи. Хозяин, услышав о человеке в кожаном пальто, приветливо кивнул, внимательно оглядел Хольта, сказал, что ему придется подождать с часок, и принес стакан грога.

— Мне нечем заплатить, — сказал Хольт.

Хозяин махнул рукой. Хольту необходимо было согреться, и он выпил. Вьюга все неистовей завывала за окнами. Хозяин принес второй стакан грога.

— Я же сказал, что у меня нет денег,— повторил Хольт. Но тот опять махнул рукой.

Второй стакан грога был крепче первого, дрожь, сотрясавшая Хольта, улеглась, тусклые лампы загорелись ярче. Немало бед обрушилось на него сразу, но пока что все кончалось хорошо. А теперь недели две поработать — и к Уте. Там он наконец найдет покой. Долго ли просидел он так, полусонный, ощущая приятное тепло во всем теле, он не знал. Не принес ли хозяин третий стакан грога? Но вот перед трактиром оставилась машина, в зал вошли трое, сняли пальто и заговорили с хозяином, все время оглядываясь на Хольта. Человек лет тридцати, в коричневом костюме и толстом спортивном пуловере, молча подсел к нему. У незнакомца было худое, широкоскулое лицо, темные глаза под тонкими бровями, редкие черные волосы, пристальный, изучающий взгляд.

— Вы, я слышал, ищете работу? — заговорил он, глядя на Хольта доброжелательно, словно хотел подбодрить его. И стал расспрашивать.

Хозяин принес им по стакану грога. Алкоголь развязал Хольту язык. Он умолчал только о своей гамбургской родне. Незнакомец потребовал у Хольта удостоверение личности, положил его на стол около себя и сделал знак хозяину принести еще грога.

— Я могу вас устроить на работу, очень хорошо оплачиваемую: военным властям требуются люди...

Военным властям? Хольт насторожился. Но работа хорошо оплачивается! От радости, от облегчения — а не от грога ли? — у него закружилась голова.

Перед ним опять стоял полный стакан, что-то удерживало его, но было поздно: он опьянел. Ах, все равно! Он справится, заработает себе на дорогу, работа хорошо оплачивается. Что такое? Подписать обязательство?

— Но послушайте,— сказал он, и язык уже плохо повиновался ему,— люди дерутся за работу у amis, я хочу сказать — у оккупационных властей, значит, такую работу нелегко получить!

Незнакомец улыбнулся, достал из кармана пачку кредиток, выпущенных союзниками — узких и ярких,— отсчитал несколько бумажек и, держа их в руке, сказал:

— Честно предупреждаю вас: работа не из приятных. Погрузка боеприпасов.

Хольт небрежно махнул рукой.

— Не пугайте! Думаете, мало я перетаскал снарядов?

— Вы сейчас поедете с нами в город,— сказал незнакомец и глазами сделал знак своим товарищам. Затем принес бланк контракта и протянул Хольту химический карандаш.

Контракт был составлен на французском языке. Но дело шло о хорошо оплачиваемой работе, и через две недели все препятствия на пути к Уте будут устранены! Может, к тому времени откроют дорогу на Хелленталь. Хольт был пьян, несколько неуверенно начал он подписываться, и вдруг взгляд его упал на текст. Он не знал французского языка, но два слова он понял: *Légion étrangère* *. Он сразу протрезвел и поднял голову. Незнакомец не спускал с него настороженных глаз. Хольт схватил свое удостоверение личности, вскочил, обезумев от страха и ярости, оттолкнул к стойке незнакомца, с разбегу кинулся на другого, преградившего ему дорогу, выбежал на улицу и помчался, словно сама смерть гналась на ним.

* Иностранный легион (франц.).

Хольт бежал в сторону гор. Никто не преследовал его, но он все бежал, подгоняемый страхом. Пригнув голову, он прорывался сквозь пургу вверх по склону, где ветер с непреодолимой силой гнал его вперед. По ту сторону долины мелькнули огни какой-то деревни, и он, борясь со стихией, устремился туда. Луна, на мгновения вырываясь из облаков, призрачным светом освещала все вокруг, и тогда Хольт видел дорогу, горы и снег, бесконечную снежную пустыню. Огни были далеко, порывы ледяного ветра сбивали его с ног. Лишь через несколько часов, совершенно заочневший, он добрался до огней. Оказалось, что это не деревня, а одинокий шварцвальдский хутор. Хольт застучал в ворота, и его впустили.

За ночь двор завалило снегом. Наутро, проснувшись с тяжелой головой, Хольт разгребал снег, расчищал дорожки. Он старался помочь хозяевам, где и в чем только мог; его кормили, он спал на сеновале над конюшней, исцеляясь сном от своих страхов и усталости. Через два дня хозяин отвез его в ближайшую деревню. Три дня прожил Хольт у кузнеца, человека, скупого на слова, работавшего, не разгибая спины, у наковальни.

Зима отрезала горы от всего мира, сюда не забредал почти никто из возвращающихся на родину или переселенцев, которые наводнили деревни в долинах. Поэтому Хольт вызывал к себе интерес, ему хотели помочь, соседи расспрашивали соседей; оказалось, что кто-то из крестьян собирался в Санкт-Блазиен. Для Хольта очутиться в Санкт-Блазиене означало быть почти у цели. Крестьянин предложил ему поехать с ним.

После многодневной пурги над горами разлилась глубокая синева зимнего неба, и солнце щедро расцветило леса, стоящие в снегу. Хольт, закутанный в одеяла, сидел в сани. Он чувствовал себя прекрасно, он добился своего, цель была близка. Сани мчали его от одной деревушки к другой, все глубже в горы, по заснеженным лесным дорогам, сквозь ущелья, через перевалы, и дух захватывало от первобытной красоты шварцвальдского ландшафта.

Уже смеркалось, когда сквозь столетние ели Хольт увидел башни и крыши Санкт-Блазиена.

За несколько марок он снял комнату на постоялом дворе, там можно было получить и горячую еду. Наутро он привел в порядок свой потрепанный серый костюм, почистил обувь, побрился. Расспрашивая о дороге, он нашел попутные сани. И в полдень оказался у озера. Солнце освещало берега. Охотничий дом был расположен на северном берегу, какая-то женщина показала Хольту, как туда пройти. Он зашагал напрямик по замерзшему озеру, утопая по колено в снегу.

И вот за елями показался дом — деревянный, просторный, на крепком гранитном цоколе, тихий, словно вымерший, с зелеными ставнями под нависающей четырехскатной крышей, на которой лежал толстый слой снега.

6

Хольт прошел через палисадник. Дверь была заперта. Увязая в глубоком снегу, он обошел дом и заглянул в окно.

— Значит, все-таки нашел дорогу ко мне, в мой отшельнический приют, за семью горами, за семью долами,— услышал он голос.

Ута! Закутанная в овечью шкуру, она лежала в шезлонге, стоявшем среди голых кустов, прямо в снегу. Хольт сразу узнал ее.

— Ты только затем и перевалил через горы, чтобы глазеть на меня? — сказала она.— Ступай в дом, возьми там шезлонг и одеяла.

Он повиновался. Вошел со двора в коридор, где пахло навозом, а от туда в просторную, во всю ширину дома, комнату. Несмотря на нависающую крышу, комната была залита светом. Тяжелые потолочные балки, в углу кафельная печь. Посреди наружной стены, выходившей на запад, — камин, сложенный из красного, грубо отесанного гнейса. Меблировка скудная: широкая тахта, которая служила постелью, стол, несколько табуреток. Сквозь вылинявшие камышовые циновки просвечивал добела вымытый пол. У камина — старинная пралка. Вся восточная стена по обе стороны двери — сплошь в книжных полках, тесно уставленных книгами. А на подоконниках и ступенчатых подставках зеленели и цвели сейчас, зимой, комнатные растения.

Хольт взял одеяла, лежавшие на тахте.

Ута спала или прикидывалась спящей. Хольт, закутавшись в одеяла, лежал на ледяном воздухе. Зимнее солнце удивительно согревало лицо. Он думал об Уте.

Некогда она царила в маленьком провинциальном городке, вокруг нее увивались офицеры, адвокаты, дельцы. Она слыла умной, начитанной девушкой, выпускные экзамены сдала с таким блеском, что еще год спустя о них говорили во всех школах. Но не это создавало ей славу. Лейтенантов и школьников сводили с ума ее смелость и ловкость: она ездила верхом, фехтовала, была чемпионкой по теннису. Хольт встретил Уту, когда она была в зените славы, и до сих пор не мог понять, почему она снизошла до него.

Он лежал не двигаясь. По ближнему склону протянулись длинные тени западных гор, они покрыли дом и сад, а горные вершины на востоке еще сияли под лучами солнца. Заметно похолодало.

Ута выбралась из шезлонга и наконец протянула Хольту руку. Не такую нежную и холеную, как прежде, а жесткую и шершавую. Платье на Уте было странное, похожее на мешок из грубой, узловатой ткани и подпоясанное шнуром. Ее светлые волосы — длиннее, чем раньше, — свободно падали на плечи. Из-под платья виднелись чулки ручной вязки, на ногах были ботинки на низких каблуках с верхом из тонких переплетенных ремешков.

Хольт вошел за ней в дом и поднялся по крутой деревянной лестнице. Наверху Ута открыла пустую комнату с голыми стенами, в которой стояла только железная кровать.

— Переоденься! — приказала Ута. На гвоздях, вбитых в дощатую стену, висели старые брюки и поношенный свитер. — Работы много, — холодным, равнодушным голосом добавила она, выходя на лестницу, — и для тебя тоже!

Он переоделся в старье. Ему не хватало прежней насмешливости Уты. Ее резкий, неприязненный тон не мог обмануть его, но ледяной прием все же его отрезвил. Втайне он надеялся, что она встретит его нежно, как когда-то. А сейчас он сразу почувствовал ее превосходство над собой.

Ута ждала внизу. Теперь на ней были брюки. Она показала ему дом — большую комнату, кухню, кладовую, люк, ведущий в погреб, где находился колодец, и хлев во дворе. Ута разводила овец молочной восточнофризландской породы и мериносов; была у нее и пара ангорских коз — редких животных, которых подарил ей один французский помещик.

— Вот это мериносы, — Ута показала Хольту на двух длиннохвостых, почти черных овец. — Не немецкие, смешанной породы, а чисто испанские, эскориальские.

В углу хлева за сложенными до самого потолка кипами прессованной соломы были два загона. Хольт протиснулся между штабелями соломы и увидел ангорских коз. У очень крупного самца, непохожего на

местных козлов, двумя огромными штопорами торчали в разные стороны устрашающие рога. Коза была суягная, рога ее были короче, чем у козла. Длинными шелковистыми космами свисал шерстяной наряд красивых животных.

Ута ласково перебирала пальцами шерсть козы.

— Не знаю, удастся ли мне вывести эту породу, — сказала она деловито. — Здесь климат суровый, тысяча двадцать метров над уровнем моря, а ангорские козы чувствительны к холоду. Кроме того, они не заботятся о приплоде. Этих животных слишком изнежили, у них притупился инстинкт размножения. Они живут исключительно для самих себя... — Ута взглянула на Хольта. — Как люди! — добавила она.

Ута зажгла фонарь, туго повязала голову платком и вдруг накинулась на Хольта:

— Чего стоишь без дела? Убери навоз!

Хольт принял за работу, но Ута тут же взяла у него из рук совок.

— Солому не подбирай, она нужна для подстилки! Бросай в тачку только навоз!

Хольт молча продолжал работать. На темном дворе он въехал в рыхлый снег, и тачка опрокинулась. Ругаясь, он собрал навоз. А когда вернулся в хлев, животные уже были накормлены. Ута подоила коз и овец и расчесала шерсть ангорцам.

С коптящей керосиновой лампой в руках Хольту пришлось спуститься в погреб. Ута подавала ему пустые ведра и на веревке вытаскивала полные. Она ни разу не сказала «спасибо» или «пожалуйста». Она командовала, а он молча повиновался. Потом оба умылись во дворе. Было так холодно, что, пока умывались, вода превращалась в сосульки.



В камине потрескивали горящие поленья. На карнизе кафельной печи горела керосиновая лампа. Ута опять надела платье, похожее на мешок. Волосы, заплетенные в две косы, она откинула за плечи. Ужин состоял из овечьего молока, яблок и хлеба. Ута ела молча, молчал и Хольт. После ужина она принесла кислое красное вино в глиняном кувшине, поставила перед Хольтом коробку с табаком и дала ему связку обкуренных трубок — на выбор. Он закурил и попробовал вино, разбавленное водой.

Ута уселась на тахту, подобрав под себя ноги; деревянная спинка тахты скрипнула. В приоткрытую дверь вошел толстый пятнистый кот; подрагивая хвостом, он уставился на огонь в камине. Потом вскочил на тахту, громко замурлыкал и свернулся калачиком на коленях у Уты.

Молчание угнетало Хольта. Ему хотелось расспросить Уту об ее отце, но мешала скованность, и он сказал наудачу:

— Ужас, что творится кругом. Куда ни глянь — горе, разруха.

— Меня это не интересует. Мне это безразлично, — резко оборвала его Ута.

Он в смущении умолк и продолжал курить. Потом сказал:

— Ты очень изменилась.

— Нисколько, — возразила она. — Вспомни, пожалуйста, что мне всегда все было безразлично: и моя помолвка, и вообще все условности.

— Мне было тогда шестнадцать лет, — сказал Хольт. — Но оставим этот разговор. — Он встал, не в силах подавить чувство глубокого разочарования. — Пойду спать. Устал, как пес. — На пороге он остановился. — Выходит, я пересек всю Германию только для того, чтобы убедиться, что мы друг друга не знаем.

Ута опустила голову на руку, лежавшую на спинке тахты.

— ...что мы друг друга не знаем,— повторила она, не поднимая головы, и продолжала медленно, точно с трудом подбирая слова: — Знать друг друга? Для этого пришлось бы расколоть друг другу черепные коробки и повыдергивать мысли из мозга.

В голосе ее звучала безнадежность. Хольт хотел вернуться, но она сказала:

— Спокойной ночи!



Когда Хольт рано утром сошел в кухню, Ута была уже за работой. Зимой и летом она вставала в четыре утра. Он умылся во дворе. Из печи, пристроенной к сараю, вырывалось багровое пламя.

Ута пекла хлеб. Склонившись над бадьей, она только кивнула ему и приказала:

— Следи за огнем. Дрова в сарае!

Она работала сосредоточенно, лишь изредка роняя слово-другое. Подсыпала в тесто муку — больше отрубей, чем муки,— месила, и пот градом катился у нее по лицу, а мускулы на руках напряглись. Хольт хотел помочь ей, но она кивком остановила его.

— Следи за печью!

Он подбрасывал поленья в трещащий огонь. Тесту полагалось час бродить, и они сели завтракать. Завтрак был самой обильной трапезой дня; они ели поджаренное копченое мясо, яичницу, овечье масло, яблоки, и за столом, и когда они потом работали, Ута по-прежнему молчала. Хольт помогал ей разделять тесто на плоские караваи, выгребать жар из печи и сажать хлеб. Затем они вместе убрали большую комнату и мансарду, помыли посуду, и он отнес готовый хлеб в кладовую.

Ута заботливо полила отстоявшейся водой цветы. К обеду испекла в духовке картофель и заправила его овечьей сметаной. После обеда они отдыхали на морозном воздухе. А когда небо над горами стало темнеть, пошли кормить скотину.

Два-три раза на протяжении дня Ута вдруг останавливалась среди работы, бросала все и шла к садовой калитке. Там, опершись о забор, она долго стояла и смотрела на дорогу, которая вела от озера вверх, к лесу, стояла молча, замкнувшись в себе, словно ожидая кого-то. Потом возвращалась и продолжала работать.

После ужина, состоявшего, как и вчера, из хлеба, яблок и молока, Ута и Хольт еще с час посидели вместе. Она пряла на своей старинной прялке толстую узловатую нить. Очень скоро, хотя вечер только начинался, он пошел к себе наверх. Так, в чередовании труда и отдыха потекли зимние дни.



Тяжелый физический труд и отдых вдосталь, строго размеренная жизнь... Хольт чувствовал себя выздоровевшим, в его мыслях и чувствах уже не было хаоса, который лишал его покоя с той самой минуты, как кончилась война. Но молчаливость Уты угнетала его. Пытаясь сломить молчание, особенно томительное по вечерам, он рассказывал о своем детстве в Леверкузене и Бамберге, рассказывал о матери и гамбургских родственниках, о дяде Франце и дяде Карле. Так рассказал он Уте всю свою жизнь, рассказал и об отце, о том, что отец родился в семье лесника и вырос в деревне.

— Как он познакомился с твоей матерью? — спросила Ута.

Хольта не удивил ее вопрос. Во время войны она часто расспрашивала его об отце.

— Он несколько лет плывал судовым врачом на корабле реннбахской судоходной компании,— ответил Хольт.— А позднее, когда работал в Гамбурге, в Институте по изучению тропических болезней, он, вероятно, и познакомился с Реннбахами. Теперь отец вместе с Мюллером — это коммунист, сидевший в концлагере,— руководит фабрикой в русской зоне.

Ута остановила прялку и села на тахту; деревянная спинка тахты, как всегда, скрипнула.

— Почему ты не остался у отца? — спросила она.

В неплотно прикрытую дверь привычно вошел кот, поглядел на огонь, вскочил на тахту к Уте и, мурлыча, свернулся калачиком у нее на коленях.

— Я потерпел там крах,— сказал Хольт. Он сунул в камин длинную лучину и прикурил от нее трубку.— Мне думается, я вообще потерпел в жизни крах.— Он сидел, согнувшись, локтями упираясь в колени.— Лучше не думать, до чего я опустился за такой короткий срок. Вернувшись с фронта, я долго болел, а потом все это на меня обрушилось.— Он бросил горящую лучину в камин и выпрямился.— Меня швырнуло в жизнь, и я поплыл по течению, как плыл и раньше.

Хольт не старался выставить себя перед Утой в выгодном свете. Без прикрас рассказывал он ей то, о чем не говорил никому: о фрау Цише, о смерти Петера Визе, о Гундель, о Мюллере и Шнайдерайте, о мертвецах в подвале и о не перестававшем терзать его вопросе — в чем смысл жизни.

Ута молчала. Но через несколько дней она вдруг спросила:

— Часто ты вспоминаешь Гундель?

Хольт смотрел в огонь. Смотрел, как гаснут головешки, и ничего не ответил. Все потемнело, но под пеплом тлели угли.

— Да,— сказал он.— Часто. Очень часто. Но у меня такое чувство, точно все это мне лишь приснилось.



Как бы ни было холодно, в полдень Ута и Хольт выносили шезлонги за дом и ложились на солнце, подставляя лицо под его холодные и жгучие лучи. Ута отворачивалась от Хольта. Быть может, она спала. Но однажды она вдруг выпрямилась и стала прислушиваться... Хольт услышал далекий звон колоколов. Ута порывисто поднялась с шезлонга. Хольт встал и пошел за ней.

Ута остановилась у калитки. Мелодичный звон приближался. Она рванула калитку и пустилась бегом по берегу озера. Хольт прошел через палисадник к тому месту у забора, откуда далеко видна была дорога. Со стороны леса приближались сани. Ута побежала им навстречу, но старик, правивший лошадьми, отрицательно помотал головой, и она, бессильно опустив руки, долго стояла, глядя в открытую даль замерзшего озера. Потом побрела назад и молча прошла мимо Хольта в дом.

На сбруе позванивали колокольцы. Сани, нагруженные сеном, подъехали к сараю. Старик, обветренный, со слезящимися от мороза глазами, вылез из саней. Хольт потащил в дом какой-то мешок и маленький бочонок. Потом помог выгрузить сено. Чего ждала Ута?

— Больше вы ничего не привезли? — спросил Хольт старика.

Крестьянин приложил к уху ладонь.

— Больше ничего? — крикнул Хольт.

— Не-е, ничего! — ответил старик.

Хольт движением головы показал на дом.

— Фрейлейн Барним, наверно, расстроилась?

Крестьянин опять поднес к уху ладонь.

Хольт крикнул:

— Она расстроилась, говорю, правда?

— Не-е, ничего,— сказал старик.

Хольт повернулся и ушел.

Уту он застал в хлеву. Она была бледна, подавленна. Фонарь светил тускло, но Хольт не ошибся: Ута плакала!

Он молча принялся за работу. Ута никогда не открывала перед ним свою душу — ни прежде, ни теперь. Сейчас он это ясно понял. Она стояла на коленях. А когда поднялась и, сняв платок, трянула головой, от чего ее густые волосы тяжелой копной рассыпались по плечам, он почувствовал, в последний раз, чары, исходившие от нее, от чистых линий ее лица, от синих глаз под темными бровями. Он вспомнил, как шестнадцатилетним мальчиком прочел сказку Новалиса о певце, о влюбленных, которые в пещере среди скал под раскаты грома и сверканье молнии «навек слились» в первом поцелуе. Тогда началась мечта о любви. Но сказки и мечты лгали. И жизнь, и любовь оказались совсем иными. И жизнь, и любовь полны диссонансов. И жизнь, и любовь грубы, противоречивы, они разочаровывают и опьяняют одновременно. Но жизнь надо принимать такой, какая она есть.

Ута и Хольт сидели за ужином. Она ела мало. Потом, как обычно, поставила на стол кувшин с вином, села за прялку, все такая же молчаливая, замкнутая.

— Почему ты каждый день выбегаешь за калитку? Чего ты ждешь? — спросил Хольт.

Она смотрела мимо него.

— Тебя это не касается.

— Ну что ж, не касается, так не касается. — Хольт потянулся, расправил плечи. — Я великолепно отдохнул. Пора и в путь, думаю тронуться на этой неделе.

Она испуганно, не веря, посмотрела на него.

Он кивнул.

— Значит, не хочешь, чтобы я уехал. В таком случае, брось ломать комедию.

— Оставь меня одну, — резко сказала она, но в голосе ее не было обычной твердости. Хольт отодвинул прялку и, засунув руки в карманы, встал перед ней.

— Я у отца был одинок и в Гамбурге был одинок, и не для того я приехал сюда, чтобы еще острее почувствовать свое одиночество.

Ута поднялась. Она хотела увернуться, но он крепко взял ее за плечи. Ута попыталась высвободиться.

— Не сопротивляйся, — сказал Хольт. Она уже не пыталась вырваться. — Я знаю, — продолжал он, касаясь губами ее волос, — ты всегда противилась мне. А сейчас молчи! Мы не знаем, что нас ждет.



Ночь. Изнеможение. Томительная жажда сна. Но сна нет, только мысли, безостановочный бег мыслей. Почувствуй тепло ее тела, слушай ее легкое дыхание, будь счастлив, ты нашел пристанище! Помни, что ты поднят из пропасти, куда тебя швырнуло это время, возвращен к жизни, которую ты ищешь, — к подлинной, истинной жизни, к любви! Никакая бездна не отделяет нас друг от друга, нет, ничто не стоит между нами, ни отчужденность, ни прошлое. Прошлое? «Если Барним подаст вам о себе весть, вы обязаны немедленно сообщить об этом в гестапо, полковник Барним расстрелян, расстрелян, а теперь убирайтесь, быстро!»

Хольт приподнялся. Огонь в камине погас, в золе ни искорки, взгляд наткнулся на беспросветную тьму, руки ощупью искали Уту, осязали

прохладные волосы, теплую кожу. Ута близко, она здесь. Давно, очень давно он вот так же ощущал ее близость. Он почти забыл это ощущение. Все, что было между далеким вчера и нынешней минутой, — это сон. Хольт опустил на подушки и закрыл глаза.

Все — только сон. Но верь: если сон и тяжек, все равно в какой-то миг канет во тьму то, что тебя давит, и ты посмеешься над этим, стряхнешь все с себя. Страхнешь воспоминания, от которых стынет кровь, — войну, хаос, мертвецов в подвале. И тогда не будет больше казаться, что жизнь твоя пронесется без смысла, без свершений, загубленная на самом пороге. Тебя больше не будет преследовать страшное видение — вот ты сам угасаешь, превращаешься в прах, пыль, тлен. Ничего не увидишь, слепота поразит тебя. Придет час, и следа от тебя не останется, ни одного заблуждения твоего, ни одной твоей правды, ничего. Но забудь об этом, спи.

— Общество изгнало меня, — сказала Ута. — После разгрома меня никто не преследует, но я никогда больше не вернусь к людям. До твоего приезда я была одна на свете. — Голос ее звучал монотонно. — Мать умерла в тюрьме. Ирена вышла замуж за американского офицера и живет сейчас добропорядочной хозяйкой дома в Соединенных Штатах, а ханжой она была всегда.

Ветер завывал в трубах, метель бесновалась вокруг уединенного дома. Зима в горах затянулась, мороз, вьюги, снегопады не прекращались. Снега выпало особенно много. Хольт и Ута придвинули тахту поближе к камину, и Ута, свесив руку, могла подбрасывать в огонь дрова.

— Изгнало, — повторила Ута. — Я бежала в Эльзас, к тому французскому помещику, у которого отец квартировал в 1940 году. Этот помещик спрятал меня. Он презирал культуру и цивилизацию, он немного отстал от века и посоветовал мне читать Толстого. — Она повернула голову к Хольту. — Я прочла «Исповедь» Толстого, и передо мной открылись врата. Я увидела, что нас ждет. А ведь надо жить дальше.

— Жить дальше... — повторил Хольт.

— Ты меня понимаешь, — сказала Ута. — Ты думаешь и чувствуешь, как я. Ты нигде не был по-настоящему дома, твоя семья всегда тяготила тебя. Поэтому ты так рано сбежал от нее.

— Это было ребячеством, — возразил Хольт. — Ты сама назвала это романтикой, подменой романтики...

— Нет, это не было ребячеством! — убежденно сказала Ута. — Ты чувствовал, как опустошены, как низко пали люди, от которых мы происходим. Потому ты и бежал от них. Мы все должны бежать от них, иначе нас ждет такое же разложение. Война лишила нас корней, и теперь мы... — как говорил этот Мюллер, о котором ты мне рассказывал? — мы деклассированы. Что мы знали, кроме страха? Страх перед будущим, перед браком, страха перед концом войны, страха перед разумом. Я чувствовала себя беззащитной, брошенной, отданной на произвол чуждым силам и в полной беспомощности смотрела, как все привычное рушится, идеалы попораны и ни одна мечта не осуществлена.

Хольт испытующе посмотрел ей в глаза.

— Ты сказала: надо жить дальше. А как?

— С достоинством, — пояснила Ута. — Отец учил меня скрывать свое подлинное лицо: внешне всегда владеть собой, а в сердце полностью предаваться сладости заката. Сам он носил маску и старался жить с достоинством, а пришлось ему лишь достойно встретить смерть.

— Это безумие! — воскликнул Хольт, борясь с гипнозом ее слов. —

Им все это было на руку! Владеть собой, держаться с достоинством... По сути дела, мы были их слепым орудием, и только!

— Быть наковальней или молотом. Наковальней, на которой время куёт новую эпоху. — Она говорила, закрыв глаза. — Кто хочет быть молотом, тому будет трудно, тому придется ломать свою жизнь, учиться ненавидеть все, что любил, и полюбить все, что ненавидел. Либо — совсем уйти от людей. — Она отвернулась и подбросила в камин чурку. — Перейти в другой стан или отречься от всего, — сказала она затем. — Маркс или Швейцер.

— А к чему... Какой мне от этого прок?

— Ты знаешь, кто такой Альбер Швейцер? Он показал пример. Он живет в джунглях и лечит туземцев. Вот это деятельный гуманист... — патетически заключила она.

Хольт пожал плечами.

— Возможно. Однако представь себе, что, если бы все врачи отправились в джунгли...

— Пойми меня, — сказала она раздраженно. — Речь идет о том, чтобы выбрать один-единственный путь. Кто не в состоянии это сделать, тот гибнет, как погиб мой отец. Трагедия нерешительных. Нет — трагикомедия... — Она долго молчала. — А точнее — фарс!

■

Скупо, без прикрас, рассказывала Ута об отце, полковнике Барнине, представителе консервативного прусского офицерства. Высокий, сухощавый шестидесятилетний человек, уже по-стариковски ссутулившийся, закоснелый в условностях и предрассудках, — таков был портрет полковника Барнина, нарисованный Утой. Она смотрела сейчас на отца как бы с расстояния, и весь его внешний и внутренний облик представлялся ей великолепной карикатурой на людей его касты. Здесь было все: от монокля до жаргона офицерского казино. А в сущности это был раздвоенный человек, раздираемый мучительными противоречиями, тщательно прятавший от людей свое истинное лицо.

Десять лет он изучал историческую науку, и выводы, сделанные им из новейшей истории, потрясли его. Он впал в глубокий пессимизм, проникся презрением к самому себе и главным образом к сословию, к которому принадлежал и которое считал отжившим свой век. Он презирал людей вообще. Правда, презрение это смягчалось у него словами Гёльдерлина, которые он часто цитировал: «Люблю поколение грядущих столетий». Только с любимой дочерью он был откровенен, только она знала о его полной неспособности жить по велению разума, о его глубокой, жалкой раздвоенности и маниакальном стремлении изображать собственного антипода. Офицер рейхсвера, он презирал Гитлера, но все-таки с готовностью присягнул ему, слегка подавшись корпусом вперед и взяв под козырек. В конце концов, война для него была привычным ремеслом. Но когда начался поход на Восток, его душевная раздвоенность дошла до предела. Как историк, он с самого начала видел преступный характер этого похода, но, верный присяге прусского офицера, принял участие в преступлении. Три года он послушно выполнял все приказы и три года каялся перед дочерью в своем послушании. Лишь двадцатое июля 1944 года * сняло пути с этого двуликого человека и одновременно привело его к краху. Лично он не имел никакого отношения к заговору. Но покушение на Гитлера, эта ломка традиционных устоев, которые он полагал незыблемыми, так потрясло его, что он пересмотрел собственные традиционные представления о чести и долге. Через несколько дней

* 20 июля 1944 года группой немецких офицеров была предпринята попытка покушения на Гитлера.

после 20 июля он вызвал парламентаров и объявил, что полк его капитулирует.

Ута рассказывала, безуспешно стараясь за холодностью тона и иронией скрыть волнение. Хольт видел ее насквозь, видел, как сильно она была привязана к отцу, как и сейчас еще болит незажившая рана, нанесенная его гибелью. Полк Барнима получил приказ — любой ценой, хотя бы ценой жизни, удержать выгодный опорный рубеж по склону холма, расположенного над болотистой низиной, непроходимой для танков. Полк мог еще нанести противнику большой урон. Это, вероятно, и было причиной, по которой парламентары русских согласились участвовать, как сказала Ута, в комедии капитуляции. Полковник капитулировал не «безоговорочно» — именно этот момент он особо подчеркивал. «Капитуляция на почетных условиях», которой он добился после длительных переговоров, заключалась в том, что он лично не сдался. Он потребовал — и требование его было удовлетворено, — чтобы ему разрешили вернуться в расположение немецких войск.

Разрыв телефонного кабеля, уничтожение всех документов, в том числе никому не нужных инвентарных книг и списков зачисленных на довольствие, оглашение последнего приказа по полку — все это было проведено с картинной корректностью. Затем последовал кульминационный пункт комедии: прощание полковника с полком, его изрядно путаная речь, во время которой деморализованным солдатам этого обескровленного полка пришлось обезоружить нескольких взбунтовавшихся против капитуляции офицеров, когда те порывались на глазах у построенных в каре батальонов застрелить командира. Стоя навытяжку, взяв под козырек и слегка подавшись корпусом вперед, полковник пропустил мимо себя свой полк, идущий в плен, сел в машину и уехал. Полевая жандармерия уже ждала его.

За каких-нибудь сорок минут военно-полевой суд, без свидетелей, без защитника, вынес смертный приговор, который тут же был приведен в исполнение. Это было убийство! Ута не скрывала больше своего волнения. Председателя военно-полевого суда нет в живых. Да он и был всего лишь послушным орудием в руках настоящего убийцы — некоего полковника, начальника разведывательного отдела армейского корпуса. Ута лично знала его, знала и о его приказах карательным отрядам этого корпуса на Украине еще в сорок первом, во время массового расстрела евреев! Этот господин, с дьявольской изобретательностью шантажируя членов суда, убил ее отца. Вне себя от ненависти, Ута каким-то лишь ей свойственным жестом прижала левую руку к горлу.

— Его фамилия фон Грот, — продолжала она. — Если он жив, да смилуется над ним бог!



Хольт стоял у садовой калитки. Ута бежала по прибрежной дороге навстречу саням. Крестьянин остановил лошадей и протянул ей письмо.

Ута, бледная и взволнованная, направилась в дом. Хольт занялся лошадьми. Когда он вошел в комнату, крестьянин сидел у печки, а Ута что-то писала за столом. Хольт через ее плечо прочел адрес: «Господину де Жакар, Дьез, департамент Мозель, Эльзас-Лотарингия...» Телеграмма была составлена на французском языке. Ута вплотную подошла к крестьянину и прокричала ему в ухо:

— Дождетесь, пока придут две телеграммы. Вечером привезете их, здесь переночуете, а завтра утром отвезете меня во Фрейбург. Понятно? Может, хотите что-нибудь спросить?

— Не-е, ничего, — сказал старик.

Он уехал.

Что это за письмо, которое Ута так ждала? Что нужно ей во Фрейбурге? Хольт понимал, что все это, очевидно, связано с ее отцом. Вечером он рылся в книгах Уты. Он решил выждать. Придет час, и она ему доверится. Беллетристики на полках было мало, в основном — французские авторы и русские — от Пушкина до Горького. В центре стояло полное собрание сочинений Льва Толстого. Остальные полки заполняли краткие руководства и университетские учебники по самым разнообразным отраслям науки. Неужели Ута все это читает?

— Письмо на столе, — сказала она.

Хольт увидел печатный бланк: «Д-р Гейнц Гейнрихс, д-р Ганс Гомилка, нотариусы, адвокаты по уголовным делам. Адвокатская контора, город Фюрт».

Хольт был поражен.

— Ты переписываешься с доктором Гомилкой?

«Глубокоуважаемая фрейлейн Барним! — прочел он. — Сообщаем, что мы наконец установили местопребывание разыскиваемого господина Г. Однако ввиду того, что Г. находится вне нашей юрисдикции и существует опасность, что он может уклониться от ответственности, мы считали бы необходимым Ваше присутствие, дабы вместе с Вами предпринять энергичные меры. Нам не хотелось бы скрывать от Вас, что без содействия французской военной администрации мы не питаем больших надежд на дальнейший успех. Письмо мосье де Жакара из Дьеа к мосье Аберу во Фрейбург, с просьбой отнестись к Вам с вниманием, было бы весьма полезно, оно помогло бы заинтересовать Вашим делом военную администрацию. Пожалуйста, попросите телеграфно мосье де Жакара направить в адрес нашей конторы такое письмо. По получении письма, о чем мы известим Вас телеграммой, будем ждать Вас во Фрейбурге для срочных переговоров.

С глубоким уважением Гейнрихс и Гомилка, адвокаты».

— Возьми меня с собой во Фрейбург, — сказал Хольт.

Ута ничего не ответила, даже глаз не подняла от прялки. Хольт стоял у окна, смстрел в ночь, вглядываясь в отражение своего лица в черном стекле; лицо было чужое, непонятное. Он подошел к книжным полкам и, засунув руки в карманы, рассеянно читал названия книг на корешках.

Рихард Хольт. Нет, он не ошибся — имя отца. Он достал с полки одну книгу, вторую, третью — на столе выросла большая стопка книг и брошюр. С тяжелым чувством стал он перебирать их. Вот несколько сброшюрованных страниц: «Специальный выпуск журнала иммунологии, 1929»... «О спонтанных колебаниях опсонического показателя при местных стафилококковых инфекциях у морских свинок... Д-р мед. и фил. Рихард Хольт, орд. проф. бактериологии Гамбургского университета»...

Хольт знал, что отец написал несколько книг, в детстве даже гордился этим, но никогда не интересовался трудами отца и попросту забыл о них. Буквы расплывались у него перед глазами. Неожиданная встреча с отцом взволновала его.

Ута, иронически улыбаясь, подошла к столу и взяла из стопки толстый том. «Проблемы теории происхождения. 24 лекции. К защите эволюционной теории против метафизики и витализма. Гамбург, 1933».

— У меня есть знакомый, которого мучает уйма вопросов, — сказала она. — Смысл жизни и тому подобное. Он и в самом деле ищет ответа на них? Но ведь он мог бы найти его в трудах своего отца. Нет, видно, ему просто хочется заполнить свою внутреннюю пустоту эффектными вопросами.

Хольт смущенно перелистывал брошюры, статьи, трактаты. «Патологические явления дегенерации у пещерных медведей... 1911». Он вспомнил, что вначале отец работал в области сравнительной анатомии, ездил

с какой-то экспедицией в Южную Африку и производил раскопки в поисках окаменевших гигантских ящеров. Когда началась первая мировая война, его там интернировали. В местных больницах он столкнулся с малоизвестными тропическими заболеваниями; изучая их, он впоследствии перешел к микробиологии... Хольта вдруг охватило недовольство собой, возмущение матерью, которая пичкала его лживой моралью и отдалила от отца.

Ута положила перед Хольтом том лекций.

— Смысл жизни? — сказала она. — Поищи его здесь или в Библии.

— Перестань! — сказал он. — Возьми меня с собой во Фрейбург.

Хольт чувствовал, что с ним что-то происходит, но что, он и сам не знал.

Все еще январь? Или уже февраль? Зима в горах держалась крепко. Хольт старался справиться с не покидавшим его беспокойством. Он брался за тяжелую работу, пилил дрова, все больше освобождая Уту от хлопот по дому и в хлеву. Но беспокойство не оставляло его.

Ута не возвращалась более к разговорам о книгах профессора, о полученном письме, ни словом не вспоминала о докторе Гомилке. Зато все чаще поговаривала о весне.

— Когда земля оттает, мы начнем корчевать пни за садом. А летом построим террасу. Арендатор привезет нам несколько подвод камней.

Арендатор был сыном старика, которого Ута ждала опять. Расположенное у подножия гор имение Барнимов, вернее, большое крестьянское хозяйство, принадлежало теперь Уте и ее сестре. Они сдавали его в аренду, точно так же, как второе имение, поменьше, во Франконии.

«Легом мы с тобой...» — говорила Ута. Она постоянно говорила теперь: «Мы с тобой».

«Весна, — думал Хольт. — Лето. Осень. Снова зима. Год начинается, завершает свой круг, кончается. И так год за годом. В отшельничестве. Год за годом».

День нанизывался на день, в какой-то из них опять появился старик.

Он приехал вечером, когда уже темнело, и молча сидел у натопленной кафельной печки, а Ута тем временем на санях мчалась через замерзшее озеро, направляясь к стоявшему на отшибе, у лесной опушки, хutorу. Она хотела попросить соседа присмотреть в ее отсутствие за скотиной.

Вернувшись, она стала готовиться в дорогу.

Выехали в четвертом часу утра. Ута дала Хольту тяжелый овечий полушубок. Она села в сани, он закутал ее в одеяла и уселся рядом. Небо было ясное, звездное, холод стоял лютый. Ута велела старику убрать колокольца. Лошади тронули, сани бесшумно заскользили сквозь ночь в лесистые горы. Лишь громкое дыхание лошадей время от времени нарушало тишину.

Ута спала, прильнув головой к плечу Хольта. А ему не спалось, и он встретил рождение дня в горах. Он смотрел, как исподволь бледнеют звезды, как за вершинами занимается иссиня-молочный свет нового дня... Но вот показалась долька солнечного диска, и снег ослепительно отразил его лучи. На заснеженных дорогах сани то ныряли в сумрачную чащу высокого бора, куда едва проникали солнечные лучи, то возвращались под щедрое золото солнца, и так, по отлогим серпантинам и крутым подъемам достигли перевала. Отсюда во всю ширь открывался южный Шварцвальд. На западе волнистой грядой плавно поднимались горные вершины, а в самом дальнем южном углу зубчатый ледяной

массив швейцарских Альп сливался в прозрачном утреннем воздухе с синевой неба.

Проснувшись, Ута не проронила ни слова. Молчал и Хольт, потрясенный первозданной красотой ландшафта. На дно ущелий, дымя, низвергались водопады, оставляя на скалах длинные ледяные сталактиты. Из глубокой тени скалистых расщелин солнечный свет выхватывал причудливые силуэты изуродованных елей. Кристаллы инея, снег на сучьях и ветвях деревьев разлагали солнечные лучи на цвета спектра и переливались в лесном сумраке огнем алмазов.

— Мне думается, на земле нет края, более прекрасного, — сказал Хольт.

— И более одинокого, — добавила Ута.

— Неужели ты всю жизнь хочешь прожить в этой глуши?

— Да, — ответила она упрямо. Сани скользили под гору. Сияющий купол неба покрылся легкими белыми облаками. — Жизнь пройдет быстро. А что я могу еще придумать?

— Ты могла бы жить и в городе, — сказал Хольт. — Учиться, например.

— У меня есть работа, есть хлеб, молоко, овечья шерсть. А когда мне кажется, что горы надвигаются на мой одинокий дом, на помощь приходят книги.

— А люди? — спросил Хольт.

— Кого ты имеешь в виду? Тех, кто окружал нас с тобой? Что еще нужно тебе, после двух мировых войн, чтобы увидеть всю гниль, всю мерзость того гнезда, из которого мы с тобой вышли?

— Пусть так, — согласился Хольт. — Но ведь есть и другие люди.

— А кто, скажи мне, из этих других пришел к такому же краху, как я? — спросила она.

— Ты права, — сказал Хольт. — Оставим этот разговор.

Но она не успокаивалась. Почти касаясь губами его уха, она внушала ему:

— Надо уйти от людей. Никто не может отнять у человека права отвернуться от своего ближнего! Читай Толстого! Ты поймешь меня, когда прочтешь «Исповедь». Толстой вращался в изысканном обществе и вдруг, уже в зените славы, ушел от людей и жил как простой крестьянин, даже сам тачал сапоги.

— И зачем это все? — спросил Хольт.

— Чтобы стать другим человеком. Во имя этой цели я и ушла навсегда от людей, которых изуродовала собственность.

— А заодно и от других! — сказал Хольт.

— Бедность, к сожалению, не очень-то облагородила этих других, — возразила Ута. — А кто не терпит отступления от общепринятых условностей, кому тошно смотреть, как едят с ножа, тому лучше уйти от людей вообще.

Небо затянуло тучами. Неожиданно пошел снег. Все посерело, воздух помутнел.

— Стать другим человеком — это звучит хорошо. Но что ты вкладываешь в эти слова? Чего ты хочешь?

— Хочу довольствоваться малым, — сказала она, опустив голову ему на плечо. — Хочу жить без желаний, быть отзывчивой, хочу вытравить в себе всякое чванство, высокомерие, жить вдали от всякой культуры и цивилизации, презирать всякую собственность. Хочу трудиться и трудом рук своих добывать все, что мне необходимо. Хочу ждать, спокойно, без волнений и тревог.

— Ждать? Чего? — спросил Хольт.

Она закрыла глаза. Голос ее звучал монотонно.

— Жизнь быстро проходит. Неудержимо сменяют друг друга картины природы. За длинными ночами и короткими днями следует время года с длинными днями и мимолетными ночами, год, совершив свой круг, уходит, и все повторяется сызнова, год за годом. Из-за гор набегают снежные тучи, потом дует фён, и в воздухе разливается аромат отавы. Альпийский колокольчик показывается из земли, цветет и увядает, и люди — как это там сказано?.. — люди-страдальцы, их мчит быстротечная жизни река, от порога к порогу, в пропасть забвения. Глухарь токует из года в год, он ничего не знает о времени, о котором мы тоже ничего не знаем. Да и вся жизнь — это несколько мгновений. За один человеческий век сменяются двести поколений полевых мышей, а за двести людских поколений звезды перемещаются по небосводу менее чем на одну сферическую минуту. Мы открываем глаза и, успев лишь мельком оглядеть мир, уже закрываем их навек. — Помолчав, она добавила: — Этого я и буду ждать в своей глуши, за семью горами.

8

Когда сани выехали в долину, гряда гор погрузилась в туманную мглу вьюжной ночи. Хольт увидел огни Фрейбурга. Ему казалось, будто он очнулся после долгого сна. Горы Шварцвальда, сказка зимнего леса, заснеженные ели и искрящийся иней, ледяные каскады водопадов, уединенный дом, дни и недели на пустынном берегу озера — все это сон, а теперь он проснулся.

Фрейбург был явью. Город жил. На улицах, белых от только что выпавшего снега, было шумно илюдно. И опять Хольта поразило то же противоречие, которое недавно так угнетало и пугало его: здесь — поспешно отстроенные отели с роскошными ресторанами и барами, сверкающие вереницы машин оккупантов у подъездов, а там — разрушенный старый город, где высилась только одна уцелевшая колокольня собора. Платки и ватники переселенцев служили лишь фоном для шинелей французских офицеров и меховых шубок их дам.

Хольт жадно впитывал в себя картину города. Он долго был отрезан от жизни, но земля продолжала вертеться без него. Ночью, в голой холодной комнате какой-то монастырской гостиницы, он стоял у окна и смотрел сквозь пелену снега на ярко освещенный фасад большого отеля.

Наутро крестьянин уехал назад, а Хольт и Ута отправились в контору фрейбургского юриста, где Ута условилась встретиться со своими адвокатами. В полупустом помещении конторы было очень холодно. Печи не топились, секретарша, закутавшись в одеяла, сидела за машинкой и окоченевшими пальцами стучала по клавишам. Ута и Хольт ждали в маленькой комнате. Ута волновалась. Понизив голос, она рассказывала Хольту о докторе Гомилке, об отце. Лицо ее, обрамленное высоко поднятым воротником шубы, было бледно, измученно. Но вот, наконец, вошел доктор Гомилка.

Он почти не изменился. Седые волосы поредели, лицо немного постарело, но сходство с сыном по-прежнему было поразительным, по-прежнему он говорил сверхизысканным языком, без нужды подчеркивая отдельные слова.

— Очень, очень рад вас видеть, фрейлейн Барним, — сказал он. Руку Хольта он долго не выпускал. Обими руками он пожимал ее, с трудом сдерживая радость. — Мой дорогой Вернер, вы не представляете себе, как я обрадовался, когда узнал, что встречу вас здесь. Хотя мне было извест-

но, что вы внезапно покинули отца, что вы... как говорит Цицерон, *abiit, excessit, evasit, erupit...**

— Откуда вы знаете, что я уехал от отца? — Хольт был крайне удивлен.

— Гундель сообщила нам об этом, — сказал доктор Гомилка.

Неожиданно услышав имя Гундель, Хольт растерялся. Он отвел глаза от адвоката, уклонился от взгляда Уты и уставился на большой отрывной календарь, висевший на стене.

— Мы недавно получили от нее письмо, — продолжал доктор Гомилка. — Ведь она уехала от нас к вашему отцу, чтобы ждать вас там. Она все еще надеется, что вы вернетесь. Но об этом позднее. Прежде всего, я счастлив видеть вас в полном здравии! Моя жена и я считаем вас нашим добрым другом. То, что вы сделали для Зеппа и для нас, да еще в такой опасный момент... *Amicus certus in re incerta cernitur*,** как говорит Энниус.

Он повернулся к Уте и, прислонившись к письменному столу, вытащил из внутреннего кармана пиджака какие-то бумаги.

— Итак, перейдем *in medias res****. Мы уведомили соответствующие инстанции французских военных властей о том, что вы приедете.

Хольт все смотрел на календарь: 18 февраля.

Доктор Гомилка сложил письмо.

— Видите, — сказал он, — дело как будто принимает благоприятный оборот.

— Поспешный вывод, — послышался голос с порога.

В дверях стоял второй адвокат, доктор Гейнрихс, высокий худой человек в измятом костюме из штапельной шерсти. Его желтое дряблое лицо, казалось, разъедено скепсисом. Под холодными глазами — опечаленные мешки, щеки обвисли, в уголках рта залегли глубокие морщины.

Доктор Гейнрихс, чуть не по локоть засунув руки в карманы, стоял, привалившись к дверному косяку.

— К сожалению, успеха мы не добились. Успеха и в помине нет, — сказал он. — Прокуратура считает, что наше дело создаст прецедент; она опасается, как бы правоведы на основании параграфов 52 и 54 уголовного кодекса не нанесли ей сокрушительный удар... Вам все понятно? — Он окинул присутствующих холодным, мрачным взглядом.

— ...сокрушительный удар, — пояснил доктор Гомилка, — это означает, что одного указания на фактические обстоятельства, хотя бы и заслуживающие осуждения, недостаточно для возбуждения судебного дела.

Легко льющаяся речь адвоката словно издали доносилась до Хольта. Он упорно смотрел на календарь: подумать только — он провел в глуши больше месяца, и это было бессмысленно прожитое время. Он не избавился от растерянности и только сильнее запутался... А не было ли сказано, что кто-то надеется на его возвращение?

— Прокуратура, — начал опять доктор Гейнрихс, — хочет, очевидно, выждать, пока союзнический суд в Нюрнберге решит вопрос относительно упомянутых чрезвычайных параграфов, на которые теперь все чаще ссылаются. Так что об успехе нечего и говорить.

— Речь идет о соображениях формально-правового порядка, — добавил доктор Гомилка.

— Речь идет об убийстве, — сказала Ута.

— Да, об убийстве, — подтвердил доктор Гейнрихс, и его широкий рот дернулся в саркастической усмешке. — Грот сидит в офицерском

* Убежали, удрали, ускользнули, улетучились (лат.).

** Истинный друг познается в беде (лат.).

*** К сути дела (лат.).

лагере в Соединенных Штатах. Он для нас недостижим. Но даже если бы он находился в пределах нашей юрисдикции, возможность начать против него процесс в настоящее время исключается.

— Вы не хотите больше заниматься моим делом? — взволнованно спросила Ута. — Отказываетесь от него?

— Что вы, что вы, дорогая фрейлейн Барним! — воскликнул доктор Гомилка. — Единственно, чего мы хотим, это упрятать Грота за решетку, — он бросил неодобрительный взгляд на своего коллегу, — и если существует правосудие, это нам удастся. — Он опять вынул из кармана какие-то листки и, поглядывая через очки на Уту и Хольта, продолжал: — Дивизия, в которую входил полк вашего отца, в 1940 году стояла во Франции.

— Грот в ту пору был начальником разведки в штабе дивизии, — добавил доктор Гейнрихс, все еще стоя в дверях.

— 16 октября 1940 года, — продолжал доктор Гомилка, — в письме к брату, написанному от руки, Грот сообщал, что на своем участке он намерен при любых обстоятельствах сломить сопротивление французского гражданского населения. В другом письме к брату, от 2 ноября, написанном, как и первое, от руки, он сообщает, что по его приказу расстреляли двадцать одного человека, в том числе местного священника, в качестве акта возмездия за нападение, совершенное неизвестными лицами на военный склад.

— Если вы предъявите эти письма французским военным властям, — подчеркивая каждое слово, сказал доктор Гейнрихс неожиданно твердым и решительным голосом, — французы потребуют у американцев выдачи Грота, и вы посадите его в тюрьму. А уж оттуда он никуда не денется. В один прекрасный день мы вытащим его в Германию и тогда... — Гейнрихс поднял глаза на Уту, но теперь в его взгляде, по-прежнему холодном и безжалостном, отнюдь не было безнадежности, — и тогда он получит по заслугам. За все. Без пощады!

Ута поднялась. Встал и Хольт. Только теперь он заметил у доктора Гейнрихса на лацкане пиджака красный треугольник.

— Где эти письма? — спросила Ута.

— Если хотите, после обеда поедем вместе за ними, — сказал Гейнрихс.

— Боюсь, — заметил доктор Гомилка, — что это влетит вам в огромную сумму!



Хольт сидел с доктором Гомилкой в одном из кафе, в старой полуразрушенной части города. Было холодно, тускло горел свет. Хольт рассказывал о себе уже больше часу.

Доктор Гомилка зябко запахнул пальто.

— Не сомневайтесь, я очень внимательно слушал, — сказал он. — Я вас понимаю. Но если вы ожесточились против своих учителей и даже против родного отца, если вы не желаете с ними считаться, как же я, именно я, могу вам что-либо советовать? Вы возмущаетесь нами, старшим поколением, вы негодуете на нас за то, что в свое время мы не были достаточно прозорливы, а теперь с неприличной поспешностью отреклись от своих убеждений — так разве все эти обвинения не относятся в первую очередь ко мне?

— Вы указали Зеппу правильный путь, — сказал Хольт. Он сидел в своем овечьем полушубке, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди. — Еще во время войны вы пересмотрели свои убеждения и не предоставили Зеппа самому себе.

— Это верно, — сказал доктор Гомилка. — В последние годы я дей-

ствовал против существующего строя, пуская в ход хитрость и изворотливость, скрываясь за своей принадлежностью к национал-социалистской партии и за частоколом юридических параграфов. Мне удавалось иногда затянуть процесс по какому-нибудь политическому делу до бесконечности, я не останавливался перед тем, чтобы уничтожить тот или иной документ, тайком пронести записку от заключенного, и Гундель вам расскажет, что немало гонимых, преследуемых людей нашли у меня помощь и поддержку. Нынче я «денацифицирован», открыто живу и работаю, но я не оправдываю себя, я полностью признаю свою вину в том, в чем вы огулом обвиняете все мое поколение,— в нашей несостоятельности, в роковом заблуждении, которому мы поддались в решающий период до 1933 года.

Хольт не шевелился, в его ушах еще звучало имя Гундель, произнесенное адвокатом.

— И вот еще что,— настойчиво продолжал доктор Гомилка.— Я уважаю все ваши решения, даже если не все ваши поступки после войны можно извинить... Но не будем говорить о том, на что у вас есть право и на что нет. Само собой разумеется, после всего, что вам пришлось пережить в ранней юности, вы бесспорно имеете право оглядеться и в корне пересмотреть свои взгляды, хотя непривычная и опасная свобода может опять привести вас к мысли о заблуждении и вине...— Доктор Гомилка вздохнул и замолчал, устало махнув рукой.— Только одного...— продолжал он, собравшись с мыслями.— Тут я прошу вас еще и еще раз подумать! Только одного не следует делать — это скороспело, это поверхностно и лишь запутывает,— нельзя делить нашу общенациональную вину между поколениями! Иначе мы подменим актуальную проблему цепью исторических причин, давящих на нас, как рок. Никогда не забывайте — глубоко заблуждались люди как моего, так и вашего поколения, а в подполье, в тюрьмы, концлагери уходили и молодые и старые.

Перед Хольтом сразу возникло морщинистое, изможденное лицо Мюллера и молодое, решительное — Шнайдерайта.

— Наши поколения не разделяет пропасть, о которой вы говорите,— продолжал доктор Гомилка.— Нет, не поколение мое оказалось несостоятельным. Спасовала наша социальная прослойка, наша каста, претендовавшая на роль духовной элиты нации. А это означает, что мы, пожалуй, навсегда потеряли право претендовать на подобную роль.

Хольт зябко поежился. «Потеряли. Да, потеряли, отдали ни за грош. Значит, надо все-таки уйти от людей, жить отшельником».

— Оставим этот разговор,— сказал он и, сам того не замечая, покачал головой, точно был недоволен своими мыслями.



Ута и доктор Гейнрихс вошли в кафе. Ута, раздумываясь с мороза, сняла шубу и небрежно бросила ее на спинку стула. Доктор Гомилка подозвал кельнера и заказал какое-то горячее питье.

Гримаса гнева и презрения кривила рот доктора Гейнрихса.

— Бандит,— сказал он,— головорез. Этот бывший штабс-фельдфебель почуял, что может здесь пожить, как никогда. Знаете, как он воспользовался столь счастливым случаем? Он потребовал за письма двадцать тысяч марок!

— Двадцать тысяч! — в ужасе воскликнул Гомилка.

— И сохрани бог, не в нынешних бумажных деньгах,— продолжал доктор Гейнрихс, беря сигарету и протягивая коробку Хольту.— Нет, в твердых ценностях.— Адвокат достал из внутреннего кармана конверт

и вынул исписанные листки.— Вот они, письма. Мы выдали этому бандиту обязательство на двадцать тысяч марок в залог под франконское имение, с выплатой после стабилизации марки.

— Чистейшее вымогательство! — воскликнул потрясенный Гомилка, с укором глядя на Уту.— Как могли вы пойти на такие условия?..

— Это мое имущество, — сказала Ута.— Дело идет о моей собственности, и отчитываться я обязана только перед сестрой.

Хольт губами сжимал сигарету и шурился от дыма, щипавшего глаза. «Двадцать тысяч, — думал он, — ее имущество, ее собственность...» И вспомнил: «...хочу презирать собственность...» Подумаешь, героизм! Презирать собственность, когда ее на все хватает, — проще простого. И вдруг Хольт понял аскетизм Уты — всего лишь причуда собственника. Стать другим человеком? В своих имениях она такая же, какой была, хотя и в новом духе.

Еще одна иллюзия! Отсюда, на расстоянии, картина отшельничества в горах подернулась туманом, поблекла. Манивший к себе путь оказался ложным. Перед Хольтом были те же острые и неразрешимые противоречия.

— И с этим сном покончено! — пробормотал он.

— Что ты сказал? — спросила Ута.

— Ничего, — ответил Хольт.— Нимба больше нет.

— Что это значит?

— Ты меня понимаешь.

Ута посмотрела на него долгим вопросительным взглядом. Но вот ее взгляд застыл, она порывисто обернулась к доктору Гейнрихсу.

— Вы отвезете нас послезавтра в горы? — спросила она, и в голосе ее прозвучал страх.

Хольт думал: «Что мне там нужно? Больше там нечего делать...»

— Главное, не застрять бы нам, — сказал доктор Гейнрихс.— В этом проклятом снегу...



Дом на берегу озера занесло по самую крышу. Хольт сразу увидел: в их отсутствие здесь не ступала нога человеческая. Ута, чуть не по грудь увязая в сугробах, с трудом добралась до сарая. Хольт двинулся за ней. Они разгребли снег перед хлевом. За стеной блеяли овцы. Наконец удалось открыть дверь. Овцы рвались с привязи. За штабелями пресованной соломы, холодные и неподвижные, лежали ангорские козы.

Ута стояла, не шевелясь. Она побелела. Хольт с безучастным любопытством следил за ней. Сердилась она на соседа, что он в эту выюгу не погнал лошадей через озеро?

— Никто не может отнять у человека право не заботиться о своем ближнем, — сказал он.

Она нервно повернулась к Хольту... Но так и не сказав ни слова, отошла от него.

Молча они принялись за работу. Хольт затопил в комнате печь. Все нежные растения на окнах замерзли.

Доктор Гейнрихс, по локоть засунув руки в карманы брюк, стоял у печи.

— Вы как будто жили сначала в русской зоне? — спросил он.— Почему не остались там?

— По личным мотивам. Впрочем, сейчас в Германии повсюду одно и то же — что там, что здесь.

— Нет, не совсем, — сказал доктор Гейнрихс.— Там с гораздо большей решимостью пытаются разобраться, какие силы стояли за фашизмом.

Хольт вспомнил вечер в бараке, продуваемом сквозняком.

— Пожалуй, вы правы,— сказал он.— Да, там стараются открыть глаза людям, вот, например, в Союзе антифашистской молодежи разъясняют, кто давал деньги нацистам, и так далее.

— Как раз в «и-так-далее» и все дело! — с тонкой усмешкой сказал адвокат.

— Вы имеете в виду соглашение, которое союзники заключили в Потсдаме? — спросил Хольт.

— Я имею в виду,— холодно глядя на Хольта, сказал доктор Гейнрихс,— что это соглашение не должно остаться на бумаге.

В голове у Хольта все перемешалось: упрощенная политика реванша и подрыв экономической мощи Германии, демократизация, денацификация... Разговор с Гейнрихсом не доставлял ему никакого удовольствия.

— Вы адвокат,— сказал он,— на мой взгляд, вас слишком занимает политика.

— Я социал-демократ,— сказал Гейнрихс.— Левый социал-демократ, как нас называют. До тридцать третьего года я защищал коммунистов. Поэтому после пожара в рейхстаге меня бросили за решетку, а позднее перевезли в Берген-Бельзен. Лагерь дорого мне обошелся, я едва не поплатился жизнью. По-вашему, меня чрезмерно занимает политика? Так разрешите сказать вам, что я выступаю за полное уничтожение фашизма со всеми его корнями.

— Что вы подразумеваете под его корнями?

— Немецкий крупный капитал,— ответил доктор Гейнрихс.

Хольт был озадачен.

— Например, мой дядя Карл Ренибах — генеральный директор одной бременской верфи, он банкир и как-то еще связан с железом и углем, стало быть, вы и его имеете в виду?

— О, прошу прощения! — с иронией протянул адвокат. И, отвесив поклон, добавил: — Дорогие родственники, разумеется, не в счет.

Хольт присел на корточки перед камином и помешал угли.

— Дорогие родственники, разумеется, не в счет, — повторил он.— Теперь я для вас уже ничто. Понимаю, вы не желаете себя утруждать. У кого в голове политика, того не интересуют отдельные люди с их мучительными вопросами. Вы переступаете через человека, как через дерьмо. В этом вы не оригинальны.

— Но вы как будто не ищете у меня понимания? — сказал адвокат.

— А я не знаю, что я ищу,— ответил Хольт.— Я был на войне и, вернувшись, не нахожу родины. Пытался найти ее у отца в русской зоне и потерпел крах. Попробовал найти ее у матери в Гамбурге, но, боясь, что и там меня ждет то же самое, бежал в Шварцвальд, в эту глушь.

— Глушь! — мечтательно произнес адвокат. И глядя прямо в глаза Хольту, продолжал: — В глуши ведь можно так хорошо обо всем поразмыслить! Прийти к определенным убеждениям! — Он поднял глаза к потолку и сказал с непроницаемой улыбкой: — Можно, конечно, в такой идиллии и прокинуть или убаюкать себя иллюзиями — что кому нравится.

— У меня нет никаких иллюзий,— спокойно сказал Хольт.— А для идиллической жизни я и вовсе не гоюсь. Но оставим это, поговорим о другом. Вы, кажется, завтра возвращаетесь в Фюрт? У вас в машине найдется свободное место?

Доктор Гейнрихс удивился.

— Да, в Фюрт...

Ута стояла в дверях. Она улыбалась. Слышала ли она их разговор? Она внесла ужин и поставила его на стол.

После ужина доктор Гейнрихс захотел тотчас же лечь. Хольт проводил его наверх, в мансарду, и ушел к себе.

Он рванул примерзшее окно и раскрыл его настежь. Морозный воздух проник под рубашку.

Хольт вздрогнул.

— С этим сном покончено! — сказал он вслух. И подумал: «От себя никуда не убежишь».

Затворив окно, он прислонился к оконной раме. Бегство от себя не удалось. В который раз! Оно никогда не удастся, никогда, из этого бытия бежать некуда. Существует жизнь, и существуют иллюзии, а отшельничество — не жизнь.

Хольт стоял, закрыв глаза, и мысленно оглядывал прожитые годы. С детства он гонялся за жизнью — за подлинной, неподдельной. Он искал ее в сказках, в бессмысленных приключениях и всегда плутал, всегда шел по ложным тропам, вплоть до разгорающихся ярким светом ламп в барах, до бездонной грязи всемогущего мгновенья. Его не отпугнула и дорога в эту глушь, за семью горами. И все оказалось иллюзией. Значит, поиск надо продолжать. Пора найти путь, правильный путь.

Он думал о новых скитаниях. Об Уте. На душе было тяжело. Человеку, вероятно, никогда не расстаться с детскими мечтами. Но дурак тот, кто обманывает себя и принимает образы, порожденные фантазией, за подлинную жизнь.

Хольт спустился вниз. С минуту держал пальцы на ручке двери, твердя себе: «Не отступать от решения, я еду, и никто не в силах меня удержать». Ута стояла у окна, глядя на замерзшие цветы. Она повернула голову и сказала спокойно и дружески:

— Если уж так, то самое лучшее — поезжай завтра с Гейнрихсом.

— Я тоже так думаю, — сказал Хольт.

И они пододвинули тахту к камину, как делали это каждый вечер.

■

Огонь в камине догорел. Лишь несколько головешек тлели в золе.

— Куда ты едешь? — спросила Ута.

— В Гамбург.

— Что собираешься там делать?

— Не знаю. Жить дальше. — Помолчав, он добавил: — Искать.

— А что ты ищешь?

— Не знаю, — повторил он едва слышно, в сущности отвечая самому себе. — Ничего не знаю. Даже не знаю, живу ли я на самом деле. Иной раз мне кажется, что все — сон, а когда я проснусь, только тогда и начнется настоящая жизнь. Я плыву по бурной реке, меня швыряет то туда, то сюда. Я ищу жизнь, свою жизнь. Все проносится мимо, нет ничего устойчивого, а я ищу что-то непреходящее. Быть может — любовь, быть может — правду, не знаю; видимо, я ищу архимедову точку.

— Ты ищешь самого себя, — сказала Ута. — Поезжай к отцу. Он — пример, в особенности для тебя. Будь как он. И тогда, так же как он, ты обретешь свое место в жизни, среди тех, «других», которых сегодня еще не понимаешь.

— Мне кажется, это опять иллюзия, — сказал Хольт.

— Нет, не иллюзия, это одна из счастливых возможностей. Жизнь добра к тебе, она облекла для тебя эту возможность в плоть и в кровь. Иди к Гундель. Если ты найдешь дорогу к ней, ты найдешь дорогу и к себе, и ко всем людям.

Ута встала. Кочергой разгребла золу и подкинула дров. Пляшущие языки желтого пламени взвились и осветили комнату. Она присела на

корточки перед огнем, и его трепетный свет напомнил Хольту огонек вспыхнувшей в откопанном подвале спички. Он смотрел на силуэт живого человеческого тела, но под мягкой округлостью дышащей плоти видел скелет и слышал, как во мраке рассыпается в прах мертвец, человек — отражение тени...

— А ты? — спросил Хольт. — Что будет с тобой?

— Пусть это тебя не тревожит, — сказала Ута и легла рядом с ним. — Я не ты. Я не хочу искать в жизни смысла, я хочу одного: сократить отпущенный мне срок здесь, в уединении. Таким, как я, смысл жизни следовало бы готовеньким положить в колыбель.

Хольт встрепенулся. К воспоминанию о мертвецах в подвале вновь присоединился старый, смешной, возвышенный, вечный вопрос о смысле жизни.

— Не понимаю тебя — ты так легко говоришь об этом. Жизнь без смысла — не жизнь, от такой жизни в отчаяние придешь!

Ута ничего не ответила. Она встала. Пора было кормить скотину. Оделся и Хольт. Ута подбросила в огонь дров. Она стояла у камина в своем сером платье и, задумавшись, заплетала косы.

— В книгах твоего отца ты найдешь ответ на многие вопросы, — сказала она. — Наше существование в этом мире совершенно бессмысленно. Только невежда видит в человеке венец творения. Мы — лишь одна из вечно меняющихся форм жизни, один из эпизодов развития животворящей энергии, осознающей себя через наше бытие; мы без всякого смысла, по воле случая или земного императива, стали людьми. Поднимись над землей и взгляни вокруг: все живущее и произрастающее на нашей планете — опять-таки лишь эпизод во Вселенной. Ибо от Земли к Солнцу, от Солнца к Млечному Пути, и дальше — к еще неведомым мирам, от одной галактики к другой, все непостижимее рождаются новые миры, растут, пульсируют, затвердевают, из одного состояния переходят в другое. Все движется вечно, без начала и конца, все возникает и исчезает, само в себе, и только. Какой же тут смысл, по нашим, человеческим масштабам? Кому непременно нужен смысл жизни, пусть сам придаст смысл своему существованию. По человеческим масштабам может быть только один смысл: стремление к поставленной перед собой цели.

Ута зажгла фонарь и направилась к дверям. У порога она остановилась и взглянула на Хольта:

— Скажи себе еще раз: жизнь без смысла — это не жизнь. Значит, ты должен теперь придать своему существованию смысл, поставить себе цель. Найди себе цель, живи ради ее достижения и попытайся стать человеком.

— А что такое человек? — спросил он.

— Человек — это тот, — сказала она задумчиво, — кто сознательно живет во имя достижения цели и тем самым отвоевывает смысл у бессмыслицы жизни. И не только для себя, нет, а заглядывая в будущее и радуясь в предвидении лучших поколений — для них, истинных людей грядущих столетий.

9

В Гамбурге снег уже сошел, но за городом, в Видентале, вся равнина еще белела в тумане. Спускались сумерки. Хольт долго стоял у калитки и смотрел вдаль. Наконец встряхнулся и позвонил.

Открыла Бригитта. Она не узнала его в неуклюжем овечьем полушубке, который дала ему с собой Ута. Потом, словно испугавшись, отступила, и Хольт прошел мимо нее. В прихожей она взяла у него полушубок.

— Дамы ужинают. Сказать им?

— Спасибо,— отозвался Хольт.— Нет, не надо. Я хочу вымыться. И, пожалуйста, принесите мне наверх чего-нибудь поесть, я целую неделю был в дороге. Моя комната не занята?

— Нет, конечно,— сказала она и нерешительно добавила:— Но я обязана доложить дамам, что вы здесь.

Он поднялся на второй этаж. В его комнате ничего не изменилось, словно он и не уезжал отсюда: постель раскрыта, безупречно выглаженная пижама лежит поперек стеганого одеяла, купальный халат аккуратно перекинут через спинку стула, а томик Рильке заложен на странице со стихами, которые он читал напоследок: «Как чувствовал я, что значит прощание...»

С минуту он подержал книгу в руках. «Как чувствовал я...» Чувствовал! Покончено с «чувствовал», решительно покончено!

Он подошел к окну. «Мы всегда слишком много верили и слишком мало знали...» Готескнехт прав. Слишком много верили и слишком мало знали, слишком много чувствовали и слишком мало думали, слишком много умилялись вместо того, чтобы набираться знаний, мифы заменяли нам науку. Но теперь так не будет! Хольт провел рукой по волосам. Точка. Никаких чувств. Холодным взглядом проникнет он за кулисы мира. Скальпелем вскрыет жизнь, и тут уж ей придется показать свою сущность!

Хольт прошел в ванную, не спеша открыл краны. Как и несколько недель назад, только приехав сюда, он старался спокойно все обдумать, но на вопросе: что же дальше? — застрял. Позднее, в комнате, глядя на отражение своего растерянного лица в темных стеклах окна, он продолжал задавать себе тот же вопрос: что дальше? И по-прежнему не находил ответа.

В дверь постучали. Бригитта, накрывая на стол, сказала:

— Дамы ждут молодого господина через полчаса в гостиной.

Хольт резко повернулся.

— ...ждут молодого господина в гостиной, — повторил он и вдруг вспыхнул: — Скажите дамам, чтобы они оставили меня в покое! Пусть катятся ко всем чертям со своей гостиной и своим «молодым господином»!

Бригитта испуганно смотрела на него. Ярость Хольта улеглась так же внезапно, как и вспыхнула.

— Простите, — сказал он. — К вам это не относится. — И опять в нем поднялось раздражение: — Я и часа не провел здесь, а меня уже от всего воротит!

— Желаю приятного аппетита! — Девушка притворила за собой дверь.

Хольт сел ужинать. Он проглотил глазунью из двух яиц, съел несколько ломтиков хлеба, поджаренного с консервированным американским сыром, выпил чашку чая. И так, он снова у матери, здесь царит другой тон, надо перестраиваться. Он представил себе мать, тетю Марианну, Хеннинга, Вульфа с оттопыренными ушами, угодливого портного. Ну, что ж! Он вздохнул. Выбора нет. Надо здесь обосноваться. Дверь с черного хода захлопнулась, бежать некуда. Один мир остался непонятым, другой — здешний — противен, а бегство через черный ход ведет в тупик иллюзий.

Он собрал тарелки на поднос, спустился в кухню и поставил поднос на стол. Бригитта мыла посуду. Он присел на табурет.

— Очень тут всполошились, когда я не вернулся? — спросил он.

Бригитта, согнувшись над раковиной, сказала:

— Прошу вас... Дамы ждут!

Стукнула дверь. Кто-то прошел через холл. Он узнал шаги матери. Вот она сняла телефонную трубку и набирает номер. Дверь из кухни была полуоткрыта, Хольт слышал каждое слово.

— Говорит Доротеа Хольт. Прошу господина коммерции советника, только побыстрей! — Долгое молчание. — Франц? Вернер вернулся. Нет. Еще не говорила, он купается. Да. Нет. Посмотрим. Что? Хорошо. Позвони сегодня же Хеннингам, прошу тебя. Разумеется, я успокоилась, как ты сам понимаешь.

Хольт усмехнулся. Телефонный разговор был окончен. Фрау Хольт стояла в дверях. Полностью владея собой, она лишь мельком посмотрела на сына, потом долгим взглядом смерила Бригитту, еще ниже склонившуюся над раковиной, и только затем изобразила на лице всю гамму радости — красиво изогнутые губы растянулись в улыбке, глаза сияли, руки театральным жестом были прижаты к груди:

— Вернер...

Он встал. Мать обняла его и поцеловала в лоб.

— Как хорошо, что ты вернулся!

Она, оказывается, умела и мягко упрекнуть:

— Как мог ты причинить мне столько горя!

Хольт крепился, чтобы только не растрогаться.

— Худое дело, не вырвешь скоро, — сказал он с натянутой улыбкой и пошел за ней через холл в гостиную.



Скоро жизнь Вернера Хольта снова вошла в обычную колею: утром ванна, завтрак, ничегонеделанье, прогулка. После обеда он выходил из дому и часами, до изнеможения, бродил по снежной пустыне Эллерхольцкого болота, угнетенный своими мыслями. Он старался примириться с той жизнью, которая ему предстояла: после пасхи он начнет посещать школу, а сдав на аттестат зрелости, поступит на юридический факультет. «Вообще можно надеяться, что бременский дядя Карл позаботится о твоём будущем», — так сказал ему коммерции советник.

Никто не упрекал Хольта за его внезапное исчезновение, не сердился, не расспрашивал, где он был. В первый же вечер дядя Франц, добродушно похлопывая его по плечу, сказал:

— Ах ты, беглец, бродяга, ничего мне, пожалуйста, не рассказывай, все мы прошли свой период бури и натиска...

Он опять щедро снабдил Вернера деньгами и сигаретами, Фрау Хольт опять вызвала портного и декларативно заявила сыну:

— Ты плохо меня знаешь, если думаешь, что я всем сердцем не понимаю тебя, моего единственного сына, что бы ты ни сделал...

Тетя Марианна также пожелала внести свою долю родственного понимания. Кивнув склоненной набок головой, она молвила:

— Твой дядя Карл из Бремена сказал, что и молодые птицы возвращаются в старые гнезда.

Карл Реннбах сообщил, что в ближайшее воскресенье приедет к ужину, чем опять переполошил весь дом. Он вел какие-то переговоры в Гамбурге и, как всегда, собирался остановиться у своих сводных сестер.

В пятницу позвонил Роланд Хеннинг и попросил к телефону Хольта.

— Алло, господин Хольт? Слышал, что вы вернулись из вашей поездки, это очень кстати. В субботу вы заняты? Нет? Так вот, слушайте. Приятель мой, Рольф, живущий в Любеке, женится. Свадьба в субботу, и мне поручено привезти несколько молодых людей, так сказать, в противовес скучным купчишкам. Как вы на это смотрите? Мой знакомый Штеффенхауз заедет за вами, он живет за городом, в Нейграбене. Значит, в субботу, в половине второго, и, если не возражаете, прихватите

с собой сестер Тредеборн. Вы ведь как будто представлены им? Договорились! Я еду в Любек с утра, я шафер. Штеффенхауз представит вас Бергманам. Вашего дядю, коммерции советника, там хорошо знают.

Хольт положил трубку. Задумавшись, стоял он в холле. Сестры Тредеборн... Это славно! Он увидит их — Ингрид и Гитту. Перспектива провести с ними вечер, нет, не с ними, а с Ингрид, показалась ему заманчивой и чрезвычайно приятной. Телефонный звонок Хеннинга словно внес в его жизнь какую-то цель.

Фрау Хольт, узнав о приглашении, проявила несвойственную ей хлопотливость.

— Это твой дебют в обществе, — сказала она, и ее невозмутимое лицо оживилось. — Костюм, разумеется, черный. Что ты, что ты, Марианна, никаких «бабочек», это старомодно, это невозможно! Одну минутку, я позвоню Францу. Тебе необходим серебристо-серый галстук!



В субботу, в полдень, фрау Хольт с удовлетворением, больше того, с гордостью оглядывала сына.

— Ты безусловно будешь иметь успех!

Штеффенхауз-сын — фирма «Штеффенхауз-младший», фабрика ма-ринадов и рыбных консервов — белобрысый, румяный парень, — улыбаясь во весь рот, приветствовал дам:

— Милостивые государины! Ну вот мы и здесь. Давно не бывали, а? Благодарю. Живем. Ничего, справляемся.

Тетя Марианна строила на своем деревянном лице улыбку.

— Свадебный подарок у вас есть? — спросил Штеффенхауз. — Мы вручим его от нас обоих, расход пополам, идет?

Как же это не подумали о свадебном подарке?! Улыбка на лице тети Марианны рухнула. Но фрау Хольт сохранила присутствие духа. Она перестала гладить пуделей и о чем-то сосредоточенно думала. У двадцатичетырехлетнего Фреда Штеффенхауза, выглядевшего не старше двадцати лет, был звонкий, писклявый мальчишеский голос.

— Что-нибудь да придумаем!

Фрау Хольт выпрямилась:

— Марианна, пойдем посмотрим твой фарфор.

Штеффенхауз бесцеремонно развалился в кресле. Хольт разглядывал его с легкой неприязнью. На Штеффенхаузе был темный костюм, из которого он изрядно вырос, фрачная крахмальная сорочка, стоячий воротничок с отогнутыми уголками и черный галстук бабочкой. Вид у него был смешной — такая помесь конфирманта с обер-кельнером. Но его это нисколько не смущало.

— Знаете что? — сказал он. — Давайте позвоним Тредеборнам и узнаем, что они решили подарить, а то еще вплинем — купим то же, что и они.

Хольт пошел к телефону.

— Что случилось? — услышал он темпераментный возглас. — Ах, это вы, господин Хольт? Вы уже вернулись из поездки? Мы ждем вас!

По смеху, задорному смеху, Хольт решил, что это Ингрид. Тредеборны везут ящик белого вина, двадцать бутылок.

— Чертовски аристократический подарок, — воскликнул Штеффенхауз.

Тетя Марианна притащила обтянутый красным шелком ящик и вынула из него японскую вазу с инкрустацией по лаку.

— Вот здорово! — обрадовался Штеффенхауз. — Что стоит такой горшок?

Тетя Марианна вздрогнула при слове «горшок».

— Возьмите эту вазу, а расчеты урегулируете после с моим братом,— сказала фрау Хольт.

На улице стояла светло-серая просторная машина. Штеффенхауз с места развил бешеную скорость.

— Это добрый старый «вандерер-24»,— сказал он.— Вы не разбираетесь в марках автомобилей?— он говорил без пауз.— Я служил в авиации летчиком-истребителем. Сбил одиннадцать самолетов. Имею Железный крест I степени.— Он гнал машину, не сбавляя скорости на самых оживленных улицах.— Если хотите продрагаться сквозь гущу англичан, надо ехать напролом. Американцы ездят еще отчаяннее.

В Георгсвердере, в прихожей тредеборнского дома, Хольт и Штеффенхауз смотрели, как фрау Тредеборн напутствует своих дочерей. Хольт стоял потрясенный. На девушках были бальные платья—длинные, до пола, вечерние туалеты из темно-коричневого шелка, строгого покроя, с вырезом у шеи и без рукавов. Господи боже, неужели такое еще существует?

Хольт отвечивал поклоны, отвечал на какие-то пустые вопросы пустыми фразами, а перед ним, словно кинокадры, проносились запечатлевшиеся в мозгу картины бедствия и горя на дорогах, в городах и селах Германии...

Гитта казалась несколько раздраженной. Ингрид лучилась юным задором и свежестью. На шее у фрау Тредеборн на этот раз висел большой крест, усеянный богемскими гранатами. Она просила Гитту помнить слова отца, произнесенные им по случаю сегодняшнего торжества. Брак, сказал папа, это нечто священное и скорее повод для самоуглубления и размышлений о вечно обновляемом чуде жизни, нежели для плясок и веселья! Фрау Тредеборн осенила крестом старшую дочь. Гитта с готовностью и серьезным выражением лица склонила голову. Мать сказала:

— Возьми нашего маленького сорванца под свое попечение!

Маленький сорванец, то есть Ингрид, взглянул на Хольта и беспечно рассмеялся.

— Наше солнышко!— сказала фрау Тредеборн.

Хольт внимательно разглядывал Ингрид. Ему нравились ее глаза, а больше всего—волосы, пышные, каштановые, с рыжиной. Штеффенхауз, когда они вдвоем с Хольтом ставили ящик с вином в багажник, сказал:

— Чудесная, дружная семья, эти Тредеборны!

Хольт сидел рядом с Ингрид на заднем сиденье. Близость девушки действовала на него возбуждающе. Состояние подавленности, в котором он находился все эти дни, исчезло. Но он был еще сдержан и говорил мало, ограничиваясь ответами на вопросы. Ингрид, веселая и шаловливая, спросила его:

— Что с вами? Не на похороны же вы едете! Может, вы чем-нибудь огорчены?— Она посмотрела на него невинными глазами.

Ее сестра повернулась к ним и положила руку на спинку сиденья.

— Твои вопросы, надо думать, неприятны господину Хольту,— сказала она кротким голосом, в котором явно звучала злая нотка.— Ведь вы были на войне, и вам нужно привыкнуть к мирным временам, не правда ли? Вам необходимо рассеяться!

— Этому легко помочь!— воскликнула Ингрид.

Откинувшись на спинку сиденья, Хольт молча и выжидающе наблюдал. На все замечания он откликался только величавыми жестами, перенятыми у матери и тетки.

Штеффенхауз долго рассказывал какую-то невероятную историю из своей летной практики. Его звонкий мальчишеский голос перекрывал гул мотора. Хольт слушал и думал о том, что для Штеффенхауза воздушная война была, видно, чем-то вроде спортивного развлечения.

— Лучше всего,— говорил Штеффенхауз,— было в последние месяцы. Горючее все вышло. Неприятельские бомбардировщики летали себе, а мы день и ночь дулись в скат.

Бомбардировщики летали, а они дулись в скат. Хольт с удивлением смотрел на Штеффенхауза. Его изумляла легкость и непринужденность, с какой этот белобрысый парень рассказывал о войне. Для Хольта все, что касалось его пребывания на фронте, было за семью печатями, он не позволял себе даже думать о войне. Слушая веселые рассказы Штеффенхауза о бомбардировках, Хольт вспоминал чудовищные опустошения в городах Рурской области, которые произвели четырехмоторные бомбардировщики. К этому Штеффенхаузу стоит присмотреться, решил он.

Они пронеслись по улицам Любека и поехали к северу вдоль Траве. Перед роскошным особняком Штеффенхауз затормозил, подрулив к веренице уже стоявших здесь машин.



Гостей собралось человек тридцать. Хольта тотчас разлучили с сестрами Тредеборн. Сначала его представлял свадебному обществу Штеффенхауз, потом какой-то незнакомый господин. Из множества имен Хольт не запомнил ни одного. Его отрекомендовали как племянника коммерции советника. Фамилия Реннбах была здесь всем хорошо известна и пользовалась большим почетом, отблеск которого падал и на Хольта. Наконец его представили новобрачным.

Жених, тридцатипятилетний, довольно жирный блондин, отчаянно потел во фраке. Его сопровождал, тоже во фраке, превосходно сидевшем на нем, высокий, стройный Роланд Хеннинг. Он шепнул что-то на ухо жениху, и тот с изысканной вежливостью приветствовал Хольта, мину пять беседовал с ним, подробно расспрашивал о коммерции советнике, чуть ли не с благоговением произносил имя бременского дяди. Хеннинг дружески подмигнул Хольту:

— Потом поговорим.

Невеста сидела в кругу пожилых женщин и молодых девушек; мужчины стояли за их стульями. С миртовым венчиком на светло-русых волосах, утопая в белом шелку, кружевах, лентах и вуалях, невеста протянула Хольту влажные пальчики, унизанные кольцами. Ей было лет двадцать пять. Хольт бесцеремонно рассматривал ее. Она показалась ему совершенно бесцветной — не уродина и не красавица. А ее смех, взгляд и манера говорить были на редкость глупыми. В ответ на его поздравление она жеманно произнесла заученную фразу:

— Ах, благодарю вас... и за ваш любезный подарок спасибо.

Сидевшая справа от нее полная женщина, по-видимому мать, сказала:

— Надеюсь, вам у нас понравится!

И невеста, с кукольной улыбкой, как попугай, повторила:

— Надеюсь, вам у нас понравится!

Хольт, поклонившись, отошел. «Ну и дура!» Он принялся внимательно разглядывать мужчин и женщин, окружавших невесту. Все было чрезвычайно торжественно и умирительно. Присутствовало здесь и какое-то духовное лицо, которое величали «господин церковный советник», а иногда — «господин доктор». Глаза у матери невесты покраснели от слез.

Хольт отвернулся и вышел.

От холла лучами расходились несколько больших комнат — столовая, кабинет, гостиная, музыкальная комната, — все они сообщались между собой широкими двустворчатыми дверьми, раскрытыми настежь. Гостиная, в которой Хольт залюбовался великолепными коврами, примы-

кала к зимнему саду. Из музыкальной комнаты вынесли всю мебель, кроме рояля и нескольких стульев. В столовой также освободили место для танцев. Празднично убранные комнаты заливало море света, в котором то там, то здесь вспыхивали огоньки бриллиантов, а светлые платья женщин попеременно с темными костюмами мужчин переливались всеми цветами радуги. Бокалы с шампанским искрились. Блеск, свет, хрустальный звон бокалов оказали действие и на Хольта, им овладело приподнятое, легкое настроение.

После венчания, которое состоялось утром, был дан обед в узком кругу. Теперь начались танцы. Трио, расположившееся у рояля, наполнило дом приглушенными звуками музыки. Хольт стоял в нерешительности. Сестры Тредеборн куда-то исчезли. В столовой среди гостей, окруживших новобрачных, Хольт увидел Штеффенхауза. Слышались тосты, краткие речи. До Хольта доносились лишь обрывки фраз. «Муж и жена — одна плоть...» Это сказал церковный советник. «...будьте уверены в своей жене и любите ее, и вы будете, как сказано в Евангелии, одна плоть». Подхватив слова церковного советника, какой-то важный седой господин процитировал Ницше: «Брак: так называю я волю Двоих создать Третьего...» Тут мать невесты всхлипнула, громко высморкалась, и конца фразы расслышать не удалось.



Хольт опустился на пух. Любезно улыбаясь, к нему подошел Роланд Хеннинг.

— Ну как вы? Еще не вполне освоились, а? — Хеннинг, видимо, чувствовал себя во фраке вполне непринужденно. Держа одну руку в кармане, он другой слегка жестикулировал. — Знаете что? Давайте-ка выпьем!

Большой письменный стол в кабинете служил буфетом. Специально нанятый лакей и несколько горничных в шелковых передничках обносили гостей напитками. В столовой невеста танцевала вальс со Штеффенхаузом.

Хеннинг подвел Хольта к столу и протянул ему рюмку коньяку.

— Итак, попутного ветра! — Они чокнулись. — Будьте здоровы! — Хеннинг присел на подлокотник кресла. — Какой шик, не правда ли?

Хольт не ответил. Он вспомнил Ганновер, где всего несколько дней назад ночевал в бомбоубежище. А тут — блеск, пышность, сверкающие драгоценности.

— В сущности, все это делается, чтобы пустить пыль в глаза, — сказал Хеннинг, будто угадав мысли Хольта. — Держи фасон — таков девиз. Никто не хочет упустить удобного случая показать себя. Из кожи лезут вон, верно?

Хеннинга, очевидно, ничто не могло сбить с толку. Хольту это нравилось.

— Немножко все это старомодно, — продолжал Хеннинг, широким жестом как бы комментируя «все это». — Если бы мы переживали экономический расцвет или хотя бы некоторый подъем, я бы не возражал против таких излишеств. Но сейчас от этой свадьбы очень уж отдает ярмарочной рекламой: смотрите, мол, Бергман и К° пережили войну и почтительнейше извешают о своей готовности возобновить деловые операции. Их дочь получает в приданое четверть миллиона марок недвижимости. — Он поставил рюмку на стол, извлек из кармана портсигар и предложил Хольту сигарету. — Я советовал Рольфу быть поскромнее и для начала воздержаться от помпы, — заключил он, поднося Хольту зажигалку.

— Откровенно говоря, ваша позиция — для меня полная неожиданность! — сказал Хольт.

— Я не строю никаких иллюзий, — ответил Хеннинг. — Я, что называется, реальный политик и вижу все насквозь. — Его позвали. Он дружески похлопал Хольта по плечу. — Желаю повеселиться.

Хольт задумчиво вертел в пальцах сигарету. Что же все-таки представляет собой Хеннинг? Не поймешь. Вспомнилась затхлая комната... Хеннинг срывает с себя галстук. «Дерьмо... Ах ты дерьмо»... Хольт с трудом отогнал от себя видение, встряхнулся и допил коньяк.

Он переходил из комнаты в комнату, ища младшую Тредеборн, но ее нигде не было. В зимнем саду вспыхнул магний: среди кадров с пальмами фотографировали новобрачных.



В холле он встретил Аннерозу Вульф. При виде Хольта она залилась краской. Худенькую плоскогрудую девушку нарядили в небесно-голубое бальное платье с туго облегающим лифом и множеством рюшей, бантиков и воланов на плечах, бедрах, вокруг шеи... Она была смешна, и Хольту стало ее жаль. Он заставил себя оказать ей внимание. Но ведя ее к креслу, нетерпеливо думал об Ингрид.

— Не правда ли, очень утомительно, когда вокруг столько людей? — спросил Хольт.

— Но только не для вас, — живо ответила девушка. — Вы, несомненно, всюду чувствуете себя хорошо.

Хольт смущенно рассмеялся. К счастью, подошел Гисберт Вульф. На нем был темно-синий конфирмационный костюм, из которого он давно вырос. Гисберт протянул Хольту руку:

— Ну что, прочли стихи?

— Да, — неохотно отозвался Хольт. Он заглядывал через настежь открытые двери во все комнаты, но сестер Тредеборн нигде не было видно. — Пойдемте в кабинет, — предложил он.

Хольт проводил Аннерозу к одному из столов, подвинул ей кресло и сел сам. Тут он вспомнил, что ему как-то хотелось проэкзаменовать Вульфа. И вот случай представился. Горничная принесла бокалы, вино и вазу с печеньем.

— К сожалению, вашего Рильке я раскусил не на все сто процентов, — без обиняков начал Хольт. — Ранние стихи хороши, очень хороши. Из более поздних мне тоже кое-что нравится, например, «Пантера», «Алькест», «Сонет к Орфею», хотя и они вызывают у меня какое-то неприятное чувство. Но, возможно, это от предубеждения. А все остальное, по-моему, чистейшая абракадабра. Например, «Дуинесские элегии» или «Песнь женщин, обращенная к поэту» и прочее — ни слова я в этой поэзии, к сожалению, не понимаю.

У Вульфа начали медленно краснеть уши.

— Рассудком... Понимаете?... Рассудком вы не оцените этого тончайшего из поэтов, — пояснил он. — Его нужно чувствовать.

— Что? — спросил Хольт. — Что я должен чувствовать?

— Если... Понимаете?... Вульф мучительно искал слова. — Если вы прочтете эти стихи вслух, вы их почувствуете, — старался он убедить Хольта.

— А, понимаю, — сказал Хольт. — Они тогда зазвонят. Дивно зазвонят, как колокольчик в обедню.

— «Где нет нутра, там не поможешь потом»*, — процитировал уязвленный Вульф, краснея все гуще.

* «Фауст» Гете.

Хольт наклонился к Вульф.

— Чувствовать — ладно, хорошо! Но у меня возникают некоторые опасения. — Он чиркнул спичкой и прикурил сигарету. — Опасения, да-да. Я еще очень хорошо помню, к примеру, идею героизма, как ее нам внушали. Ее тоже можно было чувствовать только «нутром». Но человека отличает от животного именно способность мыслить, познавать! Отныне я, с вашего разрешения, собираюсь широко пользоваться этой способностью. Я совершенно не намерен впредь полагаться на расплывчатое Нечто, которое обретается у нас где-то здесь... — он постучал себя по груди, — и которое, правда, может выдавить слезу, когда слышишь рождественскую песенку, но больше ни на что не годно.

— В таком случае, вы никогда не поймете искусства, — разгорячился Вульф. — Искусство постигается лишь чувством... и потому оно создается только для избранных... для круга посвященных!

Хольт показался себе рядом с этим рассерженным юношей чуть ли не святотатцем.

— Что это за круг? — спросил он.

— Круг образованных людей! — ответил Вульф и взмахнул рукой — то ли включая, то ли исключая этим жестом присутствующих.

— Кого вы считаете образованными людьми? — спросил Хольт.

— Нас всех, — ответил Вульф, так же загадочно взмахнув рукой.

— Надеюсь, вы не имеете в виду, скажем, невесту? — раздраженно сказал Хольт. — Она глупа, как пробка, вы не заметили? Так неужели вы и ее включаете в число образованных?

Вульф испуганно оглянулся — не слышал ли кто? А его сестра, до этой минуты сидевшая молча и неподвижно, пришла в такой восторг, что ее некрасивое лицо даже расцвело.

— Ну, хорошо, оставим это, — примирительно продолжал Хольт. — Так или иначе, ваш Рильке меня не удовлетворил. Когда я читаю Шторма или Гете, я знаю, что я чувствую, а когда читаю Рильке — не знаю. Звенит и пахнет ладаном. Я не склонен заменять мозг чувством.

— Вам я свои стихи, во всяком случае, не покажу, — обиженно и вместе с тем высокомерно сказал Вульф. — Их вы, конечно, не поймете.

Хольт все еще пытался смягчить рассерженного юношу.

— Но я постараюсь, — сказал он как можно приветливее. — Я понимаю, что человек пишет стихи от избытка переживаний. — Он улыбнулся. — Когда я влюблен, мне тоже хочется писать стихи.

Вульф оскорбился вдвойне.

— Такие чувства, как любовь, для меня не существуют, — почти с презрением заявил он.

— Могу себе представить, — сказал Хольт.

Но Вульф был глух к иронии.

— Чего стоят подобные субъективные эмоции? — продолжал он. — Для меня, лирика, воспевающего полет мысли, когда речь идет о чувстве заброшенности... потерянности... и если его осмыслить в духе времени... так это... не правда ли, это абсолютное недовольство жизнью, великая безнадежность... Вот что я испытываю...

— Недовольство жизнью... — повторил Хольт. — Что вы, в самом деле! — вскрикнул он вдруг. — Да вы совершенно не способны понять жизнь и время! Посмотрите, что творится вокруг! Жизнь полна противоречий — согласен. Но все эти ваши ангелы, «бытие для смерти», недовольство жизнью и прочий вздор так забили вам голову, что за ними вы не видите жгучих вопросов нашего времени!

Вульф забаррикадировался высокомерной гримасой.

— Жгучие вопросы! Воображаю!.. — сказал он.

Хольт разозлился:

— Две мировые войны, пятьдесят миллионов убитых, и вы не задаетесь вопросом, что же это за мир, в котором возможно нечто подобное?

Вульф пренебрежительно махнул рукой:

— Есть люди, лишённые чувства невыразимого, рабы реальных явлений... Я стараюсь всегда созерцать сущность... Стараюсь охватить сущность мира.

— Хорошо, очень хорошо,— воскликнул Хольт. Злость разбирала его все сильнее.— Созерцание сущности... Что ж, начнем с сущности этого дома! — Он жестом показал на комнаты, выходящие в холл, и накинулся на перепуганного Вульфа: — Да что вы оглядываетесь? Пожалуй-ста, пусть все слушают. Невеста настолько глупа, и вы это не хуже меня знаете, что жаль человека, которому придется жить с нею. Почему он женится на такой дуре? Любит ее, что ли? — Хольт расхохотался.— Нет, мой милый, у них вы не найдете и намека на то, что заставляет звучать две струны в едином аккорде. Что же является сущностью этого брака? Приданое! И разве вы не видите, как тридцать взрослых человек прикидываются, будто верят в эту галиматью: «одна плоть...», «муж и жена едины...», «Двое создают Третьего...» — а на самом деле все знают, в том числе и вы, да-да, что здесь хитрая, расчетливая лиса поймала беспросветно глупую гусыню! — Хольт зло рассмеялся.— Вот вам ваше созерцание сущности, вот вам превосходный пример сущности мира!

Вульф окаменел. Он был бледен, даже уши у него побелели. А для Хольта наступила наконец минута, когда из груди его вырвалось все, что наболело и накопело.

— Ну-с, продолжим созерцание сущности. Теперь покажите, что вы обладаете чувством невыразимого. Моя мать разрешила мне спать с нашей горничной. От меня требуется лишь одно — чтобы все было шито-крыто. Так-с, вообразите, а у вас, вероятно, хватит фантазии, хоть вы и лирик мысли, что я привел эту девушку сюда и говорю: «Сударыня, позвольте вам представить Бригитту, нашу горничную...» Хотел бы я посмотреть, что произошло бы!.. А между тем Бригитта в десять раз умнее невесты, трудолюбива, расторопна, красива... Но все дело в том, что у ее отца нет ни завода, ни торговой фирмы и нет влиятельного дядюшки, как у меня. Так вот я спрашиваю вас: чего стоит сущность общества, где каждый идиот, если только он получает в приданое недвижимость, где каждый лицемер, если только его имени предшествует слово «фирма», и каждый краснобай, если только отец его владелец импортной фирмы Вульф, почитаются больше, чем порядочный человек, живущий трудом рук своих? Такое общество — можете сколько угодно пожимать плечами — не стоит и дубинки, которой следует разнести его в щепы!

Вульф очнулся от оцепенения. Словно защищаясь, он вытянул руки и встал. Хольт вскочил, опережая его.

— Останьтесь! — скомандовал он и заставил Вульфа сесть.

— Из ненависти... — пробормотал Вульф.

В Хольте бушевало пламя. Из глубин памяти вдруг всплыло:

— Что вы скажете о том, что Крупп в двадцатые годы продавал пушки русским, большевикам, которые якобы всегда были нашими смертельными врагами? — Он наклонился к Вульфу. — А что вы скажете о моем бременском дяде Карле, который на каждом утонувшем подводнике зарабатывал кучу денег?

Вульф наконец взял себя в руки.

— Из ненависти... — прохрипел он, — из голой ненависти вы потрясаете структуру мира!

— Структуру мира? — повторил Хольт. — Дерьмовая структура, дорогой мой...

Он замолчал. Слишком много слов он бросил на ветер. Дал себя спровоцировать. Разве Вульф — это противник для него?

— А теперь убирайся! — сказал он, злясь на самого себя. — Видеть тебя больше не могу! — И он бросился в кресло.

Вульф, смертельно оскорбленный, вышел из кабинета. Хольт только теперь вспомнил о его сестре. Маленькая, совершенно раздавленная, сидела она в голубом платье на подлокотнике кресла и часто моргала. Глядя на Хольта покорной собачонкой, она спросила:

— Вы и на меня... сердитесь?

— Мне очень жаль, что так получилось. Я ничего против вас не имею. Да и против вашего брата. Все это меньше всего относится к нему лично. — Он замолчал, раздумывая над словами, которые несколько минут назад сорвались у него с языка. — Собственно, я должен благодарить Гисберта. В самом деле, ваш брат разбудил меня. Он напомнил мне о том, о чем в сутолоке последних дней я почти забыл.

— Я поговорю с Гисбертом! Я обязательно все улажу, — сказала Аннероза.

Хольт не слушал ее... Стремление к поставленной перед собой цели... Да, он забыл о своем решении никогда не примиряться с тем, что есть, и неутомимо искать и искать. Дом тети Марианны, и эта вилла, и вереница машин перед подъездом, шлейф, фата и миртовый венок, господа во фраках, заводовладельцы и церковный советник — все это не та жизнь, которую он ищет. Опять он на ложном пути.

И вдруг он понял, что нужно делать. Он оскорбил Вульфа; но если придется, он и Хеннингу, и Штеффенхаузу, и дяде Францу с тетей Марианной, и дяде Карлу, и матери не побоится сказать все, что он о них думает. Ему наплевать на всю эту публику. Он уйдет от них. Куда? Он еще не знает. Но уйдет!

Хольт встал и кивнул Аннерозе, дружески, но рассеянно. Он увидел все в новом свете. Он словно переродился. Почувствовал себя на десять голов выше окружающих, ибо они были ему безразличны. Ему, единственному из всех здесь, не нужно ни с кем считаться. Да, он ни с кем и ни с чем не считается. А сейчас он найдет младшую Тредеборн и добьется от нее признания.



В холле он увидел Хеннинга и Штеффенхауза. В руках у обоих были ликерные рюмки.

— Еще коньяку! — крикнул Штеффенхауз проходившей горничной и продолжал злословить. — Посмотрите-ка, Хольт, — зашептал он. — Вон... тетка Бергмана, с отцовской стороны, зад, как у лошади, а напялила такое узкое платье! Хороша?

— Да, но ей перепало триста тысяч золотых марок, а это даже ее задницу перевесит, — заметил Хеннинг.

— А невеста? — спросил Хольт и пригубил коньяк. — Как вы находите невесту?

Хеннинг прищурил один глаз.

— Будьте милосердны и помолчите! Я-то знаю, какой торг разгорелся вокруг нее... Ну, ничего, Рольф был два года командиром батареи в Париже и погулял так, что ему до конца жизни хватит.

— Взгляните налево, — опять зашептал Штеффенхауз. — Это кузина Крёгера. Она просто оживает в длинном вечернем платье: ноги-то у нее колесом.

— Зато муж ее — важная особа, — прокомментировал Хеннинг, — в 1934 году он приобрел Паульзенскую верфь в Куксхафене!

— Но платье ужасное, правда? — шепнул Штеффенхауз.

— Мне кажется, я слышу запах бабушкиного сундука, из которого его выкопали, — сказал Хеннинг.

— По-моему, здесь от всех пахнет нафталином, — сказал Хольт.

— Хватил, нечего сказать! — воскликнул Штеффенхауз. — Видно, вы переживаете период революционных настроений?

Хольт допил коньяк.

— А куда девались сестры Тредеборн?

— Сначала фотографировались вместе с невестой в зимнем саду, а сейчас они наверху, любят свадебными подарками, — сообщил Хеннинг.

— Обе гораздо красивее всех девушек здесь, — сказал Хольт.

— В особенности Ингрид! — добавил Штеффенхауз.

— Вам нравится младшая Тредеборн, Хольт? — спросил Хеннинг и дружески взял его под руку. — Будьте осторожны. Вы не имеете представления об этой публике: ее хлебом не корми — дай только посплетничать. Стоит вам лишний раз пригласить Ингрид на танец, немного пофлиртовать, и уж пойдут самые невероятные слухи, а старик Тредеборн очень суров со своими дочерьми.

— Она молода и хороша, — сказал Хольт. — Вполне естественно, что хочется за ней приволочнуться.

— Ради чего? — спросил Хеннинг. — Такая девушка, как Ингрид, недоступна, пока не помышляешь о женитьбе! Если вам так уж приспичит, позвоните мне, и мы повторим нашу эскападу... Ведь недурно было тогда, а? Здесь вы ничего не добьетесь. Здесь девушки из хороших домов, они не сладутся до свадьбы.

— Жениться на малютке Тредеборн — еще не самое худшее! — сказал Штеффенхауз и понизил голос. — Ставлю сто против одного, что в этом тихом омуте черти водятся, хотя дома она ведет себя пайнкой. Тому, кто на ней женится, предстоит немало поработать, чтобы укротить ее.

— А вот и они, — сказал Хеннинг.

Сестры, рука об руку, спускались с лестницы в просторный холл. Они подошли к молодым людям.

— Почему у вас такие похоронные лица, господа? — спросила Гитта.

— Похоронные? Ну, что вы! — сказал Хольт. — Мы как раз о вас сплетничали. Штеффенхауз полагает, что тому, кто женится на фрейлейн Ингрид, нелегко будет ее укротить.

— Это уж слишком! — вскричал Штеффенхауз.

Хеннинг злорадно ухмыльнулся. Гитта, склонив голову набок, посмотрела на Хольта, и на ее красивом лице проступила злая черточка. Ингрид закатилась веселым смехом и хохоча сказала Штеффенхаузу:

— Очень уж вы о себе возомнили. Вы последний, кто попал бы в столь затруднительное положение.

Раздался удар медных тарелок, и грянула музыка. Гитта окинула взглядом молодых людей:

— Не мешало бы вам немного и потанцевать, господа.

— Правильно! — поддержал ее Хольт и склонился перед Ингрид.

■

Они танцевали танго.

— Ах-ах, вам следовало бы сначала потанцевать с Гиттой, — сказала Ингрид.

Хольт покачал головой:

— С вами или ни с кем.

— Не верю,— сказала она.— Уклониться от обязательного тура с невестой вы не можете.

— Могу. Вот увидите.

— Вы обидите Бергманов.

— Ну и что?

— Пожалуй, вы на это способны.— Она удивленно посмотрела на него.— Но почему вам не пригласить ее разок?

— Потому что мне нравитесь вы... Ингрид! — Хольт притянул ее к себе, внимательно наблюдая за ней. Она опустила глаза и, увлеченная танцем, запрокинула голову.

Он повел ее в кабинет и усадил в кресло.

— Выслушайте меня! — властно сказал он, усевшись рядом.— Я здесь новичок. Хеннинг говорит, что нравы тут очень строгие. Мне все равно. Вы мне нравитесь. Почему я должен подчиняться каким-то правилам? Вы согласны со мной? — Она не отвечала, но он видел, что она внимательно слушает.— Скажите мне прямо, нравлюсь ли я вам? Если да, тогда посмотрим, что нам делать. Если нет, я выпиваю две-три рюмки коньяку и отчаливаю. Скучать я могу и дома, у матери. Итак?

Ингрид слегка покраснела. Она напряженно думала. Хольт не торопил ее. Чем больше он приглядывался к ней, тем больше она ему нравилась. Густые каштановые волосы свободно падали ей на плечи. Она задумчиво прикусила нижнюю губу, и Хольт залюбовался ее ровными, голубовато и влажно поблескивающими зубами.

— Вы смутили меня,— сказала она наконец.— Я... я не хотела бы, чтобы вы уехали домой.

— Спасибо. С меня достаточно. А вас очень волнует, что о нас станут сплетничать? — спросил он.

— Пускай! Не так уж это страшно. Хеннинг — дурень!

— А что скажет ваш отец?

— Папа? — протянула она.— Я его десять раз вокруг мизинца обведу.

— Тем лучше. Однако хватит предисловий.— Хольт повел ее обратно в музыкальную комнату.

Всю ночь он танцевал с ней одной.

Все обратили на них внимание. Несколько раз Гитта отзывала сестру в сторону и что-то ей настойчиво внушала. Ингрид только смеялась в ответ. От Хольта не укрылось, что отношения между сестрами натянутые. Он принес Ингрид вина и кое-чего поест. В промежутках между танцами они садились в уголок и болтали.

Штеффенхауз, улучив минуту, поддел Хольта:

— Что, втюрились, мой милый? — И прибавил со вздохом: — Вы человек настроения. Завидую вашей беспечности.

Жених сидел в гостиной, опьяневший, в помятой манишке. Около полуночи Хеннинг отвез новобрачных в Гамбург. Вернулся он только к двум часам утра. Гости постарше почти все разъехались. Лишь несколько молодых людей весело носились по дому. Все были под градусом. Один Хольт оставался трезвым. Он подливал вина Ингрид, пока она не пришла в возбуждение. Тогда он стал следить, чтобы бокал ее больше не наполнялся.

Под утро танцевальные страсти поостыли. Хеннинг на минутку подсел к Хольту и Ингрид. Он был по-прежнему расположен к Хольту.

— Здесь скоро шабаш... Давайте придумаем, как нам встретить наступающий день... Будь это в довоенном Гамбурге, мы бы опохмелялись опять до полуночи.

— Не хочу домой.— упрямо, как ребенок, сказала Ингрид.— Можем позавтракать у вас, например.

Хеннинг не возражал:

— Это легко организовать. Поговорю с Фредом.— Он встал.

Музыканты заиграли напоследок медленный вальс. Хольт с Ингрид были единственной парой, откликнувшейся на призывные звуки. Ингрид блаженствовала. Слегка опьяневшая, усталая, влюбленная, она вся отдалась танцу. Хольт быстро оценил обстановку и наметил план действий. Ни в столовой, ни в смежной гостиной никого не было. В зимнем саду погасили огни. В холле Штеффенхауз, окруженный последними гостями, рассказывал под громкие взрывы смеха анекдоты.

Хольт не дождался конца вальса, он увлек Ингрид в гостиную, а от туда в темный зимний сад. Взяв девушку за плечи, он поцеловал ее. Она ответила поцелуем и обеими руками обвила его шею.

— Ступай вперед, я пойду за тобой,— сказал Хольт. Он видел в темноте, как она поправляла прическу, слышал ее дыхание. И вот он остался один.

Закурив сигарету, он подождал несколько минут. Нет, в первый раз так не бывает. Этому она несомненно научилась! Он вспомнил, что говорили Хеннинг, Штеффенхауз и другие. Нет-нет, все они на что-то намекали! Кто знает?

Хольт медленно прошел через гостиную. В соседней комнате трое музыкантов укладывали инструменты. Через открытую дверь от увидел Ингрид. Она стояла в холле среди гостей, слушавших Штеффенхауза — запас анекдотов у него, видно, был неистощим. А в кабинете одна сидела в кресле Гитта и, покуривая сигарету, смотрела на вошедшего Хольта.

Он не мог, не обидев ее, молча пройти мимо.

— Когда мы уедем? — спросил он безразличным тоном.

— Когда Фред вытряхнет все свои анекдоты,— ответила она.— Садитесь! Фред всегда находит дураков, которые еще не слышали его басен. А между тем он взял их из сборника «Солдатский юмор», выпуск 1942 года. Я знаю эту книжонку. Юмором там и не пахнет.— Она говорила усталым, равнодушным голосом, со спокойным лицом, но во взгляде, обращенном на Хольта, был вызов.— Юмор — это нечто совсем другое. Юмор должен обладать взрывчатостью, должен валить с ног.

Хольт молчал и только вежливо улыбался.

— Вот послушайте. Я расскажу вам историю, которой нет ни в одной книге,— продолжала Гитта.

Он ждал. Быть начеку. Ей несомненно что-то от него нужно!

— Выхожу я как-то на улицу,— начала она все тем же усталым голосом,— и вижу: стоит невероятно элегантный господин и держит на поводке эрдель-терьера.. Собака, вы только представьте себе, присела посреди тротуара, прямо перед нашим домом, и отправляет нужду. Что делаю я? Подхожу к элегантному господину и говорю: «Простите, нельзя ли задать вам один вопрос?» — «Прошу вас, милейшая фрейлейн», — любезно отвечает он. И я, как можно вежливее, говорю: «Почему, милостивый государь, раз уж вы были так добры и позволили мне задать вам этот вопрос, почему вы разрешаете вашему очаровательному эрдель-терьеру какать не в канаву, как полагается, а посреди тротуара?»

Хольт оглушительно расхохотался. Гитта пристально посмотрела на него, на лице ее не дрогнул ни один мускул.

— Господина чуть удар не хватил, так он смеялся. Вот что я называю юмором. Хохочете? А что, если я задам вам вопрос: хорошо было с Ингрид в зимнем саду? Такой юмор вам понравится?

Он ждал от нее выпада. Лицо у нее было в эту минуту такое злое, что он невольно покачал головой.

— Очень сожалею,— сказал он,— но вы напрасно думаете, что меня «хватит удар». И вы, конечно, не рассчитываете, что я отвечу на ваш вопрос.

— Нет,— кротко сказала Гитта.— Но у меня в запасе есть еще более пикантный анекдот. Его я преподнесу вам позднее. А пока скажу только, что человеку свойственно ошибаться. Не правда ли, господин Хольт?

Она не была так пьяна, как ему показалось сначала. Но под маской равнодушия еле сдерживала кипевшую в ней злость и обиду. Он догадывался, на что она намекает.

— Надеюсь,— Хольт порывисто встал,— вам представится возможность рассказать ваш пикантный анекдот кому следует. Боюсь только, что он окажется не слишком новым.

Он ушел. Гитта рассмеялась ему вслед.



Последние гости разъезжались. Хольту очень хотелось наедине поговорить с Ингрид, но это никак не удавалось. Хеннинг и Штеффенхауз, едва державшийся на ногах, отвели его в сторону.

— Итак, мы позавтракаем у нас с тредеборнскими девочками и маленькой Вульф,— сказал Хеннинг.— Братец уже улетучился и бросил ее здесь.

— Вы хотите сесть за руль? — спросил Хольт Штеффенхауза.— Да в своем ли вы уме? Ведь это неминуемая катастрофа!

— Много вы понимаете! — отмахнулся Штеффенхауз.— Стоило мне хватить как следует, и я сразу же — в «мессершмитт», и взвиваюсь в поднебесье, как молодой бог...

— Без водки сии уважаемые господа в воздух подниматься не решились,— съязвил Хеннинг.

— Возмутительная ложь! — вскричал Штеффенхауз, побагровев.— Немедленно возьми свои слова обратно, Роланд!

— Только не затевайте ссоры! — сказал Хольт. Его удивило, что Штеффенхауз всерьез принял шутку Хеннинга.— Кстати, водить машину по земле совсем другое дело, здесь у вас нет третьего измерения, чтобы лавировать.

— Ерунда! Доставлю вас целыми и невредимыми, будьте покойны! — сказал Штеффенхауз.

Ингрид взяла под руку Аннерозу и глазами сделала знак Хольту. Все трое пошли за шатающимся Штеффенхаузом. Гитта села в машину Хеннинга. Ингрид, явно обрадованная, что избавилась от сестры, посадила Аннерозу вперед и вполголоса сказала Хольту:

— Я страшно озябла. Дай мне твой полушубок.

Он закутал ее и сел рядом. Девушка прильнула к нему и спросила шепотом:

— Что было нужно Гитте от тебя?

— Я так и не понял.

Штеффенхауз, пошатнувшись, шлепнулся за руль, включил фары, и с места взял бешеную скорость. Хольт устроился поудобнее. Ингрид прижалась к нему. Через заднее стекло на них падал свет фар хеннинг-говского «мерседеса». До Гамбурга они добрались невредимыми. Машина остановилась в Ниншtedте, перед домом Хеннингов.

Пока Роланд договаривался с родителями, все, уже измученные, ждали в прихожей. Сестры Тредеборн, отойдя в сторонку, о чем-то возбужденно шептались. Они опять повздорили. Гитта, внешне сохраняя спокойствие, говорила насмешливым, покровительственным тоном. Ингрид выходила из себя, глаза ее метали молнии.

Вернулся Хеннинг.

— Господа,— сказал он,— мы сейчас закатим настоящий студенческий завтрак, как полагается с похмелья! Маринованная селедка в доме есть, и на кофе мой старик расщедрился. Разумеется, все приготовим сами. Итак, за дело! На кухню!

Штеффенхауз за две минуты учинил в кухне полный разгром, Хеннинг накинудся на него:

— Немедленно убирайся в ванную и сунь голову под холодный душ!

Хольт смотрел, как Гитта с Аннерозой готовят завтрак. Ингрид палец о палец не ударила.

Штеффенхауз вернулся из ванной с мокрой головой. Увидев банку американского кофе, он крикнул:

— Глядите, Хеннинги-то, оказывается, спекулируют на черном рынке!

— А вы, конечно, нет? — невозмутимо парировал Хеннинг.

Гитта протянула сестре поднос с тарелками и чашками:

— Отнеси, да поживей. Не будь лентяйкой!

Ингрид нехотя подчинилась и, взяв поднос, сказала Хольту:

— Будьте любезны, откройте мне двери!

Хольт пошел вперед. Ингрид хорошо знала квартиру Хеннингов.

— Вторая дверь налево! — скомандовала она.

В столовой было темно. Хольт нащупал выключатель. Ингрид поставила куда-то поднос, захлопнула дверь и бросилась Хольту на шею. Услышав шаги в прихожей, он отстранил ее и включил свет. Дверь открыли. Это была Гитта. Она посмотрела на обоих и молча поставила на стол горячий кофейник. Ингрид озорно подмигнула Хольту.

Громко споря, в столовую вошли Хеннинг и Штеффенхауз. За столом Штеффенхауз никому не давал покоя.

— Кто, скажи на милость, всю войну просидел на Нормандских островах, не понюхав пороха, а? — кричал он. — Ты и твоя морская артиллерия! А кто тем временем дрался наверху с четырехмоторными? Мы!

— Тебе так кажется! — сказал Хеннинг. — Четырехмоторные водили вас за нос! Пока вы кружили над Франкфуртом, они швыряли бомбы на Киль!

Штеффенхауз разозлился не на шутку.

— Ты так говоришь, потому что понятия не имеешь, как трудно бывает идти на перехват! — крикнул он, побагровев. — А что было над Швейнфуртом? И над Бременом? Мы там до ста штук в день сшибали!

— А сколько вас загремело — об этом в сводках стыдливо умалчивалось, — издевался Хеннинг. Штеффенхауз задохнулся от негодования. Он ртом ловил воздух, но тут Хеннинг скомандовал: — Отставить пререкания, обер-фенрих!

Хольт слушал этот спор с удивлением. У них, видимо, нет других забот. Штеффенхауз поглощал маринованные селедочки одну за другой, сок стекал у него с подбородка на рубашку. Сидевшая рядом Ингрид тыкала вилкой в селедку и вдруг вскрикнула:

— Ой, боюсь! Она взмахнула хвостиком...

Все расхохотались. Штеффенхауз восхищенно воскликнул:

— Вы... вы действительно солнышко!

Гитта поджала губы.

Хольт почти ничего не ел, но пил уже вторую чашку кофе. Его усталость постепенно перешла в апатию, и в то же время он ощущал какую-то странную бодрость, даже возбуждение. Его соседкой была Аннероза. Хотя его мало беспокоило, что думает о нем ее брат, он сказал:

— Гисберт, кажется, здорово обиделся на меня?

— Я непременно все улажу! — ответила она, покраснев.

Штеффенхауз хотел налить себе кофе, но кофейник был пуст.

— Больше нет?

— Ступай и свари,— сказал Хеннинг.

Штеффенхауз постучал себя пальцем по лбу.

Тогда встала Гитта и спокойно сказала:

— Я принесу себя в жертву.— На пороге она обернулась.— Но пусть кто-нибудь из молодых людей составит мне компанию.

Штеффенхауз, давась, проглотил очередную селедку и крикнул:

— Я!

— Нет, Фред,— насмешливо сказала Гитта,— я не вас имела в виду. Вашими анекдотами я сыта по горло. Господин Хольт, может быть, вы?

Именно этого Хольт ждал. Он пошел за ней на кухню. Гитта поставила на огонь кастрюльку с водой, потом подвинула к плите табурет и села. Хольт закурил. Нет, Гитте не удастся вывести его из равновесия. Но она молча сидела у плиты, не обращая на него никакого внимания, и ему как-то стало не по себе.

Только когда вскипела вода, Гитта подняла голову.

— Да, верно,— сказала она, словно вспомнив,— за мной ведь еще один анекдот.— Она ополоснула кофейник кипятком и заварила кофе.

— Слушаю,— сказал Хольт.

Гитта встала и закрыла дверь.

— Анекдот в самом деле отличный,— сказала она, глядя ему в глаза.— Наше солнышко как будто и вам согревает душу?

— Пока никакого анекдота не вижу,— сказал Хольт.

— Сейчас увидите. Так вот. Пятнадцатилетней девчонкой, будучи в лагере для эвакуированных детей, наше милое солнышко, наше золотце распутничало направо и налево.

Хольт глубоко затянулся сигаретой. Так он и думал. Впрочем, его это нисколько не волнует. Он смотрел в окно на серое утро. Чуть не забыл, что надо собираться в путь. До него донесся голос Гитты:

— Ну как, плохой анекдот?

Он подошел к ней и посмотрел на нее в упор. Смотрел он так долго, что она под его взглядом растерялась. Он покачал головой и вернулся в столовую.



В столовой еще продолжали завтракать. Хольт подумал вдруг, что ему нет никакого дела до этих людей. Одна Ингрид вызывала у него теплое чувство, и анекдот Гитты ничего тут не мог изменить. Хольт стоял у двери и курил. Просто удивительно, как все стало ему здесь чужим: и комната, и люди за столом, и все, о чем они думают и говорят. Странно! Каких-нибудь полчаса назад он прекрасно чувствовал себя среди них.

Из разговора Хеннинга со Штеффенхаузом доносились отдельные слова: «Выждать... Европа...» И еще: «...мы принесли жертву во имя Запада...» Сейчас Хольт уже не думал: у них нет, видимо, других забот. Он насторожился. Тон, которым говорил Хеннинг, был ему хорошо знаком.

— Вы были офицером? — спросил Хольт.

— Обер-лейтенантом,— ответил Хеннинг.

Хольт кивнул. Что ж, почему бы и нет. Хеннинг с первой встречи был дружески расположен к нему. Но о чем они там говорят? Германия не погибнет, хотя бы потому, что героизм... героизм немецкого солдата... возрождение Германии...

Возрождение Германии? Героизм? Да ведь все это у Хольта в зубах навязло.

И сразу все ожило: учебный взвод, вдалбливание идеи героизма... Вейнерт, собирающийся вскочить в машину и удрать, Вольцов, избивающий Вейнерта... Весь ужасный конец стоял у Хольта перед глазами. Он снова отчетливо видел эсэсовцев в прорезь прицела, видел рухнувшего у фонтана Вейнерта, а над ним качающееся на веревке тело Вольцова...

— Что с Хольтом?.. Что это у вас так вытянулось лицо? Вам нехорошо? — спросил Штеффенхауз.

— Я... я не расслышал последней фразы. Что вы сказали, господин Хеннинг?

— Я сказал, что просто недопустимо со стороны союзных держав так обращаться с нами,— с готовностью повторил Хеннинг звучным, твердым голосом.— Как это ни прискорбно, но немало немцев тоже не упускают случая в мрачайшую для нашего отечества годину обливать нас грязью. К сожалению, пока я лишь в узком кругу могу сказать, что придет день, когда больше никто не посмеет задевать безнаказанно солдатскую честь немца. Кто попытается — вздернем на виселицу.

— А вот я совсем не разделяю столь радикальные взгляды,— медленно сказал Хольт.— Но раз уж вы затронули эту тему,— тихо и очень отчетливо продолжал он,— то, пожалуй, стоит подумать, не правильней ли, господин Хеннинг, вздернуть на виселицу именно вас.

Все умолкли. Тишина ледяным холодом расплзлась по комнате. Из кухни вернулась Гитта, поставила на стол кофейник и села. Посмотрев на Хеннинга и Штеффенхауза, уставившихся на Хольта, как на душевнобольного, она удивленно спросила:

— Что случилось?

Хольт ничего не замечал. Слова Хеннинга разбудили в нем воспоминания о книгах и лозунгах, которые погнали его, полурепбенка-полуоношу на войну.

Он остановил взгляд на Хеннинге. Лицо его, бледное и худое, плыло в желтоватом свете, и снова перед Хольтом встала сама судьба, воплощенная в живом существе, сильном, с мужественным профилем, в человеке, смертном, как все.

«Если они вернуться,— думал Хольт,— с их лживой поэзией, цветистыми изречениями, с их националистским бредом и отравленными фразами, как бы это ни звучало — величие Пруссии, Священная Германия, Запад или Европа,— если они вернуться, бей их насмерть! И всю жестокость, все варварство, на какие я был способен на фронте, я сохраняю в себе и буду беречь до того дня, когда вернуться они — эти хладнокровные убийцы и втыкатели флажков вольцовы, эти ничему не научившиеся хеннинги или рыдающие дервиши вейнерты. Тогда проснись, инстинкт убийцы, который они разжигали во мне, и... поплевав на ладони — на фонарь их!»

Хольт повернулся, надел в прихожей полушубок и вышел на улицу. Холодный утренний воздух освежил его. Он вздохнул всей грудью и громко сказал:

— Не думал, что так скоро придется снова пуститься в путь.

В Альтоне он сел в пригородный поезд. От Харбурга зашагал вдоль заливных лугов и быстро добрался до Виденталя.

10

Было воскресенье, шесть утра. Мать и тетка еще спали. Но Бригитта была уже на ногах. Хольт прошел в кухню и сел. Он попросил кусок хлеба, выпил стакан холодной воды из-под крана. Рассеянно смотрел он, как мучается Бригитта с горой грязной посуды, оставшейся после вчерашнего ужина. Пальцы ее были стерты до крови от стирки...

— Мое старое обмундирование еще цело? — спросил Хольт.

Бригитта посмотрела на него с удивлением. Он провел рукой по своей непокорной шевелюре.

— Я уезжаю. На этот раз — совсем, — сказал он и закрыл глаза. Он не знал, куда ему ехать.

В дверях появилась фрау Хольт в пеньюаре из белого крепа. Не смотря на ранний час, она была тщательно причесана. Хольт почувствовал едва уловимый аромат лаванды.

— С добрым утром, Вернер, — приветливо сказала она. — Ну, как там было? Расскажи! Только пойдем в гостиную.

— Мне и здесь хорошо! — сказал он. Но когда в дверь просунулась голова тети Марианны, он встал и пошел в гостиную.

— Расскажи, пожалуйста, подробно обо всем, — попросила мать. — Было весело? — Хольт поджал губы. Мать встревожилась. — Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего. Что могло случиться?

— С тобой были нелюбезны?

Он расхохотался.

— Не спрашивай, мама. Тебе этого все равно не понять. — Взглянув на тетю Марианну, на эту мумию, он вдруг пришел в ярость. — Нелюбезен с ними был я. Так и знайте! — В высохшем лице тети Марианны впервые что-то дрогнуло, и тогда он, злорадствуя, пояснил: — Сначала я отхлестал Вульфа, назвал его болтуном, а всю публику там — сбродом. Потом сказал Хеннингу, что его следовало бы повесить! — С удовлетворением, быстро сменившимся неуверенностью и подавленностью, он увидел, что даже невозмутимое лицо матери побледнело.

— Позор птице, марающей свое гнездо, — зло и не совсем к месту сказала тетя Марианна.

Фрау Хольт, всплеснув руками, воскликнула:

— Вернер! — Под маской невозмутимости она силилась скрыть свою слабость.

Хольту стало жаль ее. Тетя Марианна, высоко вскинув голову, короткими шажками прошла к телефону. Хольт слышал, как она набрала номер.

— Франц? Прости, что я звоню так рано, — сказала тетка. — Не можешь ли ты приехать? Нет, сейчас. Не знаю. Боюсь, что был какой-то скандал... с Вернером...

Хольт покачал головой. Тетя Марианна вернулась в гостиную.

— Францу надо будет все уладить!

Пронзительно зазвонил телефон. Фрау Хольт бросилась к аппарату. Она вернулась с таким видом, словно с души у нее упал камень.

— Тебя, Вернер! Это Ингрид Тредеборн, — и добавила, обращаясь к сестре: — Может быть, все не так уж и страшно?

Хольт пошел к телефону.

— Вернер? — услышал он.

— Чего тебе? Почему ты звонишь?

— Ну и номера ты выкидываешь, — весело воскликнула она. — Хеннинг и Фред просто взбесились! Гитта хохотала до слез. Она говорит, что тебе цены нет!

Он опустил было трубку. Напоследок он доставил Гитте удовольствие, разыграв этакого *enfant terrible* *. Он опять приложил трубку к уху. Понизив голос, Ингрид сказала:

— Мне необходимо поговорить с тобой. Да, сегодня же.

— О Хеннинге?

* Ужасный ребенок (франц.).

— Нет-нет! Чего хотела от тебя Гитта в кухне?.. Потом расскажешь.— Ингрид предложила встретиться в кафе, в Вильгельмсбурге, в пять часов.

— В пять...— повторил он.— Хорошо. Приду.

До отъезда надо хоть несколько часов поспать. Мать стояла в дверях. Она, конечно, слышала весь разговор с Ингрид.

— Вы на «ты»?— спросила она удивленно.

Хольт молча прошел мимо и поднялся по лестнице.

Бригитта уже принесла его старые солдатские вещи, и он спрятал их в шкаф. Потом принял душ, завел будильник на три часа и лег. Он очень устал. Но едва он заснул, как его разбудил настойчивый стук в дверь.



Коммерции советник, одетый с иголочки, поставил стул возле его кровати и сел:

— С добрым утром, Вернер! Скажи мне, что там произошло? Но только откровенно, как мужчина мужчине.

Хольт вздохнул.

— Я сказал Вульф и Хеннингу правду. Всего несколько слов,— ответил он, прикидываясь более сонным, чем был на самом деле.— Может быть, дашь мне поспать?

Коммерции советник огорченно смотрел на Хольта.

— Минутку. Почему так получилось? Я хочу сказать, что предшествовало этим разговорам?

— Вторая мировая война,— отрезал Хольт. Но он видел, что дядя ничего не понял.

Франц Реннбах задумался.

— Теа намекнула, что ты с Ингрид перешел на «ты»,— сказал он наконец.

— Да, мы на «ты»,— Хольт улыбнулся.— Если тебя интересуют подробности, спроси у нее. А еще лучше — у ее сестры.

Коммерции советник опять долго размышлял, на этот раз еще дольше, чем прежде.

— Объясни мне, пожалуйста, чем ты так раздражен?— спросил он.

Хольт вскочил с кровати и накинул купальный халат.

— Как я могу объяснить тебе то, чего ты не в состоянии понять!— воскликнул он.— Ты не желаешь знать, что человечество раскололось на два мира, что между одним и другим — пропасть. После войны жизнь бросила меня в другой, чуждый мне мир, и я не ужился в нем. Но не об этом сейчас речь. Я приехал сюда, к вам, думал, что мое место здесь, но теперь вижу — я так далеко от вас отошел, что меня воротит, как только вы заговариваете, будь то Хеннинг, тетя Марианна или ты. Я тайком сбежал от вас в горы, я надеялся, что там, в глуши, смогу жить один, без людей, но это было заблуждением, это значило бы растратить жизнь на иллюзию. Я все спрашивал себя: как быть дальше? Но с сегодняшней ночи я это знаю. Изменить свое происхождение я не в силах. Но порвать с вами могу! Среди вас я чувствую себя чужим, вы все мне глубоко безразличны. Остается одна дорога — дорога, по которой пошел отец. Я и среди тех людей чувствовал себя чужим, но...

Он на полуслове оборвал себя, подошел к окну и прижался лбом к стеклу.

— Я совершал ошибку за ошибкой, это мне совершенно ясно,— тихо сказал Хольт.— Бездомный и одинокий в чужом мне мире, я думал, что здесь, у вас, обрету родной дом, и я вернулся к вам, вместо того чтобы, не жалея сил, искать пути к тем, другим, научиться понимать их

язык и, быть может, найти у них новую родину и покончить с одиноким существованием деклассированного Некто.

Он зябко поежился. Потом отвел глаза от хмурого неба и отошел от окна.

— Здесь я понял, что «возвращения» à la Ремарк для меня нет и не может быть. Другое дело, если б я не прозрел и стоял на вашей почве. Но вы сами выбили ее у меня из-под ног, когда отняли у меня отца, родную семью и толкнули меня, полурепбенка, в войну. Да, именно вы, ибо в том, что я захотел пойти воевать, ваша вина! Я знаю людей, которых учили бороться против гитлеровской войны! Но вас фашизм вполне устраивал, от вашего чванства, от вашего деления людей на «высших и низших» до «расы господ» и «недочеловека» лишь полшага! Мне у вас нечего делать, я рву все нити с многочисленным родом Реннбахов. Моя фамилия Хольт. Мой отец не купец и не фабрикант. Мой отец — врач и преподаватель университета. Я вернусь к нему, навсегда. Вернусь к тем, другим. Среди них есть стоящие люди. Я их не понимал, но я и не пытался их понять. На этот раз попытаюсь.

— Со всей настойчивостью, Вернер,— серьезно, но не без дружелюбия сказал коммерции советник,— должен предостеречь тебя от опасного шага, который ты собираешься предпринять. И самым решительным образом заявляю, что ты глубоко неправ, когда на основании своего кратковременного пребывания в Гамбурге выносишь столь уничижающий и безапелляционный приговор собственному происхождению, собственной плоти и крови и всему прочему.

— Может случиться,— возразил Хольт,— что и там, у других, я не приживусь точно так же, как здесь, у вас. Возможно, что люди, подобные мне, обречены всю жизнь оставаться бездомными. Но если это так, то я предпочитаю свою жизнь прожить не в ваших салонах, а в кухне у Бригитты.

Коммерции советник взглянул на Хольта.

— Тебя... Очень прошу, будь со мной совершенно откровенен! Тебя так увлекла эта девушка? Мы думали, что Ингрид Тредеборн...

Хольт расхохотался.

— Вот видишь, мы с тобой говорим на разных языках! Я хотел сказать, что трещина, расколовшая человечество, проходит и через этот дом, хотел объяснить, на чью сторону, к каким людям я буду стремиться. Ты даже этого не понял.

— Ошибаешься, теперь я тебя понял очень хорошо,— сказал коммерции советник.— И вообще, я понимаю тебя гораздо лучше, чем ты думаешь. Хочешь курить? — Он поднес Хольту огонек зажигалки и прикурил сам.— Ты вернулся с войны. После всего, что ты пережил, ты возмущаешься, бунтуешь. Это возмущение делает тебе честь. Оно свидетельствует, что ты не по возрасту зрелый, мыслящий человек. Вернер, я горжусь таким племянником! Во все времена появлялись такие люди, как ты,— горячие головы, беспокойные души, они всегда пробивали брешь в консерватизме старшего поколения, брешь, в которую проникал свежий ветер прогресса. Твой бунт направлен только против этого консерватизма. Но... — Он поднялся и продолжал медленно и настойчиво: — ...трудное искусство жить и зрелость человека заключаются в умении безошибочно находить меру. Тебе надо научиться распознавать, где кончается прогресс и начинается подрыв устоев того общества, в котором мы живем.

— Твои комплименты меня мало трогают,— сказал Хольт.— Тебе не повезло: именно здесь я прочитал Ремарка, и книга эта меня многому научила. В ней то самое возмущение, о котором ты говоришь, не переходит дозволенных границ, оно остается в желаемых тобой пределах. Но я не собираюсь спрашивать у тебя, в каких пределах мне возмущать.

ся. Я не желаю разыгрывать из себя интересного молодого человека, который пробивает тому, что ты называешь прогрессом, дозволенную вашим обществом брешь. Между нами мосты сожжены! — Он посмотрел коммерции советнику в глаза. — Я ухожу. И ни одна душа в мире не в силах меня удержать.

Франц Реннбах направился к двери. Лоб его прорезали глубокие морщины.

— Выспись, — сказал он, слегка задыхаясь, точно ровный и дружеский тон стоил ему физических усилий. — Все, что ты говорил, я спокойно и без предубеждения обдумаю. Я постараюсь ничего не упустить, что могло бы помочь найти приемлемое для тебя решение. Мы с тобой еще поговорим, — и он закрыл за собой дверь.

Хольт, не шевелясь, стоял посреди комнаты. Да, он поедет к отцу, пусть это будет его путь в Каноссу! Он подумал о Гундель, холодно, трезво, без всяких иллюзий. Затем лег в постель. Чувство освобождения и уверенности было в нем так сильно, что он мгновенно уснул.



Будильник разбудил Хольта, спавшего глубоким, целительным сном. Все время, пока он собирался в дорогу, всем существом своим устремившись вперед, к неизвестности, мысль о матери не покидала его. Почему его никогда не привязывала к матери детская любовь? Может, он сам виноват в этом?

Все, что он получил от коммерции советника, — обувь, сорочки, белье, — он оставил; костюмы повесил в шкаф и надел свои старые вещи — пуловер, перекрашенную солдатскую форму, кожаные сапоги. Потом свернул плащ-палатку и накинул полушубок.

Бригитта была в кухне. Мать и тетка с коммерции советником утром куда-то уехали. Но в ту минуту, когда Хольт собирался уже проститься с Бригиттой, входная дверь открылась, и обе женщины вошли в холл. Тетя Марианна в присутствии Бригитты была не в состоянии слова сказать: обнажив в бессмысленной улыбке зубы, она угловато, деревянными шажками поднялась на второй этаж. Хольт остался с матерью вдвоем. И сейчас, когда он решил расстаться с ней навсегда, он вдруг почувствовал всю силу слова, которое невольно произнес:

— Мама.

Фрау Хольт в серебристо-серой лисьей шубке удивленно и серьезно взглянула на него. Тут же отвернувшись, она ласково потрепала пуделей, которые кинулись к ней с радостным визгом. Хольт с тоской смотрел, как мать подошла к зеркалу, сняла шляпу и поправила волосы.

— Я хотела бы с тобой поговорить, — сказала она и направилась в гостиную. Включив торшер, она позвонила горничной.

— Чаю, — приказала она. Потом приветливо кивнула сыну: — Пожалуйста, сними шубу и садись.

Хольт послушно снял свой полушубок и бросил его на спинку кресла. Молча стоял он в тени за торшером. Он тщетно боролся с унижительным чувством слабости и беспомощности, вдруг охватившим его. Бригитта прикатила столик с чаем. Фрау Хольт, сидя на диване, кивком отпустила девушку и сама приготовила сыну и себе горячий напиток с ромом. Хольт, несмотря на повторное приглашение сесть, по-прежнему стоял.

— Ты можешь быть спокоен, — начала она в легком, тщательно изученном тоне светской болтовни, глядя на пуделей, прыгнувших на диван. — Франц достаточно влиятелен, чтобы устранить любые недоразумения. Да и ты сам имел такой успех, что тебе все простят. Так что, — она чуть приподняла левую руку, — незачем больше драматизировать и

раздувать этот маленький эпизод. Благодаря усилиям Франца инцидент...— рука, согнутая в локте, точно рассчитанным движением очертила в воздухе полукруг и зарылась в шерсть пуделя — ...исчерпан.— Она кивнула сыну.— Что касается нас с тобой, то тебе совершенно незачем угрожать отъездом, чтобы добиться полной свободы. Неужели ты думаешь, что я буду мешать тебе, мое единственное дитя, устраивать жизнь по собственному вкусу и желанию? Ты явно недооцениваешь мое великодушие. Выслушай, что я хочу предложить тебе. Но сядь, наконец, и выпей чаю, пока он не остыл.

Хольт повиновался. Он был в смятении. Неужели она так и не поняла, о чем идет речь? Но как это она сказала: «мое единственное дитя...» Она разбудила в нем давно забытое желание материнской любви, которой ему всегда не хватало. Раздираемый противоречивыми чувствами, он в то же время обостренным зрением видел истинный облик Доротеи Хольт. Необычайно красивая, сидела она на диване, прямая, как свеча, с деланной улыбкой, мастерски отрететированной, почти безукоризненной, но, быть может, чуть излишне приветливой. Однако возможно, что под этой маской скрывается непонятое существо, что мать одинока и всю свою жизнь за внешней холодностью и выдержкой вынуждена была прятать от враждебного окружения малейшее движение души? Быть может, она лелеяла надежду, что ее единственное дитя поймет ее и протянет ей руку, что вот-вот осуществится ее мечта, идеал — родной дом, полное согласие между матерью и сыном.

Маленькими глотками Хольт пил горячий чай. Мир раскололся. Неужели пропасть разделит и двух людей, которые некогда были связаны самыми сокровенными узами — мать и сына? На ум пришли все слова о вечном материнском начале, какие он читал, кажется, у Вихерта. Но тут же он с досадой вспомнил о пресловутом «Евангелии женщины», о всей этой умильной и туманной чуши.

Хольт поставил чашку на стол и поднял голову. Вот сидит его мать, он обязан протянуть ей руку. И с непритворной теплотой он сказал:

— Поверь мне, я уйду не от тебя. Конечно нет! Ведь ты моя мать.

— Вот видишь! — сказала она дружелюбно. Она была довольна.— Я так и знала, что нам с тобой нужно только спокойно посидеть и поговорить.— Она по-прежнему почесывала собачку за ухом.— После разговора с тобой Франц мне кое на что намекнул. Меня не интересует, о чем вы с ним разговаривали. Мировые проблемы — это тема для мужчин. Мое дело — разрешить практические вопросы. Франц обещал мне всяческое содействие. Тебе трудно перейти от грубости и одичалости солдатчины к упорядоченной жизни, и я хочу облегчить этот переход. Нелепо сразу же усаживать тебя за парту. Тебе нужно год пожить свободным человеком. Ты чувствуешь себя чужим в обществе? Пожалуйста, удались от него на время. Марианна тебе явно не по душе? Мы не будем вынуждать тебя жить с нами. Прежде всего тебе необходима свобода передвижения. Франц попросит у Карла комплект покрышек, и тогда к твоим услугам будет наш маленький «форд-эйфель»; вполне естественно, что чувствовать себя зависимым от знакомых каждый раз, когда куда-нибудь едешь, очень неприятно.

Он не понимал, о чем она говорит, ему приходилось, как с иностранного языка, мысленно переводить ее слова, только тогда он улавливал смысл. Он растерялся. А мать тем временем пристально наблюдала за ним.

— Для того чтобы ты мог устроиться по своему вкусу, Франц предоставляет в твоё распоряжение свой загородный домик в Дорстер Дикзанде. Ты можешь тотчас переселиться туда на длительное время или выезжать на день-два, как захочешь. Франц пришлет уголь.

Фрау Хольт незаметно переменяла тон, и теперь слова ее уже были точно нацелены.

— Все наши знакомые проводят субботу и воскресенье в Дикзанде. Сейчас, когда война кончилась, там опять будет весело и интересно. Многие уже ранней весной выезжают туда и остаются на все лето, до глубокой осени, например, фрау Тредеборн с дочерьми.

Хольт улыбнулся.

— Но с другой стороны, — не переводя дыхания, продолжала мать, — если тебя больше устраивает полное уединение, ты найдешь его там, как нигде больше, ибо домик расположен на отлете. Как только потеплеет, ты сможешь удить, заниматься парусным спортом. Поскольку Марианна, при ее консерватизме, не желает мириться с нашими современными взглядами, мы удовольствуемся временно услугами экономки дяди Франца, а Бригитта будет вести хозяйство у тебя.

Хольт уже не улыбался. Под его взглядом мать умолкла. Он встал, надел полушубок, повесил через плечо плащ-палатку. И с этим сном покончено. Трещина расколола мир, и никакие кровные узы тут не помогут. Кто склонится перед такой матерью, тот склонится и перед ее убеждениями. Уважение, почитание, детская любовь... Хольт подумал об отце. Теперь он видел, что в такие времена единственно, что достойно уважения, это воля к ломке, стремление перебороть прошлое, самого себя, все заблуждения и предрассудки. В Писании сказано: почитай отца и мать своих. Следовало бы добавить: жизнью, достойной уважения, заслужите почитание детей своих.

Наконец фрау Хольт начала что-то понимать. На несколько мгновений она потеряла власть над собой, и лицо ее как-то сразу поблекло, увяло и постарело.

— Он такой же... как его отец... — невнятно пробормотала она, но преодолев минутную слабость, улыбнулась. Боль обиды чувствовалась в ее улыбке. — Если ты не знаешь, что такое сыновняя любовь, придется напомнить тебе о долге послушания.

Он молчал. Лучше бы ей не заговаривать о сыновней любви, а то, чего доброго, он еще спросит ненароком, как обстоит с ее материнской любовью.

— Такова, стало быть, твоя благодарность, — продолжала она, улыбаясь еще горше, — за все мое великодушие и материнскую любовь...

Он молчал.

— Заботы... Волнения... Все перечеркнуть?

Он молчал. Он видел ее насквозь. Только однажды он доставил своей матери повод для волнений, да и то до своего рождения — как бы ей не испортить фигуру. Она понятия не имеет о материнской любви. Она вообще не имеет понятия о любви. Она и за отца вышла замуж только потому, что «супруга университетского профессора» звучит эффективнее, нежели «супруга фабриканта». И сейчас ей хотелось удержать сына только потому, что этого требовало ее честолюбие.

Он сказал:

— Будь счастлива, — и вышел из комнаты.

В холле дожидались Франц и Карл Реннбах. Коммерции советник, оживленно жестикулируя, что-то тихо говорил судовладельцу, который, в расстегнутой короткой шубе с выдровым воротником, лежал в кресле, вытянув ноги. Они, очевидно, ждали, чем кончится разговор между матерью и сыном. Как только Хольт вышел от матери, коммерции советник приветливо кивнул ему и тотчас исчез в дверях гостиной.

Карл Реннбах со стоном: «Проклятая подагра!» — приподнялся в кресле и подал Хольту руку.

— Доставляешь нам хлопоты, племянник, — ворчливо сказал он. — Что случилось, что все это значит?

Дядя — лиса, но он старый, седой человек.

— С тобой я могу говорить откровенно, — сказал Хольт. — Остальные не желают ничего понимать, все что-то придумывают. Прежде всего я хочу извиниться перед тобой за то, что тогда удрал в Шварцвальд.

Карл Реннбах промывчал что-то невнятное.

— А что я доставляю вам хлопоты — об этом ты зря говоришь; я просто уезжаю назад, к отцу. Вот и все.

— А почему, племянник? — спросил Карл Реннбах.

— Ты помнишь наш разговор в Людвигсхафене? — спросил Хольт. Судовладелец кивнул.

— Ты сказал тогда... случаю было угодно, чтобы на нашу долю достался не подвал... ты сказал это серьезно?

— Ну, конечно же серьезно! — подтвердил Карл Реннбах.

— Я хочу исправить дело случая.

— А почему, племянник?

— Мне очень досадно, что я не могу ясно и коротко ответить на твой вопрос. Я уезжаю просто потому, что вы все опостытели мне.

— Так-так, продолжай, племянничек!

— Я все сказал! — И Хольт холодным и враждебным изгладом ответил на косящий взгляд дяди.

— Па-анимаю! — протянул Карл Реннбах и развел руками. — Что ж, если так, тогда, разумеется, поезжай... Теперь мне все па-анятно... Все! — Он мотнул головой, повернулся и медленно пошел в гостиную.

Хольт с секунду смотрел ему вслед. Карл Реннбах его понял. Карл Реннбах знал язык, на котором говорил Хольт, — язык ненависти. Да, ненависти, и Хольт был рад, что научился ему. Тяжело дыша, он дал себе клятву хранить в себе ненависть до тех самых пор, пока мертвые матросы для кого-то обращаются в звонкую монету.

Он принял решение, оно бесповоротно. В прошлом ему часто приходилось говорить: «Все было неправильно». Теперь он знал — возврата не будет. И если он когда-нибудь изменит своему решению, место ему на мусорной свалке.



По городской железной дороге Хольт поехал в Вильгельмсбург и разыскал кафе, которое назвала Ингрид. В этот час оно было переполнено. Стоя у вертящихся дверей, Хольт оглядел ряды маленьких столиков. Он сам не мог бы сказать, приехал ли на это свидание просто из вежливости или ему хотелось повидать Ингрид. Когда же он глазами нашел ее, он обрадовался. Она была в белом пуловере, густые рыжевато-каштановые волосы свободно падали на плечи. То и дело она поворачивала голову, вытягивая длинную шею. Она ждала Хольта. В сущности, и она была чужой здесь, в этом мире.

Но вот Ингрид заметила Хольта. Она была взволнована. А когда увидела под полушубком потрепанный мундир, кровь медленно схлынула с ее лица. Она схватила его за руку.

— Ты в самом деле уезжаешь?

— Есть грог. Будешь пить?

Ингрид кивнула. Хольт подозвал кельнершу.

— Да, — сказал он, — я уезжаю. Но откуда тебе это известно?

Она рассказала. Покуда Хольт спал, коммерции советник с обеими сестрами, как бы по дороге, заехал к фрау Тредеборн. Девушки сразу же смекнули, в чем дело. В таких случаях они всегда заодно. Маленькая ссора с этим дурнем Хеннингом — совершеннейший пустяк, в один голос уверяли они. Ингрид устроила так, чтобы коммерции советник мог незаметно отвести ее в сторону. Он очень тактично намекнул ей, что ему известно об их интимном «ты», и попросил «милостивейшую фрейлейн, строго между нами» употребить все свое влияние на Хольта и выбить из головы у этого упряма, переживающего свой период бури и натиска, всякие планы об отъезде и тому подобном.

С наивной откровенностью Ингрид выложила Хольту все, что отнюдь не предназначалось для его ушей. И эта наивность еще раз убедила его, что Ингрид по сути своей славная девушка.

— Твой дядя считает, что русская зона — гибель для тебя, — сказала она.

Кельнерша принесла грог. Хольт, не глядя, положил на стол кредитку.

— А зачем я тебе был нужен? — спросил он.

— А-аа, — протянула Ингрид, — да просто так, поговорить... — Она обхватила обеими руками горячий стакан. — Понимаешь, — она покраснела, и это тоже понравилось Хольту, — мне очень хотелось узнать, чего Гитте надо было от тебя?

Он молчал. Ингрид вздохнула и продолжала, не поднимая глаз:

— Она опять на меня злится. Просто она мне завидует, потому что все предпочитают меня ей. Я думала... Не знаю, что она тебе говорила... Если она на что-то намекала или... так ты не думай... Понимаешь, если она говорила обо мне какие-то глупости... — Ингрид украдкой взглянула на него и умолкла, увидев, что он улыбается.

— Завидует... — повторил он. — Да, пожалуй... — Он рассмеялся. Но, посмотрев на лицо Ингрид, перестал смеяться. — Ты гляди только, чтобы она не трезвонила об этой истории. Кое для кого это было бы лакомым куском. Что касается меня, то Гитта промахнулась. Меня это совершенно не трогает. Я прекрасно знаю, что происходило в ваших лагерях для эвакуированных...

Она растерянно, не веря своим ушам, смотрела на него.

— Что... что ты говоришь?

— Забудь, — сказал он. — Это был массовый психоз. Мы все были невменяемы. Я легко себе представляю, что негодяи внушали тебе, будто негры или монголы сожрут всех вас живьем, верно? Забудь и не вспоминай никогда.

Она с трудом справилась с охватившим ее смущением.

— Так, значит, тебе поручили удержать меня? — спросил он.

— Да, — ответила она, и непринужденность вернулась к ней. — Знаешь, мне никак не верится, что ты в самом деле уезжаешь.

— А ты поверь! — сказал он мягко. Ингрид ему нравилась. Она расположена к нему, быть может, любит его, у нее сейчас такие испуганные глаза. — К тебе мой отъезд не имеет никакого отношения, я уезжаю, потому что у меня нет другого выхода.

— Нет, ты не можешь уехать! — воскликнула она. — Гитта подумает, ты уехал потому, что она тебе это рассказала!

Хольт рассмеялся. Это был смех, облегчающий душу.

— Что ж делать, если Гитта так подумает! Тут я тебе ничем помочь не могу, — сказал он и надел полушубок. — Ну, будь счастлива.

Смех все еще разбирал его. И, шагая к вокзалу, он подумал: хорошо смеяться, гсворя «прощай».

(Окончание следует)

То, ВО ЧТО ВЕРЮ...

Перевод с вьетнамского и вступление
М. МАТУСОВСКОГО

Это моя вторая встреча с вьетнамской поэзией. Первая состоялась сравнительно недавно, когда я переводил стихи вьетнамских поэтов, посвященные борьбе за освобождение Южного Вьетнама. Под общим заголовком «Песни гнева» они были опубликованы в майском номере «Иностранной литературы» за прошлый год.

И вот сейчас передо мной новые стихи одного из самых популярных во Вьетнаме поэтов — Суан Зиеу. Он принадлежит к поэтам моего поколения, к тем, кто пришел в поэзию в тридцатые годы. Признанный лирик, он известен и как автор многих рассказов и очерков, и как вдумчивый литературовед, посвятивший свои исследования творчеству классиков вьетнамской литературы.

Раскрыв наугад хотя бы один из его поэтических сборников, мы сразу узнаем, чем живет поэт, чему посвящает он свои лучшие строки, что составляет главную тему его поэзии и жизни. Это относится и к последней книге стихов Суан Зиеу, которая состоит из двух основных разделов: лирики и полных гражданского гнева стихов о Южном Вьетнаме, о страданиях и мужестве его народа. Вот почему и в нашей небольшой подборке мы сочли необходимым поместить стихи из этих двух разделов. Думаю, что в то время, когда все друзья вьетнамского народа отмечают годовщину со дня провозглашения Демократической Республики Вьетнам, когда весь мир протестует против преступных авантур американских милитаристов на вьетнамской земле и во вьетнамских водах, — читателю будет интересно познакомиться со стихами одного из лучших поэтов нового Вьетнама.

Я не бывал во Вьетнаме, не бродил по его дорогам, осененным прохладной тенью пальм, не видел его селений с новыми кровлями из алой черепицы, я не знаком лично с Суан Зиеу. Но когда я знакомился с его талантливыми, мужественными стихами и переводил их на русский язык, мне казалось, что я все больше и больше начинал понимать и чувствовать характер самого поэта, умеющего разговаривать в стихах с родиной, как со своей любимой...

Клятва

Я люблю тебя, как волны, бьющие в берег
протяженностью в тысячи километров.
Я люблю тебя, как четыре времени года,
напоенные солнцем, грозой и ветром.
Вот уже четвертое тысячелетие
я люблю тебя с нежностью нелюдской.
Я люблю тебя так, что еще на свете
не встречался никто с любовью такою.

Я люблю тебя так, что отдам тебе в дар
все миры, все созвездия мироздания.
Каждый раз разрывается сердце мое,
если я на лице твоём вижу страданье.

Я готов под копытами умереть,
быть разорванным четырьмя конями —
только б знать, что кровь не льется твоя,
что опять твое солнце встает над нами.

Неустанно думая о тебе,
на тебе все мысли сосредоточив,
я тебя узнаю при сиянье дня,
я тебя различаю во мраке ночи.
Я бы мог твои горы и реки поднять
и держать на своих плечах постоянно.
Я бы обнял тебя, опустив лицо,
в воды Великого океана.

Если я — твоя плоть, то ты — моя кровь,
по сосудам моим текущая туго.
Если ты — рука, я — твоя ладонь,
что с тобою мы значим друг без друга?
Если ты далеко, все равно найду
я тебя влюбленным, всевидящим взглядом.
Если ты в беде, я — вблизи тебя,
если ты в бою, я — с тобою рядом.

Не могу примириться, чтоб горло твое
навсегда захлестнула петля тугая,
чтоб враги заграбастали землю твою,
на свободу и счастье твое посягая.
Если стали седыми твои виски,
в волосах моих — новая прядь седая.
Если целются в сердце твое враги,
прямо в сердце мое они попадают.

Ты — отрада очей моих, радость моя,
мы отныне единой живем судьбою.
Даже воздухом дышим с тобой одним,
даже кровь проливаем вдвоем с тобою.
В жизни общая участь теперь у нас —
эти зерна риса и эти песни.
Даже сладость меда и боль от шипов
мы с тобою поровну делим вместе.

Если б вдруг разверзлась сейчас земля,
если б солнце погасло в тучах унылых —
Все равно я нашел бы дорогу к тебе,
все равно разлучить нас никто не в силах.
Пусть еще терзают тебя враги,
сделав землю твою сплошным пепелищем,—
Мы за все потребуем дать ответ,
где б ни скрылись они, мы их след отыщем.

Пусть у них отрастет миллион голов —
миллион мечей мы обрушим, карая.
Мы очистим тебя от сорной травы
из конца в конец, от края до края.
Мы тебе возвратим навсегда весну,
чтоб тебя напоила весенняя влага.
Это то, во что верю я, чем дышу,
это клятва моя и моя присяга!

Из лирических стихотворений

■ ■ ■

Не один цветок, созревший в предрассветной тишине,
не одну листву на ветках, что бормочет в полусне,
и не только травы эти в каплях утренней росы —
всю весну в дождях и грозах ты сегодня даришь мне.

Словно легкий шорох ветра, различимый в забыты,
словно бьющие по камням и бегущие ручьи,
словно звон весенних зерен, в землю брошенных тобой,
словно шум далеких сосен, слышу я шаги твои.

И в душе моей проснулась запоздалая весна,
и опять чего-то ищет и чего-то ждет она.
Как отрез цветного шелка, день лежит перед тобой.
Что, скажи, на этом шелке завтра вышить ты должна?

■ ■ ■

Все пью и пью — напиться не могу.
Прощусь с тобой и вновь к тебе бегу.
Для встреч с тобой и для любви моей
мне мало, мало, мало этих дней.
Пусть долог день, мне не хватает дня.
Я пью, а жажда мучает меня.

Новые черепицы

Влюбленный навек в человеческий труд,
я слушать люблю, как на стройке поют
новые черепицы.

Какой ни пришлось бы идти стороной,
они возникают везде предо мной —
новые черепицы.

На алом закате, на синей заре,
на старом дворе, на глухом пустыре —
новые черепицы.

В поле ли выйду, пройду ль за межу,
повсюду с волнением их нахожу —
новые черепицы.

То вспыхнут они среди чащи лесной,
то в омут они заглядятся речной —
новые черепицы.

Как будто бы отсвет далеких зарниц,
как будто бы тысячи дружеских лиц,
как символ простого и мирного счастья,
встает над землею заря черепиц.

Немало пройдя переправ и мостов,
часами разглядывать я их готов.
Средь порослей темно-зеленого риса
восходят они лепестками цветов.

То школы, где слышится шелест страниц,
то фермы заводов и крыши больниц,
то кровли домов и навесы базаров —
и всюду, как волны, ряды черепиц.

И я их встречаю, как добрую весть.
Попробуй считать их, никак их не счесть —
новые черепицы.

От гроз укрывая людское жилье,
пусть станет отныне и сердце мое
новою черепицей...



МВ ПАРТИЗАНСКИХ РАССКАЗОВ

■
*Перевод с болгарского
Н. ГЛЕН*

Двое и серна



ожет, она сегодня и не придет,— с сомнением в голосе сказал Вихрь.

— Придет,— спокойно ответил Стамен.

— Не знаю...

— А я знаю.

Вихрь почувствовал себя задетым. Вот бы ему такую уверенность, а главное — опыт, который эту уверенность дает.

— Почему ты так убежден?

— Кто долго жил в горах, разбирается в этом деле. Особенно если он охотник.

Вихрь не прочь был бы спросить, в каком это деле, да помешала гордость. Он партизанил давно, но вырос в городе, а жизнь в горах узнать не так легко. К тому ж он не был охотником.

— На этой поляне трава мягкая, сладкая. И никакой зверь ее не поганит...

Они разговаривали так, словно поджидали товарища, от которого зависела их жизнь. В последнем бою они остались на Козьей тропе, чтобы задержать жандармов, и держали их до темноты, но от своего батальона оторвались. Уже неделю они скитались одни, не встречая живой души — из-за полицейской блокады в горах было безлюдно, а при каждой попытке войти в какое-нибудь село по ним начинали стрелять. «Прямо Робинзон и Пятница, только вот отряды дикарей нас почему-то преследуют!» — смеялся Вихрь. С птицами не больно поговоришь — проносятся где-то вдали, в вышине. Оставались букашки, неумоимо грудившиеся в эти августовские дни, но они были ослеплены своими мешанскими заботами. По сути, вступать в разговор можно было лишь с божьими коровками, да и то способен на это был только Вихрь; повернувшись к Стамену спиной, он обсуждал с ними один-единственный вопрос: «Божья коровка, где я свадьбу сыграю?» Он распрямлял ладонь, чтоб продлить божьей коровке прогулку, вздрагивал от щекотки и жалел, что букашка такая маленькая — и не погладишь. Она останавливалась на кончике пальца, словно размышляя, какой ответ ему дать, потом малиновый куполок с черными точками лопался, выпрастывались прозрачные

черные крылышки, и божья коровка летела к Софии. Вихрь старался не замечать, что это ветерок несет ее в ту сторону, потому что знал — так будет, и хотел, чтоб это было так. Девушка, которую он любил, находилась в Софии, в тюрьме...

А потом появилась серна с детенышем...

Она пришла и в этот день. Стамен и Вихрь лежали за двумя буками — внизу стволы были темные, шершавые, с пятнами бледных лишайев, а выше становились все глаже и белее. Между деревьями они видели чистую, ровную полянку, плотно окруженную лесом, но просторную. Солнце было еще низко, и все казалось сочным, свежим: ярко-голубое небо, еще темные от ночной влаги, словно лакированные, листья, устремившиеся вверх травинки, у корня чуть пожелтевшие, дальше — густо-зеленые, и на них звездочки росы, которые то гасли, то вспыхивали под утренним ветерком. Над поляной, над верхушками деревьев висел серебристо-синий реденький туман, придавая краскам спокойную мягкость. Воздух был так чист, что, если б не лес, окрестности просматривались бы далеко-далеко.

Серна с серненком показались между буками на другой стороне поляны и вошли в солнечную картину, сразу ставшую и живей и завершеннее — так. художник кладет последний мазок, самый необходимый. Краски заиграли и на них: красно-бурое лоснящееся тело, белое брюшко, светло-ржавая полоска на бедрах, черные пятна меж рогов и на мордочке.

Партизанам все это было знакомо и всякий раз внове, и каждый день они испытывали то же, что почувствовали при первой встрече...

Серна ступала чуть небрежно, щипала траву быстро, но как-то капризно, словно выбирала лучшие стебельки. «Пить хочет, спешит утолить жажду росой», — подумал Стамен. Иногда хлопанье птичьих крыльев или неуловимый для людей запах заставляли ее вздрагивать, и все тело ее напрягалось — изящно и грациозно. Передние ноги, прямые и тонкие, застывали как вкопанные, задние чуть сгибались в коленях, готовые к толчку. В вытянутой шее, в приподнятой, склоненной набок голове была настороженность и тревога, ноздри нервно вздрагивали — этого не было видно, но Стамен знал, что это так. «Вот и человек — тогда хорош, когда он собран, когда приготовится к прыжку или к бою».

Пошипав траву, серна начинала играть с малышом, едва достававшим ей до брюха. Он ластился к ней, умильно тыкался мордой, а она лизала его лоб, и это выглядело как поцелуй. Тогда Стамен замирал. Серна бросалась бежать, перепрыгивала через сверкающий на солнце ручеек, и малыш кидался за ней, смешно взбрыкивая задними ножками. Стамен поздно женился, отсидев десять лет в тюрьме. Он вспоминал, как жена, протянув к Тончо руки, зовет его; Тончо неуверенно покачивается на месте, вот-вот заплачет, но решается и, неуклюже перебирая ножками, устремляется к ней, а она подхватывает его и смеется: «Серненок ты мой». Тончо тоже смеется и, хоть не все еще понимает, чувствует, что совершил свой первый подвиг... Однако старая, волокнистая, едва прожеванная крапива жгла желудок, а Стамен знал, как нежна сернина, и едва проглатывал застревавшую в горле слюну. Иногда у него темнело в глазах, и он с досадой отодвигал винтовку, чтоб не была под рукой...

А Вихрь мечтал: когда-нибудь он приведет ее сюда, пусть сама почувствует эту красоту — после тюрьмы! — ведь даже в стихах он не сумеет о ней рассказать. Тогда тоже придет серна с серненком, быть может, не эта, но придет. Он будет тайком заглядывать в глаза Шели, он увидит в них и поляну, и серну, прошедших уже сквозь ее сердце, и не будет знать, чему радоваться больше...

Подозрение возникло у Стамена в первый же день. Вихрь затаив дыхание следил за игрой на поляне, но это не успокоило Стамена. Одно

имя чего стоит: Вихрь. Мальчишество, фанфаронство. Где ему понять, что такое муки матери — родить, выкормить? Да и от голода парень осатанел, ни на что не смотрит... Издерганный вынужденным бездельем, терзаемый сомнениями, Стамен смотрел на товарища почти уже с неприязнью. Эти черные, мелкими колечками волосы — не будь они в горах, можно было бы подумать, что он в парикмахерской завивался. Бриться начал, наверно, совсем недавно — вон, едва под носом пробивается. И ростом не вышел, маленькие — они всегда злее... Э, да что я привязался к парнишке, ведь я его знаю — в опасную минуту бровью не поведет, и умен, и с товарищами хорош... Только вот торопыга, неопытный еще...

— Слушай, Вихрь, не вздумай стрелять! Выдадим себя! — прошипел Стамен.

Вихрь растерянно глянул на него — не сразу понял, в чем дело, потом ответил:

— Как — стрелять? Что я, с ума сошел?

И ему показалось, что над серной и малышом нависла смертельная опасность. Ишь какой: «Выдадим себя» — значит, не будь этого, он бы ее убил? И убил бы, глазом не моргнул, как это Вихрь раньше не сообщил! Стамен ведь охотник, все чувства притупились... Физиономия Стамена словно подтверждала его опасения. Продолговатое лицо с торчащими скулами, горбатый нос, тонкие губы, подбородок как-то скошен; когда смеется, глаза совсем закрываются, а в улыбке что-то грубое, насмешливое. И этот шрам на левой щеке — как лишай, который не загорает, а если кровь приливает к лицу, кожа на шраме выглядит еще белей и неестественней... Но с каким бы пристрастием Вихрь ни рассматривал сейчас Стамена, он все равно знал, что завидует его спокойной силе и любит его глубокой, невысказанной любовью... Он никогда не пробовал сернины, но Стамен невольно натолкнул его на эту мысль, и сейчас у него все время вставал перед глазами дымящийся на вертеле гайдуцкий шашлык; он даже чувствовал его запах, и голод становился нестерпимым. Боясь самого себя и продолжая твердить себе, что Стамен — охотник, человек суровый, он сказал:

— Да и, по правде, жалко будет — столько мяса зря пропадет. Нас двое, сколько мы съедим? Остальное протухнет.

— И то верно, — кивнул Стамен, а про себя подумал: «Хорош! Нет, чтобы животное пожалеть, ему мяса жалко...»

Взаимные подозрения не исчезли. Стамен стеснялся рассказывать парнишке, как он стосковался по жене, по сыну, — он был уверен, что тот его не поймет. Вихрь тайком писал стихи и боялся, как бы его не уличили в сентиментальности. Они не могли выразить словами и того самого важного, глубокого, что удерживало их от выстрела: они насмотрелись на кровожадность врага, и она была им отвратительна. Они тоже убивали — правда, не людей, выродков, — но сердца просили передышки... А голод лишал их сил, делал ленивыми и злыми, они уже не верили себе, боялись, что не устоят, и все более зорко исподтишка следили друг за другом.

Вдруг Стамен вздрогнул и устремил взгляд куда-то меж стволов. Потом, осторожно опустившись на траву, сдвинул пятки, вжался локтями в землю и поднял винтовку. Он целился напряженно и неотвратимо. Вихрю показалось, что дуло смотрит куда-то в сторону, но он все время ждал этого выстрела и теперь был уверен: в серну! Ему хотелось крикнуть, спугнуть ее, заорать на Стамена, но он только прохрипел — с мольбой и угрозой:

— Не надо! Не надо!

Стамен не обернулся, лишь нервно двинул локтем и неопределенно кивнул головой.

— Ш-ш-ш... Молчи!

Дурак. Не видит их, что ли?.. А краем глаза он продолжал следить за серной. Эх, не чувствует она, ветерок в их сторону... Не убежать ей... А стрелять нельзя, наверно, они не одни. Но вот уже тот... Нет! Гады, мы имели на это право, а вы — нет! Или мало вам того, что стреляете по людям...

Вихрь быстро подполз, но не успел толкнуть винтовку Стамена, как грянул выстрел, второй... и эхо пошло передавать их из оврага в овраг.

Серна встрепелулась, вскинула голову, странно свистнула и полетела вверх большими, сильными прыжками, за ней — малыш. Вихрь еще никогда не видел ее такой красивой и закричал на радостях:

— Удрала, удрала...

А Стамен пробежал несколько шагов в том направлении, в каком только что целился, и продолжал стрелять стоя.

— Стреляй, что ты кричишь, стреляй, мать его...

Только сейчас Вихрь увидел, как вниз по склону катится жандарм, и выстрелил в него. Но тот успел скрыться в лесу. Лишь ранец его валялся на земле.

— Хлеб нам принесли! — засмеялся Стамен, и довольный, и раздосадованный.

Убитый жандарм лежал на краю поляны, у ствола бука, зарывшись носом в землю.

— Вот этот целился. Убил бы ее, гад... — Стамен взял его автомат и легонько пнул тело сапогом. — А теперь давай сматываться! Наверно, это патруль, как бы не набежали остальные...

Вихрь шел за ним, молчаливый и виноватый. Как всегда после потрясения, он чувствовал потребность говорить, говорить много и возбужденно, но сейчас не мог. Трудно было высказать все.

Когда родился день



уки лежали на столе, и он сжимал сплетенные пальцы так, что локти сводило и пальцы набухали кровью. Но он все сжимал их, потому что иначе они дрожали, а это было противно. В сущности, противно было то, что ему изменила выдержка и что он до сих пор не может успокоиться...

...Тип этот снова темнит. Мерзавец. Многое, что остается пока неясным, он должен знать, еще бы — шеф службы безопасности в городе! Но пытается спасти свою шкуру, хотя песенка его все равно спета: хватит и того, в чем он признался. Наверно, хочет прикрыть других — доносчиков, провокаторов... Стефан поднял стул, чтобы вышибить из этого типа несговорчивость, но резкий звон разбитого стекла — внутренняя рама окна была открыта, — заставил его прийти в себя, и он вспомнил: «Не будь, как они!» Он опустил стул, сжимая спинку так, словно душил подлеца, и прогнал его обратно в подвал...

Не будь жестоким... Попробуй с этой сволочью. Одни, примирившись со своей участью, признавали все, и от этого бесстрастного, тупого перечисления издевательств, насилий, убийств в нем подымалось желание раздавить их, как гнид. Другие готовы были приписать кому угодно какое угодно преступление, лишь бы уменьшить свою вину, такие вовсе приводили его в бешенство — и своей подлостью, и тем, что запутыва-

ли его, а он хотел знать всю правду, только правду. И вдобавок ко всему их главарь крутит, предлагает даже свои услуги: «Ни одна власть не обходилась без опытных полицейских!» Нет, хорошо еще, что он не убил его на месте...

Не будь жестоким... А сколько наших они погубили — и как погубили!.. Здравко выжгли сигаретами глаза, Трайчо обуглили электрическим током, на спине у Пешо вырезали пятиконечную звезду, живым закопали Велё... Нет, он не должен сейчас вспоминать обо всем!

О ней он старался не думать, потому что она просила его не быть жестоким, а как только он ее вспоминал, ему хотелось резать их на куски. Но не думать он не мог...



Едва войдя, чуть притронувшись рукой к кепке, он спросил:

— Что нового?

— Ничего...

Пастух не смотрел ему в глаза. Вид у него был виноватый, будто он собирался его выдать. Нет, совесть у него была чиста, но появление Стефана застало его врасплох, и, как всякий здоровый, сильный горец, в подобных делах он чувствовал себя беспомощным.

— Как ничего? — повернул его к себе Стефан. — Бистра?

Пастух потянулся за флягой, но не взял ее, только схватился за крюк да так и остался стоять к нему спиной.

— Кончилась, горькая. Нет больше твоей молодухи...

Что произошло потом, Стефан не помнил. Очнулся он на подстилке из сухого папоротника. Станой мокрыми пальцами растирал ему виски. Пастух, испуганный и сконфуженный, поливал из фляги. Ему казалось: скажи он как-нибудь по-другому, этого бы не случилось.

— Смотри-ка, такой мужичина, а кувырнулся, как барышня... — принужденно бормотал Станой, и ему было очень неловко.

Стефан недоумевал, как это слова пастуха сбили его с ног. Он даже немного этого стыдился. Но все подавляло ощущение: случилось что-то такое страшное, чего он еще не может полностью осознать, но что останется с ним навсегда.

Стефан отвел руку Станоя, чуть заметно пожав ее. Приподнялся, оперся локтем о свой ранец. Он должен немедленно спуститься в село. Как мог он столько времени не заходить туда! Он и правда не мог, отряд действовал в других краях, но никогда в жизни он себе этого не простит. Скорей в село! Но там ее уже нет. На кладбище...

Он вскинул ранец на спину, Станой убеждал его, как бессмысленно сейчас рисковать, но он рвался к выходу, молчаливый и злой, и именно поэтому Станой его удерживал... В это время пришел другой пастух. Он сказал, что Бистра жива, но ей очень худо, потому и распространился такой слух... Стефан притих; он сидел у огня, вороша прутиком угли, и улыбался; трое остальных молчали, а он улыбался. Потом вдруг вскочил, Станой — за ним, и они долго, не разбирая дороги, спустились в темноте по склону, молча, снова на что-то надеясь, почти бежали, пока не напоролись на засаду, потом на вторую, третью. Они стреляли, ругаясь сквозь стиснутые зубы, бились об огненную преграду, вздымавшуюся вокруг села, но она была слишком плотна, и Стефан так и не прорвался к человеку, ждавшему его, как ждут жизнь, потому что к этому человеку уже пришла смерть.

Оглушенные, без сил, они залегли в густом сосняке над селом. Выстрелы продолжали вспыхивать перед глазами, даже когда они опускали веки. Стефан, уткнувшись в землю, кусал пахучую мягкую траву...

Днем село было мертво.

А после полудня из мертвого села выползла похоронная процессия. Когда она подошла к мосту у подножия того холма, где лежали партизаны, они увидели запряженную волами телегу, на ней гроб, человек двадцать жёнщин — одних только женщин, ни одного мужчины, — и в конце процессии пятерых полицейских. Стояла глухая тишина, не звонил колокол, не было видно попа, не слышалось плача. Ночные кошмары прошли было, ясный день успокоил Стефана, но сейчас он снова побледнел, впился взглядом в телегу, прохрипел:

— Она... Только она может быть...

— Почему? Отсюда не разберешь... Никого нельзя узнать...

Но Стефан не слышал товарища. Привычным движением опершись на винтовку, он приподнялся.

— Куда? Думай об отряде! — Станой мягко, но настойчиво надавил на его плечо и забыл убрать руку. Его удивило, что Стефан послушался. Он остался лежать, но он шел вместе с процессией, которая миновала мост и теперь подходила к кладбищу. Он хотел представить себе Бистру мертвой, но не мог и все видел ее живой. Она не лежала в гробу, а шагала рядом с ним, высокая, русая, и он говорил ей о ее синих, как океан, глазах — глупости, такие вещи на похоронах не говорят... Почему же? Он говорил ей так, когда она была гимназисткой, и она это очень любила, а сейчас он шепчет ей самые ласковые слова, которых не произносил еще никогда, потому что они родились в те долгие ночи, что он ее не видел, она улыбается, и зубы у нее как лепестки подснежника... Он вытирал слезы и в то же мгновение возвращался на холм, видел, как вблизи зеленеют столетние сосны, как блестит внизу река — он помнит ее с самого детства, — как пламенеет в июльском зное холмистое поле, жужжат букашки, — и смерть казалась ему невозможной. Даже если кто-то умер, не может быть, чтоб это была Бистра... Но слезы снова застилали ему глаза, и вот он — среди черной кучки женщин, отталкивает их, чтоб они ее не зарывали, чтоб оставили их одних, потому что она жива и улыбается ему, и верхняя губа ее так мило вздрагивает: «Эй, Зайчонок!..» — а в горле у него что-то булькало, подымалось, душило... Станой кусал губы, обзывал себя чурбаном за то, что не может проронить ни слезинки, хоть ему впору было завывать, но, видно, чужое горе никогда не становится до конца своим...

Когда люди пошли обратно с кладбища, Стефан поднялся и стал рвать цветы. Станой уже знал, что они будут делать дальше...

Они долго искали могилу. Давила тишина, они спотыкались о поваленные кресты, разросшийся бурьян, но Стефану не приходило в голову, что это мертвецы хватают его за ноги, он даже не вспоминал своего детского страха перед привидениями — кладбища стали для него привычным местом нелегальных встреч. Сейчас он шел на встречу с ней, она была здесь, но он знал, что ему не увидеть ее, и это смешение действительного и нереального разрывало душу. Осветив крест с ее именем, он отшатнулся, хотя его-то и искал — искал с тайной надеждой не найти. Он бережно разложил цветы на бугристом холмике и, опираясь на винтовку, опустился на колени. Плакать он больше не мог. Он больше никогда не сможет плакать...

■
Стало душно. Стефан открыл окно, и в комнату вошла сентябрьская ночь, темная, прохладная, с запахом живой земли и айвы. Старинная башня с часами легкой тенью лежала на звездном небе. После полуночи электричество на улицах гасло, и тогда перед глазами оказывался уже не город, а только тени: деревья, листвой завесившие дома, стремительные тополя, темная громада гор, — только гени и звездный свет: белая улица, стена противоположного дома, нежная полоска над горным

хребтом, по-ночному синее небо. Мягкое свечение луны отнимало у предметов вес, оставляя одни контуры, лишенные плоти. А может быть, это волшебство источала человеческая радость, вот уже третий день колышавшая город и затихавшая лишь к ночи...

А он сидит здесь и копается в людском горе.

Но только ли он? А женщины в черных платках, что кричали вчера: «Смерть! Смерть!» — они и во сне видят своих убитых. Иные из них словно обгорелые стволы, которым никогда уже не дать побегов. Каждая из этих матерей обнимала его, повторяя свое безнадежное «сынок», ни одной из них он не мог заменить сына. Сыном он мог им быть только в одном: в отщепенстве. И он обязан стать таким сыном. Вопрос только — как? Каким должно быть это отщепенство?.. Он едва не поддавался людям, которые хотели разорвать их по дороге в участок. Пройчо кидается — готов им кишки выпустить. Пройчо неплохой парень, но в партизаны уйти побоялся, а теперь старается наверстать. Впрочем, если б Стефан и разрешил, ничего такого Пройчо бы не сделал. И Стефан все стремился измерить их вину лишь мерой народного страдания, и все не мог не класть на чашу весов и свое...



Они убивали ее много раз.

Когда он перешел на нелегальное положение, ее тут же уволили из школы — отняли у нее детей, а она без них не могла жить. Вырвали у нее самой, из утробы ее ребенка, о котором она мечтала годами. Выкидыш случился в этом самом участке... И она знала, что там навеки останется пустота: место ребенка занял туберкулез... Когда Стефан сумел с ней встретиться, он пытался отвлечь ее рассказами об отряде, но это и радовало ее и причиняло новые страдания, потому что уйти в горы у нее уже не было сил.

У нее взяли все, чем она жила.

— Держись! Я знаю, мне за тебя краснеть не придется... — сказал он ей на прощанье ласково, преувеличенно весело. Он хотел ее подбодрить, но потом ему стало стыдно: не надо было ей этого говорить. Она сильная. Иногда — сильнее, чем он... Не прошло еще года, как они поженились. По вечерам они сидели на кровати, и он, обняв ее за плечи, читал ей вслух, потом читала она. Еще позже в комнате горел только зеленый глаз радиоприемника, и они молча, напряженно вслушивались в голос, с трудом преодолевавший помехи и треск. Бои шли на подступах к Москве. Однажды, глядя куда-то очень далеко, она сказала:

— Там люди умирают, а ты прилепился к моей юбке. Да и мне будто только того и надо...

Он промолчал, лишь понимающе сжал ей плечо. Не стал говорить, что его оставили дома, устроив у них явку, что они оба участвовали в поджоге лесопилки, что каждая из этих ночей может стать для них последней. Она и сама все это знала, но, оценивая свою и его жизнь, испытывала неудовлетворенность человека, предельно добросовестного, стремящегося отдать все свои силы...

В горах, когда Стефан оказывался один и закрывал глаза, он видел ее совсем ясно. Она лежала рядом, и все привлекало его: белые плечи, счастливая, усталая улыбка, тихая глубина глаз. Это наполняло его спокойной, чистой нежностью. После той ночи, когда он оставил ей цветы, такой он видел ее только во сне и просыпался подавленный: ведь она была уже не его Бстрой, а чем-то неуловимым и постоянно присутствующим, бесконечно дорогим, и его сны были оскорбительны для этой новой Бстры. Но он был очень молод, очень ее любил, и сон повторялся. Может быть, для того люди и ходят на похороны — чтобы видеть человека мертвым, чтобы не вспоминать его только живым...

Доски поскрипывали под его шагами. Обычно он не разрешал себе ходить из угла в угол — так делают неврастеники и важные начальники, — но сейчас забылся и продолжал ходить. Потом остановился перед мутным, засиженным мухами зеркалом. Стефан давно не видел себя в зеркале — разве что в каком-нибудь тихом родничке в горах — и теперь с интересом смотрел на свое лицо. Резко очерченное, смуглое, с черными бровями, с большими мечтательными (так говорила Бистра) глазами, твердыми губами. Он вспомнил, что его считают красивым, и выругал себя — нашел, о чем думать!.. Отошел от зеркала и машинально полез в карман, где лежало ее письмо.

Письмо ему передала его мать, как только они спустились с гор, — рубашку, вышитую Бистой, и письмо. Стефан уже знал его наизусть, но перечитывал снова и снова — так он ощущал ее присутствие, слышал ее голос. И каждый раз задерживался на том, что казалось ему особенно важным: «Если ты вернешься и начнешь мстить, не будь жестоким, как они. Заклинаю тебя: отомсти им, но не будь жестоким! Я очень, очень тебя люблю и хочу, чтоб ты никогда не был таким, как они!..» И он снова разговаривал с ней, хотел уловить все оттенки ее благородной силы — почему она, испытав на себе их жестокость, не позволяла ему возвращать им той же мерой? В этом было и настойчивое желание понять ее до конца.

Она была убеждена, что снова арестовывать ее бессмысленно. Тяжело больная, она уже не могла помогать отряду. Полицейские знали, что она им ничего не скажет. И она не боялась их.

Они тоже были убеждены, что снова арестовывать ее бессмысленно. Отряду помогать она не может, а сказать ничего им не скажет, даже если и знает что-то. И они боялись ее.

Боялись потому, что она была жива, — и он был жив, разбил со своими людьми целый батальон, жандармов двадцать полегло на месте. Они хотели расправиться с ней, потому что не могли справиться с ним.

...Этот тип, шеф службы безопасности, никогда сам не пачкает рук — зачем же, ведь есть другие! Она все уже знала в деталях. Худой полицейский далеко отводит руку с резиновой дубинкой и бьет наотмашь с коротким придыханием «а...», будто душа расстается с телом. Но силы у него, болвана, много — даже когда глаза ее закрыты, она различает его удары. Агент, изжелта-бледный, с постоянно мокрыми волосами, аж подпрыгивает, но удар у него слабее, зато он норовит угодить по пальцам, по косточкам.

Страшнее всего было вначале. Как ни держала она себя в руках, при первых ударах она судорожно дергалась, и от этого делалось еще больней — жердь, продетая под коленями, врезалась в тело. Но постепенно боль притуплялась, удары казались все более далекими. И все более злыми и усталыми становились лица обоих палачей. Они зверели еще и оттого, что не могли бить ее вволю — боялись, как бы она не умерла, не дав им насытиться своими муками. И она висела на жерди, как летучая мышь, вниз головой, и в полузабытии закрывала глаза — она могла вынести все, только не эти отвратительные физиономии.

Долгая болезнь, сильный ум, воля к жизни научили ее управлять своим сознанием, и она умела переноситься в другой мир — придуманный и реальный — и жить в этом мире. Красная Армия приближалась, партизанские отряды шли ей навстречу, и не трудно было представить себе тот день, который будет праздником ликования и расплаты. Бистра

уже видела, как висят, точно летучие мыши, те, обреченные, как они корчатся под свист резиновых дубинок... И вдруг она увидела Стефана — ведь это он принесет им расплату — с перекошенным лицом, его, родным и в то же время чужим лицом. Она трянула головой, чтоб отогнать видение, но Стефан все замахивался и замахивался. Невыносимо! Бистра вскрикнула, шеф, улыбаясь, поднял руку, и Бистра своими онемелыми ногами ощутила наступившую вдруг глубокую тишину.

— Ну, девочка, что же ты кричишь, ты ведь не боишься? Что ты хочешь нам сказать? — он надавливал на ее подбородок, стараясь приподнять голову.

Бистра открыла глаза. К голове прилила вся кровь, ступни горели, она еще раз осознала, что неподвластна им, и улыбнулась. Страдальчески и удовлетворенно.

— Да она помешалась, гадюка! — отшатнулся полицейский.

— Продолжайте! — шеф махнул рукой и вышел.

И Бистра снова видела перскошенное лицо Стефана, но тут же открывала глаза, чтобы убедиться — не он, и думала, как она обо всем ему расскажет, еще не веря, что больше им не увидеться. Она думала об этом, и когда ее выбросили на тротуар, и мать Стефана на телеге отвезла ее в село. Иногда она спрашивала себя, не сентименты ли — эта мысль, рожденная в кошмаре участка, и отвечала себе: нет, нет! А когда она поняла, что рассказать уже ничего не сможет, она ему написала, но письмо — это не то, и ей казалось, что некоторые вещи никогда не дойдут до него во всей их силе.



Стефан лежал на спине, заложив руки под голову, свесив ноги, чтобы не пачкать одеяло. Спал он, если у него оставалось время, тут же, на солдатской койке, не раздеваясь. Больше ничего в комнате и не было: койка, письменный стол, стул, вылинявшая дорожка, мутное зеркало. Два прямоугольника белели на стене — портреты Гитлера и царя, которые он выбросил в окно, вобрали в себя пыль и мушинные следы, а наши портреты были пока еще в сердцах людей.

Днем все было по-другому. Приходили посетители — по делу или просто повидаться, он бегал по бушующим митингам, останавливался перемолвиться словом с матерью погибшего товарища, обнимался со знакомыми и незнакомыми и забывал обо всем. Но вдруг какое-нибудь место, знакомый человек или даже отдельное слово воскрешали ее образ, и Стефан умолкал, словно чувствуя себя виноватым в том, что своей радостью изменяет ей. Со дня ее смерти не прошло еще двух месяцев, и боль была слишком остра. Но людские волны снова подхватывали его... А ночами он оставался один — наедине все с теми же мыслями...

Ему не хотелось никого больше допрашивать, он их не выносил. Было б у них хоть сколько-нибудь достоинства! Стоит ему войти в подвал, они вскакивают, как встрепаемые, — жалкие, кто пожелтел, кто опух, на одежде солома. За три дня оскотинились, грызутся друг с другом. Но и мама нагнала на них страху!.. Да, вот и мама...

...Она приехала к нему из села, и Пройчо послал ее вниз, в подвал. Стефан как раз внушал им, чтоб не валяли дурака, и она вошла — высокая старуха с глубокими морщинами на задубевшем широком лице, с пронзительным взглядом всегда сухих, сколько помнил их Стефан, глаз. Она оглядела арестованных и обратилась к Стефану:

— У каждого из них кровь по капле выцеди, как они у Бистры выцедили...

Он попытался удержать ее: «Мама, не надо...» — тогда она повернулась к ним:

— Не сын он мне будет, пусть рука у него отсохнет, если вы не умрете все до единого самой страшной смертью!

Мать Стефана, рано потеряв мужа, привыкла командовать, и Стефан обычно ее слушался, но сейчас собрал всю свою волю и увел ее из подвала. Она, вероятно, подумала, что в горах он вышел у нее из повиновения, и не поняла, что Стефан потому и взбунтовался, что готов был с ней согласиться...

И некоторые товарищи нет-нет да и бросят ему: «Раскисаешь!» А ведь они хорошо знают, какой он, особенно с того дня, который навсегда высушил его слезы... Но тогда все было по-другому, тогда шел бой. В бою человек беспощаден, но не жесток. Почему были жестоки те? Потому что они шли к гибели. А мы — победители... Станой рубит с плеча: «Интеллигентщина!» Какой же я интеллигент — выброшенный из гимназии гимназист без аттестата, кладовщик лесного хозяйства, два года партизан! Да не в этом дело, хоть бы и профессором был. Обдумать все своей головой, взвесить трезво и по-человечески — это не интеллигентщина! Это именно то, что должен делать коммунист. Мы ведь будем строить новый мир, справедливый, нами же обещанный, — очень важно, как мы начнем. И надо думать, обо всем надо думать. Видимо, это и будет самое трудное...

Да, мама, Бистра права. Они умрут, может быть, не все, но умрут. Это справедливо. Это — возмездие. И этого достаточно. Хотя они много лет упивались нашими муками и заслуживают того, чтоб по капле выцедить у них кровь... Но мы не можем быть такими, как они. Хватит с них пули. Уничтожай врага, но не унижай себя самого!..

Стефан все глубже вникал и в то, чего Бистра не сумела ему написать. Он понял: она думала не об убийцах, а о нем, о его товарищах, о коммунистах — о той человеческой чистоте, без которой невозможно никакое большое дело.

На улице светало, от утреннего холодка легко дышалось, мысли прояснялись. Он шелкнул выключателем, положил ноги на стул, подвинутый к койке, укрылся одеялом. Может, удастся заснуть на часок, хотя он и не чувствовал себя усталым. Человек устает, только когда не знает, что ему делать.



ЦЕНОЙ ПОТЕРИ

РОМАН

Перевод с английского
Н. ВОЛЖИНОЙ

Jo non mori', e non rimasi vivo.
Я не был мертв, и жив я не был тоже.

Данте. «Ад». Песнь 34

Человеку свойственно любить себя — в пределах нормы. Когда же он страдает каким-либо врожденным или благоприобретенным дефектом или уродством, его эстетическое чувство восстает против этого и в нем возникает отвращение к самому себе. Правда, с годами он примиряется со своими дефектами, но происходит это лишь в сфере сознания. Подсознательная сфера, не изжившая следов ушербности, вносит изменения в его психику, рождая в нем недоверчивость к людям.

Р. В. Вардекер. Из брошюры о лепре

Доктору Мишелью Лешю

Дорогой Мишель,

Надеюсь, Вы разрешите посвятить Вам этот роман, obligatory тем, что в нем, может быть, есть хорошего, Вашей доброте и Вашему терпению: все его недостатки, ошибки и промахи лежат исключительно на совести автора. Доктор Колэн перенял у Вас только опыт в борьбе с проказой и ничего больше. Лепрозорий доктора Колэна — это не Ваш лепрозорий, который, вероятно, и не существует теперь. Я поместил своего Колэна в местах, далеких от Йонды. Разумеется, все лепрозории в чем-то схожи между собой, и, может быть, я взял некоторые чисто внешние черты у Йонды и у других лепрозориев Конго и Камеруна, где мне пришлось побывать. В Вашей миссии я позиционировал сигары настоятеля и только, а у Вашего епископа — самоходную баржу, которую он так великодушно предоставил мне для поездки вверх по Руки. Разыскивать прототипы Куэрри, четы Рикэров, Паркинсона, отца Томá было бы пустой тратой времени, они сделаны из материала, скопившегося у меня за тридцать лет писательской работы. Эта книга не *roman à clef**, а попытка дать драматическое выражение различным типам веры, полуверы и неверия в той обстановке (далекой от мировой политики и от мелких повседневных забот), где такие различия чувствуются резко и всегда проявляются вовне. Мое Конго — это сфера мысли, и читатель ни на одной карте не найдет города под названием Люк, ни

* Зашифрованный роман (франц.).

в одном административном центре не встретит ни такого губернатора, ни такого епископа.

Вам скорее, чем кому бы то ни было, будет видно, насколько выполнение моего замысла далеко от совершенства. Ведь у врачей нет иммунитета к «тоске, тебя гнетущей: как ни старайся, все не так, все плохо!» — к той *saïard**, что омрачает жизнь писателя. Мне хотелось бы посвятить Вам что-нибудь получше этой книги в благодарность за безграничную душевную щедрость, которой одарили меня в Йонде Вы сами и священники Вашей миссии.

Преданный Вам
Грэхем Грин.

ГРЕХЕМ ГРИН ■ ЦЕНОЙ ПОТЕРИ ■

ЧАСТЬ I

Глава первая

I

Каютный пассажир записал в свой дневник пародию на Декарта: «Я испытываю неудобства, следовательно, я существую», потом долго сидел, держа перо на весу, так как добавить к этому было нечего. Капитан в белой сутане стоял у раскрытого окна салона и читал требник. Ветра не хватало даже на то, чтобы шевельнуть бахромку его бороды. Эти двое вот уже десять дней были одни на реке — одни, если не считать, конечно, команды из шестерых африканцев и десяти палубных пассажиров, которые менялись почти незаметно на каждой остановке. Самоходная баржа, принадлежавшая епископу, напоминала колесные пароходики, которые когда-то бегали по Миссисипи: какая-то вся помятая, сильно нуждающаяся в покраске, с высоким, девятнадцатого века, полубаком. Из окон салона была видна бесконечно разматывающаяся река, а внизу, на понтонах, среди дров для машинного отделения сидели, расчесывая волосы, палубные пассажиры.

Если отсутствие перемен равнозначно покою, то вот это и был покой, но до него приходилось добираться сквозь неудобства, как до ядрышка ореха, закованного в твердую скорлупу: жара, которая обволакивала их, когда река сужалась до каких-нибудь ста метров; душ, всегда теплый от близости машинного отделения; вечером — москиты, а днем — мухи цеце со скошенными назад крылышками, точь-в-точь как крохотные реактивные истребители. (В последнем поселке шит у берега предупреждал на трех языках: «Зона сонной болезни. Остерегайтесь мух цеце».) Капитан читал требник с хлопушкой в правой руке и, совершив очередное убийство, поднимал двумя пальцами крохотный трупик, показывал его пассажиру и говорил: «Цеце». Общение между ними, пожалуй, этим и ограничивалось, потому что каждый из них изъяснялся на языке своего собеседника с запинкой и с ошибками.

Вот как примерно проходил день за днем. Утром, в четыре часа, пассажира будило треньканье колокола в салоне, возвещающего «санктус», и вскоре за окном каюты (там помещались стул, стол, шкафчик, где шныряли тараканы, распятие и дань тоске по родине — фотография какой-то европейской церкви, укутанной в пушистую сутану снега) на сходнях появлялись прихожане, возвращающиеся домой. Он смотрел, как они взбираются на крутой берег и исчезают в джунглях, помахивая на ходу фонарями, точно псалмопевцы в том

* Тоска, уныние (франц.).

поселке в Новой Англии, где ему пришлось побывать как-то на святках. Около пяти баржа снова трогалась в путь, а в шесть, на восходе солнца, пассажир садился завтракать вместе с капитаном. Следующие три часа, до начала страшной жары, были для них обоих лучшими за весь день, и пассажир замечал за собой, что он может сидеть и спокойно смотреть на быструю, илистую, бурю речную волну, напор которой маленькое суденышко преодолевало со скоростью двух-трех узлов в час, и на большое колесо, взбивающее пену за кормой; может сидеть и слушать сиплое, точно у загнанного зверя, дыхание машины где-то под алтарем и святым семейством. Не слишком ли много усилий для такого медленного продвижения? Через каждые три-четыре часа впереди показывался очередной рыбацкий поселок с хижинами на высоких сваях в защиту от тропических ливней и крыс. Время от времени кто-нибудь из команды окликал капитана, и капитан брал ружье и стрелял в маленькую примету жизни, различить которую среди зеленых и синих теней леса могли только его глаза да глаза матроса: в крокодилье детеныша, пригревшегося в лучах солнца на упавшем дереве, или в орла-рыболова, неподвижно застывшего в листве. К девяти жара начиналась не на шутку, и капитан, покончив с утренним чтением требника, смазывал ружье или убивал еще несколько мух цеце, а то, сев за стол с коробкой дешевых бус, принимался низать из них четки.

После дневной трапезы, когда джунгли, залитые изнуряющим солнцем, неторопливо проплывали вдоль борта, оба они расходились по своим каютам. Пассажир долго не засыпал, даже если раздевался догола, и все не мог решить, что лучше — устроить в каюте хоть маленький сквозняк или затвориться наглухо, спасаясь от раскаленного воздуха. Вентилятора на барже не было, и по утрам он просыпался с отвратительным вкусом во рту, а под теплым душем можно было только помыться, но не освежить тело.

В конце дня оставались еще часа два относительного покоя; в ранних сумерках он сидел внизу на понтоне, а вокруг него африканцы толкли свое месиво на ужин. Над деревьями попискивали вампиры, пламя свечей колыхалось, как когда-то в его юности, за «бенедиктусом» в конце мессы. Хохот стряпух перелетал с понтона на понтон, и вскоре кто-нибудь затягивал песню, но слова ее были непонятны ему.

За ужином приходилось затворять в салоне окна и задергивать занавески, чтобы рулевому был виден фарватер между берегами и корягами, торчащими из воды, и тогда калильная лампа невыносимо нагревала маленькое помещение. Оттягивая час отхода ко сну, они начинали партию в *quatre cent vingt et un** — без единого слова, точно разыгрывая какую-то ритуальную пантомиму, и капитан каждый раз оставался в выигрыше — видимо, бог, в которого он веровал, повелевающий, как говорят, силой ветра и волн, повелевал и игральными костями в пользу своего слугителя.

Вот тут-то и было самое время поговорить на ломаном французском или ломаном фламандском, если б им пришла такая охота, но говорили они мало. Как-то раз пассажир спросил:

— О чем они поют, отец? Какая это песня? Любовная?

— Нет, — сказал капитан, — не любовная. Они поют только о том, что случилось за день: как им удалось купить на последней остановке хорошие горшки, а в поселке выше по реке эти горшки можно будет перепродать с выгодой, и, само собой, они поют о нас с вами. Меня называют великим фетишистом, — с улыбкой добавил он, мотнув головой на святое семейство и выдвинутой алтарь над шкафчиком, где у него хранились патроны и рыбацкая снасть. Потом хлопнул себя по голой руке, убил

* Четыреста двадцать один (франц.).

москита и сказал: — У племени монго есть поговорка: «Москит худого не щадит».

— А обо мне что поют?

— Вот, кажется, сейчас запели.— Капитан убрал кости, фишки и прислушался.— Перевести? Это не совсем лестно.

— Да, пожалуйста.

— «Вот белый человек, он не священник и не доктор. У него нет бороды. Он приехал сюда издалека — откуда, мы не знаем — и никому не говорит, куда едет и зачем. У него много денег, потому что виски он пьет каждый вечер, а курит все время. И хоть бы кого угостил сигаретой».

— Вот это мне даже в голову не приходило.

— Я-то, конечно, знаю, куда вы едете,— сказал капитан,— но почему, вы мне не говорили.

— По дороге не проедешь из-за дождей. Единственный путь — вот этот.

— Я не о том.

Часам к девяти вечера, если река не расширялась и вести баржу в темноте было опасно, они обычно причаливали к берегу. В некоторых местах у причала валялась перевернутая полусгнившая лодка — защита от дождя для пассажиров, весьма проблематичных. Дважды капитан выгружал на берег свой древний велосипед и, подсакивая в седле, исчезал во тьме джунглей в надежде заполучить груз у каких-нибудь colons* за тридевять земель отсюда, перехватив его у компании ОТРАКО — крупной монополии в районе реки и всех ее притоков. А иногда, если время было не слишком позднее, к ним приходили неожиданные гости. Как-то раз из мокнувших под дождем зарослей выскочил большой допотопный автомобиль и в нем — мужчина, женщина и ребенок, все трое с нездоровой белесой кожей, обычной для жителей знойных, влажных мест. Мужчина выпил два стакана виски, пока они со священником жаловались друг другу на ОТРАКО, взвинтившую цены на топливо, и обсуждали беспорядки в далекой, за сотни миль отсюда, столице, а женщина сидела молча, держа ребенка за руку, и не сводила глаз со святого семейства. Кроме европейцев, к ним всегда приходили старухи в тряпках, накрученных на голову, и в платьях из такой линялой материи, что на ней почти нельзя было различить рисунка: спичечных коробок, сифонов, телефонных аппаратов и прочих игрушек белого человека. Старухи вползали в салон на коленях и терпеливо дожидались под гудящей каменной лампой, когда их заметят. Наконец капитан, извинившись, отсылал пассажира в каюту, потому что это были исповедницы и выслушивать их полагалось с глаз на глаз. И вот позади оставался еще один день.

2

Несколько дней подряд их преследовали по утрам желтые бабочки, но это было даже приятно после мух цеце. Бабочки зигзагом влетали в салон, когда только-только начинало брезжить и над рекой все еще лежал слой тумана, точно пар над чаном. Потом туман редел, и с баржи открывался вид на правый берег в кайме белых кувшинок, похожих издали на лебединую стаю. Там, где речное русло расширялось, вода была оловянного цвета, только в кильватере колесо взбивало ее до шоколадного оттенка, и зелень леса не отражалась на поверхности воды, а как бы

* Так называют себя белые колонисты.

просвечивала из-под низу, сквозь тонкий налет олова. У двоих мужчин, которые стоя ехали в челне, тени, падавшие в воду, так удлинляли ноги, точно они шли вброд по колено. Пассажир сказал:

— Отец, посмотрите! Не напрашивается ли тут объяснение, почему ученикам казалось, будто Христос ходил по морю, как по суху?

Но капитан, целившийся в эту минуту в цаплю позади кромки кувшинок, не потрудился ответить. Он был одержим страстью убивать все живое, словно только человек имел право на естественную смерть.

На шестой день они подъехали к африканской семинарии, которая стояла на высоком глинистом берегу, уродливая, как новые краснокирпичные университеты в Англии. Капитан, преподававший когда-то в этой семинарии греческий язык, остановился здесь на ночевку, отчасти по старой памяти, отчасти для того, чтобы взять топливо по более дешевой цене, чем запрашивала ОТРАКО. Погрузку начали немедленно — молодые черные семинаристы были наготове: не дав колоколу прозвонить дважды, они начали таскать дрова на понтоны, чтобы баржа могла отвалить при первом же проблеске рассвета. После обеда миссионеры собрались в общей комнате. В сутане был только капитан. Один из миссионеров, с бородкой, аккуратно подстриженной клинышком, в расстегнутой на груди рубашке цвета хаки, напомнил пассажиру, молодого офицера иностранного легиона, которого он знал на Востоке, человека отчаянного, недисциплинированного, погибшего героической, но бессмысленной смертью. Другого миссионера можно было принять за профессора экономики, третьего — за адвоката, четвертого — за врача, но в их смешливости, в чрезмерном азарте, с которым они играли в незамысловатую карточную игру, не на деньги, а на спички, чувствовалась наивность и неискусственность, присущая отшельникам, отрешенность от мира, какая бывает у путешественников, застигнутых бураном на снежном пике, или у людей, все еще скованных войной, хотя она давно отгремела в этих местах. Вечером они включили радио, послушать последние известия, но тут сказалась сила привычки, это было механическое повторение акта, который производился много лет подряд с целью, теперь уже почти забытой. Им не было никакого дела до напряженной политической обстановки в Европе, до смены европейских кабинетов; даже беспорядки — то, что происходило за несколько сот миль от семинарии, по ту сторону реки, — не вызывали у них особого интереса, и пассажир чувствовал, что здесь он в полной безопасности, что допытывать назойливыми вопросами его никто не будет. Ему снова вспомнился иностранный легион. Будь он убийцей, бежавшим от правосудия, ни у кого из этих людей не хватило бы любопытства, чтобы коснуться его тайной раны.

И все же их смех почему-то действовал ему на нервы, как шумливый ребенок или джазовая пластинка. Его раздражало, что они так радуются чистейшим пустякам — даже бутылке виски, которую он захватил для них с баржи. Тех, кто сочается с господом богом, подумал он, тоже можно одомашнить — этот брак такая же банальность, как и все прочее. Слово «любовь» — всего лишь равнодушное прикосновение губ, как во время мессы, «Аве Мария» — все равно что слово «дорогой» в начале письма. Брак духовный, подобно бракам мирским, держится общностью привычек и вкусов бога и его служителей; богу приятно, когда ему поклоняются, им приятно воздавать поклонение, но только в твердо установленные дни и часы, как отправляют в пригородах супружеские обязанности в ночь с субботы на воскресенье.

За столом засмеялись еще громче. Капитана поймали на нечистой игре, и теперь миссионеры старались перешеголять друг друга в жульничестве — воровали спички, потихоньку избавлялись от лишних карт, делали ренонс. Игра — подобно стольким детским играм! — того и гляди, могла закончиться полным хаосом. А слезы перед сном тоже будут? Пас-

сажир резко встал из-за стола и прошелся по неуютной комнате, подальше от игроков. Со стены на него пристально смотрел новый папа, смахивающий на чудаковатого школьного директора. На шоколадного цвета буфете лежало несколько *gompas policiers* * и стопка миссионерских еженедельников. Он раскрыл один: похоже на школьный журнал. Отчет о футбольном матче в городке, называемом Обоко, и сочинение мальчика солидного возраста «Как я провел каникулы в Европе» — продолжение следует. Настенный календарь с фотографией другой миссии: точно такая же уродливая церковь из кирпича — материала, совершенно не подходящего для здешних мест, рядом с ней дом настоятеля, обведенный верандой. Может быть, конкурирующее заведение? На фоне обоих зданий группа отцов-миссионеров — тоже смеются. Пассажир старался припомнить, когда же впервые смех стал противен ему, как дурной запах.

Он вышел в залитую луной темноту. К ночи в воздухе было столько влаги, что мельчайшие капельки ее оседали на щеках дождевой пылью. Свечи, все еще горевшие на понтонах, и ручной фонарик, с которым кто-то ходил по палубе, показывали ему, где пришвартовалась их баржа. Он повернул от реки и нашел тропинку, начинавшуюся за классными комнатами семинарии и уводившую в те места, которые географы называли бы центром Африки. Сам не зная зачем, он пошел по ней при свете луны и звезд; впереди слышалась какая-то музыка. Тропинка привела его в поселок и вывела дальше. В поселке не спали, может быть, потому, что было полнолуние. Если так, значит, лунные фазы отмечают здесь точнее, чем он в своем дневнике. Юноши били в старые консервные банки, подобранные в миссии, — банки из-под сардин, бобов и сливового джема; кто-то брэнчал на самодельной арфе. Из-за небольших костров на него смотрели черные лица. Какая-то старуха неуклюже приплясывала, вихляя бедрами, обтянутыми мешковиной, и опять наивное простодушие смеха кольнуло его. Они смеялись не над ним, смеялись между собой, а он, как и в общей комнате семинарии, был брошен один в том краю, где смех — все равно что непонятные звуки вражеского языка. Поселок был очень бедный: соломенные кровли глиняных хижин, давно изъеденные дождями и крысами, женщины в тряпье вокруг бедер, служившем в свое время тарой для сахара или зерна. В поселке жили пигмоиды — гибридные потомки настоящих пигмеев. Враг этот был не из самых сильных. Он повернулся и зашагал назад к семинарии.

В комнате никого не было, партия в карты уже расстроилась, и пассажир пошел в отведенную ему спальню. Он успел так привыкнуть к своей маленькой каюте, что почувствовал себя незащищенным в этом огромном пространстве, где только всего и было что умывальник, на нем кувшин, таз и стакан, да еще стул, узкая койка под сеткой от москитов и бутылка кипяченой воды на полу. В дверь постучали, вошел один из миссионеров, по-видимому, отец настоятель. Он сказал:

— Может быть, вам нужно что-нибудь еще?

— Нет. Мне ничего не нужно. — Он чуть было не добавил: «В том-то все и горе».

Настоятель заглянул в кувшин — полно ли налито.

— Вода у нас бурого цвета, — сказал он, — но чистая.

Он приподнял крышку мыльницы, проверяя, не забыли ли положить мыло. В мыльнице лежал нетронутый ярко-оранжевый кусок.

— «Лайфбой», — с гордостью сказал настоятель.

— Я не мылся этим мылом, — сказал пассажир, — с самого детства.

— Многие считают, что оно хорошо от потницы. Но я этим не страдаю.

* Детективные романы (франц.).

И вдруг пассажир почувствовал, что не может больше, что ему надо заговорить. Он сказал:

— Я тоже. Я ни от чего не страдаю. Я забыл, что такое страдание. Тут я тоже истратил себя до конца.

— Также?

— Как и во всем остальном. До конца.

Настоятель отвернулся от него, не проявив никакого интереса к разговору. Он сказал:

— Ну, знаете, приспееет время, и страдания вам будут ниспосланы. Спокойной ночи. В пять я вас разбуджу.

Глава вторая

I

Доктор Колэн просмотрел анализы пациента — вот уже полгода мазки, взятые у него с кожи на лепрозные бактерии, давали отрицательный результат. У африканца, который стоял перед ним с костылем под мышкой, не было пальцев ни на руках, ни на ногах. Доктор Колэн сказал:

— Ну что ж, прекрасно. Ты здоров.

Африканец шагнул ближе к докторскому столу. Его беспальные ноги были как палки, и, переступая ими, он будто утрамбовывал землю. Он спросил с тревогой:

— Мне входить отсюда?

Доктор Колэн посмотрел на культю, которую пациент протянул вперед, точно кое-как обструганную чурку, — отдаленное подобие человеческой руки. По существующим правилам в лепрозории содержались только заразные больные, излечившихся отсылали обратно по домам, а если это было возможно и нужно, пользовали как амбулаторных пациентов в главном городе провинции — Люке. Но до Люка надо было добираться много дней по дороге или по реке. Колэн сказал:

— Тебе, пожалуй, трудно будет найти работу на воле. Я подумаю. Что-нибудь сообразим. Пойди поговори с монахинями.

Казалось бы, куда годится такая культя? Но изуродованную руку можно столькому научить, что даже трудно себе представить. В лепрозории был больной без единого пальца, и он вязал на спицах не хуже монахинь. Но здесь и достижения вызывали чувство грусти, потому что они только подчеркивали ценность материала, большей частью пропадающего втуне. Вот уже пятнадцать лет доктор мечтал о том дне, когда у него будут средства на то, чтобы конструировать специальные рабочие инструменты для каждого отдельного случая утилизации, а пока у лепрозории не хватало денег даже на покупку хоть сколько-нибудь приличных матрацев для стационара.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Део Грациас*.

Доктор раздраженно выкликнул следующего. Вошла молодая женщина со скрюченными пальцами — «обезьяньей лапой». Доктор попробовал разогнуть ей фаланги, и она сморщилась от боли, но улыбаться не перестала, вероятно, в расчете на то, что, увидев эту кокетливо-храбрую улыбку, доктор перестанет ее мучить. Губы у женщины были подкрашены розовато-лиловой помадой, прекрасно выделявшейся на черной

* Благодарение богу (лат.).

коже, правая грудь обнажена, потому что, дожидаясь своей очереди на ступеньках больницы, она кормила ребенка. На одной руке, от локтя до кисти, у нее тянулся шрам, оставшийся после рассечения, которое ей сделали, чтобы освободить локтевой нерв. Теперь при усилии она могла чуть свободнее двигать пальцами. Доктор написал на ее карточке для сведения монахинь: «Парафиновая повязка», — и занялся следующим пациентом.

За пятнадцать лет работы доктор Колэн помнил только два дня, более жарких, чем сегодняшний. Жару чувствовали даже африканцы, больных на прием пришло вдвое меньше обычного. Вентилятора в больнице не было, и доктор Колэн принимал на веранде под самодельным тентом. Стол, жесткий деревянный стул, а за спиной маленький врачевательский кабинет, куда и заходить было страшно из-за духоты. В кабинете стояла картотека, и железные скобки выдвижных ящиков обжигали пальцы.

Больной за больным обнажал перед ним свое тело; за все эти годы он так и не смог привыкнуть к сладковатому гангренозному запаху некоторых лепрозных тканей, и ему казалось, что это запах самой Африки. Он проводил пальцами по уплотненным участкам кожи и почти машинально делал записи на карточках. От записей толку было мало, но прикосновение его рук успокаивало больных, и он знал это; они чувствовали, что к ним не страшно прикоснуться. Способ лечения лепры был теперь найден, но психологическая сторона болезни по-прежнему оставалась нерешенной задачей, и доктор никогда не забывал этого.

С реки донесся звон судового колокола. Мимо больницы по дороге к речной отмели проехал на велосипеде настоятель. Он помахал доктору, и доктор поднял руку в ответ. Вероятно, пришел пароход ОТРАКО, сильно запоздавший. Два раза в месяц с ним доставляли почту, но полагаться на него было трудно, потому что он вечно задерживался из-за непредусмотренных погрузок или какой-нибудь неисправности в двигателе.

Послышался детский плач, и сразу же все дети в больнице подхватили его.

— Анри! — позвал доктор Колэн. Его помощник, молодой африканец, крикнул на своем языке: «Детей к груди!» — и мир воцарился немедленно. В половине первого доктор закончил прием. Он протер руки спиртом в своем маленьком душном кабинете.

Доктор пошел к реке. Ему должны были прислать книгу из Европы — японский медицинский атлас по лепре. Может быть, как раз с этой почтой и придет. Длинная улица поселка, где жили прокаженные, выходила к реке: двухкомнатные кирпичные домики, позади каждого в глубине двора — глиняная хижина. Когда он приехал сюда пятнадцать лет назад, в поселке только и было что эти глиняные хижины. Теперь их использовали как кухни, но перед смертью прокаженные все же скрывались в глубь двора. Они не могли умирать спокойно в комнате с радиоприемником и портретом последнего папы. Умирать нужно только там, где умирали твои предки: в темноте, среди запаха сухой глины и листьев. В третьем дворике налево, сидя в тени кухонной двери на покосившемся шезлонге, доживал свои последние дни старик.

При выходе из поселка, где реки еще не было видно, расчищали площадку для будущего нового корпуса больницы. Партия прокаженных утрамбовывала последние квадратные ярды грунта под присмотром отца Жозефа, который сам работал рядом с ними в старых штанах цвета хаки и в мягкой шляпе, такой бесформенной, точно ее много лет назад выкинуло волной на берег.

— ОТРАКО? — крикнул ему доктор Колэн.

— Нет, епископская баржа, — ответил отец Жозеф и прошелся по площадке, притоптывая землю ногами. Он уже давно перенял здешнее

обыкновение разговаривать на ходу, спиной к собеседнику, и в речи у него тоже слышались африканские интонации.— Говорят, там пассажир.

— Пассажир?

В длинном прогале между двумя штабелями дров, заготовленных на топливо, доктор Колэн увидел торчавшую вдали трубу самоходной баржи. По прогалу навстречу ему шел человек. Незнакомец приподнял шляпу — пожалуй, ровесник, пол шестьдесят, утренняя седоватая шетина на щеках, помятый костюм из тропической ткани.

— Моя фамилия Куэрри,— представился незнакомец, но уловить, какое у него произношение — французское или фламандское, Колэну было так же трудно, как и определить сразу национальную принадлежность этой фамилии.

— Доктор Колэн,— сказал он.— Вы к нам?

— Баржа дальше не идет,— ответил приезжий, как будто другого объяснения и не требовалось.

2

Раз в месяц доктор Колэн и отец настоятель сходились на тайное совещание и вдвоем корпели над цифрами. Лепрозорий содержался на средства Ордена, врача и медикаменты оплачивало государство. Второй партнер был побогаче и попримистее, и доктор делал все, от него зависящее, чтобы переложить хоть часть финансовых тягот с плеч Ордена на плечи государства. В борьбе с общим врагом эти двое крепко подружились — было известно, что доктор Колэн даже ходит кое-когда к мессе, хотя он давным-давно, еще до переезда на этот многострадальный знойный континент, утерять веру в любого из тех богов, что пользуются признанием священнослужителей. Единственное, чем досаждал ему настоятель,— это сигарой, с которой он расставался только на время службы в церкви да во сне. Сигары были крепчайшие, кабинет у доктора — тесный, его книги и деловые бумаги были вечно пересыпаны пеплом. Сейчас ему пришлось стряхивать пепел с отчетов, приготовленных для старшего медицинского инспектора в Люке. В этих отчетах он ухитрился ловко и незаметно отнести за счет государства стоимость новых настенных часов и трех сеток от москитов, купленных миссией.

— Виноват,— сказал настоятель и засыпал пеплом страницу нового атласа по лепре. Густые сочные краски и завихрения на рисунках напоминали репродукции ван-гоговских пейзажей, и перед приходом настоятеля доктор листал атлас, получая от этого чисто эстетическое наслаждение.— Я становлюсь просто невыносимым,— сказал настоятель, смахивая пепел со страницы.— А сегодня особенно. Правда, у меня был в гостях мистер Рикэр. Одно расстройство от этого человека.

— Что ему понадобилось?

— Приехал разузнать о нашем госте. И само собой, с посягательствами на его запасы виски.

— Неужели ради этого стоило добираться сюда целых три дня?

— Не знаю. Во всяком случае, до виски ему удалось добраться. Уверяет, что дорога целый месяц была совершенно непроезжая, и он истомился без интеллектуальных бесед.

— Как там его жена... и плантация?

— Рикэр только выпрашивает, а сам никогда ничего не расскажет. Кроме того, ему не терпелось обсудить свои духовные проблемы.

— Вот не думал, что они у него есть!

— Когда человеку нечем похвастаться,— сказал настоятель,— он выставляет напоказ свои духовные проблемы. После второго стакана Рикэр заговорил о божественной благодати.

— Ну, а вы что?

— Я снабдил его одной книжкой. Читать ее он, конечно, не будет. Ответы на все вопросы известны ему заранее — шесть лет, убитых на обучение в семинарии, могут принести огромный вред человеку. На самом деле он, конечно, жаждал разузнать, кто такой Куэрри, откуда приехал и сколько собирается здесь прожить. Я бы, конечно, не утерпел и все ему рассказал, да сам ничего не знаю. К счастью, Рикэр боится прокаженных, а тут как раз в комнату вошел слуга Куэрри. Почему вы дали Куэрри Део Грациаса?

— Он практически здоров, но ценой потери фаланг кистей и стоп, и мне не хотелось отсылать его. Подметать пол и стелить постель может и беспальный.

— Некоторые наши гости страдают мнительностью.

— Нет, Куэрри не такой, уверяю вас. Да он, собственно, сам его попросил у меня. Део Грациас был первый прокаженный, который встретился ему на берегу. Я, конечно, подтвердил, что он практически здоров.

— Део Грациас пришел ко мне с запиской. По-моему, Рикэру было неприятно, что я взял ее. Во всяком случае, когда он прощался, то руки мне не подал. Странное представление у некоторых людей о лепре, доктор!

— Оно почерпнуто из Библии. Так же, как и все то, что касается вопросов пола.

— Очень жаль, что люди запоминают из Библии именно это, — сказал настоятель, пытаясь стряхнуть сигарный пепел в пепельницу. Но ему, видимо, не суждено было попадать в намеченную цель.

— Что вы скажете о Куэрри, отец? Как по-вашему, зачем он сюда приехал?

— Мне некогда докапываться до мотивов человеческих поступков. Я предоставил ему комнату, постель. Прокормить лишний рот не так уж трудно. И надо отдать ему справедливость, он выразил готовность помогать нам — если окажется хоть на что-нибудь способен. Может быть, его привело сюда просто желание отдохнуть в тиши?

— Лепрозорий в качестве курорта? Это мало кого прельстит. Когда он попросил меня приставить к нему Део Грациаса, я на минуту испугался, не связались ли мы с лепрофилом?

— С лепрофилом? А я, по-вашему, лепрофил?

— Нет, отец. Вы здесь на послушании. Но вам хорошо известно, что лепрофилы существуют, хотя их, пожалуй, больше среди женщин, чем среди мужчин. Швейцер обладает для них притягательной силой. Лепрофилы — как та женщина в Евангелии, им приятнее вымыть прокаженному ноги собственными волосами, чем использовать для этой цели более антисептические средства. Мне иной раз думается, а может, Дамьен был лепрофилом? Для того чтобы служить прокаженным, ему вовсе не требовалось заболеть самому. Существуют элементарные меры предосторожности. Разве я стал бы лучше лечить, если бы лишился пальцев на руках?

— Вникать в мотивы человеческих поступков — занятие неблагодарное. Куэрри никому здесь не мешает.

— Я повел его в больницу на второй же день. Мне хотелось посмотреть, как он будет себя вести. Реакция была вполне нормальная — не влечение, а тошнота. Пришлось дать ему понюхать эфира.

— Вы относитесь к лепрофилам недоверчиво, доктор, а я — нет. Для некоторых людей, например, есть что-то притягательное в бедности. Разве это плохо? Неужели надо придумывать для них словечко, оканчивающееся на «фил»?

— Как правило, лепрофилы не годятся для ухода за больными, и кончают они тем, что сами заболевают.

— Но, доктор, вы же считаете лепру психологической проблемой. Прокаженному может пойти на пользу, если к нему отнесутся с любовью.

— Прокаженный прекрасно разбирается, кого любят — его самого или только его проказу. А я не хочу, чтобы проказу любили. Я хочу, чтобы с ней покончили. В мире пятнадцать миллионов прокаженных. Стоит ли попусту тратить время на невропатов, отец?

— Пустая трата времени вам бы не повредила. Вы слишком много работаете.

Но доктор Колэн не слушал его. Он говорил:

— Помните тот маленький лепрозорий в джунглях, которым ведали монахини? Когда с открытием ДДС проказу стали лечить, количество больных там сократилось до пяти-шести человек. И знаете, что мне сказала одна монахиня? «Это ужасно, доктор! Скоро у нас прокаженных совсем не останется!» Вот вам типичная лепрофилка.

— Бедная женщина! — сказал настоятель. — Вы упускаете из виду другую сторону.

— Какую другую сторону?

— Старая дева, воображения ни малейшего, стремится делать добро, приносить пользу. В мире не так уж много мест для ей подобных. И вот еженедельная доза таблеток ДДС лишает бедняжку ее призвания.

— А мне казалось, что вы не любите вникать в мотивы человеческих поступков.

— Да ведь я не вникаю, а так — пальцами по поверхности, вроде вас, доктор, когда вы ставите диагноз. Нам всем легче бы жилось, если бы мы были еще поверхностнее в своих суждениях. Они никому не вредят, но если я начну докапываться, что же лежит в основе желания приносить пользу, тогда... тогда могут обнаружиться ужасные вещи. Достигнув этой точки, все мы предпочитаем остановиться, а если пойти дальше? Вполне вероятно, что все эти ужасы таятся только под верхними слоями кожи. Словом, поверхностные суждения безопаснее. От них всегда можно отмахнуться. Это доступно даже тем, кого мы судим.

— Ну, а Куэрри? Каково ваше суждение о нем — разумеется, поверхностное?

ЧАСТЬ II

Глава первая

I

На незнакомом месте новоселу надо сразу же создать привычную, знакомую обстановку — для этого годится и фотография и стопка книг, если он ничего другого из прошлого не привез. У Куэрри не было ни одной фотографии, ни одной книги, если не считать дневника. В первый день, когда его разбудило в шесть утра пение молитв, доносившееся из часовни за стеной, он ужаснулся, почувствовав свою полную заброшенность. Он лежал на спине, прислушиваясь к молитвенным напевам, и если бы его перстень с печаткой обладал магической силой, он повернул бы его на пальце и попросил у представшего перед ним джина, чтобы джин помог ему перенестись обратно в то место, которое, за неимением более подходящего слова, именовалось его домом. Но магия, если она вообще существует, вероятнее всего, была в ритмическом и невнятном пении за стеной. Оно напомнило Куэрри, точно запах лекарства, болезнь,

от которой он давным-давно излечился. Как же было не подумать, что зона лепры окажется зоной и той, другой болезни! Он ожидал увидеть в лепрозории врачей и сиделок и совсем упустил из виду, что здесь будут священники и монахи.

В дверь постучал Део Грациас. Куэрри услышал, как он тычет своей культей, пытаясь приподнять щеколду. На кисти у него, точно пальто на колышке, висело ведро с водой. Куэрри спросил доктора Колэна, прежде чем нанять Део Грациаса, бывают ли у него боли, но доктор успокоил его, ответив, что потеря пальцев на руках и ногах исключает боль. Только прокаженные с отеком кистей и ущемлением нервных стволов испытывают страдания — страдания почти невыносимые (иногда было слышно, как они кричат по ночам), но это в какой-то степени служит им защитой от мutilации. Лежа на спине в постели и сгибая и разгибая пальцы, Куэрри не испытывал страданий.

И вот с первого же дня, с первого утра он стал подчинять свою жизнь рутине — отыскивая знакомое в пределах незнакомого. Только при этом условии и можно было выжить. Ежедневно в семь часов утра он завтракал вместе с миссионерами. Они сходились в общей комнате, успев поработать час, после того как умолкало пение молитв. Отец Поль и брат Филипп ведали динамо-машиной, которая подавала ток в миссию и поселок прокаженных; отец Жан приходил, отслужив мессу у монахинь; отец Жозеф успевал к этому времени наладить работу на участке, который расчищали под здание новой больницы; отец Тома, с глазами, похожими на камешки, вдавленные в серую глину его лица, выпивал кофе залпом, точно слабительное, и убегал в подведомственные ему школы. Брат Филипп сидел за столом молча, не участвуя в разговорах: он был старше отцов миссионеров, говорил только по-фламандски, а лоб у него был словно источен непогодой и долготерпением. По мере того как миссионеры обретали каждый свое лицо, точно на негативах в ванночке с проявителем, Куэрри все больше и больше избегал их общества. Он боялся, как бы они не начали расспрашивать его, но потом ему стало ясно, что здесь, как и в семинарии на реке, ни о чем таком допытываться не станут. Даже самые необходимые вопросы облекались у них в утвердительную форму: «Месса начинается в половине седьмого утра, если вы пожелаете присутствовать на воскресном богослужении», — и Куэрри не нужно было отвечать, что он уже больше двадцати лет не ходит к мессе. Его отсутствия как бы не замечали.

После завтрака, прихватив книгу, взятую в маленькой библиотеке доктора, он шел к реке. В этом месте она разливалась широко, чуть ли не на милю от берега до берега. Старый, весь проржавевший баркас спасал его от муравьев, и он сидел в нем часов до девяти, пока не прогоняло высоко поднявшееся солнце. Иногда он читал, а то просто смотрел на ровный ток воды зеленовато-желтого цвета, на маленькие островки травы и водяных гиацинтов, которые нескончаемой вереницей, точно медленно ползущие такси, проплывали мимо, из самого сердца Африки к далекому океану.

На другом берегу, над зеленой стеной джунглей, вздымались огромные деревья с обнаженными корнями, похожими на шпангоуты недостроенного корабля, с бурыми, точно вялая цветная капуста, кронами. Холодные серые стволы без веток, извивающиеся то вправо, то влево, были похожи на живых змей. Белые, точно фарфоровые, птицы стояли на спинах кофейно-коричневых коров, а однажды он битый час наблюдал за семьей, которая сидела в пироге у самого берега и розно ничего не делала. На матери было ярко-желтое платье, отец, морщинистый, как древесная кора, горбился над веслом, ни разу не шевельнув им, девушка держала на коленях ребенка и все улыбалась и улыбалась застывшей улыбкой, похожей на клавиатуру рояля. Наконец на солнцепеке

становилось слишком жарко, он шел к доктору в больницу или в амбулаторию, и, когда Колэн заканчивал вместе с ним обход или прием, полдня, слава богу, оставалось позади. Его уже не тошнило от того, что приходилось видеть здесь, и флакона с эфиром больше не требовалось. Через месяц он сказал доктору:

— На восемьсот больных персонала у вас не хватает.

— Да.

— Если я могу чем-нибудь помочь... правда, тут нужна подготовка, но...

— Вы же скоро уедете?

— У меня нет определенных планов.

— Вы имеете понятие о физиотерапии?

— Нет.

— Если вас это интересует, можно пройти специальный курс. Полугодичный. В Европе.

— Я не собираюсь возвращаться в Европу, — сказал Куэрри.

— Совсем?

— Совсем. Я боюсь туда возвращаться. — Эта фраза показалась ему самому мелодраматической, и он поправился: — То есть не боюсь, а так... есть причины.

Доктор провел пальцами по спине стоявшего перед ним ребенка. На взгляд человека неопытного ребенок был совершенно здоров.

— Тяжелый будет случай, — сказал доктор Колэн. — Потрогайте.

Мимолетное колебание Куэрри было так же трудно уловить, как и признаки лепры. Сначала его пальцы ничего не нащупали, но потом они наткнулись на места, где кожа ребенка словно бы образовала лишний слой.

— А с электротехникой вы знакомы?

— Увы!

— Дело в том, что нам должны прислать аппарат из Европы. И что-то его все нет и нет. Этим аппаратом можно измерять температуру кожи одновременно на двадцати участках. Пальцами вы тут ничего не обнаружите, но вот это уплотнение теплее, чем кожа вокруг. Я надеюсь, что со временем мне удастся предупреждать образование таких бугорков. В Индии этим уже занимаются.

— Вы слишком многого от меня требуете, — сказал Куэрри. — Я человек одного ремесла, мне дан всего один талант.

— Какое же это ремесло? — спросил доктор. — У нас здесь настоящий город, только в миниатюре, применение найдется почти для любого ремесла. — Он вдруг подозрительно покосился на Куэрри. — Вы, надеюсь, не писатель? Писателю здесь места нет. Нам нужна спокойная рабочая обстановка. Мы не желаем, чтобы мировая пресса открыла нас, как открыли Швейцера.

— Я не писатель.

— Может быть, фотограф? Наши больные не экспонаты для какого-нибудь музея, где пугают всякими ужасами.

— И не фотограф. Поверьте, покой нужен мне не меньше, чем вам. Если б баржа пошла дальше, я бы здесь не остался.

— Тогда скажите, какое у вас ремесло, и мы вас куда-нибудь пристроим.

— Я бросил его, — ответил Куэрри.

Мимо окна с деловым видом проехала на велосипеде монахиня.

— Неужели у вас не найдется для меня какой-нибудь нехитрой работы, чтобы я у вас не даром ел ваш хлеб? — спросил Куэрри. — Перевязки? Этому я тоже не обучен, но научиться, наверно, не трудно. И уж во всяком случае надо же кому-то стирать бинты? Я мог бы заменить более ценного работника.

— Этим ведают монахини. Если бы я вмешивался в их дела, мне бы здесь жизни не было. Что с вами — места себе не находите? Может быть, вам уехать в Люк со следующей баржей? Там много всяких возможностей.

— Я обратно не поеду, — сказал Куэрри.

— В таком случае советую вам предупредить об этом наших отцов миссионеров, — ироническим тоном сказал доктор и крикнул своему помощнику: — На сегодня хватит. Заканчиваем.

Моя рука спиртом, он посмотрел через плечо на Куэрри. Его помощник выводил больных из кабинета, и они остались одни. Доктор спросил:

— Вас разыскивает полиция? Не бойтесь — можете признаться хоть мне, хоть любому из нас. В лепрозории на этот счет так же безопасно, как в иностранном легионе.

— Нет. Никаких преступлений я не совершил. Уверяю вас, мой случай не представляет никакого интереса. Я ушел от дел, только и всего. Если миссионеры не захотят держать меня здесь, я всегда могу двигаться дальше.

— Вы же сами сказали — дальше баржа не идет.

— Есть еще дорога.

— Да. Но она ведет только в одном направлении. В том, откуда вы приехали. Впрочем, дорога эта большей частью непроезжая. Сейчас период дождей.

— Ноги-то всегда при мне, — сказал Куэрри.

Колэн взглянул на него, ожидая увидеть улыбку, но улыбки на лице Куэрри не было. Колэн сказал:

— Если вы действительно хотите помочь мне и не побойтесь весьма нелегкого путешествия, возьмите наш второй грузовик и съездите в Люк. Баржа бог ее знает когда появится, а мой новый аппарат, вероятно, уже пришел в город. Поездка займет у вас дней восемь в оба конца, если вам повезет. Ну как, поедете? Имейте в виду: ночевать придется в джунглях, а если паромы не работают, повернете с полпути обратно. Дорога — это чересчур громко сказано, — продолжал Колэн. Ему не хотелось давать настоятелю повод обвинить его в том, будто он уговорил Куэрри поехать. — Но раз у вас есть желание помочь... Вы сами видите, из нас ехать некому. Нам нельзя отлучаться.

— Да, да, конечно. Я сегодня же и выеду.

Доктор вдруг подумал, что этот человек, вероятно, тоже на послушании, но послушествоует он не духовным и не мирским властям, а тому, что преподнесет судьба. Он сказал:

— Прихватите заодно из города замороженных овощей и мяса. Мы здесь не прочь внести разнообразие в наш рацион. В Люке есть склад-холодильник. Пришлите ко мне Део Грациаса за раскладной койкой. Если возьмете с собой велосипед, то на первую ночевку сможете остановиться у Перрэнов. На грузовике до них не доберетесь, они живут у реки. Есть еще Шантэны — но это дальше часов на восемь. Впрочем, может быть, они уехали на родину, я что-то не помню. Ну-с, и у второго паромы к вашим услугам Рикэр. Это часов за шесть до Люка. Не сомневаюсь, что он окажет вам горячий прием.

— Нет, лучше буду ночевать в грузовике, — сказал Куэрри. — Я человек необщительный.

— Предупреждаю — поездка трудная. И можно дожидаться баржи.

Он помолчал, ожидая ответа, но Куэрри только и мог сказать:

— Я буду рад принести хоть какую-то пользу.

Взаимное недоверие убивало всякую возможность общения между ними. Доктору казалось, что единственные слова, которые он может произнести с речью за ручательством за их уместность, долгое время пролежал в банках в амбулатории и сильно отдают формалином.

Река образовывала большую излучину в джунглях, и не одно поколение здешних правителей терпело неудачу в борьбе с лесной чащей и дождями, пытаясь проложить дорогу через этот мыс от административного центра провинции — города Люка. В периоды дождей повсюду были непролазные топи, притоки так вздувались, что паромы бездействовали, а лесная чаща роняла поперек дороги деревья, на больших расстояниях одно от другого, точно чередуя геологические слои. В глубине зарослей деревья век от века незаметно дряхлели и наконец умирали, падая в предсмертной агонии на жилистые руки лиан, и рано или поздно лианы бережно опускали эти трупы на то пространство, которое одно могло принять их, — на дорогу, узкую, как гроб или могила. Катафалков здесь не было, и убрать отсюда покойников мог только огонь.

В периоды дождей дорогой никто не пользовался; несколько семей колонистов, живущих в джунглях, оказывались тогда совершенно отрезанными от мира, и выручал их только велосипед. На велосипеде можно было добраться до берега реки и, поселившись в рыбацком поселке, ждать прибытия парохода или баржи. Потом, когда дожди кончались, проходила еще не одна неделя, прежде чем местные власти могли выделить рабочую силу — жечь костры, чтобы расчистить завалы. Если запустить дорогу, через несколько лет она вовсе исчезнет, и уже навсегда. От нее останутся лишь неглубокие царапины и борозды на земле, похожие на настенные письма первобытного человека, и тогда в этих местах будут жить только пресмыкающиеся, насекомые, два-три вида птиц, приматы и, может быть, пигмиды — единственные человеческие существа в джунглях, которые способны существовать без дороги.

В первую ночь Куэрри остановил грузовик в том месте, где начиналась тропинка, ведущая к плантации Перрэнгов. Он открыл банку консервированного супа и банку сосисок, а Део Грациас тем временем поставил ему раскладную койку в кузове и зажег керосинку. Куэрри хотел поделиться с ним, но у Део Грациаса была какая-то своя еда в горшке, завернутом в старую тряпку, и они молча сидели по обе стороны машины, точно каждый в своей комнате. Поев, Куэрри обошел грузовик, с тем чтобы перебраться двумя-тремя словами с Део Грациасом, но бой почтительно поднялся с земли, точно хозяин явился к нему в хижину в поселке, и это сразу убило в Куэрри всякое желание говорить. Если б его слугу звали попросту Пьер, Жан или Марк — тогда можно было бы начать с какой-нибудь несложной фразы по-французски, но Део Грациас... это нелепое имя застряло у Куэрри в горле.

Он отошел от машины, зная, что все равно не заснет, и зашагал по тропинке, которая в конце концов должна была привести или к реке, или на плантацию Перрэнгов. Сзади послышалось глухое притоптывание Део Грациаса. Бой шел за ним, то ли решив охранять его, то ли побоявшись остаться в темноте около грузовика. Куэрри раздраженно обернулся, потому что ему хотелось побыть одному, — Део Грациас стоял на своих кургузых беспалых ступнях, подпираясь костылем, точно тотем, поставленный здесь сотни лет назад и принимающий жертвоприношения в положенный для этого день.

— Эта тропинка к Перрэнгам?

Део Грациас ответил утвердительно, но Куэрри понял, что это обычная для африканцев манера отвечать, когда вопрос задают в такой форме. Он вернулся к грузовику и лег на койку. Он слышал, как Део Грациас устраивается на ночь под кузовом, и, лежа на спине, глядел туда, где должны были виднеться звезды, если б не сетка от москитов. Как и всегда, тишины вокруг не было. Тишина — принадлежность городов. Ему приснилась девушка, которую он знал когда-то и как будто

любил. Она подошла к нему вся в слезах, жалуясь, что разбила дорожную вазу, и рассердилась, так как он не стал сокрушаться вместе с ней. Она ударила его по лицу, но ему показалось, будто его мазнули маслом по щеке. Он сказал: «Прости. Это зашло слишком далеко. Я ничего не чувствую. У меня проказа». И, назвав ей свою болезнь, он проснулся.

Вот так он проводил дни и ночи. Все шло гладко, и его тяготило только однообразие джунглей. Паромы работали исправно: реки не вышли из берегов, несмотря на ливень, обрушившийся на их последнюю ночную стоянку. Део Грациас соорудил ему в кузове брезентовый навес, а сам, как всегда, лег под брюхо грузовика. Потом снова показалось солнце, и они выехали из джунглей на дорогу, по которой до Люка оставалось всего несколько миль.

3

Аппарат доктора пришлось разыскивать долго, прежде чем его следы обнаружились. В отделе грузов ОТРАКО о нем ничего не знали и направили Куэрри в таможню, которая оказалась всего-навсего деревянным домишком у маленькой речной пристани, где лопоухие собаки встретили его лаем и тут же разбежались. В таможне к его приходу отнеслись с полным равнодушием и ничем не помогли, так что ему пришлось отправиться на поиски европейца-инспектора, а тот в эти часы наслаждался послеполуденной сиестой в одном из розовых и голубых домов нового типа рядом с маленьким городским садом, на раскаленные цементные скамейки которого никто не садился. Дверь ему отворила растрепанная, заспанная африканка, видимо, отдохавшая вместе с инспектором. Сам инспектор оказался пожилым фламандцем, едва говорившим по-французски. Мешки у него под глазами были как кошечки, в которых таялись контрабандные воспоминания неудачника. Куэрри успел так привыкнуть к жизни в джунглях, что не мог признать в этом человеке своего современника, существо одной с ним расы. Рекламный календарь на стене с цветной репродукцией картины Вермеера, трехстворчатая рамка на закрытом рояле с фотографиями жены и детей, портрет его самого в допотопном офицерском мундире времен какой-то допотопной войны — все это было словно остатки исчезнувшей цивилизации. Точная датировка их не представляла труда, но никакие изыскания не обнаружили бы чувств, когда-то связанных с ними.

Инспектор держался очень вежливо, но был явно смущен: ему, видимо, хотелось прикрыть гостеприимством кое-какие тайны своей сиесты. Брюки у него были не застегнуты. Он предложил Куэрри сесть и выпить виски, но, услышав, что его гость приехал из лепрозория, забеспокоился, испугался и все поглядывал на кресло, в котором Куэрри сидел. Он, вероятно, ожидал, что бактерии лепры вот-вот начнут буравить обивку. Нет, про аппарат ему ничего не известно, Куэрри надо справиться в соборе, не туда ли его завезли. Выйдя на лестничную площадку, Куэрри услышал, как в ванной комнате за дверью полилась вода. Инспектор, видимо, дезинфицировал руки.

Аппарат действительно доставили в собор, хотя священник, с которым Куэрри пришлось иметь дело, сначала отрицал это, полагая, что в ящиках упакована статуя какого-нибудь святого или книги для миссионерской библиотеки. Груз этот был отправлен с последним пароходом ОТРАКО и, вероятно, застрял где-то в пути. Куэрри поехал в холодильник. Дневной отдых в городе кончился, и ему пришлось стоять в очереди за стручковой фасолью.

Вокруг него, наперебой требуя к себе внимания, раздавались раздраженные голоса *colons*, негодовавших по разным поводам. Ему

вдруг показалось, что это Европа, и он невольно вобрал голову в плечи, боясь, как бы его не узнали. Стоя в набитой людьми лавке, он понял, что на реке и в поселке при лепрозории все-таки был хоть какой-то покой.

— Нет, картофель у вас есть! — говорил женский голос. — Как вы смаете отрицать это! Его доставили со вчерашним самолетом. Я же знаю, мне летчик сказал. — И, пуская в игру последнюю карту, она заявила хозяину лавки — европейцу: — Я жду губернатора к обеду.

Картофель ей сунули тайком, уже упакованный в целлофан.

Чей-то голос спросил:

— Если не ошибаюсь, вы Куэрри?

Он оглянулся. Человек, заговоривший с ним, был сутулый, высокий, чрезмерно высокий. Он напоминал растение, которое держат в ванной комнате и оно тянется вверх от сырости. Маленькие черные усики — точно размазанная под носом копоть из заводских труб. Лицо плоское, узкое — без конца, без начала, как чертеж к закону о непересекающихся параллельных прямых. Горячей беспокойной рукой он взял Куэрри за локоть.

— Моя фамилия Рикэр. Я был недавно в лепрозории, но вас не застал. Как вы сюда добрались? Разве пришла баржа?

— Я приехал на грузовике.

— И не застряли? Ну, вам повезло. На обратном пути прошу заночевать у меня.

— Я тороплюсь обратно, в лепрозорий.

— Там и без вас обойдутся, мосье Куэрри. Ничего с ними не делается. После вчерашнего ливня паромы, вероятно, не ходят. А чего вы здесь ждете?

— Да я хотел купить haricots verts * и...

— Бой! Отпустить haricots verts этому хозяину. На них надо покрывать. Другого обращения они не понимают. Так вот, выбирайте: или вы ночуете у нас, или остаетесь здесь, в городе, пока вода не спадет, но здешняя гостиница вам не понравится, это я ручаюсь. Люк — городишко провинциальный. Для такого человека, как вы, здесь ничего интересного нет. Ведь вы *наш знаменитый* Куэрри, правда? — И Рикэр сжал губы, будто захлопнул ловушку, а глаза у него хитро заблестели, как у сыщика.

— Я вас не понимаю.

— Вы не думайте, что мы здесь все не от мира сего, как отцы миссионеры и наш дорогой доктор — личность весьма сомнительная. У нас пустыня? Да, есть немножко, но все же ухитряешься не терять связи с миром. Бой! Две дюжины пива, да поскорее! Ваше инкогнито я, безусловно, уважаю и никому не скажу ни слова. Положитесь на меня, гостя я не предаю. У нас вы будете не так на виду, как в гостинице. Я и жена, больше никого. Собственно говоря, жена мне и подсказала: «Как ты думаешь, а не тот ли это знаменитый Куэрри?»

— Вы ошибаетесь.

— Э-э, нет! Когда вы к нам приедете, я покажу вам одну фотографию из журнала. У нас этих газет и журналов много валяется, мало ли что, а вдруг пригодятся. Вот и пригодились, а? Не будь того номера, мы бы решили, что вы какой-нибудь родственник Куэрри или просто однофамилец. Подумать только! *Наш знаменитый* Куэрри — и вдруг прячется в лепрозории в джунглях! По совести говоря, я человек любопытный. Но вы верьте мне, верьте до конца. Меня самого одолевают всякие проблемы, и я не могу не посочувствовать другому человеку. Я тоже похо-

* Стручковая фасоль (франц.).

ронил себя в глуши. Давайте выйдем отсюда, в маленьких городишках и у стен есть уши.

— Знаете, я... меня ждут в лепрозории.

— Погода подвластна господу. Поверьте мне, мосье Куэрри, выбора у вас нет.

Глава вторая

1

Дом и завод стояли у самой переправы; лучшего местоположения нельзя было и выбрать, учитывая ненасытное любопытство Рикэра. Никто не мог проехать по дороге из города в глубь страны, минуя два широких окна его дома, словно линзы бинокля, направленные на реку. Они ехали к реке под густо-синей тенью палм; шофер Рикэра и Део Грациас следовали за ними в грузовике Куэрри.

— Видите, мосье Куэрри, что делается? Какая высокая вода! Сегодня на тот берег не переберешься. А может, и завтра, кто знает? Так что у нас с вами будет время побеседовать на разные интересные темы.

Когда они ехали по заводскому двору, среди выброшенных за ненадобностью ржавящихся котлов, их окутало тяжелым запахом прогорклого маргарина. Из открытых настежь заводских дверей повеяло горячим ветром, и на миг в сумерки вымахнул отсвет котельной топки.

— Вам, привыкшему к заводам западного мира, — сказал Рикэр, — все это, конечно, покажется довольно убогим. Хотя я не помню, имели вы когда-нибудь касательство к заводам?

— Нет.

— *Наш знаменитый* Куэрри — ведущая фигура во многих областях.

Он вставлял «наш знаменитый» чуть не через слово, точно это был титул.

— Работает мой заводик, — говорил Рикэр, пока машина, подскакивая, виляла между котлами. — Хоть и неказистый, а работает. У нас тут все идет в дело. От ореха ничего не остается. Ровным счетом ничего. Сначала целиком под пр-ресс, — сказал он, со вкусом напирая на букву «р», — выжимаем масло, а скорлупу потом прямо в топку. Наши котлы другого топлива и не знают.

Они оставили обе машины во дворе и пошли к дому.

— Мари! Мари! — крикнул Рикэр и, счистив о скобу грязь с башмаков, затопал по веранде. — Мари!

Девушка в синих джинсах, с хорошеньким, но словно бы еще не сформировавшимся лицом, быстро вышла из-за угла на его зов. Куэрри чуть было не спросил: «Ваша дочь?» — но Рикэр опередил его.

— Моя жена, — сказал он. — Вот, дорогая, *наш знаменитый* Куэрри. Он пытался отрицать это, но я сразу ему заявил, что у нас есть его фотография.

— Очень приятно познакомиться, — сказала она. — Мы все к вашим услугам.

У Куэрри создалось впечатление, что этим стандартным фразам ее когда-то обучила гувернантка или же они почерпнуты из руководства по этикету. Когда все, что требовалось, было сказано, она исчезла так же внезапно, как и появилась. Может быть, прозвенел звонок к следующему уроку?

— Прошу садиться, — сказал Рикэр. — Сейчас Мари принесет виски. Она у меня вышколенная — усвоила наши мужские привычки.

— И давно вы женаты?

— Два года. Я привез ее с собой, когда вернулся последний раз из отпуска. В таком месте, на такой работе близкий человек необходим. А вы женаты?

— Да... то есть был женат.

— Я, конечно, понимаю, что, на ваш взгляд, она слишком молода для меня. Но надо смотреть вперед. Если уж верить в святость брака, то не мешает думать о будущем. У меня впереди лет двадцать... так сказать, деятельной жизни, а во что превратится через двадцать лет тридцатилетняя женщина? В тропиках мужчина сохраняется лучше. Вы согласны со мной?

— Мне как-то не приходилось над этим задумываться. И я еще мало знаю тропики.

— Но вопросы пола это не самое главное. Смею вас уверить, проблем и без них хватает. Апостол Павел писал — помните? — лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Мари еще долго будет сохранять молодость и спасет меня от печи огненной. — Он поспешил добавить: — Я, конечно, шучу. О серьезных вещах следует говорить шутливо. Не так ли? На самом же деле я всем сердцем верую в любовь. — Это прозвучало так, будто он признался, что верит в добрых волшебниц.

На веранде появился слуга с подносом, мадам Рикэр шла следом за ним. Куэрри взял стакан, и она стала справа от него, а слуга нацелился в стакан сифоном. У каждого свои обязанности.

— Вы скажете, когда довольно? — спросила мадам Рикэр.

— А теперь, *cherie* *, пойдй оденься как следует, — сказал Рикэр.

За виски он снова начал о том, что именовалось у него «ваш скучай». Теперь манерами и тоном он смахивал не столько на сыщика, сколько на адвоката, который по роду занятий становится *post factum* как бы сообщником своего подзащитного.

— Зачем вы сюда приехали, Куэрри?

— Надо же где-то жить.

— Да, но, как я уже говорил сегодня утром, никому бы и в голову не пришло, что вы работаете в лепрозории.

— Я не работаю там.

— Когда я туда приезжал несколько недель назад, миссионеры сказали мне, что вы ушли в больницу.

— Я присутствовал на приеме у доктора. Присутствую — вот и вся моя работа. Больше я там ни на что не гожусь.

— Но вы же губите свой талант!

— У меня нет никакого таланта.

Рикэр сказал:

— Не презирайте нас, бедных провинциалов.

Когда они сели обедать и Рикэр прочитал короткую молитву, хозяйка дома снова обратилась к гостю. Она сказала:

— Надеюсь, вам у нас понравится. — Потом: — Вы едите салат?

Пряди ее светлых волос местами потемнели от пота, и Куэрри заметил, что она испуганно раскрыла глаза, когда над столом пронеслась черно-белая бабочка с размахом крыльев не меньше, чем у летучей мыши.

— Будьте как дома, — сказала она, проводив глазами бабочку, которая, точно лишайник, распласталась на стене.

Куэрри подумал: а сама-то она чувствует себя здесь как дома?

Мадам Рикэр сказала:

— У нас мало кто бывает. — И ему тотчас представился ребенок, которому велено развлекать гостя до прихода матери. В промежутке меж-

* Дорогая (франц.).

ду виски и обедом она успела переодеться в бумажное платье с узором из осенних листьев. Это в память о тебе, Европа.

— Кое-кто бывает, но не такие, как *наш знаменитый* Куэрри, — перебил ее Рикэр. Он будто повернул ручку приемника, решив, что хватит слушать передачу об умении вести себя в обществе. Звук был выключен, но робкий настороженный взгляд словно продолжал говорить фразу за фразой, хотя их никто не слышал: «У нас жарко, не правда ли? Вы из Европы? Хорошо перенесли самолет?»

Куэрри спросил:

— Вам здесь нравится?

Вопрос застал ее врасплох; должно быть, в разговорнике не было ответа на него.

— О да! Здесь очень интересно, — сказала она, глядя через его плечо во двор, где стояли котлы, похожие на современную скульптуру, потом снова перевела взгляд к бабочке на стене и ящерице гекко, нацелившейся на свою жертву.

— Принеси фотографию, дорогая, — сказал Рикэр.

— Какую?

— Фотографию *нашего знаменитого* Куэрри.

Она нехотя вышла из столовой, держась подальше от стены, где сидела бабочка и где на бабочку нацеливалась ящерица, и вскоре вернулась с номером «Тайма» бог знает какой давности. Куэрри вспомнил это лицо на журнальной обложке, лет на десять моложе теперешнего (выход номера совпал с его первым приездом в Нью-Йорк). Художник, делавший портрет с фотографии, романтизировал его внешность. Это было не то лицо, что он видел в зеркале во время бритья, а будто дальний родственник его лица. В нем отражались чувства, мысли, надежды, душевные глубины, которыми он никогда ни с одним репортером не делился. На втором плане возвышалось здание из стекла и стали, его можно было принять за концертный зал, даже за оранжерею, если бы огромный крест, поставленный у входа, наподобие звонницы, не указывал на то, что это церковь.

— Вот, извольте видеть, — сказал Рикэр. — Нам все известно.

— Насколько я помню, статья здесь не блещет точностью фактического материала.

— Вы, вероятно, будете что-то строить у нас по поручению правительства или церкви?

— Нет. Я теперь в отставке.

— Казалось бы, такие, как вы, в отставку не уходят.

— Почему же? Рано или поздно всем приходится это делать — и мне, и солдату, и директору банка.

Как только обед кончился, жена Рикэра вышла из столовой, точно ребенок, которому велено уйти после десерта.

— Наверно, пошла делать записи в своем дневнике, — сказал Рикэр. — Сегодняшний день для нее из ряда вон — познакомилась с *нашим знаменитым* Куэрри. Есть о чем распространиться.

— И много она такого находит, что стоит записывать?

— Кто знает? Сначала я украдкой заглядывал в ее дневник, но она обнаружила это и теперь запирает его от меня на ключ. Я поддразнивал ее и, наверно, переборщил. Помню, одна запись была такая: «Письмо от мамы. У бедной Нитуш пятеро щенков». В тот день губернатор вручил мне орден, но об этой церемонии она не обмолвилась ни словом!

— Ей здесь, наверно, очень одиноко — в ее-то возрасте.

— Как сказать! Хозяйственные обязанности существуют даже в джунглях. Если уж на то пошло, так я гораздо больше страдаю от оди-

ночества. Ее... вы, вероятно, сами это заметили... ее нельзя назвать интеллектуальной собеседницей. Это один из минусов брака с женщиной моложе тебя. Если я ощущаю потребность побеседовать о вещах, которые меня кровно интересуют, приходится ехать к отцам миссионерам. По правде говоря, далековато. При моем образе жизни времени на размышления остается много. Я считаю себя добрым католиком, но это не значит, что у меня нет сложных духовных проблем. К религии многие относятся легко, а я провел в юности шесть лет у иезуитов. Если бы учитель, к которому мы поступили на послух, был менее пристрастен, мы бы с вами здесь не встретились. В этой статье в «Тайме» сказано, что вы тоже католик.

— Я в отставке,— второй раз сказал Куэрри.

— Бросьте, бросьте! От *этого* в отставку не уходят.

Притаившаяся гекко ринулась на бабочку, промахнулась и снова замерла, распылив по стене свои крохотные, похожие на папоротник лапки.

— Если хотите знать,— сказал Рикэр,— так эти миссионеры в ле-прозории — народ малоинтересный. Они больше заняты своей динамо-машиной и строительством, чем вопросами веры. А я как услышал о вашем приезде, так с тех пор все мечтаю поговорить с интеллигентным католиком.

— Я себя таковым не считаю.

— Все эти долгие годы я был предоставлен самому себе и своим мыслям. Некоторые люди довольствуются игрой в гольф в одиночку, а мне этого недостаточно. Меня очень интересует любовь. Я много читал по этому вопросу.

— Любовь?

— Любовь к господу. Агапа — не Эрос.

— В этих делах я не сведущ.

— Вы умаляете свои достоинства,— сказал Рикэр.

Он подошел к буфету и принес оттуда поднос с ликерами, спугнув по пути гекко. Ящерица юркнула за дешевенькую репродукцию «Бегства в Египет».

— Стаканчик «куэнтро»,— сказал Рикэр,— или вы предпочитаете «ван-дер-хум»?

Куэрри увидел у веранды худенькую фигурку в платье с золотыми листьями, которая шла к реке. Должно быть, на воздухе бабочки казались не такими уж страшилищами.

— В семинарии я взял за правило искать глубже, чем это принято,— говорил Рикэр.— Наша вера, когда постигаешь ее глубины, ставит перед нами много разных проблем. Возьмем хотя бы... впрочем, почему «хотя бы»? Я сейчас коснусь самой сути — того, что меня больше всего тревожит. По-моему, моя жена не уясняет себе истинной природы брака во Христе.

Из темноты донеслось «плюх-плюх-плюх». Она, вероятно, кидала камешки в реку.

— Мне подчас кажется,— говорил Рикэр,— что моя жена чуть ли не круглая невежда. Просто диву даешься — чему ее там учили, в монастыре? Вы же сами видели, она даже не перекрестится перед едой, когда я читаю молитву. А ведь согласно каноническому праву, невежество, переходящее известные границы, может даже лишить брак законной силы. Это один из вопросов, который я пытался обсудить с отцами миссионерами, но тщетно. Они предпочитают говорить о турбинах. Зато теперь, когда вы здесь...

— Я не берусь судить о таких вещах,— сказал Куэрри. В паузы до веранды доносилось журчанье воды, идущей в реке на убыль.

— Но вы по крайней мере слушаете. Миссионеры давно заговорили бы о новом колодеце, который они собираются рыть. Колодец, Куэрри! Подумайте, колодец! А тут человеческая душа! — Он допил свой «ван-дер-хум» и налил вторую рюмку. — Они ничего не понимают. Представьте себе, что мы с ней живем не в законном браке, а так... да ей, Куэрри, ничего бы не стоило бросить меня в любую минуту!

— В том, что вы именуете законным браком, тоже так поступают, и с легкостью.

— Нет, нет! Тогда гораздо труднее. Общественное мнение — вещь реальная, особенно здесь.

— Если она любит вас...

— Это ничего не решает. Мы с вами знаем жизнь, Куэрри. Такая любовь не долговечна. Я пытался внушить ей всю важность любви к господу. Ведь если она будет любить его, ей не захочется наносить ему оскорбление, не правда ли? А это уже до некоторой степени гарантия. Я заставлял ее молиться, но кроме «Отче наш» и «Аве Мария» она, кажется, не знает ни одной молитвы. А вы как молитесь, Куэрри?

— Никак. Разве только в минуту опасности, по привычке. — Он добавил грустно: — Тогда я молюсь, чтобы мне подарили плюшевого мишку.

— Вы все шутите, а ведь это очень серьезно. Еще рюмочку «куэнтро»?

— Что вас, собственно, тревожит, Рикэр? Соперник?

Его жена вошла в световой круг под лампой, висящей на углу веранды. В руках у нее был готан policier из «Черной серии». Она свистнула, совсем тихо, но Рикэр услышал свист.

— Проклятая собачонка! Она любит эту тварь больше, чем господа бога, — сказал он. Выпитый «ван-дер-хум», видимо, был виной некоторой нелогичности в ходе его мыслей. Он сказал: — Я не ревнив. И беспокоит меня не соперник. Где ей! Ее на это просто не хватит. Иногда она даже отказывается от выполнения своего долга.

— Какого долга?

— Долга по отношению ко мне. Ее супружеского долга.

— Это считается долгом? Вот не думал!

— Вы прекрасно знаете, что церковь именно так на это и смотрит. Отказываться никто не имеет права. Воздержание дозволено только по обоюдному согласию.

— Ей, должно быть, не всегда желательна ваша близость.

— А мне что прикажете делать? Чего же ради я отказался от священнического сана?

— На вашем месте я бы поменьше говорил с ней о любви к богу, — нехотя сказал Куэрри. — Вряд ли она способна провести параллель между этим и вашей постелью.

— Для католика существование такой параллели бесспорно, — быстро проговорил Рикэр. Он поднял руку, точно отвечая на вопрос перед всем классом. Волоски, темневшие на фалангах его пальцев, были похожи на ряды маленьких усиков.

— Вы, видимо, сильны в этом предмете, — сказал Куэрри.

— В семинарии у меня всегда были хорошие отметки по нравственному богословию.

— В таком случае, я вам не нужен. Ни я, ни отцы миссионеры. У вас, верно, все уже продумано и выводы сделаны.

— Ну, это само собой. Но иной раз так нуждаешься в подтверждении своих мыслей и в моральной поддержке. Вы не можете себе представить, мосье Куэрри, какую я испытываю радость, обсуждая все эти вопросы с образованным католиком!

— Вряд ли я могу считать себя католиком.

Рикэр рассмеялся.

— Что? И это говорит наш знаменитый Куэрри? Нет, меня не проведешь. Вы скромничаете. Удивляюсь, почему Священная Римская империя не дала вам титула графа, как тому ирландскому певцу — как его?

— Не знаю. Я человек не музыкальный.

— Вы бы почитали, что о вас пишет «Тайм»!

— В этих вопросах «Тайм» мало компетентен. Вы не будете возражать, если я пойду лягу? Мне надо рано встать завтра, а то я не доберусь засветло до следующей переправы.

— Пожалуйста. Хотя я сомневаюсь, что вам удастся попасть утром на тот берег.

Рикэр прошел следом за ним всю веранду и проводил его до спальни. Темнота клокотала кваканьем лягушек. Рикэр пожелал своему гостю спокойной ночи и вышел, а лягушки долго не унимались и будто повторяли его пустопорожние слова: таинство, долг, благодать, любовь-быв-быв.

Глава третья

I

— Вы хотите приносить пользу, ведь так? — резко спросил доктор. — Вам не нужна просто черная работа. Вы не мазохист и не святой.

— Рикэр обещал, что он никому не проговорится.

— Он держал слово почти месяц. Для Рикэра это огромное достижение. В последний свой приезд он рассказал о вас только настоятелю, и то по секрету.

— А что ему сказал настоятель?

— Что никаких секретов вне исповедальни он слушать не желает.

Доктор распаковывал ящик с тяжелой электроаппаратурой, которую пароход ОТРАКО наконец-то доставил в лепрозорий. Замок на дверях амбулатории был слишком ненадежен, и, не решившись оставить аппарат там, он возился теперь с ящиком на полу своей комнаты. За африканцев никогда нельзя поручиться. Кто знает, как они поведут себя при виде новой для них вещи. Полгода назад, когда в Леопольдвиле начались волнения, толпа прежде всего разгромила только что отстроенную больницу для туземного населения, всю из стали и стекла. Сколько здесь возникало слухов, один другого чудовищнее, и чаще всего их принимали на веру! Это была страна, где мессии умирали по тюрьмам и воскресали из мертвых, где от прикосновения кончиков ногтей, освященных шепоткой нетленного праха, будто бы рушились стены. Один человек, которого доктор вылечил от проказы, каждый месяц писал ему угрожающие письма, в полной уверенности, что его отослали из лепрозория домой не по излечении, а только потому, что доктор позарился на пол-акра земли, где он выращивал бананы. Достаточно кому-нибудь пустить слух — со зла или по невежеству, — будто новые машины привезли для того, чтобы подвергать больных пыткам, и найдется дурачье, которое ворвется в амбулаторию и переломает их. Впрочем, в наш век вряд ли можно называть таких людей дураками. После Хола-кэмп, Шарпвиля и Алжира любые рассказы о жестокости европейцев не будут преувеличением.

Вот почему, пояснил доктор, лучше убрать эти машины с глаз долой и держать их дома, пока не выстроят новую больницу. Пол в его комнате был устлан соломой, высыпавшейся из ящиков.

— Надо решить заранее, где ставить штепсели. А вот это для чего? Вы не знаете?

— Нет.

— Долго же я его добивался! — сказал доктор, касаясь холодного металла с такой же нежностью, с какой ценитель мог бы поглаживать женское бедро роденовской бронзы. — Иной раз терял всякую надежду. Сколько пришлось писать разных бумаг, выдумывать бог знает какие небылицы. И вот наконец-то пришел!

— А для чего он?

— Им измеряют реакцию нервов с точностью до одной двадцатитысячной доли секунды. Наступит день, когда мы будем гордиться нашим лепрозорием. И вами будем гордиться, и вашим участием в наших делах.

— Я вам уже сказал, что я в отставке.

— От призвания уйти в отставку нельзя.

— Еще как можно! Когда истратишь себя до конца.

— Тогда зачем вы сюда приехали? Крутить роман с чернокожей?

— Нет. В этом тоже доходишь до конца. Очень может быть, что сексуальность и призвание одновременно родятся и одновременно умирают. Поручите мне свертывать бинты, выносить ведра. Я думаю только об одном — как убить время.

— А мне казалось, вы хотите приносить пользу.

— Слушайте, — сказал Куэрри и замолчал.

— Слушаю.

— Я не отрицаю, что когда-то мое призвание очень много для меня значило. И женщины тоже. Но мне было безразлично, как используется то, что выходит из-под моих рук. Я строил не фабрики и не здания муниципалитетов. Я работал только ради собственного удовольствия.

— И женщин любили точно так же? — спросил доктор, но Куэрри вряд ли слышал его. Он говорил, будто изголодавшийся человек, который никак не насытится.

— Не равняйте свое призвание с моим, доктор. Вы печетесь о людях. А мне не было дела до людей, до тех, кто займет пространство, над которым я работал. Я думал только о самом пространстве.

— Тогда я не рискнул бы пользоваться санитарным узлом в ваших постройках.

— А писатель разве пишет для читателей? Ведь нет! И все же ему приходится проявлять хотя бы элементарную заботу о них. Мне были важны пропорции, пространство, освещение. Новые материалы представляли для меня ценность только в той мере, в какой они могли влиять на эти три компонента. Дерево, кирпич, сталь, бетон, стекло — пространство меняется в зависимости от того, во что вы его облачаете. Материалы — это лишь фабула для архитектора. Не они побуждают его к работе. Побудителями служат только пространство, свет, пропорции. Нельзя смешивать тему романа с фабулой. Разве кто-нибудь помнит, какая судьба постигла в конце концов Люсьена де Рюампре?

— Две ваши церкви считаются шедеврами. Неужели вас не интересовало, как там будут чувствовать себя люди?

— Интересовала акустика — она должна быть хорошая. Интересовало положение алтаря — его должно быть видно отовсюду. Но людям мои церкви не понравились. Люди говорили, что в таких церквях нельзя молиться. А понимать их следовало так: это не готика, не романский, не византийский стиль. Не прошло и года, как там поставили дешевых гипсовых святых, заменили обычные оконные стекла витражами с изображениями консервных королей — покойных жертвователей в епископальную казну. И вот, изуродовав созданное мною пространство и освещение, люди могли молиться в этих церквях и даже сделали предметом гордости то, что сами же изуродовали. Меня стали называть великим католическим архитектором, но церквей, доктор, я больше не строил.

— Я человек не религиозный и не очень-то разбираюсь во всем этом, но, по-моему, люди вправе считать, что их молитвы важнее, чем произведение искусства.

— Люди молились в тюрьмах, молились в трущобах и концлагерях. Подходящая обстановка для молитв требуется только буржуазии. Мне иной раз претит самое слово «молитва». У Рикэра оно не сходит с языка. А вы сами, доктор, молитесь?

— Если не ошибаюсь, последний раз я молился перед государственными экзаменами. А вы?

— У меня с этим давно покончено. Я редко молился и в те далекие времена, когда верил. Это мешало работать. Последнее, о чем я думал, перед тем как заснуть, даже если рядом со мной лежала женщина, это была работа. Во сне часто находились решения задач, казавшихся неразрешимыми. Спальня у меня была рядом с кабинетом — так, чтобы перед сном я мог провести последние две минуты у чертежной доски. Постель, биде, чертежная доска и наконец — сон.

— Не жестоко ли это по отношению к женщине?

— Самовыражение — вещь жестокая и жадная. Оно поедает все, даже тебя самого. В конце концов и выражать тебе больше некого. Меня, доктор, теперь ничто не интересует. Ничего теперь не хочу — ни спать с женщиной, ни проектировать здания.

— Детей у вас нет?

— Были когда-то, да разбрелись по свету давным-давно. Мы не видались, не переписывались. Самовыражение поедает в человеке даже отца.

— И вы решили приехать сюда и здесь умереть.

— Да. Такая мысль у меня *была*. Но больше всего я хотел очутиться в пустоте, в таком месте, где ни новое здание, ни женщина не напомнят мне, что когда-то я был жив, и у меня было призвание, и я мог любить — если это называть любовью. Больные с лепрозными язвами страдают, нервы у них не потеряли чувствительности, а я увечный, доктор.

— Двадцать лет назад смерть была бы вам здесь обеспечена, но теперь наше дело — лечить. Годичная доза ДДС на больного обходится в три шиллинга. Это гораздо дешевле гроба.

— А меня вы беретесь вылечить?

— Увечье у вас, возможно, еще не полное. Если больной обращается за помощью слишком поздно, лепра может пройти сама собой ценой потери пальцев на руках и на ногах, ценой увечья. — Доктор бережно покрыл чехлом свой аппарат. — Меня ждут другие пациенты. Пойдете со мной или вы предпочитаете сидеть здесь и обдумывать свой собственный анамнез? С увечными это часто бывает — они тоже хотят получить отставку от жизни, скрыться с глаз людских.

Больница дохнула на них тяжелым сладковатым запахом застоя, его ничто не нарушало — ни вентиляторы, ни ветерок. Куэрри не мог не заметить убожества постелей — чистоплотность нужна только здоровым, а прокаженные могут обойтись и без нее. Больные приносили с собой собственные матрацы, служившие им, вероятно, всю жизнь, — дерюжные мешки с вылезающей наружу соломой. Забинтованные ноги лежали на ней, точно кое-как завернутые куски мяса. На веранде прятались от солнца ходячие больные — если можно назвать ходячим человека, который при каждом шаге должен обеими руками поддерживать свои огромные распухшие яички. В клочке тени, спасавшей от безжалостного света, сидела женщина с вывороченными веками, она не могла ни закрыть глаза, ни даже моргать ими. Беспалый мужчина держал на коленях ребенка, другой лежал навзничь на полу веранды, и одна грудь у него была длинная, обвисшая, с оттянутым, как у женщины, соском. Этим док-

тор почти ничем не мог помочь: человек со слоновой болезнью не перенесет операции из-за слабого сердца, женщине можно сшить веки в уголках, но она не дает, боится, а ребенок в свое время все равно схватит лепру. Не мог доктор помочь ни больным в первой палате, умирающим от туберкулеза, ни вот этой женщине, которая ползала между койками, волоча за собой иссушенные полиомиелитом ноги. Доктор считал величайшей несправедливостью, что лепра не ставит преград всем другим болезням (казалось бы, на долю одного человека таких страданий достаточно!), но от других болезней его пациенты главным образом и умирали. Он переходил от одной койки к другой, а Куэрри молча следовал за ним по пятам.

В тени глинобитной кухни, позади одного из домиков поселка, сидел в старом шезлонге старик. Когда доктор вошел во двор, старик попытался встать ему навстречу, но слабые ноги не послушались его, и он ограничился учтивым жестом, прося извинения.

— Гипертония, — тихо проговорил доктор. — Безнадежен. Пришел умирать на кухню.

Ноги у старика были тонкие, как у ребенка, бедра — из приличия обернуты тряпкой, чуть пошире детского свивальника. Проходя двором, Куэрри видел, что одежда его, аккуратно свернутая, лежала в новом кирпичном домике, под портретом папы. На его впалой груди, поросшей редкими седыми волосами, висел амулет. Лицо у старика было очень доброе, полное благородства. Это было лицо человека, вероятно принимающего жизнь без единой жалобы, — лицо святого. Он справился у доктора о его самочувствии, как будто болен был доктор, а не он сам.

— Может быть, тебе что-нибудь нужно, так я принесу, — сказал Колэн. Но старик ответил: нет, у него все есть. Он спросил, давно ли писали доктору из дому, и поинтересовался здоровьем матери доктора. — Она ездила отдыхать в Швейцарию, в горы. Ей захотелось туда, где снег.

— Снег?

— Я забыл. Ты ведь не знаешь, что такое снег. Это замерзшие испарения, замерзший туман. Воздух там такой холодный, что снег никогда не тает и лежит на земле белый, мягкий, как перья *plume-boeuf* *, а та-мошние озера покрыты льдом.

— Что такое лед, я знаю, — с гордостью сказал старик. — Я видел лед в холодильнике. Твоя матушка старая — как я?

— Старше.

— Тогда ей нельзя уезжать далеко от дома. Умирать надо в своем поселке, если это возможно. — Он с грустью посмотрел на свои тонкие ноги. — Они не доведут меня, а то я бы ушел к себе домой.

— Хочешь, я дам тебе грузовик, — сказал доктор, — но боюсь, ты не перенесешь дороги.

— Нет, зачем же вам беспокоиться, — сказал старик. — И все равно поздно, потому что завтра я умру.

— Я скажу настоятелю, чтобы он пришел к тебе, как только освободится.

— И настоятеля я не хочу беспокоить. У него столько всяких дел. Я умру только к вечеру.

Возле старого шезлонга стояла бутылка из-под виски с ярлыком «Джонни Уокер». В какой-то бурой жидкости там торчал пучок травы, перехваченный ниткой четок.

— Что это у него? — спросил Куэрри, когда они выходили со двора. — В бутылке?

— Снадобье. Заговоренное. Так он взывает к своему богу Нзамби.

* Маленькая птичка, которая садится быку на спину и питается насекомыми.

— Я думал, он католик.

— Когда мне приходится заполнять анкету, я тоже называю себя католиком, хотя в общем-то ни во что не верю. А он верит наполовину в Христа, наполовину в Нзамби. Что касается религии, разница между нами небольшая. А вот быть бы мне таким же хорошим человеком, как он!

— И он действительно умрет завтра?

— Да, по всей вероятности. У них удивительное чутье на этот счет.

В амбулатории, держа на руках маленького ребенка, доктора дождалась прокаженная с забинтованными ступнями. На тельце у малыша резко выступали ребра, оно казалось клеткой, прикрытой на ночь куском темной материи, чтобы птица уснула, и детское дыхание было как птица, что все копошилась и копошилась под темным покровом. Убьет этого ребенка не лепра, сказал доктор, а лейкемия — неизлечимая болезнь крови. Надежды никакой. Он умрет, даже не успев заразиться лепрой, но матери говорить об этом незачем. Доктор коснулся пальцем впалой грудки, и ребенок болезненно дернулся. Тогда доктор начал сердито отчитывать мать на ее языке, а она оправдывалась — видимо, неубедительно, держа сына у бедра. Печальные круглые, как у лягушонка, глаза мальчика смотрели поверх докторова плеча с такой безучастностью, точно его уже ничто не касалось — кто бы и что бы ни говорил. Когда женщина вышла, доктор Колэн сказал:

— Обещает больше не делать этого. Да разве на них можно положиться?

— Чего не делать?

— А вы не заметили рубчика у него на груди? Ему сделали надрез и суют туда, как в карман, какие-то снадобья. Мать сваливает все на бабу. Несчастный ребенок. Без мучений ему и умереть не дадут. Я сказал ей: если это повторится, лечить тебя от проказы здесь не будут, и теперь этого мальчика мне, наверно, больше не видать. Он в таком состоянии, что его ничего не стоит спрятать, как иголку.

— А почему вы не положите его в больницу?

— Вы видели, какая у меня больница. Хотелось бы вам, чтобы ваш сын умирал в таком месте? Следующий, — сердито крикнул он. — Следующий.

Следующий был тоже ребенок, шестилетний мальчик. Вместе с ним пришел отец, и беспалая отцовская рука лежала на плече сына, подбадривая его. Доктор повернул мальчика и провел пальцами по нежной детской коже.

— Ну, — сказал он, — пора вам самому разбираться. Ваше мнение?

— Одного пальца на ноге уже нет.

— Это пустяки. У него были подкожные песчаные блохи, их не вывели вовремя. Это частое явление в джунглях. Нет, я не о том. Вот первый бугорок. Проказа только-только начинается.

— Неужели детей никак нельзя уберечь от заражения?

— В Бразилии новорожденных сразу же отделяют от больных матерей, и тридцать процентов их умирает в младенческом возрасте. Я считаю: пусть у ребенка проказа, но зато он живой. Года за два мы его вылечим.

Доктор быстро взглянул на Куэрри и снова опустил глаза.

— Когда-нибудь... в новой больнице... мы откроем специальную детскую палату и детскую амбулаторию. Я буду предупреждать появление таких вот бугорков. Я еще доживу до того времени, когда проказа начнет отступать. Известно ли вам, что есть районы, за несколько сот миль отсюда, где на каждые пять человек один — прокаженный? Сплю и вижу серийный выпуск передвижных стационаров! Способы ведения войны изменились. В 1914 году генералы командовали сражениями из загородных вилл, а в 1944 Роммель и Монتماгери воевали на ходу, из машин.

Как мне втолковать отцу Жозефу, что от него требуется? Я не чертежник. Какую-нибудь одну-единственную комнату и то мне путем не спроектировать. Я смогу сказать ему, где что не так, только когда больница будет построена. Он, собственно, и не строитель, а всего-навсего хороший каменщик. Кладет себе кирпичик на кирпичик во славу божью, как в прежние времена строили монастыри. Вот почему мне нужны вы,— сказал доктор Колэн.

Мальчик нетерпеливо скреб четырьмя пальцами по цементному полу в ожидании, когда же белые люди кончат свой бессмысленный разговор.

2

Куэрри писал в дневнике: «Делать что-нибудь для людей из жалости я не способен, потому что во мне осталось слишком мало добрых чувств к ним». Он со всеми подробностями воспроизвел в памяти рубец на детской груди и четырехпалую ногу, но это его не растрогало, булавочные уколы, сколько бы их ни было, не могут вызвать ощущение подлинной боли. Надвигалась гроза, и летучие муравьи, роями влетая в комнату, с размаху ударялись о лампу, так что под конец окно пришлось затворить. На цементном полу муравьи бегали взад и вперед, как бы в полной растерянности от того, что они так внезапно превратились из воздушных созданий в создания земные. При затворенном окне влажная духота стала чувствоваться еще сильнее, и, чтобы пот не попадал на бумагу, Куэрри подложил под кисть промокашку.

Он писал, стараясь объяснить доктору Колэну мотивы своих поступков. «Призвание — это акт любви, а не профессия, не карьера. Когда желание умирает, физическая близость с женщиной невозможна. Я измотал себя до конца и в любовных делах и в своем призвании. Не пытайтесь связать меня браком без любви, не заставляйте имитировать то, чему я когда-то отдавался со страстью. И не твердите мне, как в исповедальне, о моем долге. Талант — мы проходили это в детстве на уроках закона божия — нельзя зарывать в землю, пока у него еще есть покупательная способность, но когда в обращение пушены другие деньги с другими изображениями, когда ценность отдельной монеты равняется лишь стоимости пошедшего на нее серебра, человек имеет право запрятать эту монету куда-нибудь подальше. Старинные монеты, так же как и зерно, всегда находят в могилах».

Писалось все это наспех и выходило довольно бессвязно. Не дано ему было отыскать точное словесное выражение своим мыслям. Кончил он так: «Все, что я строил, я строил для самого себя, а вовсе не во славу божью и не в угоду заказчикам. Не говорите мне о людях. Люди — вне моей сферы действия. Впрочем, разве я не предлагаю стирать их грязные бинты?»

Он вырвал эти страницы из дневника и послал их с Део Грациасом доктору Колэну. Последняя недописанная фраза: «Я согласен делать для вас что угодно, в пределах разумного, но не ждите от меня попыток вернуться...» повисла в воздухе, точно доска с борта корабля, по которой спустили в море покойника.

Позднее доктор Колэн вошел к нему и швырнул на стол его письмо, сжатое в комок.

— Все копаетесь в себе,— раздраженно проговорил доктор.— Копаетесь, и больше ничего.

— Я хотел объяснить...

— Кому какое дело? — сказал доктор, и эта фраза «кому какое дело» так и застряла у Куэрри в мозгу, точно строка стихотворения, заученного в юности.

В эту ночь ему приснился сон, от которого он проснулся в ужасе. Будто он шагал в темноте по длинному железнодорожному пути в какой-то холодной стране. Шагал быстро, потому что ему надо было поспеть к священнику — к любому — и объяснить, что, хотя одежда на нем мирская, он тоже священник и пришел сюда исповедаться и достать вина, чтобы отслужить мессу. Кто-то vyšший по сану повелевает им. Мессу надо отслужить этой же ночью. Завтра будет уже поздно. И больше такая возможность никогда не представится. Он дошел до какого-то поселка, свернул с железнодорожного полотна (маленькое станционное здание стояло пустое, с заколоченными окнами; может быть, и вся ветка была давно закрыта) и вскоре остановился перед домиком священника с тяжелой средневековой дверью, испещренной большими шляпками гвоздей, величиной каждая с римскую монету. Он позвонил, и его впустили. Священник сидел, окруженный какими-то дамами-святошами, которые все время что-то лопотали, но его он встретил приветливо и сразу к нему обратился, оставив своих собеседниц. Куэрри сказал:

«Мне надо немедленно поговорить с вами наедине. Выслушайте меня!» И сразу же почувствовал огромное облегчение и уверенность в силе исповеди. Он почти дома! Священник увел его в соседнюю каморку, где на столе стоял графин с вином, но не успел он заговорить, как святоши прорвались к ним сквозь занавесь с ханжескими ужимками и шуточками. «Зачем это? — воскликнул Куэрри. — Мне надо побыть с вами наедине!» Тогда священник стал проталкивать женщин сквозь занавесь, и с минуту они болтались взад и вперед, как платья, повешенные в гардеробе на плечиках. Но вот они наедине, теперь можно начинать, и, не сводя глаз с вина, он заговорил: «Отец...» Но лишь только он приготовился сбросить с плеч бремя своего страха и ответственности, как в каморку вошел еще один священник и, отведя того, первого, в сторону, стал объяснять ему, что у него не хватило вина, нельзя ли позаимствовать, и с этими словами взял графин со стола. И тут Куэрри не выдержал. Надежда поджидала его на этом повороте дороги, а он опоздал на встречу с ней! Он вскрикнул, как раненый зверь, и проснулся. По железным крышам стучал дождь, и при вспышке молнии он увидел маленькую белую конурку величиной с гроб, которую образовывала вокруг него москитная сетка, услышал, как в одном из соседних домов ссорились мужчина и женщина. Он подумал: «Я опоздал», — и навязчивая фраза, точно поплавок невидимой под водой рыболовной сети, снова выскочила на поверхность: «Кому какое дело? Кому какое дело?»

Когда наконец настало утро, он пошел к плотнику в лепрозорий и объяснил ему, какой нужен стол и какая нужна доска для чертежной работы, а потом разыскал доктора Колэна и поделился с ним своим решением.

— Я рад, — сказал доктор Колэн. — За вас рад.

— Почему же за меня?

— Я не знаю, что вы собой представляете, — сказал доктор Колэн, — но все мы сделаны более или менее на один лад. Эксперимент, который вы задумали, невыполним. Человек не может жить наедине с самим собой.

— Еще как может!

— Рано или поздно это доведет его до самоубийства.

— Если он не потеряет интереса к своей персоне, — ответил Куэрри.

Месяца через два Куэрри и Део Грациас в какой-то степени прониклись доверием друг к другу. На первых порах основанием к этому послужило только то, что слуга был калека. Куэрри не сердился на него, когда он расплескивал воду, не вышел из себя в тот раз, когда его чертеж был залит чернилами из разбитой бутылки. Ведь не так-то легко выполнять даже самую простую работу, когда нет пальцев ни на руках, ни на ногах, и, во всяком случае, если человеку все безразлично, то сердиться нелепо, да и не стоит труда. Как-то раз калеку-боя угораздило сшибить со стены распятие, которое отцы миссионеры оставили в комнате Куэрри, и он ждал, что хозяин воспримет это так же, как воспринял бы он сам, если бы кто-нибудь, по небрежности или по злему умыслу, разбил его собственный фетиш. Долго ли ему было принять равнодушие за доброту?

Однажды вечером, в полнолуние, Куэрри вдруг почувствовал, что слуги нет дома, — так замечаешь во временном жилье пустое место на камине, прежде как будто занятое чем-то. Кувшин стоял без воды, сетка от москитов не была спущена, а позже, идя к доктору посоветоваться насчет удешевления строительства, Куэрри увидел, как Део Грациас ковыляет с костылем по главной улице поселка, изо всех сил торопясь куда-то, если только на беспалых ногах можно торопиться. Лицо у Део Грациаса было мокрое от пота, и, когда Куэрри окликнул его, он быстро завернул в первый же двор. Возвращаясь домой через полчаса, Куэрри увидел, что его бой стоит на том же самом месте, точно пенек, который не удосужились выкорчевать. Пот змеился у него по лицу, как дождевые струи по древесной коре, и он будто вслушивался в какие-то далекие-далекие звуки. Куэрри тоже прислушался, но услышал только стрекотанье цикад и нарастающее волной лягушиное кваканье. К утру Део Грациас не вернулся, и Куэрри почувствовал нечто вроде разочарования от того, что слуга ушел, не потрудившись предупредить его. Он сказал об этом доктору.

— Если и завтра не появится, вы подыщите мне другого боя?

— Непонятная история, — ответил доктор Колэн. — Я определил его к вам, чтобы он мог остаться в лепрозории. Ему не хотелось уходить.

Ближе к вечеру один из прокаженных подобрал костыль Део Грациаса на тропинке, которая вела в самую гущу джунглей, и пришел с ним в комнату Куэрри, где тот работал, стараясь до конца использовать дневной свет.

— Откуда ты знаешь, что это его костыль? Здесь все калеки ходят с такими, — сказал Куэрри, но прокаженный просто повторил, что это костыль Део Грациаса, не приведя ни доводов, ни доказательств. Вот еще одна вещь, которая каким-то образом этим людям известна, а ему — нет.

— Уж не случилось ли с ним что-нибудь?

— Да, случилось, — кое-как выговорил по-французски прокаженный, и у Куэрри сложилось впечатление, что, по понятиям этого человека, несчастный случай не самое страшное.

— Так почему же ты не пойдешь поискать его? — спросил Куэрри.

— Темно, — сказал прокаженный, — под деревьями ничего не разглядишь. Надо ждать утра.

— Но уже почти сутки, как его нет. Если с ним что-нибудь случилось, мы и так сколько промешкали. Возьми мой электрический фонарик.

— Лучше утром, — повторил прокаженный, и Куэрри понял, что он боится.

— А со мной пойдешь?

Прокаженный покачал головой, и Куэрри пошел один.

Он прощал этим людям страхи: только человек, ни во что не верящий, может не бояться джунглей в ночную пору. В этих лесах нет никакой романтики. Они абсолютно пусты. Их никто никогда не очеловечивал, не населял, как европейские леса, колдуньями, дровосеками и причудливыми домиками; никто не блуждал под сенью этих деревьев, оплакивая безответную любовь, никто не вслушивался здесь в тишину и в голос собственного сердца, подобно поэтам озерной школы. Тишины здесь не было, и если бы человек захотел, чтобы его услышали ночью в этой чаще, ему пришлось бы кричать во весь голос, чтобы перекрыть непрерывное стрекотанье насекомых, — кричать, как на некоей чудовищной фабрике, где мириады голодных работниц, стараясь обогнать время, крутят и крутят ручки швейных машин. Только на час, на два приходит сюда тишина — в полуденный зной, когда у насекомых сиеста.

Но если верить, как верят африканцы, в высшее существо, то почему бы какому-нибудь божеству не обитать в этих пустых пространствах? Чем они хуже пустынных просторов неба, где богу издавна отведено место? Судя по всему, здешние бескрайние леса останутся неисследованными дольше, чем планеты. Лунные кратеры уже сейчас изучены лучше, чем вот эта лесная чаща, в глубь которой можно пройти пешком прямо с порога своего жилья. Резкий болотистый запах стоячей воды и гниющих растений наркозной маской прильнул к лицу Куэрри.

Глупейшая затея. Он не охотник. Он городской житель. Разве ему удалось бы обнаружить здесь человеческие следы даже при дневном свете! И костыль еще ничего не доказывает. Поводя фонариком вправо и влево, он выхватывал из темноты только поблескивающие в зарослях точки и лучики, и это могли быть что-то глаза, а вернее, дождевые капли, скопившиеся в завитках листьев. Он вышел из дому с полчаса назад и, вероятно, прошел не меньше миль по этой узкой тропе. Палец у него соскочил с движка фонарика, и в кромешной тьме он сразу же уткнулся в непроходимую стену джунглей. В голове мелькнуло: «С чего это я взял, что батареи хватит и на обратный путь?» Шагая вперед, он не переставал думать об этом. На вопрос доктора Колэна, что его заставило остаться в лепрозории, он ответил: «Баржа дальше не идет». Но ведь пешком всегда можно пройти еще немного дальше. Он позвал: — Део Грациас! — стараясь перекрыть трескотню насекомых, но на это нелепое имя, прозвучавшее как возглас с амвона, никто не отозвался.

Его блуждание в джунглях было так же трудно объяснить, как и уход Део Грациаса. Мысль о том, что слуга, беспомощный, лежит в лесу и ждет, не послышатся ли человеческие шаги, человеческий голос, в прежнее время, может быть, не дала бы ему уснуть всю ночь и заставила бы что-то предпринять, хотя бы для успокоения совести. Но теперь, когда ему все безразлично, что его гонит вперед — остатки былой любознательности? Что заставило Део Грациаса бросить надежную, привычную обстановку лепрозории и прийти сюда? Правда, может быть, эта тропинка и ведет куда-нибудь — например, в поселок, где у него есть родичи. Впрочем, он, Куэрри, уже успел настолько познакомиться с Африкой, что не надеялся на это. Тропинка, должно быть, скоро загложнет, вернее всего, ее когда-то давно протоптали те люди, что искали здесь гусениц и потом пекли их в золе. Очень может быть, что конец тропы отметит крайнюю точку проникновения человека в джунгли. А отчего лицо у Део Грациаса было все в поту? От страха, от волнения? Может быть, даже от усиленной работы мысли? Это не удивительно, когда живешь в приречной влаге и жаре. Интерес начал болезненно пульсировать в нем, как нерв, который отходит после анестезии. Его жизнь так давно двигалась вперед только по инерции, что теперь он с клиническим бесстрашием обследовал сам в себе этот интерес.

Прошло больше часа, как он вошел в джунгли. Каким образом Део Грациас мог забраться так далеко без костыля, на своих култышках? То, что батареи хватит на обратный путь, становилось и вовсе сомнительным. И все-таки он шел дальше и дальше. Как это глупо — не сказать ни доктору, ни кому-нибудь из миссионеров о своем уходе. А вдруг с ним что-нибудь случится? Но разве несчастный случай это не то самое, на что он напрашивается? Как бы там ни было, а он шел все дальше и дальше под гуденье пикирующих на него москитов. Отмахиваться от них не имело смысла. Он приучал себя покоряться им.

Шагов через сто он вздрогнул, услышав какой-то отрывистый хриплый звук, — так, вероятно, мог бы хрюкнуть дикий кабан. Он остановился и повел вокруг угасающим фонариком. Да, много лет назад эта тропинка, несомненно, куда-то вела, потому что прямо перед ним виднелись остатки давно сгнившего моста из поваленных деревьев. Еще шаг-другой, и он свалился бы в этот провал. Правда, вальнуться было бы недалеко — всего несколько футов, а там внизу — неглубокое, затянутое зеленой болотце. Но для калеки с изуродованными руками и ногами этого оказалось достаточно: луч фонаря уткнулся в тело Део Грациаса, наполовину ушедшее под воду. Куэрри увидел две борозды в жидкой грязи откоса, проведенные будто не руками, а перчатками для бокса, в попытке ухватиться за что-нибудь. Потом внизу снова послышалось хрюканье, и Куэрри сполз по откосу к неподвижному телу.

Куэрри не мог разобраться, в сознании Део Грациас или нет. О том, чтобы поднять его, нечего было и думать, а сам он не старался помочь. Его тело — мокрое, теплое, было на ощупь как отвал грунта, как часть этого моста, рухнувшего много лет назад. Провозившись с ним минут десять, Куэрри кое-как ухитрился подтащить его повыше, чтобы ноги были не в воде, но больше ему ничего не удалось сделать. Теперь оставалось только одно: идти за помощью, если фонарика хватит на обратный путь. Откажутся африканцы, так из миссионеров двое-трое уж наверняка помогут. Он сделал движение, чтобы выбраться наверх, к мосту, и тут Део Грациас завыл, как собака, зашелся, как ребенок. Он взмахнул своим беспалым обрубок и завыл, и Куэрри понял, что Део Грациаса сковал страх. Беспалая культа молотом опустилась ему на плечо и пригвоздила его к месту.

Надо было ждать утра. Один Део Грациас, пожалуй, умрет тут со страха, а от сырости и от москитов не умирают — это им не грозило. Куэрри устроился поудобнее рядом со своим боем и, воспользовавшись последними лучами фонаря, осмотрел его твердые, как камень, ноги. Насколько он мог судить, левая была сломана в лодыжке, но тем дело, кажется, и ограничивалось. Вскоре фонарь так потускнел, что в темноте стала видна нить накала, похожая на фосфоресцирующего червячка, потом и она погасла. Чтобы успокоить Део Грациаса, Куэрри взял его за руку, вернее, положил рядом с его рукой свою, потому что беспалую кисть не возьмешь. Део Грациас хрюкнул два раза, потом проговорил какое-то слово. Что-то вроде «пенделэ». В темноте костышки его культи были на ощупь точно камень, источенный дождями и ветром.

2

— Времени на размышления у нас обоих было достаточно, — сказал Куэрри доктору Колэну. — Отойти от него я решился только часов в шесть, когда рассвело. Да, вероятно, около шести. Я забыл завести часы.

— Представляю себе, какой долгой и томительной показалась вам эта ночь.

— Бывало и хуже, когда ты один как перст.— Он помолчал, напрягая память в поисках примера.— Ночи, когда всему конец. Они как вечность. А эта ночь будто была всему началом. Физические неудобства меня никогда особенно не пугали. Приблизительно через час я шевельнул рукой, но он не дал мне отнять ее. Придавил култышкой, как пресс-папье. Странное у меня было ощущение — будто он во мне нуждается.

— Почему же странное? — спросил доктор Колэн.

— Для меня странное. Я сам довольно часто нуждался в людях. Мне можно поставить в вину, что я не столько любил людей, сколько старался как-то использовать их. Но знать, что ты сам кому-то нужен, это совсем другое ощущение. Оно не возбуждает, а успокаивает. Что значит слово «пенделэ»? Когда я хотел отнять руку, он вдруг заговорил. До сих пор я не очень-то прислушивался к их здешней речи — так, краем уха, как слушаешь детскую болтовню, и понять эту смесь французского с каким-то африканским наречием мне было нелегко. А слово «пенделэ» я уловил сразу, он то и дело его повторял. Что оно значит, доктор?

— Если не ошибаюсь, то же, что и «бункаси» — гордость, надменность, отчасти независимость и чувство собственного достоинства, если истолковать это слово в его наилучшем смысле.

— Нет, что-то не то. По-моему, он говорил о каком-то месте — где-то в лесу, около воды, где происходило что-то очень важное для него. Последний день в лепрозории ему мешало удушье. Он, конечно, не употребил слова «удушье», а сказал, что было мало воздуха, что хотелось кричать во весь голос, бегать, петь, плясать. Но плясать и бегать он, бедняга, не может, а его песни вряд ли понравились бы отцам миссионерам. И вот он пошел на поиски того места у воды. Его однажды носила туда мать, когда он был ребенком, и ему запомнилось, как там пели и плясали, играли в какие-то игры и молились.

— Но Део Грациас не здешний. Он за сотни миль отсюда.

— Может быть, на свете есть не одно Пенделэ.

— Третьего дня ночью из лепрозория ушло много людей. Большинство вернулось. У них там, видимо, происходил какой-то шабаш. А он поздно вышел и не поспел за ними.

— Я его спросил, какие молитвы они читали. Он сказал, что все молились тогда Езу Кристо и еще какому-то Симону. Неужели это Симон Петр?

— Нет, не тот. Про этого Симона расспросите миссионеров, они вам расскажут. Он умер в тюрьме лет двадцать назад. И люди ждут, что он восстанет из мертвых. Странные формы приняло здесь христианство, но, по-моему, апостолы легче усвоили бы эти формы, чем то, что изложено в полном собрании сочинений Фомы Аквинского. Если бы Петр разобрался в его учении, это было бы большим чудом, чем пятидесятница. Как вы считаете? На мой взгляд, и в Никейском символе веры есть что-то от высшей математики.

— Не выходит у меня из головы это слово — «пенделэ».

— Мы привыкли думать, что надежду питают только в молодости,— сказал доктор Колэн,— но она встречается и как старческое заболевание. Злокачественные опухоли иной раз обнаруживаешь неожиданно, когда человек умирает после операции, сделанной по другому поводу. Здешние люди все умирающие... Не от лепры, нет! Мы — причина их смерти. И последняя их болезнь — это надежда.

— Теперь, если я вдруг исчезну,— сказал Куэрри,— вы знаете, где меня искать.

Какой-то странный хрипловатый звук заставил доктора взглянуть на него: лицо у Куэрри перекосило оскалом улыбки. Доктор с удивлением убедился, что мосье Куэрри изволил пошутить.

Мосье и мадам Рикэр ехали в город на прием к губернатору. В одном из поселков по пути, у самой дороги, стояла на подпорках огромная деревянная клетка, под которой раз в году, на праздник, разводили костер, а в клетке над огнем плясал человек; тридцатью километрами раньше, в зарослях, они проехали мимо кресла, где сидело сделанное из волокна и орехов масличной пальмы некое чудовищное подобие человеческой фигуры. Загадочные предметы были как бы дактилоскопическими отпечатками Африки. Голые женщины, вымазанные белой глиной, выкопанной из могил, при виде машины убегали вверх по склону, пряча от них лицо.

Рикэр сказал:

— Когда мадам Гэлль спросит тебя, что ты будешь пить, попроси стакан минеральной воды.

— А orange pressée* нельзя?

— Если увидишь, что на буфете стоит целый графин, тогда пожалуйста. Не то получится неловко.

Мари Рикэр с серьезным лицом выслушала наставление и перевела взгляд с мужа на скучную в своем однообразии стену джунглей. Единственная тропинка, уводившая в лесную чащу, была занавешена циновками, чтобы никто из белых не видел, как там будут справлять праздничные обряды.

— Ты слышала, что я сказал, дорогая?

— Да. Я не забуду.

— И еще сандвичи. Не налегай на них, как в прошлый раз. Мы не наедаться туда едем. Это производит дурное впечатление.

— Я ничего в рот не возьму.

— Это тоже не годится. Подумают, ты не ешь, потому что все черствые. А сандвичи у них почти всегда черствые.

Медалька с изображением святого Христофора болталась под ветровым стеклом, как амулет.

— Я боюсь,— сказала Мари Рикэр.— Все это так сложно, а мадам Гэлль к тому же не любит меня.

— Да нет, не в том дело,— добреньким голосом втолковывал ей Рикэр.— Прошлый раз — помнишь? — ты поднялась раньше жены верховного комиссара. Мы, конечно, не обязаны подчиняться здешнему нелепому этикету, но я не хочу, чтобы нас считали выскочками, а по здешним правилам ведущие коммерсанты идут по рангу за государственными служащими. Следи за мадам Кассэн — когда она начнет прощаться.

— Я никак не запомню их фамилий.

— Ну, толстая такая. Ее нельзя не заметить. Да, кстати, если там будет Куэрри, не стесняйся и пригласи его ночевать к нам. В такой дыре чего только не дашь, чтобы поговорить с интеллигентным человеком. Ради Куэрри я даже стерплю этого атеиста доктора Колэна. Вторую кровать можно будет поставить на веранде.

Но ни Куэрри, ни Колэна на приеме у губернатора не было.

— Мне минеральной воды, пожалуйста, если вас не затруднит,— сказала Мари Рикэр.

* Апельсиновый сок (франц.).

Из сада всех пригласили в дом, потому что грузовик, разъезжающий в этот час по улицам, обстреливал город зарядами ДДТ и окутывал его ядовитым гигиеническим туманом.

Мадам Гэлль собственными ручками любезно подала Мари Рикэр стакан минеральной воды.

— Вы здесь, кажется, единственные, — сказала она, — кто успел познакомиться с нашим знаменитым Куэрри. Мэр хотел бы получить его автограф для Золотой книги, но он, видимо, безвыездно живет там, в этом скорбном месте. Может быть, вы его оттуда вытащите нам всем на благо?

— Мы с ним еле знакомы, — сказала Мари Рикэр. — Он как-то переночевал у нас, вот и все. И остался-то он только потому, что был разлив. Мне кажется, ему ни с кем не хочется встречаться. Мой муж обещал никому не говорить, что...

— Ваш муж поступил совершенно правильно, рассказав нам. Хорошо бы мы выглядели, если бы не знали, что здесь, у нас, появился знаменитый Куэрри. Какое он на вас произвел впечатление?

— Я с ним почти не говорила.

— По слухам, в некоторых отношениях репутация у него весьма и весьма скверная. Вы читали статью в «Тайме»? Ах что же я? Ведь ваш муж и показал ее нам! Об этом там, конечно, не пишут. Такие слухи ходят о нем в Европе. Впрочем, не надо забывать, что некоторые из великих святых тоже прошли через... как бы это назвать?

— Я слышу, вы говорите о святых, мадам Гэлль? — спросил Рикэр. — Какое у вас всегда прекрасное виски!

— О святых? Нет, не совсем. Мы беседуем о Куэрри.

— Я считаю, — сказал Рикэр, чуть повысив голос, точно наставник в шумном классе, — что со времени Швейцера приезд Куэрри — это, пожалуй, самое важное событие для Африки, и к тому же ведь Швейцер протестант. А какой он великолепный собеседник! Я в этом убедился, когда он ночевал у нас. Вы слышали про его последний подвиг? — Рикэр обратился ко всем сразу, позвякивая кусочками льда в стакане, точно в руках у него был колокольчик. — Две недели назад он, говорят, отправился в джунгли на поиски прокаженного, который сбежал из лепрозория. Провел там всю ночь, молился с ним, уговаривал его и в конце концов уговорил вернуться в лепрозорий и продолжать лечение. Ночью шел дождь, прокаженного трясла лихорадка, и Куэрри согревал его своим телом.

— Какая непосредственность! — воскликнула мадам Гэлль. — Скажите, а он не...

Губернатор был небольшого роста, близорукий, и близорукость придавала ему напряженно-глубокомысленный вид, что же касается его манеры держаться, то он явно рассчитывал на протекторат жены, хотя, подобно всем малым нациям, гордым своей культурой, не очень охотно мирился с ролью сателлита.

Он сказал:

— В мире немало святых и помимо тех, что признаны церковью.

Это заявление официально санкционировало поступок, который иначе мог бы показаться эксцентрическим, а пожалуй, и двусмысленным.

— А кто он такой, этот Куэрри? — спросил управляющего конторой ОТРАКО директор отдела городского хозяйства.

— Говорят, знаменитый архитектор. Вам следовало бы знать. Это по вашей части.

— Но ведь он приехал сюда не как официальное лицо?

— Он помогает миссионерам строить новую больницу в лепрозории.

— Но эти планы я давным-давно утвердил. Зачем им архитектор? Там нужны простые строительные работы.

— Уверю вас, больница это только первый шаг,— сказал Рикэр, вмешиваясь в разговор и становясь в центре круга.— Он проектирует современную африканскую церковь. Сам мне на это намекнул. Куэрри— провидец. То, что он строит, останется в веках. Молитва, одетая в камень. А вот и монсеньер. Теперь мы узнаем, как относится к Куэрри церковь.

Епископ был высокий, щеголеватый господин с элегантно подстриженной бородкой и масляными глазками бульвардье прежних времен. Мужчинам он руки не протягивал, великодушно избавляя их от необходимости преклонять колена. Но женщины любили целовать его перстень (невинная форма флирта), и он охотно позволял им это.

— Итак, среди нас появился святой, монсеньер,— сказала мадам Гэлль.

— Вы мне льстите. А как себя чувствует губернатор? Я его что-то не вижу.

— Он пошел отпереть буфет, сейчас нам подадут еще виски. Сказать вам правду, монсеньер, я имела в виду не вас. Мне бы не хотелось, чтобы вы обрели святость— во всяком случае, в ближайшее время.

— Августинианская мысль,— несколько туманно выразился епископ.

— Мы говорили о Куэрри, о *нашем* Куэрри,— пояснил Рикэр.— Человек с его положением вдруг решает похоронить себя в лепрозории, проводит всю ночь в джунглях около прокаженного, молится с ним. Согласитесь, монсеньер, что такое самопожертвование встречается не часто. Как вы считаете?

— Интересно, он играет в бридж?

Губернаторская реплика была принята как официальное одобрение поступка Куэрри, вопрос же епископа истолковали в том смысле, что мудрая церковь, повинувшись традициям, держит свои оценки при себе.

Епископ согласился выпить *orange pressée*. Мари Рикэр грустным взглядом проводила его стакан. Она отставила свою минеральную воду в сторону и теперь не знала, куда девать руки. Епископ ласково обратился к ней:

— Вас надо обучить бриджу, мадам Рикэр. У нас осталось слишком мало игроков.

— Я боюсь карт, монсеньер.

— Я благословлю колоду и сам вас научу.

Мари Рикэр не поняла, шутит епископ или нет. На всякий случай она чуть заметно улыбнулась.

Рикэр сказал:

— Не понимаю, как человек масштаба Куэрри может работать с атеистом Колэнсмом. Уверю вас, этот субъект не понимает значения слова «благотворительность». Помните, я хотел учредить в прошлом году День прокаженного? Он не пожелал иметь к этому никакого касательства. Заявил, что принимать такую благотворительность ему не по средствам. Мы собрали четыреста платьев и мужских костюмов, но Колэнс отказался распределить их, потому, видите ли, что на всех этого не хватит и ему придется платить за остальное из собственного кармана, чтобы никто никому не завидовал. Ну помилуйте, с какой стати прокаженным кому-то завидовать? Вам следовало бы побеседовать с ним, монсеньер, о смысле благотворительных деяний.

Но монсеньер уже успел отойти от него, поддерживая под локоть Мари Рикэр.

— Ваш супруг, кажется, очень интересуется этим Куэрри?

— Он рассчитывает, что с ним можно будет поговорить.

- А разве вы такая уж молчаливица? — спросил епископ игривым тоном, точно он подцепил ее где-нибудь у кафе на бульварах.
- О том, что его интересует, я не умею говорить.
- О чем же это?
- О свободе воли, и божественной благодати, и... и о любви.
- О любви?.. Бросьте, бросьте! В любви-то вы кое-что смыслите!
- Он не про ту любовь, — сказала Мари Рикэр.

2

К тому времени когда Рикэры собрались уходить — из-за мадам Кассэн они страшно задержались, — степень опьянения Рикэра достигла опасной черты. От бьющей через край благожелательности он перешел к недовольству — своего рода космическому недовольству, которое вслед за поисками недостатков в других людях обращалось к исследованию его собственных. Мари Рикэр знала, что, если ее муж согласится на этой первоначальной стадии принять снотворное, все еще может обойтись. Забвение придет к нему раньше, чем религиозный подъем, который, подобно распахнутой настежь двери в районе красных фонариков, неизменно приводил к постельным делам.

— Мне иной раз кажется, — сказал Рикэр, — что нашему епископу не хватает возвышенности духа.

— Он был очень мил со мной, — сказала Мари Рикэр.

— Наверно, завел разговор о картах?

— Да, предложил научить меня бриджу.

— Он же знает, что я запрещаю тебе играть в карты.

— Откуда? Я никому об этом не говорила.

— Я не допущу, чтобы моя жена превратилась в типичную колонистку.

— По-моему, она уже превратилась. — Мари добавила чуть слышно: — Хочу быть как все.

Он продолжал раздраженно:

— Здешние дамы только и знают, что болтать целыми днями о всякой чепухе и...

— Ах, если бы я тоже умела болтать! Вот было бы хорошо! Хоть бы кто научил меня!

Так бывало всегда. Кроме минеральной воды, она ничего не пила, а развязывало ей язык его спиртуозное дыхание, будто виски проникало в кровь к ней самой, и то, что она говорила в таких случаях, было недалеко от истины. Истина, коей, по словам евангелиста, полагалось бы «делать нас свободными», раздражала Рикэра, точно заусеница. Он сказал:

— Что за вздор! Перестань рисоваться. Иногда в тебе вдруг появляется что-то общее с мадам Гэлль.

Ночь встречала их своим нестройным хором, и звуки, несшиеся из джунглей и справа и слева, заглушали рокот мотора. Ей вдруг так захотелось пройти по магазинам, что карабкаются вверх по крутой улице Намюр! Она уставилась в светящуюся приборную доску, пытаясь разглядеть за ней витрину с обувью. Потом вытянула ногу рядом с тормозной педалью и прошептала:

— Я ношу шестой номер.

— Что ты сказала?

— Ничего.

В свете фар она увидела деревянную клетку — будто вдоль дороги шествовал марсианин.

— Завела дурную привычку разговаривать сама с собой.

Она промолчала. Ведь ему не скажешь: мне больше не с кем гово-

рять о кондитерской на углу, о том, как сестра Тереза сломала ногу, о пляже в августе, где я была с родителями.

— Тут большая доля моей вины,— сказал Рикэр, переходя во вторую стадию.— Я этого не отрицаю. Мне не удалось приобщить тебя к истинным духовным ценностям — истинным с моей точки зрения. Чего же еще ждать от управляющего маслобойным заводом? Я не создан для такой жизни. Казалось бы, даже ты должна понять это.

Его самодовольная желтая физиономия, точно маска, висела между ней и Африкой.

Он сказал:

— В молодости мне хотелось стать священником.

С тех пор как они поженились, он говорил ей об этом после выпивки, по крайней мере раз в месяц, и каждый раз она вспоминала их первую ночь в антверпенском отеле, когда он снял с нее свое тело и, точно нетуго набитый мешок, шмякнулся рядом, и тогда ее рука с нежностью коснулась его плеча (жесткого и круглого, как брюква), потому что ей показалось, будто она в чем-то не угодила ему, и он грубо спросил: «Тебе что, мало? Мужчина не может без конца». Потом он лег на бок, отвернувшись от нее; медалька, с которой он никогда не расставался, была закинута за спину во время их объятий и теперь лежала у него ниже поясицы, укоризненно глядя ей в лицо. Она хотела сказать в свое оправдание: «Ты женился на мне по своей воле. Я тоже целомудренная — меня воспитали монахини». Но целомудрие, которому учили в монастыре, связывалось в ее представлении с чистой белой одеждой, со светом и нежностью, а у него оно было как заношенная власяница пустытника.

— Что ты сказала?

— Ничего.

— Я делюсь с тобой самыми сокровенными своими чувствами, а тебе хоть бы что.

Она проговорила жалобным голосом:

— Может, это ошибка?

— Какая ошибка?

— Наш брак. Я была слишком молода.

— Ах, вот как! Значит, я слишком стар и не удовлетворяю тебя?

— Нет, нет!.. Я не...

— Для тебя любовь существует только в одном определенном смысле. Что же, по-твоему, такой любовью обходятся и святые?

— Я не знаю ни одного святого,— в отчаянии проговорила она.

— Ты не допускаешь, что я, человек скромный, способен пройти сквозь непроглядную ночь души? Да где мне! Ведь я всего-навсего твой муж, который спит с тобой в одной постели!

Она прошептала:

— Я ничего не понимаю. Не надо, прошу тебя. Я ничего не понимаю.

— Чего ты не понимаешь?

— Я думала, что любовь должна приносить людям счастье.

— Вот чему тебя учили в монастыре!

— Да.

Он скорчил гримасу и тяжело задышал, отчего в кабине сразу же запахло виски «бочка 69». Они проехали мимо страшного чучела в кресле; до дома теперь было близко.

— О чем ты думаешь? — спросил он.

Она снова была в магазине на улице Намюр, и пожилой мужчина бережно — так бережно! — надевал ей на ногу туфлю на гвоздике. Она ответила:

— Ни о чем.

Рикэр проговорил неожиданно мягким голосом:

— Какая благоприятная минута для молитвы.

— Для молитвы? — Она поняла, что скоро конец, но не испытала при этом ни малейшего облегчения, так как знала по опыту, что стоит начаться дождю, жди молнии над самой головой.

— Когда мне не о чем думать, точнее, когда у меня нет ничего такого, о чем думать необходимо, я всегда читаю «Отче наш» и «Аве Мария» и даже покаянную молитву.

— Покаянную?

— Да, приношу покаяние, что понапрасну рассердился на одну милую девочку, которую я люблю.

Его рука легла ей на бедро, и пальцы стали легонько ерзать по шелку, точно в поисках мышцы, за которую можно зацепиться. Ржавеющие на свалке котлы свидетельствовали, что машина приближается к дому, за поворотом мелькнет свет в окне спальни.

Она хотела было пройти прямо к себе, в маленькую душную неуютную комнату, где ей иногда разрешалось ночевать одной во время нездоровья или в опасные дни, но он удержал ее за руку. Да она, собственно, и не надеялась, что удастся улизнуть. Он сказал:

— Ты не сердишься на меня, Мави?

Он всегда начинал по-детски коверкать ее имя, когда намерения у него были отнюдь не детские.

— Нет. Но... сегодня рискованно.

Единственная надежда была, что он не хочет ребенка.

— А, перестань! Я же проверил по календарю, перед тем как выехать.

— Последние два месяца у меня очень запаздывало.

Она купила однажды баллон для спринцевания, но он нашел его и выбросил вон, после чего так долго ее отчитывал за столь чудовищное и противоестественное поведение и с таким чувством распространялся о христианском браке, что лекция эта закончилась в постели.

Он положил ей руку ниже талии и чуть подтолкнул в нужном ему направлении.

— Сегодня, — сказал он, — мы рискуем.

— Но как раз сегодня-то и нельзя. Я обещаю тебе...

— Не за тем церковь соединила нас, Мави, чтобы мы избегали всякого риска. Не надо перебарщивать в надежные дни.

Она проговорила умоляющим голосом:

— Я только на минутку. У меня там все мои вещи — ей было противно раздеваться под его шарящим взглядом. — Я ненадолго. Обещаю, что ненадолго.

— Я буду ждать тебя, — пообещал и Рикэр.

Она раздевалась, стараясь по возможности оттянуть время, потом достала пижамную кофту из-под подушки. В комнате хватало места только для узенькой металлической кровати, стула, платяного шкафа и комода. На комод стояла фотография ее родителей — двое счастливых пожилых супругов, которые поженились поздно и произвели на свет только одного ребенка. Там же лежала открытка от двоюродного брата с видом Брюгге и старый номер журнала «Тайм». Под комодом у нее был спрятан ключ, и она отперла им нижний ящик. В этом ящике помещался ее тайный музей: подозрительно новенький требник, подаренный ей в день ее первого причастия, морская раковина, программа концерта в Брюсселе, однотомное школьное издание «Истории католической церкви в Европе» Андрэ Лежена и тетрадка с ее сочинением на тему о религиозных войнах, написанным в последнем семестре (кончила она с отличными отметками). Теперь к этой коллекции присоединился и старый номер «Тайма». Портрет Куэрри прикрыв «Историю» мосье

Лежена, он лег чужеродным телом среди детских сувениров. Ей вспомнились слова мадам Гэллы: «Репутация у него в некоторых отношениях весьма и весьма скверная». Она заперла ящик и спрятала ключ — мешкать дольше было небезопасно. Потом прошла через веранду в их спальню, где в глубине марлевого балдахина двуспальной кровати, под деревянным распятием лежал голый Рикэр. Он был похож на утопленника, поднятого со дна рыбацкой сетью. Густая поросль у него на животе и на ногах темнела, как водоросли. Но лишь только она вошла, он мгновенно ожил и приподнял край сетки.

— Иди, Мави,— сказал он.

Христианский брак (сколько раз ей говорили об этом ее духовные наставники!) был символом бракосочетания Христа с церковью его.

Глава вторая

I

Настоятель со старомодной учтивостью потушил сигару, но не успела мадам Рикэр сесть, как он машинально закурил другую. Стол у него был завален преysкурантами скобяных и хозяйственных товаров и клочками бумаги со сложнейшими вычислениями, которые каждый раз давали другой ответ, ибо математик он был плохой и производил умножение весьма запутанным способом сложения, а деление многозначных чисел — путем целой серии вычитаний. Преysкурант лежал открытым на странице, где рекламировались бидэ, которые настоятель принимал за новую модель ножной ванны. Когда мадам Рикэр вошла к нему, он был занят подсчетом, хватит ли у него денег на покупку для лепрозория штук тридцати таких ванночек. Как раз то, что нужно для лепрозных ног!

— Мадам Рикэр! Вот не ожидал! А ваш муж...

— Нет.

— И вы отважились ехать в такую даль одна?

— У меня были попутчики до Перрэнов. Там я переночевала. Мой муж просил меня отвезти вам два бочонка масла.

— Как это любезно с его стороны!

— Ах, что вы! Мы слишком мало помогаем лепрозорию.

Настоятель вдруг подумал, что можно попросить Рикэров купить несколько штук таких вот новых ножных ванн, но он не знал, сколько им будет по средствам. Человеку, не имеющему никакой собственности, всякий, у кого есть деньги, кажется богачом. Сколько же попросить? Одну ванну или все тридцать? Он стал поворачивать преysкурант к Мари Рикэр, но осторожно, так, чтобы казалось, будто его руки просто перебирают бумаги на столе. Насколько легче было бы приступить к делу, если бы она воскликнула: «Какая интересная ванночка, это что-то новое!» — и тогда он бы подхватил...

Но Мари Рикэр поставила его в затруднительное положение, заговорив совсем о другом:

— Как подвигается ваша новая церковь, отец?

— Новая церковь?

— Мой муж говорил, что вы строите замечательную церковь — большую, как собор. И в африканском стиле.

— Откуда он это взял? Вот странно! Будь у меня такие деньги... Сколько ни пиши на бумажках, все равно не подсчитаешь, во что обошлось бы строительство церкви — «большой, как собор»... — Будь такие деньги, мы бы построили здесь сто домов и в каждом поставили бы по ножной ванне!

Он пододвинул преysкурaнт ближе к ней.

— Доктор Колэн никогда не простил бы мне, что я трачусь на церковь.

— Стaннo! Откуда же у моего мужа такие...

«А если это намек? — подумал настоятель. — Что, если Рикэры хотят финансировать?..» Трудно, конечно, поверить, что управляющий масляной заводом может так разбогатеть, но вдруг мадам Рикэр получила наследство? Правда, в Люке, несомненно, ходили бы толки об этом, но он ездит в город не чаще, чем раз в год. Он сказал:

— Нам еще и старая наша церковь послужит не один десяток лет. Католиков среди больных не больше половины. И стоит ли строить большую церковь, когда люди все еще ютятся по глинобитным хижинам? Наш друг Куэрри нашел способ сократить стоимость каждого домика на четверть против прежнего. До него у нас все делалось по-любовительски.

— Мой муж всем говорит, что Куэрри строит здесь церковь.

— Нет, нет! Мы используем его более разумно. Строительству новой больницы тоже не видно конца. Все деньги, которые мы сможем добыть всеми правдами и неправдами, пойдут на оборудование нового больничного корпуса. Вот я как раз просматриваю преysкурaнт...

— А где сейчас мосье Куэрри?

— Наверно, у себя, работает, а может, где-нибудь с доктором.

— Две недели назад у губернатора только и было разговоров что о нем.

— Бедный мосье Куэрри!

Черный малыш, совсем крошечный, не постучавшись, отворил дверь и появился в комнате, точно клочок густой тени из ослепительного сияния полдня. На нем ничего не было, и маленький крантик, как стручок, болтался у него под вздутым животом. Он выдвинул ящик письменного стола, за которым сидел настоятель, достал оттуда конфету и удалился.

— Отзывались о нем очень лестно, — сказала мадам Рикэр. — Это верно — про его боя? Что он заблудился в джунглях?

— Да, нечто подобное было. Я, правда, не знаю, что именно у вас рассказывали.

— Будто он пробыл с ним всю ночь и молился...

— Молился? Это не похоже на мосье Куэрри.

— Мой муж в восторге от него. Ему трудно подыскать себе достойного собеседника. Он просил меня съездить сюда и пригласить...

— Примите нашу глубокую благодарность за подарок. То, что мы сэкономим на масле, пойдет... — Он повернул страницу с бидэ еще ближе к мадам Рикэр.

— Как вы думаете, можно мне повидаться с ним?

— Дело в том, мадам Рикэр, что в эти часы он работает.

Она взмолилась:

— Мне важно сказать мужу, что я действительно передала ему приглашение.

Но в словах этих, произнесенных невыразительным голосом, мольбы не слышалось, к тому же настоятель смотрел не на нее, а в преysкурaнт, где были ножные ванны с каким-то непонятным ему приспособлением.

— Как вам это нравится? — спросил он.

— Что?

— Вот — ножная ванна. Я хочу заказать тридцать штук таких для больницы.

Он поднял на нее глаза, не услышав ответа, и удивился, чего же тут краснеть? Да она прехорошенькая! — мелькнуло у него. Он сказал:

— Вы думаете, что...

Мари Рикэр смутилась, вспомнив двусмысленные шуточки своих более фривольных монастырских подружек.

— Это не ножная ванна, отец...

— А для чего же это?

В ее ответе можно было уловить робкие проблески юмора:

— Спросите лучше у доктора... или у мосье Куэрри.

Она заерзала на стуле, и настоятель расценил это как намек, что ей пора уезжать.

— До Перрэнов путь не близкий, дитя мое. Разрешите предложить вам чашку кофе. Или стакан вина?

— Нет, нет. Благодарю вас.

— А может быть, рюмочку виски?

После стольких лет воздержания он забыл, что в полуденную жару не пьют крепкие напитки.

— Нет, нет, спасибо. Я знаю, отец, вы очень заняты, вам не до меня, но мне бы повидать мосье Куэрри — только на одну минутку — и пригласить его...

— Я передам ему ваше приглашение, дитя мое. Обещаю, что не забуду. Сейчас запишу для памяти.

Он колебался, не зная, какой столбик цифр испортить записью «Куэрри — Рикэр». У него не поворачивался язык сказать ей, что он дал слово оберегать Куэрри от посетителей, «особенно от этого идиота и ханжи Рикэра».

— Нет, отец, не надо! Я обещала повидать его лично, а то муж скажет, что я даже не пыталась это сделать.

Голос у нее сорвался, и настоятель подумал: «Чуть-чуть не попросила у меня записку, как в школу, чтобы свалить на болезнь невыученный урок».

— Я даже не знаю точно, где он сейчас. — Настоятель сделал ударение на слове «точно», лишь бы не солгать.

— Можно, я пойду поищу его?

— Ходить по такой жаре? Нет, нет, кто же вас пустит! Что скажет ваш муж?

— Вот это меня и пугает. Он никогда не поверит, что я сделала все, от меня зависящее.

Она готова была заплакать и от этого стала еще моложе, а детские слезы по всякому пустяку можно не принимать всерьез.

— Знаете что, — сказал настоятель, — я попрошу его позвонить вам по телефону... когда линия будет в порядке.

— Я понимаю, он невзлюбил моего мужа, — с грустью проговорила она.

— Дитя мое, это все ваше воображение.

Настоятель был в полной растерянности. Он сказал:

— Куэрри странный человек. Мы, собственно, его почти не знаем. Может, он и нас не любит.

— Он у вас живет. Он вас не сторонится.

Настоятель вдруг рассердился на Куэрри. Люди подарили лепрозорию два бочонка масла. Неужели трудно отплатить им за это небольшой любезностью? Он сказал:

— Подождите здесь. Я пойду посмотрю, у себя Куэрри или нет. Мы не допустим, чтобы вы разыскивали его по всему лепрозорию.

Он вышел на веранду и, свернув за угол, зашагал к комнате Куэрри. Вот комнаты отца Тома и отца Поля, отличающиеся одна от другой разве только выбором расцветки да большей или меньшей степенью беспорядка; вот часовня, а вот и комната Куэрри. В ней, единственной во всей миссии, не было никаких символических изображений; да, собственно, в ней ничего не было, даже фотографий — родного человека

или родных мест. Несмотря на дневную жару эта комната показалась настоятелю холодной и сумрачной, как могила без креста. Когда он вошел, Куэрри сидел за столом, перед ним лежало письмо. Он не поднял головы.

— Я вам помешал, простите,— сказал настоятель.

— Садитесь, отец. Я сейчас дочитаю.— Он перевернул страницу и спросил: — Как вы обычно подписываете письма, отец?

— Смотря кому пишешь. Иногда «брат во Христе».

— «Toute à toi» *. Я когда-то сам так подписывался: «Tout à toi». А сейчас от этого отдаёт невыносимой фальшью.

— К вам приехали. Я сдержал слово — отставил вас до последнего. Мне не хотелось вам мешать, но больше я ничего поделать не могу.

— Хорошо, что вы пришли. Сидеть наедине вот с этим мало приятно. Мне переслали сюда всю мою корреспонденцию. Откуда стало известно, где я? Неужели эту дурацкую газетенку, которая выходит в Люке, читают даже в Европе?

— Приехала мадам Рикэр. Она хочет вас видеть.

— Мадам? Слава богу, что не мосье.— Он взял со стола конверт.— Вот, смотрите. Она даже разузнала номер почтового отделения. Какая настойчивость! Наверно, обращалась с запросом в Орден.

— Кто она такая?

— Моя бывшая любовница. Я бросил ее три месяца назад, бедняжку. Нет, это чистейшее лицемерие. Мне ее нисколько не жаль. Простите, отец. Я не хотел ставить вас в неловкое положение.

— В неловкое положение меня поставила мадам Рикэр. Она привезла нам два бочонка масла и хочет поговорить с вами.

— Стою ли я такой цены?

— Ее прислал муж.

— Это что, здешний обычай? Скажите ему, что меня этим не соблазнишь.

— Она, бедняжка, хочет передать вам его приглашение, только и всего. Может быть, вы все же выйдете к ней, поблагодарите и откажетесь? Она, по-моему, не решается ехать домой, хочет обязательно сказать мужу, что поговорила с вами лично. Не бойтесь же вы ее, в самом деле?

— Может, и боюсь. Некоторым образом.

— Вы меня извините, мосье Куэрри, но, по-моему, вы не из тех, кто боится женщин.

— А вам, отец, не приходилось видеть прокаженного, который боится ушибить пальцы, так как знает, что они уже не почувствуют боли?

— Я видел людей, которые себя не помнили от радости, когда к ним возвращалась способность чувствовать — чувствовать даже боль. Но они не боялись подпускать ее к себе на пробу.

— Есть такое явление как болевой мираж. А что это такое, спросите-ка тех, у кого ампутирована рука или нога. Хорошо, отец, ведите эту женщину сюда: С ней все же гораздо приятнее иметь дело, чем с ее мерзким супругом.

Настоятель распахнул дверь, и у порога, в ярком солнечном свете, разинув рот, стояла Мари Рикэр. У нее был такой вид, точно перед ней неожиданно щелкнули фотоаппаратом в ночном клубе и, ослепив вспышкой, заставили некрасиво зажмуриться. Она круто повернулась и зашагала прочь, туда, где стояла ее машина, и они услышали срывы мотора, который никак не хотел заводиться. Настоятель поспешил следом за ней. Дорогу ему загородили женщины, возвращавшиеся с рынка. Он вприпрыжку побежал за машиной, не вынимая сигары изо рта, в съехав-

* Вся твоя (франц.).

шем на затылок белом тропическом шлеме, и бой Мари Рикэр с любопытством смотрел на него в боковое окно кабины, пока машина не скрылась под аркой с названием лепрозория. Назад настоятель вернулся прихрамывая, потому что зашиб большой палец на бегу.

— Ах, глупышка! — сказал он. — Почему она не осталась у меня в комнате? Могла бы переночевать у монахинь. Засветло до Перрэнов им не доехать. Надеюсь, на ее боя можно положиться.

— По-вашему, она слышала?

— Еще бы не слышала. Вы ведь не понизили голоса, когда высказывались о Рикэре. Если человека любишь, вряд ли приятно услышать, что он кому-то несимпатичен и...

— Если его не любишь, отец, это еще неприятнее.

— Разумеется, она любит его. Он ей муж.

— Любовь не самая отличительная черта супружества, отец.

— Они оба католики.

— И католики тоже без нее обходятся.

— Она вполне достойная молодая женщина, — упорствовал настоятель.

— Да, отец. И какой же пустыней должна быть ее жизнь с этим человеком!

Он взглянул на письмо, лежавшее на столе, скользнул глазами по той жертвенной фразе, которой чаще всего пользуются в силу привычки и только изредка со смыслом — «*Toute à toi*». Ему вдруг подумалось, что отражение чужой боли можно почувствовать, даже когда перестанешь чувствовать свою собственную. Он положил письмо в карман: если ощутишь хотя бы, как шуршит бумага, и то слава богу.

— Слишком далеко ее завезли от Пенделэ.

— А что такое Пенделэ?

— Не знаю... танцевальная вечеринка у подруги, молодой человек с глянцевитой простодушной физиономией, пойти к мессе вместе с родителями, может быть, уснуть на односпальной кровати.

— Люди взрослеют. Мы призваны к делам куда более сложным, чем эти.

— Да неужели?

— «Когда я был младенцем, по-младенчески мыслил».

— Что до евангельских цитат, мне, отец, за вами не угнаться, но ведь там, помнится, есть и насчет того, что если не будете как дети, то не унаследуете... Взрослеем-то мы плохо. Сложности стали чересчур уж сложными. Надо бы нам остановиться в своем развитии где-то около амебы. Нет, еще раньше — на уровне силикатов. Если вашему богу понадобился взрослый мир, не мешало бы дать людям взрослый ум.

— Чрезмерные сложности — в большинстве своем дело наших собственных рук, мосье Куэрри.

— А если он требует от нас ясности рассудка, зачем было давать нам половые органы? Врач никогда не пропишет марихуаны для прояснения мозгов.

— Вы как будто говорили, что ничем больше не интересуетесь?

— Правильно, не интересуюсь. Я прошел через все и выбрался на другую сторону, в ничто. И тем не менее оглядываться назад мне не хочется. — Он переменял позу, и письмо чуть слышно хрустнуло у него в кармане.

— Раскаяние — это своего рода вера.

— Ну не-ет! Вы стараетесь захватить все подряд в сети вашей религии, отец, но вам не удастся присвоить все добродетели. Кротость — добродетель не христианская, так же как и самопожертвование, и милосердие, и способность каяться в грехах. У пещерного жителя, наверно, тоже наворачивались слезы на глаза, когда рядом с ним кто-

нибудь плакал. А разве вам не приходилось видеть, как плачут собаки? Когда на нашей планете иссякнут последние крохи тепла и пустота вашей веры наконец-то станет явной, непременно найдется какой-нибудь блаженный из неверующих, который накроет своим телом тело другого умирающего, чтобы согреть его и продлить ему жизнь хотя бы еще на один-единственный час.

— И вы верите в это? А мне помнится, вы отказывали себе в способности любить.

— И продолжаю отказывать. Весь ужас в том, что именно мое тело и накроют. И это будет, конечно, женщина. Они обожают мертвецов. У них в требниках бывает полным-полно поминальных записочек.

Настоятель ткнул сигару в пепельницу и, не дойдя до двери, закурил другую. Куэрри крикнул ему вслед:

— Я и так далеко зашел! Уберите от меня эту особу и пусть не хнычет тут и не распинается за своего супруга! — Он с яростью ударил рукой по столу, потому что ему сразу вспомнилось: распятие, стигматы...

Когда настоятель вышел, Куэрри крикнул Део Грациаса. Бой появился на своих трех беспалых ногах. Он заглянул в умывальный таз, не надо ли его опростать.

— Нет, я не за тем тебя звал, — сказал Куэрри. — Сядь. Мне надо кое о чем поговорить с тобой.

Део Грациас положил костыль на пол и присел на корточки. Беспалому даже садиться трудно. Куэрри зажег сигарету и сунул ее Део Грациасу в рот. Он сказал:

— В следующий раз, когда ты соберешься уходить, возьмишь меня с собой?

Слуга ничего ему не ответил. Куэрри сказал:

— Можешь не отвечать. Я знаю, не возьмишь. Скажи мне, Део Грациас, какая там была вода? Как вот эта большая река?

Део Грациас покачал головой.

— Как озеро в Бикоро?

— Нет.

— Какая же, Део Грациас?

— Она падала с неба.

— Водопад?

Но Део Грациасу — жителю приречной равнины и джунглей — это слово ничего не говорило.

— Ты, совсем маленький, сидел за спиной у матери. А другие дети там были?

Он покачал головой.

— Скажи мне, что там случилось с вами?

— Nous étions heureux*, — ответил Део Грациас.

* Нам было хорошо (франц.).

(Окончание следует)



Гимн Человечеству

ПОЭМА



*Перевод с английского
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА*

I

Шаг за шагом
Хамелеон
Всем телом своим
Отражает
И передает
Краски мира,
С каждым шагом
Меняя цвета;
Вот он — смотрите —
Зеленый и серый,
Белый и черный,
Бурый и синий.
Через заборы,
По плоским крышам
Молопо и Магато,
Мимо колодцев,
Вдоль потоков
Каломо и Муссоро
Проходит хамелеон,
Всем телом своим
Отражая и передавая
Краски маиса,
Могилы,
Мотыги,
Птицы и камня;
Мимо селений,
Мимо хижин
Соклоко и Окоро,
Мимо полей,
Мимо загонов
Момпоно и Лусамбе
Проходит хамелеон,

Всем телом своим
Отражая и передавая
Краски бабочки
И цветка,
Муравья и пшеницы.
По тенистым садам,
По узким мостам
Конкоро и Читандо,
По шумным базарам,
По тихим аллеям
Лисалы и Йонгамы
Проходит хамелеон,
Всем телом своим
Отражая и передавая
Цвет помидора,
Перца,
Лопаты,
Охры и вил;
По плантациям,
По чашобам
Сакоты и Биндуры,
Мимо ферм,
По горам
Джамбалы и Донголы
Проходит хамелеон,
Всем телом своим
Отражая и передавая
Цвет топора
И сороконожки,
Цвет мачете,
Термита и золота;
По долинам,
По светлым рощам
Каконды и Кеддады,

Вдоль побережья,
У темных скал
Сассандры и Кибинды
Проходит хамелеон,
Всем телом своим
Отражая и передавая
Цвет колоска,
Ветки,
Пчелы,
Манго и листьев.

II

Мысли людей —
Это краски,
Воззрения людей —
Это палитра,
Деянья людей —
Это кисть;
Вот так человечество
С восхода и до заката
Пишет на холсте эпохи
Свой огромный портрет,
На котором живет и движется
Великое и малое:
Поднимается солнце
Или народы,
Падает плод
Или диктатор,
Растет кукуруза
Или дети,
Тает лед
Или сердце,
Рождается звезда
Или телка,
Горят кусты
Или планы,
Сооружается дом
Или школа,
Цветут цветы
Или страны,
Сгибается лук
Или воля,
Разбиваются цепи
Или чашка,
Роется шахта
Или нора,
Бьет безработица
Или молот,
Отворяется вена
Или дверь,
Строится метро
Или воздушный замок,
Наступает пустыня
Или агрессор,
Поют демонстранты
Или птицы,

Кусают осы
Или собаки,
Приходит гость
Или зима,
Получает имя ребенок
Или неведомый остров,
Меняется
Русло реки,
Чтобы служить
Человеку,
Колосится
Обильный урожай,
Чтобы вознаградить
Труды крестьян,
В плуг впрягается мул
Или рождается статуя.

III

И хотя мы знаем,
Что ветер
Заглушает песню,
И хотя мы знаем,
Что буря
Мешает полету,—
Птица может однажды
Пронзить все своды небес,
Жизнь — это стихотворение,
Прекрасное тем,
Что нет у него конца
И начала.

IV

Итак,
Когда время дошло
До вершины,
И краски на холсте
Высохли,
И на палитре
Сплошная мешанина,
И стертая кисть
Отложена с радостью,
И мы отходим
На несколько необходимых
Шагов назад
Под небесным сводом
При двойном свете
Луны и солнца,
Чтобы взглянуть, взглядеться,
увидеть
И оценить
Свою собственную работу,
Шедевр человеческих рук,—
Какие образы
Предстанут пред нами?
Какая песня

Зазвучит для нас?
Какие воспоминания
Пробудятся в нас?
Какую жизнь
Смело припишет нам
Эта картина?
В каких тонах
Нашим глазам
Предстанут деянья
Нашего неизбежного прошлого?

V

Мы хотим это увидеть —
Так давайте же в это верить,
Так давайте устроим,
Чтобы
Если уж на телах
Проступает пот,
То лишь на телах
Мужчин
У наковальни и печи,
Мужчин с мастерком,
С лопатой,
Мужчин за рулем машины;
И лишь на лицах
Рабочих
В прачечной,
И на верфи,
И на аэродроме;
Чтобы
Если уж в небе сверкают
Не только белые крылья
Наших друзей-голубей,
То крылья таких самолетов,
Которые побеждают
Пространство и время
На благо людям,
Которые спасают
Тонушие корабли
И в неурожайные земли
Доставляют еду, —
Но не таких самолетов,
Которые извергают

Бомбы на наши головы;
Чтобы
Взрывы сметали
Не дома и мосты,
А преграды на месте
Будущих горных дорог;
Чтобы
В рассветный час грохотали
Не вражеские пушки,
А трактора в полях
И ранние поезда,
В которых едут рабочие;
Чтобы
На сельских дорогах
Виднелись следы гусениц
Не огнедышащих танков,
А трудовых тракторов;
Чтобы
Леса вокруг деревень
Выжигали
Не оккупанты,
А жители этих деревень,
Которые, объединившись,
Готовят себе
Новое поле для злаков;
Чтобы
Мы находили
На дальних лесных тропках
Следы не солдат,
А исследователей
И охотников,
Что охотятся не на людей.
Чтобы
Наши отцы и деды
Рассказывали нам
О своих подвигах
Не на поле боя,
А в заводском цеху
Или на стройке плотины;
И чтобы
В каждой могиле —
Если будут могилы —
Лежал
Только один
Человек.





Б. РЮРИКОВ

КАКОЕ ЗНАМЯ ОНИ ХОТЯТ ВОДРУЗИТЬ?

Полемические заметки

Недavno в журнале «Вэньбао» (№ 4 за 1964 г.) была напечатана статья Лю Шоу-суна «Водрузим знамя марксистско-ленинской критики». Автор напористо заявляет: «Мы непременно хотим в сфере истории литературы водрузить знамя марксистско-ленинской критики». Статья посвящена проблеме литературного наследия; она написана в том сверхреволюционном духе, который присущ многим китайским статьям в последнее время. Сейчас, когда пекинские теоретики развернули фронтальное наступление против творческого марксизма, направляя свои стрелы и против политики КПСС в области культуры и искусства, бесполезно отдавать себе отчет: какое знамя они хотят водрузить.

Линия Коммунистической партии Советского Союза в области культуры проверена в идейных боях против ревизионистов, смыкающихся с буржуазной культурой, против носителей левацко-догматических тенденций. Последовательное осуществление этой линии позволило достигнуть

успехов, которые признает сегодня весь мир.

Но вот уже несколько лет из Китая раздаются крикливые голоса, осуждающие советскую культуру. Кричат о перерождении социалистической культуры, о «сползании» ее на рельсы буржуазной идеологии, о том, что деятели советского искусства «стали на колени перед американским империализмом», и т. д. и т. п.

Нам не пристало оправдываться перед крикунами. И если мы говорим об этих обвинениях, то лишь потому, что в условиях острого идейного столкновения между творческим марксизмом и догматизмом необходимо отчетливо и спокойно выяснить характер и значение этого конфликта по разным его направлениям.

Китайские руководители часто клянутся именем Ленина, не останавливаясь перед противопоставлением ленинизма принципиальным взглядам и практической деятельности КПСС, ее Центрального Комитета. В газете «Жэньминь жибао» была еще в 1960 г. напечатана статья Линь Мо-ханя «Выше знамя идей Мао Цзе-дуна в области литературы и искусства». Статья была затем издана отдельной брошюрой — видимо, ей придается определенное значение. Автор клянется именем Ленина, но о Ленине пишет в таком духе: «В. И. Ленин выдвинул положение о том, что литература и искусство должны быть частью партийного дела, должны служить широким массам рабочих и крестьян. Однако каким образом можно добиться того, чтобы литература и искусство действительно стали партийным делом, и

каким образом можно добиться того, чтобы они действительно служили широким массам рабочих и крестьян, этого Ленин подробно осветить не успел. Исчерпывающее разрешение этих вопросов является великим вкладом товарища Мао Цзэ-дуна».

Ленин и культура социализма — это огромная тема, раскрытие которой показывает всемогущество творческого марксизма в решении самых сложных и тонких идейных проблем, в практическом претворении в жизнь идей партии. Ленин показал, как надо относиться к враждебной идеологии, непримиримо борясь с чуждыми социализму силами. Ленин учил, как надо привлекать на сторону социализма все силы культуры, поддерживая социалистическую культуру, сплывая и укрепляя все новое и передовое в духовной жизни.

Для нас идеи Ленина — не что-то застывшее и окаменевшее, они развиваются и обогащаются в ходе исторического процесса. Претворять в жизнь идеи Ленина — значит идти вперед, творить новое, революционное. Но утверждение, будто китайские теоретики пошли дальше Ленина, в лучшем случае вызывает улыбку. Спростили догматики бросают мысль о «незавершенности» взглядов Ленина?

В статье Линь Мо-ханя, в имевшем явно директивный характер докладе Чжоу Яна о задачах общественных наук идет речь о том, что Ленин учил рассматривать литературу и искусство как часть борьбы за социализм. Если бы они говорили только это, нам не о чем было бы спорить. Но бросается в глаза, как узко толкуют китайские авторы взгляды Ленина.

Ленин, развивая идеи партийности искусства, последовательно вскрывал связь произведений искусства с глубокими пластами народной жизни, борьбой социальных сил. Он показал все значение сознательной мысли для художественного творчества. Он отстаивал превосходство научного, материалистического мировоззрения над идеализмом и субъективизмом всех родов. Вспомним знаменитые слова о том, что для материалиста мир *богаче, живее*, чем он кажется, ибо научное познание открывает широчайшие перспективы познания и воплощения бесконечного и неисчерпаемого богатства действительности.

Рабочие и крестьяне — подчеркивал Ленин — заслуживают чего-то большего, чем зрелищ. Они получили право на *великое искусство*.

Борясь за партийность литературы, Ленин настойчиво подчеркивал *своеобразие* литературного творчества. Он выдвинул задачу организовать обширное, разностороннее и разнообразное литературное дело, которое «всею менее поддается механическому равнению, нивелированию, господству большинства над меньшинством. Споры нет, в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию»*.

Китайские теоретики используют ленинские цитаты как колотушку против тех, на кого им угодно приклеить ярлык «ревизионистов», и обходят живую диалектику ленинской мысли.

Диалектическую и творческую концепцию искусства пекинские теоретики подменяют своей, примитивно-утилитаристской, откровенно служебной и глубоко равнодушной к искусству, пренебрегающей его спецификой. В их статьях разрывается единство идейного и художественного начал. Политический критерий мыслится отдельно от художественного. Гремят трескучие фразы о политике, о революции, и под эту стукотню протаскиваются положения, принижающие искусство.

Чжоу Ян, Линь Мо-ханя говорят о ленинских взглядах на литературу так, как будто бы они сводились к примитивному требованию связи писателя с текущими кампаниями, а вопрос о руководстве — это вопрос об искоренении неугодного и административном воздействии на инакомыслящих. Литература низводится на служебную роль иллюстратора и комментатора тезисов об очередных задачах.

Художественное творчество дает широчайшую картину развития общества, оно помогает постигнуть общество в движении, в развитии и борьбе социальных сил, в многообразии характеров. Освещая светом прогрессивных идеалов всю жизнь человечества, оно воспитывает, духовно обогащает, поднимает и ведет вперед.

Взгляды китайских вульгаризаторов могут повести только к крайнему обеднению духовной культуры.

Советская эстетическая мысль стремится раскрыть во всей полноте и глубине огром-

* В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 10, стр. 28.

Б. РЮРИКОВ
КАКОЕ ЗНАЯ ОНИ ХОТЯТ ВОДРУЗИТЬ?

ные возможности, открываемые коммунизмом перед искусством. Догматики тянут назад — даже в решении тех вопросов, которые давно ясны для марксистской мысли.

Несколько лет назад марксистская мысль в нашей стране выступила против догматической трактовки типического. Догматики говорили о типическом, как о прямом выражении социальной силы, упрощая до примитивной схемы сложные вопросы художественного творчества.

Еще в 30-е годы стала ясной бесплодность вульгарного социологизма. Но влияние его осталось, и оно нашло свое выражение и в 50-е годы, в частности, в положении о типическом одного из докладов Маленкова. Духу догматизма периода культа личности с его сухой и холодной схоластикой и равнодушием к человеку, с его методологией нивелировки вульгарный социологизм отвечал прямо и непосредственно.

Спору нет, через типическое, через образы художественного творчества выражаются, в конечном счете, социальные отношения, но типическое возникает не из желания проиллюстрировать общеизвестные истины. Типизация есть результат исследования и идейно-художественного осмысления писателем жизни, изучения людей, характеров, жизненных отношений и конфликтов, творческого воплощения их средствами искусства. И когда партийная печать подвергла критике примитивные, схематические формулы, она выступила *в защиту живой души искусства*, в защиту своеобразия художественного творчества от мертвящего социологического схематизма.

Ныне эти убогие схемы пытаются оживить некоторые теоретики из Пекина и их подголоски.

Так, в корейской газете «Мунхак синмун» сторонники догматических взглядов сочли необходимым вернуться к этому вопросу.

«Марксистская эстетика утверждает, что образ соответствует сущности социальных сил... Современные ревизионисты, преследуя свои подлые политические цели, прежде всего выступают с теорией об образе в качестве какого-то нового открытия... Ревизионисты утверждают, что образы соответствуют не сущности социальной силы и что индивидуализация является решающим условием типичности образов», — писала газета.

Но развития искусства нет без открытия нового, без создания живых, индивидуальных образов, без творческой разработки

жизненных пластов, без открытия новых «поэтических материков», как говорил Маяковский. Образ художника тем полнее соответствует живой и развивающейся жизни, чем он глубже, смелее раскрывает явления действительности, обогащает наше представление о ней, дает идейно-эстетическую оценку. В вульгаризаторской критике искусство понимается лишь как иллюстрирование готовых лозунгов.

Догматики нападают на правдивое искусство, выражающее жизнь в движении, в ее глубине и сложности. Вульгаризаторы атакуют положения марксистско-ленинской эстетики об отношении искусства к действительности. Они даже не скрывают своего недоверия к реализму, к правде жизни. В статьях некоторых китайских журналов, в выступлениях ораторов на писательских форумах понятие правды жизни подверглось крикливому осуждению, как неверное и «немарксистское».

Оказывается, «ревизионисты» прибегают к фальшивому лозунгу «писать правду», чтобы бороться против благородной обязанности литературы и искусства воспитывать народ в духе социализма и коммунизма. («Вэньсюэ пинлунь» № 2, 1963.)

Это отнюдь не чисто эстетический спор. Ленин писал в известном письме Н. Осинскому о значениях правдивости и о силах, которым невыгодна правда:

«Самое худое у нас — чрезмерное обилие общих рассуждений в прессе и политической трескотни при крайнем недостатке *изучения* местного опыта. И на местах и вверху могучие тенденции борются против его правдивого оглашения и правдивой оценки. Боятся выносить сор из избы, боятся голый правды, отмахиваются от нее «взглядом и нечто», попросту верхоглядством...»*

В этих словах — ключ к рассуждениям догматиков против правды искусства. В современном Китае «могучие тенденции» на местах и вверху борются против истины, против освещения истинного положения вещей. У пекинских вульгаризаторов нет уважения к идее, к истине; формирующим началом эстетики — и не только эстетики — стал откровенный и циничный прагматизм. Прислужническая «методология» деморализует научную и художественную мысль, расшатывает принципы, заменяя их догматическими-бюрократическими предписаниями.

* В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 36, стр. 530.

Китайские теоретики пропагандируют лозунг сочетания революционного реализма и революционного романтизма. Впрочем, в этом «сочетании» реализм оказывается явно на положении бедного родственника. Вот как, например, Го Мо-жо обосновывает необходимость романтизма: «Литература допускает воображение, преувеличение, и подлинно великий писатель должен на основе материалов действительности делать творческие обобщения, показывая типичных людей в типических обстоятельствах; такой процесс творчества, во всяком случае, можно назвать вымыслом, и потому сущностью литературной деятельности должен быть и романтизм».

Таким образом, обобщение, преувеличение, воображение — все это относится не к реализму, а к романтическому искусству. Хорошенькое представление о реализме! Конечно, такой бедный и тусклый «реализм» надо подпирать костылями романтизма.

Мы также за революционный романтизм. Великое реалистическое искусство органически сочетается с революционной романтикой. Об этом много писал Горький. Впрочем, высказывания Горького пекинские теоретики также объявили превзойденными. Ли Хуэй-фань писал в журнале «Вэньсюэ пиндунь»: «Горький... уже увидел необходимость сочетания реализма и романтизма в реалистической литературе. Но Горький не смог сделать еще один шаг вглубь в этом вопросе, научно разрешить его в теоретическом плане... Товарищ Мао Цзэ-дун впервые ясно указал, что наша литература должна быть сочетанием революционного реализма и революционного романтизма».

Трудно сказать, чтобы подобные фразы вносили ясность в вопрос, что же нового после Горького сказали китайские теоретики. Но общий смысл их высказываний становится ясен после проработки правды в искусстве, смелости раскрытия жизненных конфликтов и т. д. Когда «революционный романтизм» противопоставляют реализму и правдивости, тогда это понятие оправдывает уход от реальных противоречий современного Китая, помогает возвести в ранг шедевров искусства слащавые, бесконфликтные назидательные картины, украшательство и лакировку... Пекинским деятелям нужно такое искусство, которое показывало бы жизнь не такой, какой она есть — в революционном развитии, в живом диалектическом процессе, а такой, какой им

хочется ее видеть. Им нужно, короче говоря, искусство, оправдывающее исторический субъективизм, авантюризм и произвол.

В сущности «революционный романтизм» противопоставляется творческому методу социалистического реализма. Китайские теоретики идут *назад* от социалистического реализма, от *интернационального опыта* передового искусства.

Узкие, обедненные концепции развития культуры и искусства возникли у китайских теоретиков не случайно. Разногласия коренятся в конце концов в том, что резко отличны наши представления о коммунизме, о путях, которые ведут к нему.

Марксизм-ленинизм разработал светлое и широкое представление об общественном строе коммунизма. Законом его развития является товарищеское сотрудничество всех людей, возможность всестороннего развития каждого на благо народа. Программа КПСС, документы XX и XXII съездов партии определяют содержание и задачи борьбы за это общество.

Китайские теоретики пропагандируют какой-то совершенно иной коммунизм. Равенство они подменяют нивелировкой, сознательность — внешним принуждением, идейность — подчинением, целеустремленность — слепой исполнительностью. Не так давно газета «Жэньминь жибао» одобительно писала: «В народных коммунах организация труда милитаризируется, вся деятельность проходит в боевом духе, проводится коллективный образ жизни, что отвечает требованиям нынешнего положения, когда делается большой скачок». А ныне китайская печать призывает жизнь общества и самой Коммунистической партии Китая строить, опираясь на опыт армии. Все — на армейский образец! Будущее общество они представляют огромной казармой, где вся жизнь регламентирована.

Нет, не пуританское единообразие, не пепельно-серый покров унылого уравниательства, а многообразие, богатство всех форм жизни, широчайший разворот творческих возможностей общества и каждого его члена — вот что отличает подлинный

Б. РЮРИКОВ
КАКОЕ ЗНАМЯ ОНИ ХОТЯТ ВОДРУЗИТЬ?

коммунизм. Это высокоорганизованное общество, в котором сплоченность основана на сознательной активности всех, на динамической силе творческих отношений.

Враги говорят, что социализм — общество регламентации. Но социалистическая плановость и организованность враждебны той мелочной регламентации, идеи которой развивал донаучный, домарксистский, утопический социализм.

Формированию научного социализма предшествовали столетия утопических исканий. Эти искания двигало благородное стремление к новому, справедливому обществу, свободному от угнетения. Утописты не знали реальных путей к этому государству солнца, они создавали умозрительные конструкции потому, что не чувствовали еще твердой почвы под ногами. На их представления об обществе ложился отпечаток монастыря или казармы, в которых они формировались.

Утописты отталкивались от анархии, хаотической стихийности собственнического общества. Они понимали, что общество будущего не может быть ареной столкновения слепых сил — оно должно возвышаться над предшествующими формациями организованностью, зрелостью внутренних отношений. Но они не могли постичь подлинных сил, утверждающих новые общественные связи, не знали закономерностей, ведущих сложными путями к такой общественной гармонии, о которой человечество ранее и не могло мечтать. Вот почему *силы сцепления*, силы разрешения общественных противоречий и конфликтов оставались силами *внешними*. Только марксизм открыл законы преобразования человеческого общества и определил подлинную роль пролетариата и трудящихся масс, их сознания и воли в борьбе за переустройство общества.

Китайские теоретики пытаются на основе волюнтаризма и примитивно-уравнительного утопизма решать нравственные и эстетические задачи. Коммунистический гуманизм вызывает яростные нападки со стороны ревнителей казарменных отношений.

Чжоу Ян говорил о тех, кого он называет советскими «ревизионистами»: «Свернув пролетарское знамя революции, они подняли знамя буржуазной человечности, они отождествляют так называемый гуманизм с научным коммунизмом».

«Так называемый гуманизм» — это очень выразительно. Чжоу Ян нападает на Про-

грамму КПСС, высказывания Н. С. Хрущева, на ряд марксистских трудов, вышедших в Советском Союзе. Гуманизм объявлен буржуазной идеологией!

Не случаен, видимо, тот яростный артиллерийский налет, который обрушился на фильмы советского кинорежиссера Г. Чухрая. В высказываниях Чухрая не все точно, в них есть положения, которые могли бы стать предметом товарищеского спора. Но в журнале «Вэньбао» напечатана статья, в которой есть что угодно, кроме товарищеской полемики. Критик пользуется тем, что китайский зритель не видел таких фильмов, как «Чистое небо», «Баллада о солдате» (ведь лучшие советские фильмы не выходят на китайский экран). Чухрай обвиняется в том, что он смотрит на жизнь не так, как хотели бы этого китайские теоретики, он уделяет слишком большое внимание «личной жизни» людей. Режиссер раскрывает высокую человечность как достоинство героя «Баллады о солдате», а критик возмущается: подумать только, «все свое свободное время он (Алеша Скворцов) употребляет на то, чтобы помочь людям, их личному счастью, которому нанесла вред Отечественная война».

Китайский критик обвиняет создателей картины: «Куда бы ни ступила нога Алеша, почти на каждом шагу он сталкивается с последствиями той трагедии, которую приносит Отечественная война народу». Если художник говорит о трудностях и лишениях, значит, он «бьется войны», «вымаливает мир» и... «стоит на коленях перед американским империализмом». Советскому режиссеру приписывается не более и не менее, как стремление... показать негуманность пролетарских революционных войн и осудить социализм и коммунизм. «Эти люди замахнулись мечом «гуманизма» на революционные классы».

Подобным критикам хотелось бы, чтобы советские люди показывали войну в соответствии с лозунгом «Империализм — буржуазный тигр». Вероятно, их бы устроило, если режиссер изобразил победу над германским фашизмом как легкую прогулку. Но ведь именно потому, что партия говорила народу всю правду об опасности фашизма, об угрозе, нависшей над страной и над каждым человеком, советский народ поднялся, напрягая все силы, и победил врага. Да и сейчас в лагере врагов социализма — не «буржуазные тигры», и мы противопоставляем им не фразы, а реальную политическую, эконо-

мическую, оборонную мощь социалистического общества.

Китайские теоретики выступают против проникновения искусства в глубину реальных общественных отношений.

■
Коммунистическая мораль выражает интересы и идеалы всего трудящегося человечества. Коммунизм возродил и восстановил во всем значении простые нормы нравственности и справедливости, попиравшиеся эксплуататорами. Народные трудовые массы — это подавляющее большинство человечества; их интересы, выражаемые научным коммунизмом, — это и есть подлинные общечеловеческие интересы. Партия требует *классового подхода* к вопросу о гуманизме. Марксистское боевое и революционное понимание общечеловеческих интересов не имеет ничего общего с расплывчатым и абстрактным «гуманизмом» буржуазно-либеральных болтунов. С таким лжегуманизмом марксистская научная мысль, советская художественная литература ведут борьбу десятки лет.

Мы возвращаем гуманизму все прогрессивное содержание этого понятия. Китайские теоретики, провозглашая себя «революционерами», на деле выступают против революционного гуманизма. Методологически их полное отрицание любого гуманизма не отличается от принятия любого гуманизма либерально-ревизионистскими теоретиками. Только марксистско-ленинская мысль подошла к проблеме гуманизма научно, конкретно-исторически, связала ее с развитием общества, с интересами социальных сил.

Для нас решающее значение имеет, как художник понимает современного человека.

В китайской печати прошла шумная кампания по пропаганде «духа Лэй Фэна». Молодой солдат Лэй Фэн, погибший от несчастного случая, объявлен идеальным героем. Был опубликован его дневник, проникнутый духом слепого преклонения перед китайскими руководителями. Вот выразительный пример. В роте, где служил Лэй Фэн, купили машинку для стрижки волос солдатам. Там решили и в этом вопросе обходиться «собственными силами». Лэй Фэн взялся научиться парикмахерскому делу. Он пишет в дневнике: «Изучив произведения Мао, я нашел решение. Председатель Мао говорит: «Хочешь иметь знания, участвуй в практическом transforma-

нии действительности». Слова председателя Мао оказали на меня большое воспитательное воздействие, и я пошел в ближайшую парикмахерскую учиться».

На парикмахерском поприще Лэй Фэна ожидали неудачи — он испортил прическу первому же своему клиенту. «Но я не пал духом и снова взял книгу председателя Мао». В книге Лэй Фэн находит слова о том, что новое проходит трудный извилистый путь в своем развитии. «Руководствуясь идеями председателя Мао, я воодушевился, отказался от дневного сна и снова побежал в парикмахерскую».

В сущности, такие герои, повторяющие заученные слова, воплощают собой не сознательность и активность, а пассивную жертвенность, самоограничение, самоотречение. Один из критиков пишет: «Мы воспитываем молодежь в духе *самоотречения* ради общественных интересов...» Но революция не требует, чтоб человек отрекался от себя. *Найти себя* в служении общему делу, видеть самоутверждение, а не пассивную жертву в самых самоотверженных поступках, связать личное и общественное в одно неразрывное целое, а не *подавлять личное*, как что-то недостойное, — вот единственно правильный путь.

В ряде рассказов и очерков китайских писателей последнего времени эталоном поведения стал человек-винтик. Героиня повести Ван Вэнь-ши «Хэй Фэн» расхваливается критикой за то, что ведет себя на заводе *послушно*, «у нее не бывает сложных размышлений»...

В романе Чэнь Цань-юня «Благоухающая земля» коммунист Сюй Хо-чжао разговаривает с женой. Та спрашивает его: «Что такое коммунизм? — Я и сам не понимаю», — отвечает герой. «Но ведь у нас в партии много умных, башковитых людей, они всегда знают, что делать. Нам же, маленьким людям, нужно одно — всю жизнь следовать за ними».

Вспомним «Поднятую целину» — там ведь тоже простые крестьяне выбирают новый путь в жизни, но как многогранен их духовный мир, как по-своему осмысливает события каждый из них, как развито сознание личной ответственности, личной инициативы в героях!

Китайская пропаганда восхваляет слепую дисциплину, аскетизм и подавление

Б. РЮРИКОВ
КАКОЕ ЗНАЯ ОНИ ХОТЯТ ВОДРУЗИТЬ?

человеческой личности. Догматики осуждают личный интерес, стремление к улучшению жизни, идеализируют бедность и отсталость. Но ведь смысл социализма заключается в том, чтобы дать людям счастливую жизнь, сделать их хозяевами всей жизни. Идея отказа от жизненных благ — глубоко реакционная идея, выгодная только эксплуататорским классам. Энгельс писал, что можно высказать революционные мысли, не твердя беспрестанно слова «революция». Но случается и наоборот: беспрестанно твердят слово «революция», а мысли оказываются чуждыми революции и социализму.

В газете «Гунжэнь жибао» была напечатана пьеса, в которой старый рабочий беседует с молодым. Молодой рабочий сознается старому в желании взять взаймы денег и купить себе часы, сорочку и ботинки. И вот как поучает его старый рабочий:

«О чем ты не подумал? О том, что эти ботинки, часы и нейлоновая сорочка — это сугубо личные «мечты». Наша же отдаленная мечта, мечта рабочего класса состоит в том, чтобы построить коммунизм, чтобы все человечество могло жить счастливой жизнью. А ты? Ты забыл, кто ты. Ты мечтаешь о том, как бы красивее одеться, ты думаешь о том, где бы занять денег, если их нет у тебя. Но ты не понимаешь, что такие разлагающие сознание стремления, как бы поесть, одеться, повеселиться, только на руку буржуазии, которая старается подорвать здоровую идеологию рабочего класса, уничтожить революционность рабочего класса!»

Коммунизму чуждо это подозрительное отношение к стремлению быть сытым и иметь чистую рубашку. Конечно, эгоизм, мещанское сытое чавканье у своего корыта, обособление «своего» благополучия от общего счастья людей чужды социалистическому сознанию. Понятно и то, что дать часы 650 миллионам, одеть каждого в новый костюм, снабдить новыми ботинками — задача не простая. Но это не дает оснований рассматривать стремление к удовлетворению элементарных потребностей как нечто антиобщественное.

В эпоху великих побед научного коммунизма китайские теоретики шарахаются назад, к взглядам грубого, уравнилительного мелкобуржуазного коммунизма.

Но эти взгляды были основаны на самых примитивных представлениях как о потребностях человека, так и о средствах их удов-

летворения. То был «аскетически суровый, спартанский коммунизм, осуждающий всякое наслаждение»*, — писал Маркс. Для научного коммунизма характерно «отнюдь не отречение от наслаждения, а развитие силы, развитие способностей к производству и, следовательно, развитие как способностей, так и средств для наслаждения»**.

Коммунизм — для человека! Для того и создается новый общественный строй, справедливый и светлый, чтоб все люди могли обрести достойную человека жизнь. Представлять человека только исполнителем распоряжений, только работником, пренебрегая его стремлениями, запросами его личности, — значит не понимать ни человека, ни коммунизм. В таком представлении нет основы новой личности — гармонического сочетания общественного и личного. Как бы ни «поднимали» такого героя, он лишен света больших идеалов, лишен перспективы, его личность, его воля и разум подавлены. Персонаж с цитатой вместо сердца не знает индивидуального начала, он не может жить ни в произведениях, ни в сознании читателей.

В китайской печати обсуждалось стихотворение поэта Гуань Юн-хэ «Кружным путем». Поэт рассказал, как секретарь райкома вечером после трудового дня возвращается домой и, подходя к плотине, видит на ней влюбленных, ведущих ласковую беседу. Секретарь райкома, не желая спугнуть влюбленных, сворачивает и идет домой кружным путем.

Начались споры — правильно ли поступил секретарь райкома, проявивший чуткость к влюбленной паре. Может быть, было правильнее подойти к молодым людям и напомнить им о производственных задачах? Критик Ли Чжи подвел итоги статей, в которой все поставил на свои места.

«Человек, который изо дня в день погружен в производство, работу, учебу и только при встрече с возлюбленной не говорит об этом, а болтает о природе, цветах, снеге и луне, — вот что в самом деле удивительно... Я считаю, что мысли и чувства здесь нездоровые!»

И догматики ревностно искореняют «нездоровые чувства». Это искоренение приняло широкий размах, охватило литературу, театр, музыку, кино. Под аккомпанемент ре-

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XIX, стр. 18.

** «Большевик» № 11—12, 1939 г., стр. 64—65.

волюционных криков китайские теоретики прокатываются чулунным катком по культуре.

И вот к чему это приводит.

Певец Ши Мин-синь сокрушается на страницах «Гуанмин жибао»:

«Когда народ моей страны проявлял волю и решимость, мужество и стойкость, самозабвенно боролся со стихийными бедствиями в течение трех лет подряд, мы распевали на сцене: «Меня не любишь ты, тебя люблю я, так берегись любви моей...» Разве это не распродажа среди слушателей таких товаров, как буржуазное освобождение личности, культ секса и индивидуализм! Объективно это способствовало ослаблению воли народа к борьбе». («Гуанмин жибао», 13 июля 1964 года.).

В статье Дай Ай-лянь говорится о классическом балете: «Из-за различных исторических причин балет беден идейным содержанием, в нем необычно мало тематики с активным содержанием. Некоторые произведения, признанные классическими, например, «Жизель», проповедуют буржуазную теорию человечности и примирения классов».

В статье «Танцевальное творчество и реальная жизнь» Лун Инь-пэй обрушивается на лирические танцы в балете:

«В особенности танцы, описывающие любовь, по изображенному в них чувству и идеям очень нездоровы. Посмотрите: любовное томление во дворцах феодальных вельмож, свидания разодетых буржуазных девиц и кавалеров, соблазнительность красивых женщин, коллективное заигрывание и увлечения молодежи, юношей и девушек. Что же это такое?»

Действительно, что же это такое?

Аморальная Кармен, невыдержанный Герцог, проповедница идеологии классового мира Жизель изгоняются со сцены. Певцы воспевают великого Мао и итоги работы народных коммун... Редакторы журналов, руководители театров искореняют живое и человеческое из произведений, как противоречащее духу «самоотречения»... Какой же унылый, серый, безрадостный мир, без звуков и красок, без солнечных лучей, без движения ветра хотят создать эти «ортодоксы»? У них все расписано, все регламентировано, все нивелировано. Нельзя подобрать лучшего названия этому, чем казарменный коммунизм, пользуясь словами Маркса. Это действительно коммунизм казарм, основанный на принижении человека, подавлении его, отказе от творческого начала!

На III съезде советских писателей председатель Союза писателей Китая Мао Дунь говорил об успехах советской литературы после II съезда: «...за это время славная советская литература глубоко оговорила творческий труд и героическую борьбу советского народа, создающего коммунистическое общество. Она играет все более и более активную роль в деле воспитания нового человека, она способствует росту нового, укрепляет морально-политическое единство советского общества. Она внесла огромный вклад в дело борьбы против колониализма, против «холодной войны», в дело защиты мира во всем мире и укрепления дружбы между народами всех стран».

Советская литература, говорил далее Мао Дунь, «никогда не рассчитывала на какие-либо похвалы буржуазных реакционеров и их подголосков. К чему же привели злобные нападки врагов? На этот вопрос можно ответить китайской пословицей: «Муравьи таскают раскатать большое дерево — только людей смешат». Попытки врагов рассыпались в прах, а советская литература стояла и стоит непоколебимо, как горная вершина!»

Теперь Мао Дунь и другие китайские авторы изопрямуются в обличении советской литературы, а те слова и те пословицы, которые обращались против врагов социализма, обращают против нас. Суровые ревнители «революционного духа» свободно обращаются с фактами и не стесняются в выражениях.

В журнале «Вэньбао» была напечатана статья Ли Чжи, в которой молодые советские поэты объявлены битниками, разложившимися людьми, проповедниками капиталистического образа жизни. Критик утверждает, будто этим настроениям советская общественность и даже партия оказывают поддержку.

Но кто же не знает, что когда отдельные советские поэты проявили субъективистские настроения, коммунистическая партия, наша общественность по-товарищески указали на идейные срывы и ошибки, помогая освободиться от недостатков? Все помнят прошлогоднюю встречу руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией, выступления Н. С. Хрущева и доклады Л. Ф. Ильичева. Все знают также, что для

Б. РЮРИКОВ
КАКОЕ ЗНАМЯ ОНИ ХОТЯТ ВОДРУЗИТЬ?

нашей общественности, именно потому, что она заинтересована в высокой идейности, духовном здоровье искусства, неприемлемы грубость, метод проработки, огульные обвинения, стремление сделать из ошибки или оговорки — преступление. Китайский автор скрывает, что ошибочные настроения отдельных писателей получили у нас вполне определенную оценку. Он раздувает ошибочные тенденции точно так же, как это делает реакционная буржуазная печать, искажающая факты в своих антисоветских целях. Свои портреты он малюет шваброй, применяя одну черную краску. Какой характер носит эта критика, показывает хотя бы такой образец. Прочитав строки из лирического стихотворения молодой поэтессы, в котором есть слова: «Я счастья хочу, я замуж иду!» — китайский критик сурово замечает: «Счастье — это брак, это продолжение своего рода в потомстве. Вот и все, что понимает поэтесса под счастьем».

Критик, видимо, полагает, что счастье любви противостоит общему счастью, общественным интересам. Только хмурые ханжи, догматики в каждом проявлении человеческих стремлений видят нечто противостоящее интересам общества.

Суровый разнос критика из «Вэньбао» заставляет вспомнить такой случай из истории русской цензуры. Лет 140 назад царская цензура запретила лирические стихотворения поэта в переводе В. Н. Олина. Заключение цензуры об этих стихах было по-своему поучительно.

Поэт писал:

Один твой нежный взгляд
Дороже для меня вниманья ^{всей} Вселенной!

Цензор замечает: «Сильно сказано. К тому же во Вселенной есть и цари, и законные власти, вниманьем которых дорожить должно».

Поэт, расчувствовавшись, восклицал:

О, как бы я желал пустынных стран ^{в тиши,}
Безвестный, близ тебя к блаженству ^{приучаться!}

Цензор поучал: «Таких мыслей никогда рассевать не должно; это значит, что автор не хочет продолжать своей службы государю для того только, чтобы быть всегда с своею любовницей; сверх сего, к блаженству можно только приучаться близ Евангелия, а не близ женщины».

Сей ценитель был отделен от светлого мира искусства стенами своего темного невежества и административного рвения. И нельзя не пожалеть, что какие-то черты мрачного охранительства обнаруживаются в ортодоксальных фразах иных критиков.

Мы с законной тревогой наблюдаем за ростом откровенно националистических тенденций в китайской литературе. И здесь искусство поставлено на службу самой дурной политике. Тезис «ветер с Востока побеждает ветер с Запада» развивается и в историко-философских трудах, и в легковесных стихах, исполняемых с эстрады. Пекинские идеологи трубят о «классовом подходе», но вся система их националистических рассуждений — прямая измена революционным классовым принципам марксизма-ленинизма.

Недаром китайские руководители даже партийный гимн «Интернационал» приспособили к своим идеологическим установкам. В тексте гимна, который мы поем, говорится:

Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой.

Во французском тексте написано: «Нет спасителя свыше — ни бог, ни цезарь, ни трибун» («Il n'y a pas de sauveurs suprêmes: ni Dieu, ni Cesar, ni tribun»).

Во французском тексте «Интернационала» звучала идея массового демократического движения, отрицающего раздувание роли личности. В русском тексте опыты борьбы с народническим индивидуализмом помог еще отчетливее выделить эту идею (вместо «ни трибун» — «ни герой»).

Это двуступенное в Китае теперь «усовершенствовались» так:

Никогда не было спасителя Мира,
ничего надеяться ни на богов, ни на императоров.

Упоминание о герое или трибуне, который не может дать избавления, как видим, исчезло после «редактирования» в новопекинском духе.

В инструктивном докладе Чжоу Яна содержатся странные рассуждения о том, что нужно взять, а что отбросить из достижений зарубежной науки и культуры:

«Все то, что мы перенимаем из-за границы, необходимо усвоить и переработать так, чтобы оно обрело наш национальный стиль и колорит, стало нашим достоянием».

Но что значит придать национальный китайский стиль и колорит Шекспиру, Бальзаку, Горькому? Не значит ли это, что оправдан любой произвол, любое извращение понимания произведений искусства и литературы в стремлении «китаизировать» мировую культуру?

И вот мы видим, как «приспосабливаются» произведения классиков. В китайских газетах появляются одна за другой статьи о Горьком. Все они однолинейны, примитивны, поверхностны, во всех повторяется примерно одно: Горький — разоблачитель капитализма, он призвал ненавидеть старый мир.

Горький, стоявший у колыбели социалистического реализма, создал энциклопедию современной жизни, показал в движении, в действии все классы русского общества, идеологию этих классов, общественные отношения, старые и новые силы. Он создал образы русских людей, в которых воплощено все богатство русской жизни, выразил духовные силы народа, творящего революцию. Горьковский герой провозгласил в мрачной духоте старой России: «Человек — это звучит гордо...» Идеи социализма и революции, утверждения и борьбы были для Горького не сверху наклеенным ярлыком, а выводом из широкого и всестороннего познания мира. И вот идеи и образы гениального художника обедняют и используют для пустозвонства и политической трескотни...

Примерно так же изображается и Маяковский. Он обличал американский капитализм — значит, его можно представить чуть ли не сторонником тезиса о капитализме — «бумажном тигре». «Китаизированные» писатели приобрели «стиль и колорит» сегодняшних пекинских крикунов.

Китайские литературоведы работают над «Историей европейской литературы», первый том которой вышел из печати. Сомнений в направлении этой работы нет: авторы ее проникнуты дружным стремлением к вульгарной проработке Боккаччо, Филдинга, Радищева и т. д. В «Гуанмин жибао» написано, что это «первый радостный успех в области критического усвоения иностранного литературного наследия с применением марксизма-ленинизма и идей Мао Цзэ-дуна» (21 июня 1964 года). Но автор статьи Люй Юань-мин все же недоволен сделанным. Недопроботан Филдинг, не объяснена «ограниченность» «Слова о полку Игореве»,

мало сказано о сентиментальности и идеях бездумного наслаждения у Бернса, да и раскрытие отрицательных черт Лафонтена, Ломоносова, Гольдони и других не устраивает критика... Критик взывает: навались, братцы, атакуй генералов-классиков... Что ж, подождем второго тома. Сколько «радостных успехов» еще ждет нас.

Вот, на выборку, несколько оценок, из которых, как растение из зерна, вырастают эти завтрашние успехи:

«Преклонение перед духом Шекспира, Бальзака и других в литературе и искусстве служит спасению капитализма, находящегося при последнем издыхании. Но даже Шекспир не сможет ...приостановить развитие социалистического театрального искусства». (Газета «Цзефан жибао», 21 января 1964 г.)

«Если бы старик Шекспир был жив, он бы подумал так: хотя в моих произведениях тоже содержится нечто реалистическое, но моим произведениям так же, как земле до неба, далеко до драматических произведений китайского народа современной эпохи». (Газета «Вэньхой бао», 5 января 1964 г.)

«Вовсе не случайно, что в поздний период творчества Бетховен из смелого борца превратился в проповедника, занимающегося разглагольствованиями о мире. Мечты Бетховена не могут быть нашими сегодняшними мечтами, звуки его музыки никак не могут быть звуками нашей музыки». (Журнал «Жэньминьнянь», 21 января 1964 г.)

Право, все это было бы смешно, если б не было так грустно...

Недавно критик Ло Да-ган взялся на страницах «Жэньминь жибао» за разъяснение творчества Ромена Роллана. За ним последовали и другие. Великого писателя проработали за мелкобуржуазный гуманизм, обрушились на «жан-крестофство», увидели в его творчестве страшную угрозу для воспитания молодежи, но не увидели в произведениях писателя ни картин народной жизни, ни светлых порывов, ни революционных стремлений.

«Есть и такие, — пишет критик Фэн Чжи, — кто из произведения Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», созданного в эпоху Возрождения, вырывает одну-единственную заповедь Телемского аббатства «Делай что хочешь» и превращает ее в свой собственный девиз...»

Б. РЮРИКОВ
КАКОЕ ЗНАМЯ ОНИ ХОТЯТ ВОДРУЗИТЬ?

Что ж, вероятно, есть и такие читатели в Китае. Но, может быть, им стоит посоветовать глубже разобраться в идеях и образах Рабле? Жизнерадостное свободомыслие Возрождения стремилось не к паразитизму и произволу. Рабле нарисовал сцены жизни, свободной от внешней принудительной регламентации, где все дела ведутся по указанию здравого смысла и разума, соответствуя общему удобству и надобностям. Рабле ведь писал, что свободная, благородная мысль людей отвращается от пороков и толкает к добродетели. Дух Возрождения, дух Рабле бесконечно ближе нам, чем эгоистам, ищущим красивого оправдания своей индивидуалистической узости.

Поговорив о Рабле, Гете, Стендале, Толстом, Ибсене и отметив «негативное влияние» некоторых мотивов их творчества, автор продолжает: «Хотя такое негативное воздействие проявляется среди меньшинства интеллигентной молодежи, но если мы не *пресечем* его и не будем защищаться, то оно сможет получить распространение в определенном кругу и стать *бедствием*, которое нанесет ущерб социалистической революции». Наговорив столько страшных слов, автор, вероятно, и сам испугался... Но это не свидетельствует ни о правоте, ни о силе мысли его.

Наше литературоведение, стоя на позициях историзма, видит в творчестве корифеев литературы и проявления их исторической ограниченности, но сводить все творчество художников к их слабым сторонам, не умея воспринять сильных сторон,— это значит не уважать культуру и не надеяться на собственные духовные силы.

В статье «Водрузим знамя марксистско-ленинской критики», которая упоминалась выше, так говорится о великих критических реалистах прошлого века:

«Писатели такого реализма, как бы прогрессивны они ни были в свое время, по своему мировоззрению всегда принадлежат к системе буржуазной идеологии. Самая родная их сердцу идеология не переходит границ буржуазного индивидуализма и гуманизма».

В сущности, эта «концепция» целиком отдает буржуазной идеологии критический реализм, не усматривает противоречий во взглядах и творчестве великих писателей прошлого, замечает в них элементы отжившего, но не видит зерен будущего. Так оправдывается самое бесшабашное отрицание

наследия. Это вульгаризаторство может повести только к изоляции социалистической культуры от наследия прошлого!

Тот же Чжоу Ян категорически заявил: «На плечи наших историков ложится задача написать всемирную историю с марксистско-ленинских позиций. Нас не может удовлетворять пользование всемирной историей, написанной зарубежными учеными».

Бедная всемирная история, по которой хотят пройти сапогом националистического догматизма! История, переписанная с шовинистических позиций, освобожденная от влияния «зарубежных ученых» (в том числе и марксистов), изуродованная доктринерскими представлениями,— можно представить, каким будет она надругательством над историей и культурой...

У узколобых сектантов нет идей, ведущих вперед, есть шаблоны и догмы, тянущие назад. Их «философия культуры» мрачная, косная и недобрая. Подобному пониманию идейных основ искусства соответствует и *уровень руководства* делом литературы и искусства. Отношение к интеллигенции у китайских руководителей отличается казарменной размашистостью и категоричностью. Фальшивый призыв «Пусть расцветают все цветы» оказался не в состоянии скрыть, что руководство творческими делами осуществлялось и осуществляется приказными солдатскими методами. Но нельзя выравнять культуру, как выравняют воинский строй!

Служение делу социализма помогает собрать под знаменами революции все честное, передовое, близкое народу. Опыт нашей коммунистической партии — это, в частности, опыт борьбы за гворческие кадры, за сплочение интеллигенции в борьбе за дело народа.

Линь Мо-хань так пишет о месте демократических писателей в современной китайской литературе:

«Социалистическая литература должна развивать и защищать социалистический строй, пропагандировать коммунистическую идеологию, и те писатели, те работники искусства, которые не являются социалистами и коммунистами, не обладают коммунистическим мировоззрением, ни в коем случае не могут справиться с этой задачей.. Так называемые попутчики шли с нами в первой демократической революции, одобряли демократическую революцию, но при переходе к периоду социалистической рево-

люции они уже не желают идти дальше, хотят расстаться с революцией».

Линь Мо-хань приводит в качестве примера имя большого поэта Ай Цина. Логика ясна, и логика эта троцкистская: тех, кого китайские руководители называют попутчиками, они легко записывают в число правых, ставших противниками революции. Это почти дословно совпадает с троцкистской постановкой проблемы попутничества. Так оправдывается практика отсечения неугодных.

До сих пор как на средство от идеологических болезней указывается прежде всего на участие в физическом труде. Грубое вмешательство в творческий процесс, пренебрежение к инициативе художника выдается за нечто новое и революционное.

Драматург Лань Чэн так делится в печати «опытом» создания пьесы о положительном герое — коммунисте из народной коммун:

«В начале сентября прошлого года я доложил тезисы пьесы провинциальному комитету КПК. Провинциальный комитет одобрил и помог исправить эти тезисы... При обсуждении тезисов председательствовал лично секретарь комитета, а после обсуждения начальник отдела пропаганды собственноручно помогал править пьесу. Секретари городских комитетов несколько раз созывали собрания, чтобы критиковать пьесу и выдвигать предложения... Ради исправления пьесы товарищи провели немало бессонных ночей, а некоторые в трогательных местах не могли удержаться от слез. Эта бескорыстная помощь воплощает коммунистический дух товарищеской помощи и глубоко взволновала меня. В сравнении с ней я сам оказался отстающим: например, мне было больно, что сокращаются эпизоды, к которым я питал пристрастие. Вначале я смотрел на свое сочинение как на собственного ребенка: самому можно о нем заботиться, а если позаботятся другие, то сердце болит. Потом я отослал этого ребенка в ясли и вначале чувствовал беспокойство, а потом обнаружилось, что о нем позаботились лучше меня, и я совсем успокоился».

Нам, пережившим период культа личности Сталина, особенно ясно, насколько пагубна такая бесцеремонность, такое примитивное представление о процессе художественного творчества, такая обезличенность самого художника!

Ленин выступал против либерального капитулянтства. Вместе с тем он неизменно предостерегал от сектантской узости, от

групповой замкнутости. Он говорил Луначарскому: «Если вы позволите произойти процессу рассасывания наших коммунистических начал, если вы растворитесь в беспартийной среде, это будет величайшее преступление. Но если вы замкнетесь в сектантскую группку, в какую-то касту завоевателей, возбудите к себе недоверие, антипатию среди больших масс, а потом будете ссылаться на то, что они-де мешане, что они чуждый элемент, классовые враги, то придется спросить с вас со всей строгостью революционного закона»*. Это линия, которую партия последовательно осуществляет.

В истории советской культуры мы встречались и с «левацкими», нигилистическими, пролеткультовскими и рапповскими, и с либерально-ревизионистскими извращениями, и с ошибочными представлениями о формах и методах руководства в области культуры, но у нас коммунистическая партия внимательно следила за идеологическим фронтом и в нужный момент говорила свое твердое и мудрое слово. В Китае ныне догматическое и националистическое вульгаризаторство в области искусства стало *официальной политикой*, проводимой государственным и партийным аппаратом.

Но вряд ли можно собрать серьезные силы под таким знаменем!

В Пекине учитывают каждое наше выступление, каждую статью и книгу с критикой догматиков, ведут список, как там говорят, «антикитайских выступлений».

Нам близко и дорого все передовое в китайской культуре и литературе, вклад писателей и художников в сокровищницу мировой культуры. В Китае есть талантливые писатели, артисты и режиссеры, работники кино и изобразительных искусств. Среди их работ есть немало ценного и интересного, но думается о том, насколько больше могли бы они сделать, если бы не давление догматических вульгаризаторских пут.

Будет правильно сказать, что идейная агрессия пекинских националистов и догматиков направлена также против лучших традиций, лучших стремлений китайской культуры и литературы. Наша борьба за идеи интернационализма отвечает глубочайшим стремлениям и интересам самого китайского народа, его деятелей культуры!

* «В. И. Ленин о литературе и искусстве». Москва, Гослитиздат, 1960 г., стр. 676, 677.

Б. РЮРИКОВ
КАКОЕ ЗНАКИМ ОНИ ХОТЯТ ВОДРУЗИТЬ?

Воинствующие враги диалектики выступают не только против теории, с которой они не в ладах; они выступают против самой жизни — многогранной, развивающейся, противоречивой, понять которую нельзя на основе догматических представлений. Они выступают против культуры нового, социалистического мира, ее гуманистического идейного содержания, против широты и новаторской смелости взглядов ее работников и творцов.

Отказавшись от точки зрения научного коммунизма, от революционного опыта социалистических стран, китайские руководители закономерно оказались под влиянием самых отсталых взглядов. Они воскрешают представления домарксистского, примитивного, уравнилельного социализма, сочетающиеся у них с остервенелым национализмом.

Когда Бакунин пытался выдать за революционную истину свои убогие взгляды на будущее общество, на социальную борьбу, на роль насилия, Маркс назвал эти взгляды прекрасным образчиком казарменного коммунизма. Он подчеркнул, что ничего социалистического в них нет и что для разрушительных анархистов характерно доводить «до крайности буржуазную безнравственность» *.

И дальше: «Все мерзости, которыми неизбежно сопровождается жизнь деклассиро-

ванных выходцев из верхних общественных слоев, провозглашаются ультрареволюционными добродетелями» *.

Подавление личности, обеднение духовного мира, нивелировка потребностей человека, отказ от идей гуманизма, националистическая узость и недоверие ко всему, даже прогрессивному, что идет из-за рубежа, — все эти начала способны оказывать только разрушительное действие на развитие культуры. Следует сказать и о том, что левацкое вульгаризаторство способствует росту ревизионизма, создает для него питательную среду, да к тому же используется буржуазно-идеалистическими и ревизионистскими эстетиками в их попытках дискредитации коммунизма.

Так же как Маркс в свое время отмежевался от казарменного коммунизма и вел борьбу с его идеологами и поборниками, научный социализм нашего времени отмежевывается от идеологов казарм и ведет с ними борьбу. Мы боремся за завтрашний день, за всесторонний прогресс культуры, развитие всех ее внутренних сил. Мы спорим с пекинскими теоретиками не по частностям — мы защищаем *коренные интересы* цивилизации, философию социалистической культуры, *ее исторические судьбы*.

И в этой борьбе творческий марксизм победит!

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 18, стр. 416.

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 18, стр. 426.



ПЕНЧО ДАНЧЕВ

ЛИРИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ

(О современной
болгарской поэзии)



Двадцать лет назад, непосредственно после освобождения нашей страны от фашизма, в культурной жизни Болгарии можно было наблюдать волнующее и не совсем обычное явление. На призыв Георгия Димитрова сплотиться во имя строительства социализма с готовностью и энтузиазмом откликнулись почти все болгарские писатели. В жестокие годы фашистского произвола болгарские писатели в огромном своем большинстве сохранили верность демократическим и реалистическим заветам своих великих предшественников — Христо Ботева, Ивана Вазова, Захария Стоянова, Алеко Константинова, Пейо Яворова, Димчо Дебелянова, Христо Смирненского. Решающим в общей демократической и антифашистской ориентации болгарских писателей было огромное влияние, которое оказывала на интеллигенцию Болгарская коммунистическая партия во главе с такими руководителями, как Димитр Благоев и Георгий Димитров.

В первые годы после освобождения от фашизма закалилась и окрепла новая бол-

гарская поэзия, осваивая самые актуальные темы своего времени: борьба партизан, Отечественная война, защита освобожденной родины от притязаний империализма, любовь к советскому народу и советской армии-освободительнице, начало социалистического строительства. Стихи тех лет дышат романтикой, и этот пламенный пафос представляется мне ценным вкладом в нашу новую поэзию. И самое важное — это было хорошее, естественное начало становления молодой социалистической поэзии Болгарии: поэты ощущали внутреннюю потребность создавать произведения общественно значимые, их интимные чувства были неотделимы от их высоких гражданских порывов и стремлений. Позже, в период культа личности, многие из этих благоприятных предпосылок полноценного поэтического творчества в известной степени стали исчезать, хотя и тогда литературный процесс не останавливался и не мог остановиться.

Лирика — один из самых чувствительных барометров, регистрирующих состояние духа в той или иной социальной среде. Ущерб, нанесенный поэзии в период культа личности, меньше всего можно исчислять количеством стихотворений, прославляющих тех, кто не заслуживает прославления. Эти случаи слишком легко поддаются критической оценке. Более серьезен и трудно преодолим процесс обезличивания поэзии. Под обезличиванием я понимаю падение активности, самостоятельности, энергии лирического героя, выхолащивание его образа. Во множестве стихотворений властвовало безликое «мы». Во множестве стихотворений вы можете встретиться с неким условным «я», за которым нет личности, проявляющей свою волю, раскрывающей свое оригинальное видение мира, стремящейся к новым открытиям. Вот эта тенденция к обезличиванию и

Важнейшие явления в современной болгарской прозе освещены в статье Богумира Нонена «Размышления о новой болгарской прозе», опубликованной в № 12 журнала «Иностранная литература» за 1963 год.

явилась самым тяжелым для поэзии последствием периода культа личности.

Во многих поэтических сборниках того времени за напыщенной парадностью вы нередко обнаружите внутреннюю холодность художника — это была поэзия громких слов, а не сильных чувств. В связи с этим укоренилось неестественное противопоставление гражданской и интимной поэзии. Поэты стали относиться к созданию стихотворений на политические темы по случаю каких-либо событий, кампаний, годовщин как к внешнему исполнению гражданского долга. Другое дело — интимная поэзия. Это поэзия настоящая. Узаконена была даже странная терминология: словом «лирика» стали обозначать только интимную поэзию.

Когда у поэта не хватает внутренней убежденности, чтобы смело сказать свое слово, он предпочитает прятаться за описаниями. Одной из неприятных черт наследия того периода является внешняя описательность и объективизм. В тот период тема сама по себе превращалась в фетиш.

Все это следует иметь в виду, чтобы правильно оценить оживление, наступившее в нашей поэзии, некоторые ее серьезные успехи после 1956 года, когда ЦК Коммунистической партии Болгарии во главе с Тодором Живковым выступил против чуждого нашей идеологии, нашим демократическим традициям культа личности.



Я думаю, что наиболее заметные успехи болгарской поэзии за последние годы являются прежде всего результатом раскрепощения лирического «я» в творчестве некоторых наших поэтов. Этот процесс начался среди самых чутких, самых отзывчивых поэтов, обладающих наибольшей творческой зрелостью, наиболее острым чувством времени. Вдохновленные весенним ветром, который веет в нашей стране начиная с 1956 года, они с доверием обратились к своим собственным мыслям и переживаниям. Они решили предстать в своих стихах перед читателем такими, какие они есть в действительности, отбросив те фальшивые эстетические нормы, которые заставляли их изображать себя более прямолинейными, более строгими, большими энтузиастами и большими оптимистами, чем они были на самом деле. Этот акт творческой самостоятельности не привел ни к чему плохому. Оказалось, что, и не становясь в позу непо-

грешимых, наши поэты идейно чисты, что и без ходулей показного оптимизма они достаточно оптимистичны, что, и не накачивая себя искусственным энтузиазмом, они в достаточной мере энтузиасты. И наша поэзия в целом начала становиться не только более разнообразной, но и более мудрой, интеллектуально и эмоционально более глубокой, в большей мере способной понять и воссоздать сложный душевный мир нашего современника, а значит — и более партийной.

Можно назвать немало фактов, свидетельствующих о наступившем в поэзии оживлении. Это — и приход в поэзию молодой смены, и зрелые плоды, которые приносит творчество нашего среднего и старшего поколения поэтов. Я имею в виду неиссякаемую творческую энергию Людмила Стоянова, гражданскую чуткость Елисаветы Багряны и Доры Габе, великолепные книги Николы Фурнаджиева, возвращение к интенсивному творчеству, особенно в области сатиры, Христо Радевского, а также Младена Исаева, неожиданную и радующую нас плодотворность Димитра Пантелеева и т. д.

Особенно убедительными и радостными примерами возрождения лирического героя могут служить, мне кажется, книги Николы Фурнаджиева «По твоим дорогам я шел» и «Солнце над горами», книга Веселина Ханчева «Лирика» и поэма Валерия Петрова «Погожей осенью».

Почему именно Никола Фурнаджиев? Около четверти века незаурядный и самобытный талант Николы Фурнаджиева еле тлел в нашей поэзии. Лет пятнадцать назад, уверенный, быть может, что именно так он и выполнит наилучшим образом свой долг гражданина и художника, он добровольно нарядил свою поэзию в униформу. Прочтите его книгу «Великие дни». Вы найдете там лишь ничтожные следы сильного, оригинального таланта Николы Фурнаджиева.

Некоторые талантливые поэты, позволившие инерции псевдолирики подхватить и понести себя по наклонной плоскости, после этого не нашли уже в себе сил для сопротивления. Фурнаджиев проявил художническую непримиримость, разжег в своем сердце тот священный пламень, который снова привел его в сферу истинной поэзии. В большей части его нынешних произведений властвует своеобразный, жизнедеятельный лирический герой. И пусть этот герой не стал вмещением всех добродетелей, как этого

требовали мы, критики, несколько лет назад. Зато это герой живой, реальный, со своими волнениями и раздумьями — раздумьями человека, гражданина, коммуниста.

(Перевод М. Алигер)

О, надо выстрадать любую вещь, чтоб
она возникла словно в первый раз,
и вспыхнет образ тот, что в сердце вырос,
тревожа слух и поражая глаз.
Пустая раздумий ножевые раны,
пусть размышлений долгие года
врастают в плоть живую, словно шрамы,
и остаются навсегда.

ПЕНЧО ДАНЧЕВ
ЛИРИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ

опыт, замечательный интеллект, глубина и значительность эмоций. Иначе поэту нечего будет сказать читателям, многие из которых по своему интеллектуальному и эмоциональному уровню бесспорно могут оказаться выше лирического героя.

Другим признаком наступившего у нас поэтического оживления является жанровое разнообразие нашей поэзии и, что более важно, — идейная зрелость и мастерство поэтов, работающих в разных жанрах.

Жанровое разнообразие есть результат широкого размаха поэтических исканий. Мыслящий и чувствующий новый лирический герой постепенно начинает обращаться к политическим и нравственным проблемам современности — и вот возрождается и обогащается жанр философской, интеллектуальной гражданской лирики. Новый лирический герой может быть ироничным, насмешливым — и вот вам условие для возрождения юмора в поэзии. Он может быть резок и беспощаден — и вот вам подъем сатиры. Он свободен в выражении своих любовных чувств — вот вам расцвет любовной лирики. Он не скрывает своего восхищения красотой природы — и вы видите оживление пейзажной лирики, и т. д. Для него нет запретных сфер. Он всюду входит властной поступью — активный, умный, сильно чувствующий современный лирический герой.

Разумеется, жанровое разнообразие не должно быть самоцелью. Мы стремимся не к разнообразию ради разнообразия, а к подлинно богатой поэзии, у которой два могучих источника — богатство жизни и идейно-эмоциональное богатство личности поэта.



Большим вопросом для нашей поэзии, особенно для молодой поэзии, несколько лет назад было противоречие между интимными переживаниями и гражданской позицией поэта. Сегодня уже не приходится всерьез говорить о таком раздвоении, хотя следы его порой можно видеть. И интимная, и политическая лирика все больше становятся органичным выражением мироощущения поэта, гражданский пафос все в большей мере окрашивает его интимные переживания.

Некоторые представляют себе процесс исчезновения различий между гражданской поэзией и интимной лирикой как процесс унификации жанров. Но это означало бы обеднение, а не обогащение поэзии. Сближение гражданской поэзии и интимной ли-

рики не следует понимать и как, скажем, растворение любовной лирики в политической, как создание некоего гибридного любовно-политического жанра. Было бы грубым упрощением требовать, чтобы любовная поэзия всегда была политически насыщена и заострена. Однако нельзя считать упрощением, если мы требуем, чтобы политическая, гражданская поэзия всегда была бы в то же время и интимной. У нас есть уже высокие образцы такой политической поэзии, в которую поэт вкладывает свои самые сокровенные личные переживания, и политическая, социальная драма предстает как его личная драма. Примером в этом отношении является предсмертная поэма Пенё Пенева «Дни проверки», где личная судьба поэта проецируется на широкий политический, исторический фон.

«Дни проверки» на первый взгляд произведение декларативное. Но самые прямые утверждения и заявления перестают быть декларацией, если они проходят сквозь горнило сердца и окрашиваются искренним чувством. Поэма Пенё Пенева — это бурный всплеск накипевшей боли, это взрыв тревожных мыслей и переживаний, гневное осуждение прошлого и страстный порыв к осмысленной, чистой, целеустремленной жизни. Поэма написана с таким подъемом, с такой честной тревогой и болью, что даже те места, где поэт выступает от имени эпохи и говорит с будущими поколениями, не производят впечатления нескромности. Нескромно звучат стихи таких поэтов, которые пытаются прикрыть свои мелкие мысли и заботы героической позой и пышными фразами. Произведение Пенё Пенева написано кровью сердца. Эта поэма — трудный итог жизни, беспощадная проверка прожитых дней, прошедших в тревожных метаниях, не раз приводивших этого странного юношу к порогу полного отчаяния и смерти.

Пять лет назад Пенё Пенев трагически погиб. Но ни читатели, ни его товарищи — молодые поэты не могут представить себе его творчество как «литературное наследство». Поэт и сейчас в первом ряду строителей новой жизни.

В этом ключе написаны и некоторые из лучших стихотворений Димитра Методиева, включенные в его недавно вышедшую книгу «О времени и о себе». В таких стихотворениях, как «Песня о поверке», «Монолог в пути», и других, волнение, которого он не скрывает, относится не к «времени» и не к «себе», а к времени, пропущенному

через личность поэта. Между поэтом и современностью нет дистанции. Пафос времени претворяется в неповторимо сильный пафос самого поэта.

То же можно сказать и о некоторых стихотворениях из книги Павла Матева «Родословная». В стихотворениях «Призыв», «Суд», в цикле «Прозрения» Матов не так ораторски пылок, как Методиев. Он более сдержан, лаконичен, склонен к раздумьям, но это ничуть не мешает силе воздействия лучших произведений его книги.

Высокий гражданский пафос характерен и для последней книги Младена Исаева «Зеленое дерево», где особенно интересен цикл революционных баллад.

В новой книге нашей замечательной поэтессы Елисаветы Багряны «От берега к берегу» есть несколько стихотворений, объединенных заглавием «Боянский цикл». На первый взгляд это интимная лирика в самом строгом смысле слова. Но какая социальная значимость заключена в этих произнесенных шепотом исповедях! Багряна часто пишет об отдельных событиях, стройках, поездках за границу, и эта ее поэтическая деятельность нужна и полезна. Но я никогда не ощущал более осязаемо, более зримо, более убедительно ее духовного обновления, ее внутреннего, сокровенного приобщения к молодому миру социализма, ее ненависти к миру прошлого, как в сдержанной исповеди, обращенной к тому, кто годами шел с ней плечом к плечу, кто открыл ей глаза на великие истины жизни.

Книга Доры Габе «Новые стихи» была единодушно отмечена критикой как большой успех на многолетнем творческом пути поэтессы. Душевная ясность, неиссякаемое жизнелюбие, чувство неразрывного единства с людьми, со своим народом — вот наиболее характерные черты этой книги и прежде всего самого зрелого в художественном отношении цикла «Интимное».

Итак, исчезает не различие жанров, не специфика эмоций, а внутреннее раздвоение лирического героя. Лирический герой становится монолитной, цельной личностью. И если, к примеру, в так называемой интимной лирике открывается образ индивидуалиста, антисоциального по сути своей человека, влюбленного в свой маленький мирок, пленника мелких, узколичных, мешанских радостей, которых достаточно, чтобы сделать его счастливым, у меня есть все основания предполагать, что самый пламенный пафос его гражданских заявлений будет

фальшивым, что его социальные построения будут умозрительными, надуманными. Эту фальшь обычно не удастся замаскировать даже утонченным мастерством.

В наши дни все реже появляются внешне патетические публицистические стихотворения. На их место приходит гражданская, политическая поэзия, в создании которой поэт участвует всем своим существом, которая является выражением его собственного эмоционального опыта.

В некоторых статьях и рецензиях иногда проявляется одна неправильная тенденция. Выражая свое вполне оправданное отрицательное отношение к внешнему пафосу и пустой риторике, некоторые авторы обрушиваются на поэзию высокого пафоса вообще. В рубрику стихотворений крикливых попадают и стихи, произнесенные во весь голос. Высказывается мнение, что современная политическая лирика должна иметь более интимное звучание, что политическая идея непременно должна быть завуалирована, должна «подразумеваться», существовать непременно в каком-то подтексте, должна быть упрятана в метафоры. Думается, что такая тенденция неверна. Неверно, будто прямо и громко высказанная политическая идея непременно ведет к внешней декларативности в поэзии. Я не побоялся бы заявить, что существует полноценная, художественная декларативная поэзия, если бы понятие «декларативная» не было бы так скомпрометировано. Дело не в терминах. Под образом в поэзии не следует понимать непременно изобразительный пластический образ. Основной образ поэзии — это образ поэта, лирического героя.

Несколько слов о наших молодых поэтах. Еще недавно число их выглядело весьма внушительно. Но неумолимое сито времени естественного отбора провело среди них в течение двух-трех лет свою беспощадную работу. И как это бывает всегда — уцелели немногие. Об этих немногих и пойдет речь.

В болгарскую поэзию пришли несомненно талантливые и разные по характеру своего дарования люди. Их присутствие, конечно, сказывалось на состоянии нашей литературы. Свообразием своего видения и ощущения современности они внесли в нее

ПЕНЧО ДАНЧЕВ
ЛИРИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ

нечто новое и свежее. Оказалось, что в нашей жизни есть явления, в восприятии которых они проявляют особую чуткость.

Центральная фигура среди молодых поэтов — бесспорно, Любомир Левчев. Левчев современен по ощущению, по восприятию жизни, у него острое чувство ее ритма и стиля, он смело ломает общественные традиции. Это было видно по первой его книге «Звезды — мои» и подтвердилось во второй и третьей его книгах. Образ его лирического героя жизнен и правдив, привлекателен своей постоянной неуспокоенностью, жадным интересом к новой жизни, открыто заявленным оптимизмом.

Владимир Башев — один из немногих «детей города» в нашей современной поэзии. Я отмечаю это потому, что у нас даже среди самых молодых мало поэтов, для которых большой современный социалистический город был бы родным домом, у которых было бы верное ощущение его могучего ритма, его своеобразной красоты и романтики. А в лирике Вл. Башева нет села — даже как воспоминания и мечты, даже как предмета сопоставлений и ассоциаций. Он — современный городской человек по всему своему мировоззрению, по строю мыслей и чувств. Я имею в виду такие стихотворения, как «Встреча», «У вагона», цикл «Шесть стихотворений по заказу моей любимой», «Каштан на тротуаре», «Полуночный дождь», «Вокзал» и другие.

Антиподом Вл. Башева в этом отношении является Слав Хр. Караславов. В группу тяготеющих к городу, к «модерну» молодых поэтов он вошел с каким-то гордым сознанием своей принадлежности к крестьянству, вошел как упорный защитник традиций и в быту, и в поэзии, а в известной степени — и как их пленник.

Чрезвычайно популярен среди молодежи Дамян Дамянов — человек, чья жизненная и поэтическая судьба близка судьбе Николая Островского. Читатели полюбили его за то, что в его стихах, нередко окрашенных страданием, преобладает неизменное жизнелюбие. Сила его поэзии — в готовности бороться с обрушившимся на него несчастьем, в героическом и очень человеческом стремлении к победе над ним, в решимости поэта жить полноценной, полнокровной жизнью — плечом к плечу с людьми.

Константин Павлов — талантливый сатирик, чья книга «Сатиры» вызвала многочисленные и противоречивые отзывы. Главным объектом своей сатиры К. Павлов, как и

большинство наших молодых поэтов, делает самодовольное мещанство, счастливых с вечно спокойными сердцами, которые могут быть до ужаса жестокими в своей притворной наивности («Любопытные»), которые могут дойти в своем эгоцентризме до животного образа жизни («Собачья психика»), до полного разрыва с тем, что делает человека человеком — с мечтой о прекрасном («Крылатые люди»). К сожалению, скептицизм придает некоторым сатирам К. Павлова чрезмерно мрачную окраску, стимает у них точный социальный прищел. Их основная эмоциональная нота — одиночество, а иногда и пессимизм.



Когда поэт перестает быть «молодым поэтом»? Мне кажется, не тогда, когда он переступает порог какого-то предельного возраста, а тогда, когда общественность почувствует, во-первых, что перед ней художник с самостоятельным поэтическим голосом и, во-вторых, что этот поэт — сформировавшаяся личность, по праву занимающая определенное место в литературе.

Я не хочу сказать, что всего этого нет у наших молодых поэтов. Но мне кажется, что кое-чего в этом плане им все же недостает. Я не спешу свалить всю вину на них. Я говорил уже о периоде культа личности, который не способствовал воспитанию смелых, самостоятельных художников. В подобной атмосфере молодые художники без конца остаются несовершеннолетними, недозревшими, опекаемыми, без конца — «молодыми». Наша партия ликвидировала последствия ошибок, допущенных в период культа личности, но пострадавшее в эти годы сознание художников требует более продолжительного лечения. Иногда процесс лечения сопровождается и эксцессами. Мы стали свидетелями не только зрелого, оптимистического самораскрытия лирического героя, но и назойливых выходов мнимодерзкого и явно нескромного «я». Наряду со здоровым протестом против всего отрицательного в жизни мы видим и индивидуалистический бунт одиночки, выступающего с позиций скептицизма. Но скептицизм и пессимизм не могут быть идейно-эмоциональной платформой художников — членов общества, которому принадлежит будущее. Во всех стилях и «почерках» в поэзии должно сквозить мироощущение хозяев жизни.

Известное снижение гражданского ком-

мунистического пафоса, усиление некоторых ложных «новаторских» тенденций в нашей молодой, да и не только в молодой, поэзии последних двух-трех лет явилось результатом недооценки опасности буржуазного влияния и необходимости борьбы против него. Речь Тодора Живкова, произнесенная на встрече Политбюро ЦК БКП с деятелями культуры в апреле 1963 года, помогла преодолеть эти заблуждения. Наши ошибки были указаны в речи Тодора Живкова совершенно недвусмысленно, но в то же время с большим тактом, с пониманием специфики художественного творчества; была отмечена в основном правильная реалистическая направленность социалистической литературы и искусства. Тема новаторства, подлинного и ложного, была одной из основных в докладе Тодора Живкова, она продолжает быть актуальной в дискуссиях и спорах о современной поэзии.

Широко распространено мнение, что новатор — это тот поэт, который смело берется за современную тематику. Говорят, что наша новая действительность сама по себе является новаторской и потому ее художественное отражение, ее поэтическая разработка предопределяют новаторское содержание поэзии. Отсюда — призыв к поэтам знакомиться с новой жизнью, новыми людьми, фактами строительства и т. п.

Все это, разумеется, абсолютно правильно. Плохо, что очень часто мы на этом и останавливаемся. Довольствуясь только этими, несомненно правильными, констатациями, рекомендациями, мерами, мы тем самым тормозим развитие нашей поэзии по пути подлинного новаторства. А факты подлинного новаторства в нашей поэзии, которых постепенно становится все больше, являются, в частности, результатом преодоления этой ограниченной точки зрения, согласно которой тема как таковая признавалась самодовлеющей ценностью, что нередко приводило к поэтическому объективизму, близкому описательству и в конечном счете — к снижению идейного и художественного уровня поэзии. Наша критика, робко атакующая догматизм, все еще не решается заявить в полный голос, что кроме новаторства тематики, объекта существует не менее важное и решающее новаторство видения, толкования, ощущения жизни.

Я совершенно не разделяю опасений тех опекунов поэзии, которые всегда склонны относиться с подозрением к поэтам, прояв-

ляющим особую, обостренную заботу о форме. У нас есть отдельные мастера стиха, но общий уровень поэтического мастерства недостаточно высок. В самой смелой, в самой подчеркнутой заботе о форме нет ничего опасного. Опасность возникает тогда, когда это презирается в заботу *только* о форме или *почти только* о форме, когда за этой заботой мы не видим ни серьезного жизненного опыта, ни высокой гражданской заинтересованности в судьбе человека, родины, коммунизма, ни стремления поделиться этой заинтересованностью с читателем. Опасность возникает тогда, когда поэт стремится прежде всего продемонстрировать мастерство, а не сказать о жизни что-то свое, сокровенное. И здесь проходит граница между новаторством и лженоваторством, граница, которую мы должны знать и охранять. Именно на этой границе и должны стоять посты критики.

До сих пор я говорил главным образом о признаках зрелости, к которой идет наша поэзия. Теперь я хочу сказать несколько слов о явлениях, свидетельствующих, на мой взгляд, о поэтической незрелости.

Признаком поэтической незрелости является дурно понятый интеллектуализм, под власть которого подпали иные поэты среднего и младшего поколения.

Некоторые поэты, многие годы мучившие читателей скучной умозрительностью, теперь вздохнули с облегчением — «интеллектуализм», объявленный стилем нашего времени, дает им право на законном, так сказать, основании нагонять уныние и скуку. Другие поэты боятся выказать свою эмоциональность. И мы становимся свидетелями упорных, комических усилий: прирожденные лирики изо всех сил тшятся выгладеть глубокомысленными философами.

Формой, наиболее подходящей для выражения «интеллектуальных» премудростей, оказался свободный стих. Поэты, в течение многих лет не сумевшие выработать для себя стих сжатый, мастерский, вздохнули с облегчением. Свободный стих дает им право свободно публиковать свою неуклюжую прозу и настойчиво требовать от нас, чтобы мы признали ее поэзией.

И свободный, и белый стих — великолепное поэтическое оружие. Но это коварное оружие. Чтобы превратить не организованную метрически и нерифмованную речь в

ПЕНЧО ДАНЧЕВ
ЛИРИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ

поэзию, необходима большая сила и максимальная концентрация чувства и мысли, предельный лаконизм лирического рисунка.

Некоторые наши поэты, преимущественно молодые, видимо, с трудом представляют себе, как может новаторство сочетаться с использованием классических форм, с нашей поэтической традицией. Происходит это потому, что для них первый признак новаторства — форма. Нет, первый признак новаторства — это душевный строй лирического героя, современность его мыслей и чувств, его идейно-эмоциональное отношение к жизни, к темам, которые он разрабатывает. Если это генеральное условие налицо, поэту открываются широкие возможности формальных решений, в выборе которых будет играть роль его эстетическая эрудиция и поэтическая культура. Тогда исчезнет и недоверие к некоторым великолепным видам оружия формы, выкованным и завещанным нам великими мастерами не для временных целей, а для постоянного и умелого пользования.

В воспоминаниях Младена Исаева о последних днях Николы Вапцарова есть такой эпизод. Вапцарова и его товарищей после страшных пыток приводят в фашистский суд, где они должны услышать свой смертный приговор. «Колё чувствовал, что наступили его последние часы. Но и теперь он не дрогнул. Он протянул мне записную книжку в черном кожаном переплете:

— Возьми это и сохрани.

А в этой записной книжке были новые стихотворения, написанные в дирекции полиции и в тюрьме. В этой записной книжке были его известные предсмертные стихи».

Стихи, написанные между пытками в дирекции полиции, стихи, написанные перед смертью... Когда я думаю о поэзии, о ее сущности, о ее истоках, о ее месте в жизни, борьбе, труде людей, перед глазами у меня всегда встает этот образ поэта — измученный, лишенный надежды снова войти в жизнь, которую он так страстно любил (он написал ведь и песню об этой своей любви!), в камере-могиле, с карандашом в руке он пишет стихи. Писать стихи в такие минуты может только человек, для которого поэзия — не просто сочинение стихов, а великое, единственное средство выполнить свой высший долг перед людьми, перед народом. Какая для этого нужна вера в мощь поэзии, в силу ее воздействия! Да,

поэзия, когда она подлинная поэзия, по значимости своей встает в один ряд с самыми благородными, самыми высокими общественными свершениями. Это сознание высокой общественной миссии поэзии мы встретим у всех ее крупных представителей.

Разумеется, сейчас другое время. До Девятого сентября 1944 года все силы народа, руководимого партией, нужно было сосредоточить, собрать в стальной кулак во имя одной цели — свержения тирании, завоевания свободы. Революционная поэзия занимала ответственное место в этой борьбе. Если мы будем подходить к этой поэзии с точки зрения жанрового разнообразия, мы будем разочарованы. Тогда господствовал один жанр — гражданско-революционный. Поэтическая муза была одета в боевую форму. В «хмурых и коротких» (Вапцаров) стихах наших поэтов не было слез, вздохов, сомнений, потому что — пусть в груди у них билось нежное сердце — коммунисты в борьбе должны были быть неумолчны не только к врагам, но и к самим себе. Долгу коммуниста они умели подчинить и чувство к любимой, и тоску по родному дому, и нежную материнскую и отцовскую привязанность к детям. Во многих сердцах разыгрывались потрясающие драмы, но глаза оставались сухими и строгими, а губы — сурово сжатыми.

И сейчас существует два фронта, и сейчас необходима зоркость взгляда, мобилизация сознания и воли, но все-таки на нашей родине картина теперь другая — кипит мирный труд, строится социализм, о котором столько мечтали и ради которого припесли столько жертв, создаются смелые планы коммунистического будущего.

Другое сейчас время и для поэзии. Сейчас уже трудно характеризовать ее задачи в жизни одним только призывом, брошенным когда-то Маяковским: «В наши дни писатель тот, кто напишет марш и лозунг!». Наша современная поэзия смело входит во все сферы жизни — всюду, где работают, мечтают, радуются, страдают, любят люди современной Болгарии. Поэзия входит в глубину их сердец и умов, отображая их психологию, их духовный мир. Поэзия должна это делать, если она хочет идти в ногу с жизнью, быть правдивой эмоциональной летописью нашего сложного, трудного, но величавого и героического времени.

г. София





ГУМАНИЗМ СБЛИЖАЕТ НАРОДЫ

С 8 по 10 июня 1964 года в Москве, в помещении Центрального Дома литераторов, проходил семинар по изучению и переводу литератур стран Азии и Африки, организованный редакциями журналов «Вопросы литературы» и «Иностранная литература». Для делового разговора встретились писатели, ученые, литературоведы и критики, преподаватели высших учебных заведений, переводчики, работники издательств. Среди участников семинара были видные советские писатели Казахстана и республик Средней Азии, рассказавшие об опыте своих литератур и о переводах на языки своих народов произведений писателей стран Азии и Африки.

Особый интерес работе семинара придавало то обстоятельство, что в нем приняли участие зарубежные гости — писатели из стран Азии и Африки, находившиеся в те дни в Москве по случаю шевченковских торжеств или приурочившие свой визит в Советский Союз (согласно существующим планам культурного сотрудничества) ко времени работы семинара. Выступления гостей, видных писателей и деятелей культуры азиатских и африканских народов, превратили заседания семинара в широкую дискуссию за «круглым столом» по насущным проблемам литературного и культурного развития стран Азии и Африки.

Мы печатаем в этом номере краткое изложение материалов семинара, открывшегося выступлением главного редактора журнала «Вопросы литературы» В. Озерова. Речи приводятся по живой записи, в сокращенном виде, частично в изложении.

В. ОЗЕРОВ (СССР)

— Мы собрались для делового разговора. Он носит довольно скромный характер: это не широкий международный форум, не официальная многолюдная конференция. Это семинар, дающий его участникам возможность в свободной, непринужденной обстановке обменяться мнениями по конкретным вопросам развития литературы, ее изучения, перевода, издания в Советском Союзе.

У семинара есть и определенные практические цели: мы хотим, чтобы обмен мнениями, который произойдет здесь, помог нам определить, что следует публиковать из художественных произведений писателей стран Азии и Африки в журнале «Иностранная литература», какие статьи об актуальных проблемах этих литератур подготовить для журнала «Вопросы литературы».

В решении этих проблем исключительно большая роль принадлежит взаимной информации. Хорошо поставленная информация преследует две цели. Первая — лучше узнать друг друга. Нам интересно послушать о том, что делается в литературе каждой страны. В свою очередь, советским литераторам тоже есть о чем рассказать — достаточно напомнить, что в Советском Союзе переводятся произведения с 47 афро-азиатских языков, до 1000 названий в год.

Вторую цель информации — служить взаимообогащению культур — мы осуществим, подробно и откровенно излагая существующие взгляды на те проблемы, которые важны для отдельных литератур и имеют общезначимый характер.

Плоды же свои информация принесет тогда, когда будет содействовать дальнейшему улучшению контактов. А я уже говорил, что это и есть практическая задача нашего семинара.

Некоторые из проблем, представляющих интерес для семинара, хотелось бы назвать и кратко охарактеризовать уже сейчас. Разумеется, обсуждения заслуживают и многие другие вопросы, их круг может быть в ходе семинара расширен и уточнен.

Судя по печати многих стран, сейчас всюду обсуждается проблема — искусство и общественный прогресс.

Этому есть, конечно, историческое объяснение: повсеместно наблюдается стремление народов к новой жизни, происходит освобождение стран от ига колониализма, от национального и социального угнетения. Новое в жизни определяет новые черты в литературе. Каждый из присутствующих может без труда назвать новые темы и образы, навеянные в их литературах переменами в жизни народа. Каждый может рассказать об идеях мира, прогресса, свободы, которые легли в основу многих художественных произведений. Дух гуманизма, мира, дружбы составляет поэтический пафос литературы, достойной называться подлинно народной.

Отсюда — ответ на вопрос о том, какую роль играет искусство в борьбе за мир, за будущее человечества, за социальный прогресс. Народность, идейность — высшие достоинства передовой литературы; теории искусства для искусства — удел людей, далеких от борьбы за свободу и счастье народа. Отсюда — и ответ на вопрос о роли и месте художника в современном мире, в труде и борьбе его народа. Сама история включает его в ряды борцов за новую жизнь, ее активных строителей.

Наши журналы часто помещают материалы, показывающие высокое общественное предназначение искусства, благородную роль писателя как гражданина, борца за мир, свободу, социализм. При этом нам кажется совершенно необходимым писать и о закономерностях развития самого искусства, изучать его специфику, обращаться к творческой индивидуальности писателя. Да и как же иначе: ведь невозможно глубоко разобраться в вопросах искусства, если игнорировать его общественные функции или же пренебрегать его спецификой, становиться на путь схематизма.

Для платформы двух наших журналов, как и других печатных органов Советского Союза, характерно стремление постоянно и последовательно подчеркивать неразрывность социального содержания в литературе, ее революционного пафоса, ее высокой художественности.

Бурный подъем литературы народов Африки и Азии, ищущей новые пути развития на основе служения общественному прогрессу, надо думать, вносит немало интересного в понимание затронутого вопроса. Мы будем очень благодарны тем, кто захочет принять участие в его обсуждении.

Нам казалось целесообразным обменяться мнениями и по другой проблеме — традиции и новаторство. Эта проблема опять-таки имеет непосредственное отношение к историческому и эстетическому опыту народов, к переменам в их жизни, заставляющим задуматься и о культурном наследии, которым уже располагает народ, и о новых формах, жанрах, художественных средствах.

Социальное, историческое значение этой проблемы очевидно. Все, кто о ней пишет, обычно обращают внимание на ее связь с национальной историей, накопленным веками художественным опытом. Это относится и к советской литературе.

Наша литература многонациональна. Она создается на 56 языках народов СССР, имеет богатейшие национальные традиции, яркие и своеобразные поэтические системы. Развивая свои традиции, советские национальные литературы идут по пути взаимодействия и взаимного обогащения. У них все отчетливее проявляются многие общие черты, рассказ о которых может представить интерес. Наверное, о процессах, происходящих в других странах, мы также услышим в дни семинара.

Проблема традиций и новаторства вызывает нередко споры в методологическом плане. Они идут чаще всего по двум линиям.

Во-первых, рассматривается вопрос о взаимоотношениях традиций и новаторства. Встречаются иногда статьи, в которых они противопоставляются друг другу. При этом кое-кто третирует классическое наследие. В других случаях появляется недоверчивое отношение к новаторству. Не скрою, что такое противопоставление не встречает поддержки на страницах журналов «Вопросы литературы» и «Иностранная литература». Нам ближе другая точка зрения: новаторство неотделимо от традиций, прогрессивная традиция — непрерывная цепь творческих открытий художников-новаторов, которые потому и стали выразителями определенных традиций, что смело искали и находили новые пути в искусстве.

Во-вторых, при обсуждении этой проблемы делаются естественные попытки разобраться, о какой же традиции идет речь (ибо есть и прогрессивные и реакционные традиции), о каком новаторстве (ибо есть новаторство истинное, связанное с новым в жизни, и псевдоноваторство). Видимо, особенно важна конкретность рассмотрения определенных традиций, путей их развития, взаимоотношений их с новаторскими иска-

ниями художников. Вот почему мы многого ждем от обмена мнениями на сегодняшнем семинаре.

Следующая проблема: фольклор и литература.

В современной критике и литературоведении часто дискутируется вопрос об истоках и путях дальнейшего развития литератур.

В некоторых работах встречаются любопытные суждения о становлении тех литератур, которые вырастают непосредственно из народно-поэтического творчества, не имея широких литературных традиций в прошлом, а также о развитии литератур, продолжающих поныне испытывать сильное воздействие тем и образов фольклора. Это воздействие порождает своеобразный художественный синтез, и разобраться в его особенностях, отличительных чертах — задача, интересная для художника, литературоведа, критика.

О том, что этот синтез привносит новое художественное качество, мы можем судить на примере некоторых советских литератур. До Октябрьской социалистической революции 1917 года некоторые наши литературы (абхазская, аварская, бурятская, дунганская, каракалпакская, лакская, ряда народов Севера) вообще не имели письменности. Литературы Казахстана, Киргизии, Туркменистана не знали прозы и драматургии. За годы советской власти они как бы перепрыгнули через несколько этапов культурного развития и приобщились к современному эстетическому опыту. И теперь это очень своеобразные литературы, продолжающие свои традиции, в том числе фольклорные, и в то же время органически включившиеся в общий поток единой социалистической культуры страны. Их мастера создали оригинальные прозаические произведения. В нашем семинаре участвует молодой киргизский писатель Чингиз Айтматов. Это автор нашумевших повестей, его вещи заинтересовали читателей всего мира, Луи Арагон отнес их к высшим достижениям современной литературы. И вместе с тем в них можно найти творчески трансформированные народнопоэтические мотивы, они очень колоритны, как образцы именно киргизской литературы.

Словом, позитивный опыт литератур, идущих таким путем, велик. Но кое о чем всё еще горячо спорят.

Появляются работы, авторы которых вообще снимают вопрос о развитии фольклорных традиций в условиях современного содружества с письменной литературой. Они отстаивают примитивизм, будто бы являющийся образцом для художественного развития.

Появляются и работы, авторы которых в памятниках фольклорного творчества усматривают первобытные и якобы извечно необходимые образцы модернизма, декадентского искусства. На него и ориентируют они молодые литературы. Думаю, ни для кого из собравшихся не секрет, что редакции наших журналов связывают судьбы литератур с иным направлением — с реализмом, отображающим правду жизни, изменения в ней, развитие ее. Вершина мирового художественного развития — социалистический реализм. И фольклор для нас дорог народностью своих основ, близостью к живой жизни. В этом — благотворность тех истоков, которые получает литература в народном поэтическом творчестве и которые надо беречь и творчески развивать, обогащать современным опытом.

Следующая проблема: новые средства распространения культуры.

В странах, о которых мы говорим, наряду с литературой все большее распространение получают кино, радио, телевидение. Нам стоило бы обменяться мнениями о том, что они несут культурному развитию.

Есть и такое мнение, что массовые средства распространения культуры, в особенности радио, кино и телевидение, грозят неисчислимыми бедствиями. И культуру они будто бы понижают, и от чтения отвлекают, и литературе враждебны.

Так ли это? Не заключается ли дело в другом — в том, чему и кому служат эти средства? Если интересам буржуазной рекламы — они действительно не имеют ничего общего с культурой. Если высоким гуманистическим идеям — в них открываются новые возможности.

Эти возможности связаны с исключительной массовостью обслуживаемой аудитории. Ведь радио и кино понятны даже неграмотным, которых еще немало в десятках стран мира. К тому же они обладают огромной силой выразительности, эмоционального воздействия.

Возможности новых видов культуры и искусства не являются угрозой литературе, как думают иные, а предполагают широкое использование художественного слова. Литература — первооснова киносценария и телевизионного фильма. Мы проанализировали характер радиопередач в Советском Союзе, и выяснилось, что около 80% их основано на литературном материале, на писательском слове.

Если то, о чем я говорю сейчас, не исключение, то литераторам, собравшимся здесь, найдется что сказать о своей роли в освоении и совершенствовании всех форм и средств донесения культуры до масс.

Итак, взаимный опыт — отличный критерий решения любой проблемы художественного развития. Он, этот опыт, сам является предметом пристального изучения. Проблема литературных связей, влияний, взаимодействий издавна привлекала и писателей и ученых. Ее, в свою очередь, следовало бы обсудить на семинаре.



В зале заседаний

Разработка проблемы взаимосвязи культур заметно продвинулась вперед за последние годы. В Советском Союзе в итоге прошедших дискуссий выпущены специальные сборники. Известно, что и в других странах вышли содержательные исследования.

По-разному решается эта проблема. Но лучшие работы объединяет одна особенность: они противостоят попыткам разделить культуры, представить их изолированными, враждебными друг другу. Глубоко реакционны, на наш взгляд, попытки противопоставить Запад и Восток, разгородить их непроходимым барьером.

Вековые связи и взаимовлияния, прослеженные крупнейшими учеными авторитетами различных стран,— наглядное опровержение изоляционистских националистических теорий. Но как осуществляются эти связи, особенно в современной обстановке,— на эту тему еще предстоит говорить не один раз. Мы были бы рады услышать мнение собравшихся о том, как лучше и основательнее вести этот разговор здесь, а затем на страницах наших журналов, имея в виду публикацию и художественных произведений и теоретических работ.

Когда эта тема возникла при выработке программы наших журналов, многие литераторы подчеркивали: речь наверняка будет идти не о таких «связях», которые означают подавление, нивелировку национальной культуры, что характерно для политики колониалистов, а о таких, которые как бы проявляют все лучшие возможности данной культуры и способствуют творческому взаимодействию и взаимообогащению литературы.

Жизнь вновь являет характерные примеры.

До Октября 1917 года народы среднеазиатских республик Советского Союза были изолированы от мировой литературы. Октябрь познакомил их с лучшими достижениями художественного творчества всего мира. Что же произошло в результате? Ничуть не уменьшилось многоцветье литератур, ничуть не потеряна их национальная специфика. Наоборот, знание мирового опыта придало новую окраску, новые цвета богатой палитре национальной культуры. Вот лишнее свидетельство тому, что истинно творческое взаимодействие — это синоним взаимного обогащения литератур. Нет нужды напоминать, что такой подход всего ближе и симпатичнее нам, интернационалистам.

Ныне литературы все шире вовлекаются в общий культурный обмен. Этот обмен не должен вести к нивелированию какой-нибудь из них. При справедливом и уважительном отношении к художественным ценностям, созданным народами, ни одна из литератур не будет утрачивать своего лица, не будет недооцениваться. Мы исходим из того, что нет литератур малозначительных, неинтересных, что каждая значительна и неслучайна. И цель наша — донести до советского читателя ее неповторимое обаяние, раскрыть ее место в общем процессе литературного развития.

Товарищеские, деловые связи деятелей литературы, одним из проявлений которых является наш семинар,— путь к такому культурному взаимообмену.

А залог его успешности — господство духа дружбы и взаимопонимания. Хочется верить, что все мы едины в неприятии идеологии войны, неприязни и вражды между народами, в осуждении реакционной пропаганды.

Ведь слово — тоже дело. Слово вражды приносит огромный вред. У киргизского народа есть характерный афоризм. Против каждой злой силы есть средство. Огонь тушат водой, яд — лекарством, горе — терпением. Нет средств только от огня злобы и вражды. И, наверное, глубокий смысл заключен в древних представлениях индусов,

у которых было понятие *кармы* — вселенского механизма, карающего за зло, брошенное в мир не только в форме поступков, но и в виде злых мыслей.

Этим словам и мыслям — не место во взаимоотношениях народов, прогрессивных писателей.

Мы можем о многом спорить, многое искать, но всего важнее, чтобы в нашей среде господствовало стремление к взаимопониманию, к готовности своим словом нести людям светлые, благородные идеи мира, дружбы, прогресса.

МИРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ (СССР)

От имени таджикских писателей Мирзо Турсун-заде приветствует участников семинара.

— Дорогие друзья,— говорит он,— сегодня индийский народ прощается с прахом своего великого премьера Джавахарлала Неру. Мы особенно чтим память Д. Неру, потому что он был большим другом писателей. В своей книге «Открытие Индии» он высоко и достойно оценил наследие великих классиков индийской литературы, он ярко рассказал об истории культуры Индии, он донес до нас прекрасные строки индийской поэзии и прозы. В 1956 году, когда в Дели проходила первая конференция писателей стран Азии, премьер-министр Джавахарлал Неру участвовал в заседаниях и лично приветствовал участников конференции. Советский народ,— продолжает Мирзо Турсун-заде,— скорбит о смерти премьера великой азиатской страны, который всю жизнь боролся за свободу и независимость своей родины, за дружбу между всеми народами.

По предложению Мирзо Турсун-заде участники семинара почтили память Джавахарлала Неру вставанием.

СУНИТИ КУМАР ЧАТТЕРДЖИ (Индия)

В начале своего выступления старейший участник семинара, видный индийский ученый-филолог Сунити Кумар Чаттерджи сердечно благодарит Мирзо Турсун-заде за добрые слова, которыми он почтил память Джавахарлала Неру.

— Мы надеемся,— говорит С. К. Чаттерджи,— что принципы, за которые боролся Неру, восторжествуют в нашей стране. Он был интернационалистом в подлинном смысле этого слова, противником расовой дискриминации и любых форм угнетения. Мы надеемся, что дружба между Советским Союзом и Индией будет развиваться и впредь, и мы будем сообща работать для укрепления дела мира.

Оратор высоко оценивает значение семинара и приветствует возможность встретиться в Москве с друзьями и коллегами из многих стран мира.

— Советское государство,— продолжает он,— с самого начала своего существования по-новому подошло к основным проблемам жизни, к проблемам мышления и культуры, действия и политики — применительно ко всему миру вообще и к странам Азии и Африки в частности.

Основной чертой этого нового подхода, по мнению оратора, является то, что наряду с ценностями политическими учитываются ценности человеческие.

Затем С. К. Чаттерджи останавливается на необходимости изучения культуры прошлых веков, без чего, по его убеждению, невозможно строить культуру сегодняшнего дня и смотреть в будущее.

— Одно поколение,— говорит он,— передает факел другому, и долг писателей любой страны — сделать так, чтобы все значительное и полезное из наследия прошлого не оказалось забытым. Мы должны хранить и знать все лучшее в достижениях мировой литературы.

Проф. Чаттерджи говорит о единстве национального и интернационального в культуре каждой страны.

— Лишь тот человек истинно интернационален, кто глубоко национален. Человеческие ценности везде одинаковы, и чем глубже человек чувствует их в своей родной среде, тем больше он привлекает к себе людей из других стран.

Чаттерджи выдвигает далее тезис о том, что деятель литературы должен стоять выше предрассудков любого толка, его идеалы возвышаются над эфемерностью будней, он должен обладать способностью видеть нечто большее, чем просто факты. С. К. Чаттерджи вспоминает в этой связи выражение Ромена Роллана — находиться «над схваткой».

— Я совершенно уверен в одном: важнейший долг писателя, живущего в обществе, которое в течение веков находилось в дремотном состоянии и не шло в ногу с временем,— разбудить свой народ и помочь ему встать на путь прогресса, чтобы догнать народы, идущие в авангарде. Писатель в «отсталых странах» должен «осовременить» собственное сознание, а затем своими книгами помочь «осовременить» сознание своего народа... Настоящий писатель, достойный своей профессии, должен быть человеком

мыслящим и иметь доброе сердце. Если он не может получить достаточно духовной пищи в своей среде, он обязан расширить свои горизонты путем изучения и освоения культуры других, более развитых народов.

Далее оратор говорит о значении европейского наследия для литератур Азии и Африки. На примерах из истории культуры древней Греции и античного Рима, европейского Возрождения и литератур Востока С. К. Чаттерджи показывает многообразие и богатство культурных взаимосвязей и взаимовлияний.

— И вот на протяжении веков взаимосвязей, компромиссов, а главное — борьбы, в которой местное население стран Азии и Африки защищало свои национальные жизненные интересы от натиска колонизаторов и империалистов, в этих условиях среди народов Азии и Африки, как передовых, так и отсталых, попадавших под прямое или косвенное влияние Европы, развилось то, что можно назвать «европейским наследием».

Привлекая материал истории Индии, С. К. Чаттерджи говорит о благотворном воздействии современной науки, философии, искусства, пришедших на его родину благодаря английскому языку и английской системе образования. Оратор говорит о попытках некоторых индийских и европейских деятелей свести на нет влияние европейского наследия путем борьбы против английского языка, и эти попытки он оценивает как шовинистические, идущие во вред индийской культуре.

Однако, говоря о влиянии европейского наследия на национальные афро-азиатские культуры как о факторе благотворном, С. К. Чаттерджи предостерегает против нигилизма в отношении национальных корней в культуре каждого народа.

— Нельзя допустить, — говорит он, — чтобы поток европеизма (или, того хуже, американизма) унес с собой основы национальной культуры народов Азии и Африки, особенно в странах, где народы еще не обладают развитым культурным наследием. Каждому, даже малому народу свойственны свои ценные культурные особенности, ни один народ не вошел в семью человечества с пустыми руками.

— И пусть африканские писатели, — говорит он, — которые вынуждены писать по-английски или по-французски, никогда не забывают наследия родной африканской культуры... Африка будет самой собою, а не слабым отголоском Европы, но лишь в том случае, если в ее литературе наиболее полно отразится ее собственный стиль мышления и жизни и если в рамках этого национального стиля в полный голос прозвучат основные человеческие принципы.

Великая симфония всех рас человечества не может быть полной, — говорит в заключение С. К. Чаттерджи, — если хоть один голос или инструмент молчит или не играет в такт со всем человечеством. Особую ответственность за это несут писатели всего мира, и особенно тех стран, где народ еще ищет самого себя или стоит перед угрозой себя потерять.

ХАМИД ГУЛЯМ (СССР)

Большую часть своего выступления узбекский писатель Хамид Гулям посвящает вопросам связи литературы с жизнью, с современностью.

— Когда мы говорим о нашей литературе, когда мы пишем свои стихи, романы, пьесы, мы прежде всего видим перед собой нашего читателя. Необычайно расширились духовные запросы человека 60-х годов двадцатого столетия, человека, который понимает глубинные процессы развития общества, который хочет видеть в литературе свою жизнь, жизнь своего поколения, жизнь своих современников — и у себя в стране, и во всем мире. Утоление этой духовной жажды советский читатель находит не только в родниках своей национальной культуры, он хочет и имеет возможность пользоваться благами прогрессивной культуры всего человечества.

Далее Хамид Гулям рассказывает о том большом пути, который прошла за годы советской власти литература узбекского народа.

— Я приехал, друзья, на этот семинар, — говорит он, — из Ташкента, города писательской интернациональной дружбы, древнего города, который переживает свою вторую молодость. Один из крупнейших городов Советского Союза, Ташкент, как зеркало — если вспомнить строки бессмертного Алишера Навои, — как зеркало, отражает творческую жизнь. Я мог бы говорить о Ташкенте индустриальном, о Ташкенте рабочего класса, о городе — кузнице кадров современной техники, о городе — светочее гуманистических идей, где родилась дружба писателей Азии и Африки. Но я ограничусь только рассказом о Ташкенте — городе национальной узбекской литературы.

Хамид Гулям рассказывает об огромном скачке, который сделала за годы советской власти его родная культура. До Октября узбекская литература почти не имела своей национальной художественной прозы, драматургии, не было литературоведения и критики. Все нынешнее богатство и разнообразие жанров, весь реалистический размах узбекской литературы — это плод советской эпохи, плод социалистического строительства.

— Теперь узбекская советская литература идет в ногу со всеми литературами братских советских народов, она правдиво изображает трудовой подвиг народа, дает художественное воплощение проблем современности.

Хамид Гулям рассказывает участникам семинара о двух новых романах, характеризующих, по его мнению, творческие достижения реалистической узбекской прозы. Это роман Шарафа Рашидова «Могучая волна» и роман Аскада Мухтара «Время в моей судьбе».

— Роман «Могучая волна» посвящен событиям 1943 года, — говорит Хамид Гулям, — когда советские народы сражались против фашизма, а тыл был превращен в кузницу оружия для этой борьбы. Ш. Рашидов показывает, как закалялись в этих трудных битвах душа и воля его героя, родного брата героев Николая Островского и Александра Фадеева, молодого человека, который мужает в борьбе и к концу книги превращается в подлинного героя современности.

Каждая из трех поэм в прозе Аскада Мухтара, составляющих роман «Время в моей судьбе», рисует жизнь героя на разных исторических этапах, пройденных его советской родиной, с довоенных лет, через годы войны и до нашего времени, когда герой участвует в послевоенном строительстве, затем едет в ОАР, на строительство высотной Асуанской плотины. В непрестанной борьбе, в труде и сражениях за счастье народа он находит свое счастье.

Далее Хамид Гулям говорит о том, какое значительное место в литературе Узбекистана занимает тема международной солидарности трудящихся.

— Побывав в странах зарубежного Востока, — говорит он, — наши писатели-узбеки написали ряд интересных книг о людях Пакистана, Индии, Алжира, Кубы, Цейлона, многих других стран, и они полны сердечной любви и глубокого уважения к братским народам. Большой популярностью пользуется, например, поэма «Состязание поэтов», которую написала после конференции 1956 года Зульфия; поэтесса зовет поэтов всех стран объединиться против угрозы войны.

Оратор останавливается также на вопросах перевода и издания в СССР литературы Африки и Азии. Многие произведения переводятся на узбекский язык непосредственно с языка оригинала (с хинди, урду, фарси, арабского и др.). Хамид Гулям говорит об огромной роли, которую играет для узбекских переводчиков русский язык — этот мост между культурами разных народов, эта дорога к сердцу людей.

— Наш нынешний семинар, — говорит в заключение Гулям, — открывает для нас много книг, много литературы, о которых мы еще недостаточно знали. Это поможет нам в нашей работе по переводу и изданию этих книг. Мы будем счастливы, если и наш скромный опыт пригодится для лучшего ознакомления читателей стран Азии и Африки с советской литературой.

Хамид Гулям выразил пожелание, чтобы на страницах журнала «Иностранная литература» время от времени происходили своеобразные «мушаиры» — встречи-состязания поэтов разных стран, печатались циклы стихов разных поэтов на одну и ту же тему.

ДЖОН ОКАЙ [Гана]

Молодой ганский поэт Джон Окай сказал:

— В 1866 году на язык одного из ганских племен была переведена Библия, примерно в то же время на язык другого племени был переведен Шекспир и даже рассказы Толстого. Это было давно. Теперь мы — современная Гана, Гана, а не Золотой Берег, и у нас есть литература, которая выражает и отражает нашу современную жизнь. В поэзии Ганы можно увидеть, с каким увлечением и интересом относятся поэты к большим и важным идеям, общим для всего человечества, к темам интернациональным — и к темам национальным, африканским.

Характеризуя специфические проблемы, стоящие ныне перед литературой его родины, Джон Окай говорит о богатейшем фольклорном наследии — литературном, музыкальном, песенном; это наследие, по его убеждению, необходимо использовать в литературном творчестве. Джон Окай приводит слова известного ганского поэта Дей-Ананга: «Так как сам я учился во времена, когда все африканское, в силу колониальных законов, угнеталось и контролировалось, я многое потерял в познании красоты и совершенства нашей традиционной поэзии, и это усугубилось еще тем, что я долгое время, с первых своих выступлений в печати, писал на иностранном языке. Но новым поколениям ганского народа не придется испытывать это унижение. Они должны петь подлинными голосами Африки, на родном языке, чтобы сохранить для потомства красоту и живость музыкальной каденции традиционной поэзии». Вслед за тем оратор подробно останавливается на сложной для африканского писателя проблеме языка. В своей книге «Разум Африки» ганский философ Уильям Абрахам говорит о том, что литераторы, пишущие по-английски или по-французски, обращаются к читателю европейскому или к образованному африканскому читателю — читателю космополитическому. Чтобы быть понятым читателями специфически африканскими, писатель, даже пишущий на английском языке, должен вносить в свои произведения элементы народных диалектов, характерных африканских речений, национальную идиоматику. Такого рода особенности, охватывающие не только язык, но и сюжетно-композиционную сферу, могут сделать современную африканскую литературу на европейских языках литературой истинно африканской. Можно писать в стихах и о снеге — но что скажет

образ чистого белого снега обычному африканцу? Этот образ не пробудит в нем той мысли, которую надо пробудить.

Д. Окай говорит, что благодаря культурной революции в программы ганских учебных заведений вводится изучение национальных африканских литератур.

— Это очень важно для культурной революции в Африке, ибо, завоевав политическую независимость, мы должны осуществить духовное освобождение народа. Кроме того, мы, писатели Ганы, хотим в своих произведениях не только раскрыть для всего мира мир Африки, но и раскрыть перед другими африканскими народами дух и характер народа Ганы. Этого не добьешься решениями парламента, это могут и должны сделать своими книгами писатели.

Гана хочет идти по социалистическому пути,— говорит Джон Окай,— правительство содействует повсеместному развитию культуры в стране и в частности — литературному прогрессу. В Гане ширится борьба с неграмотностью. Образование у нас снизу доверху — бесплатное.

Д. Окай выражает уверенность, что победа над неграмотностью даст национальной ганской литературе нового, африканского читателя, и литератор обретет нормальные условия для творчества, ему не придется, изображая Африку, без конца все разъяснять иностранному читателю, он сможет писать о том, что понятно его соотечественникам, что их волнует и заботит. Джон Окай рассказывает о том, что в Гане создается большое национальное издательство, скоро в стране будет свое телевидение. Ближайшая задача ганских писателей, говорит он,— создание национальной драматургии.

— Нас, писателей Ганы, живо волнуют вопросы культуры; что касается «культуры» империализма, о ней лучше всего сказать словами: «смерть культуры».

В заключение Джон Окай заверяет собравшихся, что ганские писатели осознают свою высокую ответственность, что они окажутся достойными своего народа и его богатейшего культурного наследия.

ХУСАМУДДИН РАШИДИ (Пакистан)

Пакистанский писатель Хусамуддин Рашиди передает сердечные приветствия участникам семинара от литераторов своей страны. Он подчеркивает, что темы, поставленные на обсуждении, важны для народов и для культуры стран Африки и Азии.

Хусамуддин Рашиди говорит далее о том, что народы Африки и Азии являются наследниками древнейшей цивилизации. Археологические данные свидетельствуют об оживленных культурных связях, существовавших между этими народами еще в доисто-

В перерыве между заседаниями. Слева направо: Атия Хусейн, Хусамуддин Рашиди, Верды Кербабав, Чаудхури.



рические времена. Однако, по мнению Рашиди, еще очень мало сделано для улучшения культурного общения между странами Азии и Африки в наше время. Многие страны афро-азиатского мира мало знакомы с классическим и современным интеллектуальным развитием друг друга. В Пакистане хорошо знают литературу стран турецкого, персидского, арабского языков, но еще весьма недостаточно знакомы с культурой Японии, Китая, Юго-Восточной Азии, почти всей Африки не арабских языков.

— Мы полагаем, что дело перевода должно приобрести больший размах, чтобы исторические источники на разных языках афро-азиатских народов стали широко доступны для всех. Необходимо также, чтобы все страны Азии и Африки организовали при своих университетах кафедры по изучению истории обоих континентов. Пакистан уже предпринял такие шаги. Нужен также обмен преподавателями, студентами, писателями. Мы надеемся, что наши зарубежные коллеги создадут в своих странах условия для изучения пакистанских языков.

Хусамуддин Рашиди отмечает, что среди стомиллионного населения его страны велик интерес к интеллектуальным проблемам, стоящим ныне перед человечеством. Интеллигенция Пакистана хочет знать все больше о том, чем живут ее коллеги в афро-азиатском мире, хочет, чтобы развитие пакистанской мысли также стало известно в этих странах. Союз писателей Пакистана будет с нетерпением ждать результатов настоящего семинара, изучит внимательно его работу и постарается осуществить те конкретные пожелания, которые будут здесь высказаны.

Д. КОМИССАРОВ (СССР)

Советский иранист Д. Комиссаров говорит, что он в своем коротком выступлении намерен коснуться лишь одного частного вопроса, связанного с современным состоянием литературы Ирана. Порой, под флагом борьбы нового со старым, в персидскую литературу просачиваются упадочные, антиреалистические тенденции. Д. Комиссаров подчеркивает, что антигуманистическая литература, прославляющая садизм, насилие, цинизм, проникает в Иран из стран буржуазной Западной Европы и из США; под давлением из-за рубежа иранские издатели выпускают в свет эту литературу на персидском языке. Но эта деятельность встречает отпор со стороны серьезного читателя и литературной критики.

— На наш взгляд, основной особенностью развития современной персидской литературы является борьба между реализмом и различными упадочными тенденциями, но благоприятной почвы для развития декадентского искусства в литературе Ирана нет,— завершает свое выступление Д. Комиссаров.

СУАД МУХАММЕД ХЕДИР (Ирак)

Литературовед Суад Мухаммед Хедир изучает современную литературу Алжира. В алжирской литературе наших дней она видит много ярких и своеобразных явлений и свое выступление на семинаре посвящает боевой литературе этой страны.

Вначале С. М. Хедир дает краткий очерк исторического развития Алжира и его культуры. Подвергшись в первой трети прошлого века французской колонизации, Алжир, страна богатейших культурных традиций, встал на путь национально-освободительной борьбы. Колонизаторы стремились уничтожить арабские традиции, запрещали обучение на арабском языке — и, как противодействие этой расистской политике, расцветает народная арабская и кабилская поэзия, воспевающая национальное величие.

— Алжир имеет богатую современную литературу, стоящую на уровне других высокоразвитых литератур мира и представляющую собой часть культурной сокровищницы человечества,— продолжает оратор.— Это арабско-берберская литература на французском языке. Она расцветает благодаря национально-освободительному движению и плодотворным контактам с демократической культурой Франции. Ее вдохновляет борьба за независимость, ее воодушевляют социалистические идеи, она воспевает историю алжирской нации. Она извлекает полезные для себя уроки из французской истории и из опыта французской литературы. Алжирские литераторы восприняли благородные принципы французской революции.

Далее Суад Мухаммед Хедир говорит о развитии новых жанров в алжирской литературе — о романе и о драматургии. Романы М. Дибя «Большой дом» и М. Маммери «Забывтый холм» открывают эпоху романа в алжирской литературе на французском языке. Романы М. Дибя, М. Маммери, М. Ферауна черпают свою силу в жизни страдающего и борющегося народа. Эта новая алжирская литература проникнута идеей национального единства, она отвечает надеждам и чаяниям алжирцев, она говорит их языком, живет их заботами. В период трагических потрясений алжирская поэзия выступает против колониализма. Она вдохновляется примером Поля Элюара. В ней — крик Мухаммеда Дибя, волнующая скорбь Малека Хаддада, вера в будущее Анри Креа. Поэзия играет важнейшую роль и в драматургии Катеба Ясина. Алжирский театр

создан участниками национально-освободительного движения. Катеба Ясина вдохновляла греческая трагедия, но его трагедия — это уже не безнадежная борьба против рока, Прометей Катеба Ясина нашел выход: борьба против колонизаторов, за свободу, жизнь, счастье народа!

Суад Мухаммед Хедир рассказывает также о некоторых других аспектах алжирской литературы, о теме освобождения женщины, о борьбе нового со старым в области формы.

В заключение своей речи С. М. Хедир говорит:

— В ходе борьбы за освобождение и независимость алжирская литература обогатилась благодаря влиянию передовых писателей Франции. В результате этого боевого сотрудничества двух культур в обеих странах развивается новая литература, имеющая новые идейные и художественные приметы. Связь этих литератур будет укрепляться и в будущем на основе совместной борьбы народов за мир и социализм.

М. ВАКСМАХЕР (СССР)

Переводчик и литературовед М. Ваксмахер говорит о большой популярности, которую завоевала у советского читателя современная поэзия стран Африки и Азии. Не отдельные литературные течения, не любители «экзотики», а массовый читатель с интересом и доброжелательностью тянется к современной поэзии народов африканских, азиатских, латиноамериканских стран.

— Очень хорошо и темпераментно говорил сегодня о поэзии Ганы наш друг Джон Окай. Он рассказал, насколько чуждыми бывают для его соотечественников некоторые образы и понятия, заимствованные из других литератур. Например, образ снега — вещь ненужная и непонятная для жителей тропической Африки. Если расширительно отнестись к этой метафоре, можно сказать, что подобным «снегом» порой оказывается в поэзии надуманная и искусственная усложненность поэтической формы, нарочитое стремление иных поэтов изощренно передавать мысли и чувства, которые сами по себе, в их, так сказать, первоначальном естестве, были бы человечны и понятны. Я не раз обращался, например, к стихам поэта Феликса Чикая (Республика Конго со столицей Браззавиль). Стихи эти талантливы, это чувствуется по иным образам и строчкам, но переводить Феликса Чикаю я, при всем желании, не могу: все слова у него будто бы и понятны, но психологическая связь между ними запутана неизменно. Это, пожалуй, тоже пример «снега».

Подлинное новаторство всегда связано с новизной мысли и чувства.

— За новаторством в области формы хочется слышать горячее биение сердца, а не холод снега. Пусть стихи и не просты, пусть они и требуют от читателя напряженной работы мысли и воображения, но они дойдут до людей, если в них звучит искреннее стремление поэта выразить мир. Так, не всегда доступны с первого чтения стихи алжирского поэта Жана Сенака, пишущего на французском языке (журнал «Иностранная литература» дважды печатал переводы его стихов); в них порой приходится мысленно воссоставлять пропущенные звенья логических и образных связей, в них поражает неожиданность лексики. Но они пропитаны кровью алжирской революции, духом народной борьбы, и понимаешь: подобная трудность — не искусственна, перед тобой напряженные поиски слова для выражения близких людям чувств.

М. Ваксмахер рассказывает о том, что он в своей практике поэта-переводчика порой сталкивается в зарубежной поэзии с явлениями иного рода: иногда стихи сводятся к простому повторению политических лозунгов.

— Понятно, что для поэтов, участвующих в борьбе своего народа, эти лозунги наполнены своим, пережитым, родным. Политические убеждения должны стать достоянием поэзии, но их надо выразить специфическим языком искусства, перелить в образную форму. И тогда художественное воздействие политической лирики неизмеримо возрастет.

М. Ваксмахер говорит о великолепных образцах подлинной гражданской лирики двадцатого века, о поэзии Маяковского, Арагона, Элюара. Рассказывая о своей работе над переводом стихов современных алжирских поэтов для антологии, которую он готовит совместно с М. Кудиновым, М. Ваксмахер выражает уверенность, что стихи Жана Сенака, Мурада Бурбуна, Катеба Ясина, Малека Хаддада и других поэтов Алжира, представленных в антологии, будут тепло встречены читателем. Приводя пример сенегальского поэта Давида Диопа, М. Ваксмахер говорит об органическом слиянии фольклорных традиций африканских народов с задачами современной политической поэзии, проникнутой духом свободы.

— И еще одного важного вопроса, стоящего перед нашим семинаром, коснулся сегодня в своем выступлении Джон Окай. На мой взгляд, он совершенно прав, утверждая, что и в стихах, написанных поэтом Африки на французском или английском языке, может и должно прозвучать национальное своеобразие данной африканской страны и ее культуры. Дело, вероятно, в каких-то очень тонких вещах, в психологическом рисунке, в интонациях и ритмах, связанных с народной

традицией и органически включенных в строй другого языка. Хотелось бы на нашем семинаре,— говорит в заключение М. Ваксмахер,— не только рассуждать о поэзии, но и читать и слушать стихи. Однако, пожалуй, это отвлечет нас от обсуждения интересующих нас проблем. Уверен, друзья, что наш семинар принесет богатые плоды: советские читатели получат новые стихи, прочтут в переводе на русский язык новые книги прозаиков и поэтов стран Азии и Африки.

КЕДАР МАН ВЬЯТИТ (Непал)

— Я считаю для себя большой честью,— говорит писатель Кедар Ман Вьятит, генеральный секретарь непальской писательской организации «Непали Сахитья Сан-стхан»,— лично познакомиться со многими писателями Азии и Африки и разделить с ними тот опыт и те познания, которые мы приобретем в ходе семинара.

По мнению Кедар Мана Вьятита, темы, выдвинутые для обсуждения на семинаре, необычайно важны и актуальны. Семинар несомненно обогатит опыт писателей, расширит их кругозор. Далее представитель литераторов Непала дает краткий очерк истории своей родины и основных этапов развития ее культуры.

Поэтически описывает оратор красоту и пышность природы своей страны, раскинувшейся у подножия Гималаев, говорит об особенностях развития непальского языка, в котором слились санскритские и пракритские струи и который вобрал в себя частично лексику хинди, урду, фарси, китайского, тибетского, арабского, английского, португальского языков; он рассказывает, что в период векового правления незаконно захватившей власть династии Рана культура и литература страны переживали упадок, но даже в тех тяжких условиях патриотические силы в литературе делали важное дело пробуждения национального самосознания. В 1944 году народ во главе с королем начал борьбу против реакционного режима, и в 1950 году добился победы.

Оратор говорит, что с незапамятных времен в Непале существует равноправие женщин, непальское общество невосприимчиво к такой, по выражению Вьятита, «заразной болезни», как кастовая ненависть, как «неприкасаемость». История Непала не знает гражданских войн, каждый класс пользуется уважением как ячейка общества.

— Бунт против устаревших традиций создал новые поэтические формы. Поэзия стала освобождаться от уз классического стиха. Писатели рассказывали об угнетенных и обездоленных. Среди представителей этой школы наиболее известны Лакшми Прасад Девкота, Сиддхи Чаран, братья Прадхан, Вьятит. Двадцатилетие с 1944 по 1964 год — это новая эра непальской литературы. В 1944 году занялась заря этой эры. Революция 1950 года разогнала тучи. Ранним утром прозвучала песня, возвестившая новый день. Поэты и писатели вдохнули полной грудью воздух свободы.

В зале заседаний. Выступает Кедар Ман Вьятит.



К. М. Вятит говорит о двух плодотворных тенденциях в литературе Непала — стремлении развивать национальные фольклорные традиции и тяге к освоению сокровищ современной культуры разных народов. Особое влияние, по словам оратора, оказали на культуру его родины произведения Толстого, Тургенева, Чехова, Горького.

В Непале была создана представительная организация «Непали Сахитья Сан-стхан», занимающаяся проблемами непальской литературы; общество выпускает ежеквартальный журнал «Химани», пользующийся популярностью в стране. В июне 1963 года в столице Непала состоялся международный писательский семинар; московский семинар, говорит Вятит, во многом сходный по своим устремлениям с прошлогодним семинаром в Непале, представляет особый интерес для непальских литераторов.

Кедар Ман Вятит рассказывает о некоторых аспектах непальской культуры, которая зиждется на индуистской и буддийской философиях; между этими двумя силами нет розни, здесь нашел свое выражение синтез арийской и монгольской культур.

В заключение оратор выдвигает ряд предложений, которые должны способствовать укреплению связей между писателями Азии и Африки. Он предлагает, в частности, организовать обмен библиографической информацией, поощрение изданий фольклорных памятников, выпуск двухмесячного журнала с публикацией работ афро-азиатских писателей для взаимного ознакомления, создание в каждой стране национального комитета для связи с движением афро-азиатских писателей.

С. АЗИМОВ (СССР)

В начале своего выступления Сарвар Азимов, узбекский писатель и общественный деятель, председатель Советского комитета по связям с писателями стран Азии и Африки, сердечно приветствует участников семинара и выражает редакциям журналов «Иностранная литература» и «Вопросы литературы» благодарность за то, что они собрали такой представительный и деловой семинар.

— На обсуждение вынесены очень важные, на мой взгляд, проблемы. Интересные вопросы были подняты в выступлениях представителя Индии Сунити Кумара Чаттерджи, моего брата из Ганы Джона Окая, известного непальского поэта Кедар Ман Вятита. Все выступления участников семинара проникнуты, мне кажется, единым духом солидарности, пониманием задач, которые ныне стоят перед деятелями литературы. Наш семинар является в какой-то степени предварительной встречей на пороге того большого разговора, который должен состояться на очередной конференции писателей стран Азии и Африки.

Сарвар Азимов рассказывает о росте рядов движения азиатских и африканских писателей, что свидетельствует об огромных изменениях в политической карте мира. Писатели двух континентов успешно завязывают новые творческие узы, объединяющие Японию и Алжир, Индию и Нигерию. И если в Дели в 1956 году было представлено 17 стран Азии, то в 1958 году в Ташкенте в конференции уже участвовали представители 42 литератур.

— Мы, советские писатели,— говорит оратор,— были участниками этого движения с первых его шагов, и мы гордимся этим. Один советский поэт сказал, что лунная ночь прекрасна, но было бы смешно пытаться оголить звездный небосвод, сливая все звезды в одну искусственную луну. Каждая культура неповторима в своем своеобразии. Мировая культура едина — так же, как едино человечество, и мы выступаем против любых попыток отделить литературу Азии и Африки от мирового литературного процесса.

Но к культурному наследию, к современной культуре,— продолжает Сарвар Азимов,— мы подходим избирательно, отвергая все то, что является апологией угнетения человека человеком или нации нацией.

Участникам движения писателей Африки и Азии предстоит еще многое сделать. Ряд стран еще страдает от культурной агрессии бывших и сегодняшних колонизаторов. Нам нужно взаимное общение, нужны журналы, издательства, нужна добрая воля участников нашего движения. И наш нынешний семинар имеет поэтому важное значение. Сарвар Азимов рассказывает о большой работе, которая ведется в СССР по изданию произведений африканской и азиатской литературы.

— Советская страна,— говорит оратор,— является крупнейшей европейской державой, но в то же время она — крупнейшая держава Азии. Однако в последнее время среди некоторой части писательского движения Азии и Африки раздаются голоса, утверждающие, что надо пересмотреть состав постоянного комитета движения, состав участников конференций, и эти сомнения относятся к Советскому Союзу, который якобы не является азиатской страной.

Сарвар Азимов выражает уверенность в том, что туманы, появившиеся на небосводе писательского движения, рассеются и что очередная конференция писателей стран Азии и Африки, к которой с таким энтузиазмом готовятся советские литераторы,

будет единым фронтом выступать против империализма и колониализма, против упадочных тенденций в литературе — за человека, за литературу во имя прогресса. Участники нынешнего семинара также внесут свою лепту в это общее дело.

И. БРАГИНСКИЙ (СССР)

Советский ученый-востоковед И. Брагинский отмечает, что, по его мнению, замечательной чертой семинара является единодушие его участников в понимании неразрывной связи искусства и общественной жизни.

— Очень важно и существенно для современного состояния литератур Востока,— говорит он,— что этот вопрос поднимался здесь не как теорема, требующая доказательств, а как аксиома, как бесспорная истина, которая является исходным пунктом для всех писателей, для всех литературоведов — участников семинара. Действительно, литература современного Востока вторгается в жизнь еще более активно, чем в прошлые века, хотя, вопреки предвзятому мнению, которое насаждали некоторые западные ученые, восточная литература никогда не витала в небесах, а всегда была связана с жизнью, всегда пыталась воздействовать на нее. Ныне, в условиях освободившегося Востока, в условиях, когда народы Азии и Африки строят свою независимую государственность, это вмешательство в жизнь стало еще более активным и решительным.

И. Брагинский рассказывает о том широком размахе, который приняло в СССР изучение культуры и литературы стран Азии и Африки, в частности о работе Института народов Азии АН СССР. То новое, чем отмечена деятельность советских востоковедов, заключается в стремлении изучать литературы стран Азии и Африки в их связях и взаимодействии. В противоположность буржуазной западноевропейской ориенталистике, изучающей национальные культуры изолированно одна от другой, советская исследовательская мысль устанавливает закономерности, свойственные на определенных исторических этапах многим литературам и культурам, развивающимся в тесном общении между собой.

И. Брагинский говорит далее о гуманистическом единстве культурных устремлений самых разных стран Запада и Востока, об интернациональном характере культурных связей.

— Дело даже не только в связях между литературами,— продолжает он,— а в том, что все они развиваются по общим закономерностям, и сутью их содержания является человек, жизнь его, его переживания. Литература всегда и везде — человековедение.

Советский ученый дает краткий исторический очерк того понимания человека и его художественного воплощения, которое можно установить, исследуя развитие литератур в разные исторические эпохи. Говоря о современности, И. Брагинский подчеркивает, что социалистический гуманизм вобрал в себя все лучшее, чем характеризовались завоевания гуманистической мысли прошлых эпох,— и героизм Прометея, и идею человеколюбия, и образ человека-борца, и облик человека-строителя.

— Гармоническое сочетание личности с коллективом — вот чем характеризуется социалистический гуманизм.

И. Брагинский говорит о творчестве присутствующего на семинаре писателя из Объединенной Арабской Республики Юсуфа Идриса; в его произведениях, реалистических, боевых, человек изображается по-новому, в обстановке классовой, социальной борьбы.

И. Брагинский резко критикует творчество западных модернистов с их «антироманом», с их произведениями, аморфными, «без головы и хвоста».

— Очень радостно,— заключает свое выступление И. Брагинский,— что при всех различиях в мировоззрении, мы все здесь сходимся на горьковской формулировке, говорящей о литературе как о человековедении. Я думаю, что наш семинар поможет нам совместно продумать, как лучше изучать литературу Азии и Африки в Советском Союзе, как нести наилучшим образом читательским массам идеи социалистического гуманизма.

ГАУСУ ДИАВАРА (Республика Мали)

Молодой поэт Гаусу Диавара говорит о том, что голос Африки звучал в мире поэзии еще в далекие времена. И теперь, после мрачной многолетней полосы колониального гнета, вновь стали слышны на земле голоса Африки.

— Ныне в Мали,— говорит Гаусу Диавара,— возможности издания литературы пока еще более чем скромны, но нас уже заботит вопрос — по какому пути пойдет наша литература.

Поэт рассказывает о богатейшем наследии фольклора на его родине, о многовековых традициях литературы Мали, связанных с мифологией, с легендами и сказками, которые бытуют в стране на пяти диалектах. И фольклор, отражающий жизнь страны, развивается и изменяется вместе с жизнью.

Диавара говорит о расцвете малийской культуры XIII—XIV веков, об университете в Томбукту, куда стекались студенты со всего африканского континента.

Но малийская литература имеет не только прошлое. Перед ней раскрывается и прекрасное будущее. Гаусу Диавара рассказывает о сегодняшнем дне молодой, уверенно развивающейся литературы. Он высоко оценивает талант ряда молодых романистов и драматургов — в частности, положительно отзываясь о романе Сейду Бадиана «В грозу», где автор рисует образ смелой малийской девушки, идущей вопреки родовым предрассудкам навстречу своей любви, навстречу новой жизни.

Перейдя к характеристике малийской поэзии, Гаусу Диавара подчеркивает присутствие ей своеобразия ритма. Стихи пишутся на французском языке, но их ритм не исчерпывается французской просодией, нет, это свободный ритм, в котором есть внутреннее единство.

— Мы, молодые писатели Мали,— говорит в заключение Гаусу Диавара,— вдохновляемся всем наследием мировой литературы от Софокла и Еврипида до Стендаля, Бальзака, Достоевского, Горького. Малийские писатели рассматривают прошлое как единое целое, на котором строится будущее. Мысли малийского писателя связаны с чаяниями всего человечества, он верит в победу света над тьмой, любви над ненавистью, правды над ложью, мира над войной.

БЕКИ СЕЙТАКОВ (СССР)

— Вот уже два дня я внимательно слушаю выступления представителей народов Азии и Африки на нашем семинаре,— говорит известный туркменский поэт и прозаик Беки Сейтаков,— и вспоминаю мою Туркмению, какой она была в начале двадцатых годов. Тогда моя родина была примерно в таком же положении, в каком находятся сейчас многие страны, только вчера освободившиеся от колониального ига. И вот теперь моя республика, которая расположена в самом сердце Азии, готовится к своему юбилею: прошло сорок лет с того времени, как Туркмения на правах союзной республики вошла в Союз Советских Социалистических Республик. Что же сделано у нас за эти четыре десятилетия? Что может свершить за такой короткий исторический срок свободный народ?

Беки Сейтаков рассказывает о культурной революции в Туркмении, о ликвидации неграмотности, которая досталась его землякам в наследие от царизма, он говорит о промышленном и сельскохозяйственном расцвете республики. В Туркмении есть 5 высших учебных заведений, в школах работают 20 тысяч учителей. Туркменская литература, которая до революции не знала других жанров, кроме поэзии, развивается сейчас в самых разнообразных жанрах. Оратор называет романы, рассказы, пьесы, поэмы, критические труды своих соотечественников, туркменских литераторов, рассказывает о работе Союза писателей республики, об издании на туркменском языке произведений русской советской и классической литературы. Эти культурные достижения, подчеркивает Б. Сейтаков,— результат ленинской национальной политики, результат братской дружбы советских народов.

Е. ГАЛЬПЕРИНА (СССР)

— Занимаясь африканскими литературами, мы, советские литературоведы, вынуждены непрестанно выходить за пределы литературы, сталкиваться с вопросами философии, истории, этнографии, искусства, фольклора. Однако советские специалисты этих областей работают, к сожалению, пока еще слишком разобщенно. А только содружество философов, историков, этнографов, литературоведов, лингвистов позволило бы во всей глубине ставить эти сложные и новые для нас вопросы. Я уверена, что их можно изучать только комплексно.

Говоря далее, о том, что в литературе и публицистике африканских стран происходит столкновение передовых и консервативных взглядов на культуру и на ее роль в национально-освободительной борьбе, Е. Гальперина отмечает революционное выступление покойного Франца Фанона на римском конгрессе 1959 года и работу алжирца Башира Хадж Али «Национальная культура и алжирская революция» (1963) с его тонкой и диалектичной постановкой вопроса. Проблему культурных традиций оратор связывает с вопросами африканской философии, истории, фольклора, противопоставляя наше стремление к историзму в их трактовке — метафизическому подходу исследователей типа Янгейнца Яна (ФРГ).

Так, консервативные идеологи подчеркивают вековую неизменность фольклора, противопоставляя его как истинно африканское искусство — современному роману. Они утверждают извечно неизменный религиозный стиль мышления африканца, утверждают, что Африка, выковыливающая ныне свое историческое самосознание, имеет право на миф, и историю надо воссоздавать с точки зрения пользы, а не истины. Они утверждают религиозно-идеалистический характер африканского мышления, так называемую «философию жизненных сил», якобы типичную и для настоящего и для будущего Африки.

Опровергая эти метафизические построения, передовые писатели стремятся найти синтез фольклорных традиций и современного романа, высказывают мысль о возможности материалистического истолкования и преобразования древних форм африканского мышления.

Переходя к проблеме так называемого «негритюда», Е. Гальперина подчеркивает необходимость исторического подхода: в разных условиях, на разных этапах это понятие приобретало различный смысл. Бунтарская, антиколониалистская форма «негритюда» («Дневник возвращения на родную землю» Эме Сезэра, 1939 г. и др.) в свое время имела целью преодолеть комплекс неполноценности, навязанный колонизацией, восстановить в африканце поруганное достоинство. Это была болезненная реакция на страдания и унижения народов, накопившиеся за столетия рабства и колониализма.

— Но идея «негритюда», то есть «антирасистского расизма», была развита в работах ряда консервативных идеологов Африки и ряда исследователей-европейцев, которые писали об извечном строе «африканской души» и шире — «негритянской души». Такая трактовка в сущности противопоставляла африканские народы другим народам мира. И острое «негритюда» было здесь повернуто против интернационализма, против великой идеи братства народов всех рас и континентов.

Однако «негритюд», в котором сегодня уже многие видят этап, изживший себя, отходящий, критикуется одними слева, а другими справа. Слева он критиковался очень многими писателями (М. Бети, С. Усманом, Ф. Фаноном, в несколько ином плане — Э. Мпашеле и другими). Но есть и критика справа. Критика «негритюда» справа ведется немецким этнографом и искусствоведом Ульрихом Бейером и англичанином Дж. Муром, но через «негритюд» удар в сущности направлен ими на нечто иное. Так, к представителям «негритюда» они относят Давида Диопа, блестящего, сильного, революционного поэта, интернационалиста в полном смысле этого слова. Кстати, сам же Мур счел возможным назвать его африканским Маяковским. Почему же такая поэзия считается ими принадлежащей прошлому этапу, поэзией устаревшей? Потому что она революционная, действенная, политическая в самом широком смысле этого слова. Они упорно стараются повернуть молодую нигерийскую поэзию от больших современных проблем на путь интимных переживаний. Стоит ли доказывать в этой аудитории, что великие революционные идеи могут быть лично глубоко пережиты поэтом и именно тогда рождается большая поэзия?

В чем же своеобразие культурного вклада Африки в мировую культуру? Большинство передовых писателей Африки видят его не в «негритюде», не в извечных свойствах «африканской души». Новая Африка, очевидно, хочет синтезировать и лучшие демократические стороны своего прошлого, и то прогрессивное, что рождается в африканской революции, и лучшие ценности мировой культуры. Характерны высказывания многих африканских писателей и публицистов о том, что древние, от общины идущие черты психологии, волюются в новые, современные формы коллективизма. Как это будет отражаться в литературе стран, не прошедших разрывающего действия буржуазного индивидуализма, — это огромный вопрос. И мы будем внимательно следить за тем, как это будет происходить.

— Пословица суахили говорит: «Гостя надо ублажать два дня подряд, а потом дать ему в руки мотыгу». Мы просим вас также взять в руки мотыгу и помочь нам обрабатывать наше поле, помочь нам освоить этот трудный и сложный материал африканской идеологии, африканской культуры, — обращается к зарубежным участникам семинара Е. Гальперина.

ЛОДОЙН ТУДЭВ (МНР)

Приветствуя участников семинара, монгольский писатель Лодойн Тудэв высоко оценивает значение этого делового форума для укрепления международных культурных связей. Свое выступление Лодойн Тудэв посвящает литературе Монголии.

— Наша новая литература, — говорит он, — родилась больше сорока лет назад в огне народной революции. В перерывах между боями бойцы народной армии слагали и пели боевые песни. Эти песни и положили начало современной литературе Монголии. То, что сейчас переживает Африка, мы переживали 40 лет назад.

Л. Тудэв говорит о партийности монгольской литературы. Дело писателей неотделимо от того великого дела переустройства жизни на социалистических началах, которое вершит народ под руководством Монгольской народно-революционной партии. Писатель вспоминает о том, какой отсталой была его родина до революции: население было неграмотно, почти семь столетий религия проповедовала в народных массах покорность и смирение, насаждая пассивное отношение к жизни. В стране с таким тяжким наследием была осуществлена подлинная культурная революция.

— Было бы неверным сказать, — продолжает Л. Тудэв, — что новую культуру, новое искусство, литературу социалистического реализма мы строим, опираясь лишь на традиции устного народного творчества. Мы опирались и опираемся на передовую культуру всего человечества и особенно на великие традиции и на великое новаторство литературы и искусства страны победившего Октября.

Л. Тудэв говорит о том замечательном совете, который дал монгольской интеллигенции А. М. Горький. Отвечая на вопрос, каких принципов придерживаться при отборе и переводе произведений мировой классики, Горький писал, что, знакомя монгольский народ с духом Европы и современными нам желаниями ее масс, нам следует переводить именно те европейские книги, в которых наиболее ярко выражен принцип активности, напряжение мысли, стремящейся к деятельной свободе, а не к свободе бездействия.

— Помочь партии избавить народ от наследия феодализма, от инертности и невежества, вывести народ на путь активного, прогрессивного развития — в этом состояла задача новой монгольской литературы. Путь к ее решению был начертан великим Горьким, — говорит Л. Тудэв.

На конкретных примерах писатель показывает, какое благотворное влияние на развитие монгольской культуры оказала переводная литература. В МНР вышли на монгольском языке произведения Шекспира, Гете, Лопе де Вега, Гольдони, Дефо, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Толстого, Горького, Шевченко, Стендаля, Мопассана, Войнич и многих других мастеров слова. Эта литература явилась подлинным университетом и для читательских масс, и для писателей Монголии. Сейчас в монгольской литературе представлены все современные литературные жанры. Произведения Нацагдоржа, Дамдинсуреца, Сэнгээ, Лхамсурэна, Тэрбиша, Лодойдамбы, Дашдэндэва, Ойдова и других писателей вошли в фонд национальной литературы, растет талантливая писательская молодежь.

— Наиболее близка и дорога нам литература Страны Советов, — продолжает оратор. — В 30-е годы настольной книгой монгольского читателя стал роман Н. Островского «Как закалялась сталь», в годы объединения аратских хозяйств — «Поднятая целина» М. Шолохова. Сейчас все наиболее яркие представители советской литературы говорят с нашим читателем по-монгольски! Радует нас и тот факт, что с каждым годом все больше книг монгольских писателей выходит за рубежом в переводах.

Л. Тудэв призывает бережно растить и лелеять драгоценный золотой цветок — культуру социалистических стран.

Р. КИМ (СССР)

В начале своего выступления писатель Роман Ким говорит о литературе особого рода — о той огромной по своим тиражам печатной продукции, которая наводняет книжный рынок капиталистических стран и проникает в страны Азии и Африки, растлевающая читательские души. Это литература преступлений, насилий, убийств, это черная «полицейская» литература, антихудожественное чтиво, проникнутое ненавистью к демократии и прогрессу.

— Я приношу извинения за то, что говорю о таких сочинителях, как Мики Спиллейн или Картер Браун, но я считаю, что о литературе, которую читают десятки миллионов людей, надо говорить. С ее существованием нельзя не считаться.

Р. Ким упоминает Иана Флеминга, по чьим книгам поставлены фильмы, внушающие зрителям нелепые понятия об образе жизни советских людей. Вся эта литература лжи и холодной войны организовано, систематически, широким потоком направляется во все части света, в том числе и в страны Азии и Африки. Как бороться с этим тлетворным импортом? Этот вопрос неизбежно встает перед писателями африканских и азиатских стран.

— Мне кажется, — продолжает оратор, — что в этом отношении поучителен японский пример. В Японии выходит в среднем около 300 произведений детективной литературы в год, причем неуклонно растет число отечественных, японских авторов. Японские писатели, работающие в этом жанре, изображают преступления, связанные с общественно-политическими мотивами и направленные против народа, против интересов общества, они рассказывают о тайной борьбе между гигантскими монополиями, в которой все средства считаются дозволенными. В жанре детективной литературы японские писатели раскрывают закулисные дела политиков, темные махинации врагов мира. Недаром японская критика часто говорит, что некоторые из этих романов перерастают рамки обычной литературы подобного рода и становятся серьезными реалистическими произведениями, отражающими социально-политическую действительность сегодняшнего дня. Авторам социально-детективных романов, таким писателям как Мацумото, Кадзима, Кунимицу, Сано и другим, следует, на мой взгляд, открыть дорогу и к читателям других стран. Мне очень хотелось бы, — говорит в заключение Р. Ким, — в недалеком будущем прочитать книги африканских авторов, разоблачающие колонизаторов. Например романы о таинственных автомобильных катастрофах, очень частых в Родезии, когда гибнут один за другим деятели национально-освободительного движения. Мне хотелось бы прочитать книгу об обстоятельствах гибели ливанского нефтепромышленника Бустани — от этого дела явно пахнет англо-американскими нефтяными монополиями, прочитать об убийстве индийского дипломата Митры в Вене — по-видимому, это преступление связано с ввозом золота в Индию. Хотелось бы, чтобы появились книги о том, как провалились заговоры врагов Индонезии. Сколько есть интересных материалов, которые могут использовать писатели Африки и Азии!

Создание остросюжетной и политически боевой социально-детективной литературы окажется, по убеждению Романа Кима, хорошим способом борьбы против импорта литературной отравы в африканские и азиатские страны.

В. ИВАШЕВА (СССР)

— Я хотела бы остановиться на одном, по моему мнению, весьма важном вопросе,— говорит литературовед, проф. В. Ивашева,— высказать некоторые соображения о реализме в африканских литературах.

В. Ивашева подчеркивает, что в наши дни, говоря о реализме, этой главной магии страли передового искусства во всем мире, просто немислимо не учитывать богатого опыта литератур Азии и Африки.

— Ход истории властно потребовал от нас раздвинуть рамки наших наблюдений и представлений,— продолжает советский литературовед.— Разумеется, нельзя ставить знак равенства между понятием «современные литературы африканского континента» и реализмом в этих литературах. Так, поэзия в странах Африки далеко не везде пошла по пути реализма, более того, в ряде африканских стран поэзия подвержена значительному влиянию модернизма. Я буду говорить лишь о том, что меня больше всего интересует,— о реалистической струе в литературах тропической Африки. С самого своего зарождения молодые литературы Африки были литературами протеста. Прекрасно умея заглянуть в душу своих героев, писатели стремятся вписать переживания личности в общественную перспективу. Здесь нет места «малым темам» — термин, без которого не обойдешься, когда речь заходит о литературах современно-го капиталистического Запада.

В. Ивашева говорит о большом читательском интересе в нашей стране к произведениям африканской реалистической прозы. Они близки советскому человеку своей высокой гражданственностью, гуманизмом, чувством человеческого достоинства. Оратор считает, что советские издательства немало сделали для ознакомления русского читателя с литературой Африки, она перечисляет изданные в СССР книги П. Абрахамса, М. Бети, С. Усмана, Б. Дадье, К. Эквензи, Ч. Ачебе, Ф. Ойно и других авторов.

— Нас живо интересуют проблемы формы африканской реалистической прозы,— продолжает проф. Ивашева.— Особенно актуален, на мой взгляд, вопрос воздействия фольклорных традиций на творческий почерк африканского писателя, на его юмор, на метод построения характера. Мне такое воздействие представляется несомненным; эти проблемы ждут своего изучения, и они наверняка будут исследованы критиками как африканскими, так и советскими.

Далее оратор выражает свое согласие с С. К. Чаттерджи в вопросе отношения стран Азии и Африки к культурному наследию человечества.

— Читая книги писателей Сенегала, Камеруна, Нигерии, Ганы, Сьерра-Леоне, Берега Слоновой Кости и других стран, мы видим, как смело и творчески используют эти авторы литературные достижения, накопленные в самых разных странах мира; они по праву черпают из культурной традиции своих народов и из лучших традиций мирового искусства. Именно на основе творческого освоения различных традиций и рождается, на наш взгляд, новаторство таких реалистов, как С. Усман, Дж. Коуп, М. Бети, Ф. Ойно и многие другие.

В. Ивашева говорит о динамике развития африканской прозы, о том, что за последние годы африканские литературы освоили много новых жизненных пластов, стали ярче в эстетическом отношении, приблизились к современности. В этом плане переломным явился 1960 год — «год Африки».

В заключение В. Ивашева рассказывает о том, с каким увлечением студенты московского университета изучают африканские литературы, слушают специальные курсы, пишут научные работы (о прозе Ганы, о творчестве П. Абрахамса, о романах Самбена Усмана и т. д.). Немало представителей студенческой и аспирантской молодежи присутствует и на семинаре, все это — будущие специалисты по литературам Африки.

З. КЕДРИНА (СССР)

— Нам, советским литературоведам, чрезвычайно интересно слышать все, что говорится нашими друзьями из стран Азии и Африки. И может быть, это особенно интересно тем из нас, кто в конце двадцатых — в начале тридцатых годов наблюдал становление наших братских советских литератур в среднеазиатских республиках и в республиках Поволжья, где советская литература создавалась на почве фольклора. Профессор Чаттерджи поставил в своей речи основные вопросы литературных взаимосвязей и их значения для стран, освободившихся от колониальной зависимости. Джон Окай, как мне кажется, развил и уточнил эти положения, выдвинув проблему создания национальной ганской литературы, которая, восприняв наследие родного фольклора и европейской культуры, сохранила бы и свою африканскую и всемирную —

в частности, европейскую — аудиторию. Литературу Ганы Дж. Окай хочет видеть литературой всеафриканского звучания, хотя Африка говорит на многих языках и диалектах. Такое же стремление существует и в Индии.

З. Кедрина считает, что в истории развития национальных литератур в СССР происходил тот же процесс.

— Единая многонациональная советская литература состоит для нас из многих национальных отрядов, каждый из которых является гогосом дружбы, обращенным ко всем народам мира. А русский язык для наших национальных литератур в большей степени, чем английский или французский для многих стран Азии и Африки, служит связующим звеном со всемирной, мировой культурой.

З. Кедрина рассказывает об опыте наших «двуязычных» писателей, о творчестве киргизского писателя Чингиза Айтматова, пишущего по-русски и по-киргизски, казахского писателя Баурджана Момыш-Улы, который пишет по-казахски и по-русски, чукчи Рыхтэу, пишущего по-русски, абхаза Георгия Гулиа, пишущего только по-русски. Культурное взаимодействие наших народов порождает интересное творчество русских писателей, живущих в национальных республиках и пишущих по-русски, причем их стиль воспринимает особенности того языка и той национальной культуры, в среде которых они живут и работают.

— Очевидно, национальная форма — это все же не только язык и стиль, а вся совокупность признаков, определяющих нацию и получающих свое выражение в литературе. Прежде всего — это психологический склад народа, его национальный характер. Но национальный характер, а с ним и национальная литературная форма подвижны, они развиваются, и развиваются они в наши дни в сторону интернационального сближения. Именно эта черта заставляет Джона Окая заботиться о всеафриканском характере ганской литературы и о завоевании всемирной аудитории для литературы Африки.

Национальный характер стирается, если оторвать его от народной традиции. Как же аккумулировать в своей культуре мировые влияния и в то же время не оторваться от национальных корней?

— Мне кажется, — говорит З. Кедрина, — что эта проблема вряд ли может быть решена, если художник стремится быть «над схваткой». Мне кажется — и это звучит во многих выступлениях, — что именно внутри социального конфликта, в процессе непосредственного участия в нем происходят наиболее четкая дифференциация традиций и наиболее успешное органическое усвоение всего, что необходимо живому организму национальной культуры, чтобы она росла и развивалась в направлении культуры единой, всемирной.

Для подтверждения своей мысли З. Кедрина обращается к творческому опыту таких деятелей культуры народов СССР, как казахский композитор Курмангазы Сагирбаев, как киргизский поэт и композитор Токтогул, как основоположник казахской письменной литературы, поэт и просветитель Абай, роман о котором принес мировую известность советскому писателю Мухтару Ауэзову. Эти художники участвовали в социальных битвах своего времени, впитывали в себя национальные народные традиции, осваивали художественный опыт русского демократического искусства.

— Мухтар Ауэзов учился реалистическому письму у родного фольклора, у Абая, у Тургенева, у Горького, у Джека Лондона, — говорит оратор. — Он отделял в своей национальной традиции живое от мертвого, и все жизнеспособное в своей казахской культуре он укреплял и вооружал русской и мировой классической традицией. В результате его произведения не только продвинули вперед казахскую литературу, но и оказывают полезное влияние на произведения русской и других советских литератур.

Оратор приводит слова М. Ауэзова: «Разве только эксцентрическими танцами или песенками, используемыми для джаза, ограничивалось духовное богатство негр-янских народов? Конечно, нет!»

— Фольклорная традиция, — говорит в заключение З. Кедрина, — имеет великое значение для становления молодой литературы, но не потому, что в ней заложены якобы черты примитива, который так прельщает западных модернистов. Фольклор велик и важен своей жизненной активностью, высокой простотой, правдой народной жизни, мудростью народного гения, своим творческим здоровьем, помогающим строить, бороться и побеждать.

МУРАД БУРБУН (Алжир)

Алжирский писатель и общественный деятель Мурад Бурбун передает участникам семинара братский привет от Союза алжирских писателей и от всей интеллигенции Алжира.

— Говорить об алжирской культуре, об ее основных чертах, о пути, которым она идет в наши дни, — это значит говорить об истории самого Алжира, потому что культура алжирского народа тесно связана с его национально-освободительной борьбой.

Мурад Бурбун рассказывает о славной истории этой борьбы, которая началась в 1830 году, с первых же дней французской колониальной агрессии против его родины.

— В Алжире не проходило ни одного десятилетия без восстания против колонизаторов. Лучшие сыны народа погибали в огне этих боев, а через десять лет новое поколение поднимало факел восстания. 1830, 1835, 1845, 1871 — вот веки крупнейших восстаний. И когда в Париже власть взяла Коммуна, в Алжире тоже была создана своя Коммуна. А затем — восстания 1917 года, и 1945 года, и, наконец, 1 ноября 1954 года — первый день нашей революции, приведшей нас к победе. Лгали те историки, которые рассматривали Алжир как покоренную землю. С 1830 года до дня освобождения алжирцы ежедневно проливали свою кровь за свободу, и я потому говорю сегодня об этом, что не могу найти лучшего способа охарактеризовать нашу культуру.

Уже в 1830 году в Константине безымянные певцы создают героические поэмы, посвященные национально-освободительной борьбе. Мурад Бурбун вспоминает имя Абдаль-Кадира, одного из вождей народной борьбы против захватчиков, национального поэта. В одной из своих поэм он говорил, что сабля — раба пера; этот выдающийся представитель алжирского народа, воюющего за свою независимость, был и выдающимся представителем культуры своей нации.

Колонизация принесла Алжиру не только жесточайшие бедствия и лишения, она нанесла удар по его богатейшей культуре. К 1830 году, указывает Мурад Бурбун, в Алжире было меньше неграмотных, чем во Франции: до прихода колонизаторов почти все население страны умело читать. К 1870 году лишь 5% алжирского населения было грамотным — таков результат «культурной миссии» империализма! Но хотя арабский язык был запрещен оккупантами, устная народная традиция сохранила сокровища национальной литературы. Переходя к проблеме фольклора, Мурад Бурбун говорит:

— Песни борьбы передавались из уст в уста, от восстания к восстанию, от бескровленного, разрушенного селения к селению живому, которое тоже поднялось на битву, проливая свою кровь. Свою культуру Алжир хранил, как зеницу ока.

Оратор считает, что Алжир дает живой образ постоянного развития фольклора, его непрестанной эволюции, тесно связанной с историческим развитием страны. Каждый этап освободительной борьбы наполняет произведение фольклора новым содержанием. В фольклоре живет представление о будущем, и содержание этого идеала также меняется по мере того, как люди делают историю, а история куёт характеры людей. Все крупнейшие современные писатели Алжира воспитаны на традициях народной борьбы за освобождение, на традициях народного творчества.

— Итак, я думаю, — заявляет Мурад Бурбун, — что ко всем народам и странам применима следующая истина: именно к периодам подъема освободительного движения относится расцвет крупнейших писателей и поэтов, выступающих с требованием свободы народу. Здесь, в Советском Союзе, примером этому служит творчество Маяковского.

Характеризуя особенности современного этапа в строительстве алжирской культуры, Мурад Бурбун говорит:

— Алжирский гуманизм — это гуманизм боевой. Чтобы иметь честь и право провозглашать истину, которую воспримет народ, нужно быть участником событий, нужно быть связанным с народом. Большинство алжирских писателей, и среди них самые известные, участвовали в борьбе. Многие писатели, в том числе и непосредственные участники революции, писали и пишут порой не на своем родном языке, пишут по-французски. Но язык — это не чья-то частная собственность, язык принадлежит тем, кто на нем говорит и пишет.

— Я не вижу антагонизма между алжирской литературой на французском языке и алжирской литературой на арабском языке. Только наши враги могут утверждать, что эти литературы противостоят друг другу. Их питает одно и то же дерево, им дает силу одна страна, они охвачены общим стремлением идти навстречу другим странам, по-братски обмениваясь с ними опытом. Это единый ствол дерева с двумя ветвями, питающимися одними соками.

Говоря о французской литературе, Мурад Бурбун подчеркивает, что нельзя смешивать демократическую ее струю, творчество таких поэтов, как Арагон и Элюар, с реакционными течениями. Он резко выступает против «нового романа», «антиромана» и тому подобных проявлений модернизма.

— На писателях афро-азиатских стран лежит особая ответственность. Хотим мы этого или нет, но мы ответственны за то, что происходит в нашей стране, потому что мы хотим раскрыть душу народа, его сущность, его волю, его перспективы. — Мурад Бурбун приводит слова известного борца за свободу Африки Франца Фанона: «Когда речь идет о культуре, то есть о том, что несет свет тебе и твоему народу, нужно работать засучив рукава, чтобы поднять свой народ и вырасти самому».

Мурад Бурбун рассказывает о первых успехах в строительстве социалистической алжирской культуры, о создании национального театра. В театрах страны идут пьесы Шекспира, Кальдерона, Брехта, алжирских авторов.

— Нам не нужна культура снобов, — говорит Мурад Бурбун, — нам нужна настоящая культура, которая служит социальному прогрессу. Вместе с тем мы за тщательные

и смелые поэтические поиски, ибо провозгласить «Да здравствует Африка!» — это еще не значит создать прекрасную поэму. Но мы за такие поиски формы, которые не вступают в противоречие с революционным содержанием. Мы хотим настоящей народной, массовой, демократической культуры. Я поддерживаю выступавшего до меня оратора, который предъявлял к поэзии высокие требования: политическое и социальное содержание должно быть органически связано с поэтическим образом. Ведь поэма — не листовка и не лозунг.

Мурад Бурбун подчеркивает национальное своеобразие культуры своего народа, который вносит свой вклад в сокровищницу народной культуры всего мира.

— Сознвая, что мы имеем собственные ценности и свои особенности, мы при этом — люди, воспитанные на глубоком интернационализме. Мы твердо верим в сближение народов и культур; если культура замыкается в себе, она обречена на гибель, культура должна обогащаться за счет современных революционных течений, идущих из других стран, и, в свою очередь, сама обогащать их. Пролетарская культура, как говорил Ленин, — должна овладеть всеми знаниями, выработанными человечеством.

Касаясь в этой связи некоторых национальных особенностей алжирской культуры, Мурад Бурбун рассказывает о живописи, о народном прикладном искусстве. В силу ряда историко-религиозных причин абстрактная живопись выражала, по убеждению оратора, характер алжирской культуры. Коран запрещал реалистически изображать живые существа, людей, и на предметах домашнего обихода в разных провинциях Алжира изображены символы, абстрактные знаки, которые являются отражением цивилизации. Абстрактные мотивы отражают в Алжире живую реальность, они не уводят от действительности, как это происходит с абстракционистами на Западе.

В заключение Мурад Бурбун резко возражает против попыток некоторых западных деятелей рассматривать Африку как континент экзотики и примитивного фольклора.

— Порой на Западе Африку воспринимают как страну танцовщиков да торговцев пестрыми картинками. Мы никогда не примиримся с этими взглядами. Мы знакомимся с культурой других стран, но мы хотим, чтобы и нашу культуру знали в других странах. Мы считаем, что в африканском искусстве были и есть люди, которые создали на своем национальном материале произведения, способные увлечь другие народы. Все люди способны воспринимать достижения цивилизаций других стран и передавать другим странам достижения своей цивилизации во имя сближения народов и их культур.

ИНТОЙО (Индонезия)

Выразив благодарность за приглашение участвовать в этом представительном и важном семинаре, индонезийский литературовед проф. Интойо говорит о большом впечатлении, которое произвела на него выставка книг в фойе Центрального Дома литераторов, где проходит семинар. Среди нескольких сот выставленных книг есть и книги, переведенные в СССР с индонезийского языка на русский; кроме того, много произведений индонезийских писателей переведено на азербайджанский, казахский, узбекский и другие языки советских народов.

— Это воочию показывает, — продолжает оратор, — что культурное сотрудничество между Индонезией и Советским Союзом — не пустая болтовня. Мы можем вам сообщить, что и на индонезийский язык переведено много романов, повестей, рассказов советских писателей, много стихов, сказок, книг для детей. Надеюсь, что результатом семинара явится выход в свет еще большего числа переводов. Ибо, наряду с сотрудничеством в области политики и экономики, сотрудничество культурное — в данном случае литературное — является жизненно необходимым для укрепления дружбы и международных связей. Перевод литературных произведений нашей страны на языки народов СССР — это большой вклад в процесс распространения индонезийской культуры, за что наш народ выражает признательность советским народам.

Проф. Интойо говорит далее о том, что за время более чем трехсотлетнего голландского господства в Индонезии на голландский язык было переведено очень мало произведений индонезийской литературы, ибо колонизаторы не осмеливались распространять идеи народа, который хотя и находился под их властью политически и экономически, но духовно и морально всегда отвергал эту власть и боролся против нее.

— Голландцы, — говорит он, — как правило, переводили лишь незначительные подделки, в которых, конечно, не звучали антиколониальные настроения. К сожалению, такого рода книги еще и сейчас появляются порой в нашей литературе.

По мнению проф. Интойо, советским переводчикам стоит обратить внимание и на те произведения индонезийской литературы, которые написаны на региональных языках (например, на яванском и сунданском), а также подбирать для перевода народные индонезийские рассказы — произведения фольклорного склада, бытующие в народной среде.

— В этих рассказах,— говорит в заключение оратор,— сконцентрированы мысли и чувства, которыми живет наш народ. Узнав эти рассказы, советский читатель лучше поймет жизнь Индонезии. Это еще больше укрепит нашу дружбу.

Е. ЧЕЛЫШЕВ (СССР)

Советский ученый-индолог Е. Челышев выражает полное согласие со словами проф. Чаттерджи о взаимном влиянии литератур.

— Я бы хотел продолжить мысль нашего гостя и нашего большого друга и сказать о товарищеском взаимодействии ученых наших двух стран, результатом которого явился выход в свет такой, например, книги, как юбилейный том, посвященный Рабиндранату Тагору. Он был написан совместно индийскими и советскими учеными и издан в 1961 году.

Перейдя к проблеме традиции и новаторства в индийской литературе, Е. Челышев поддерживает мысль проф. Чаттерджи о том, что опора на классические традиции — необходимое условие плодотворного развития новой литературы Индии. Оратор полемизирует с противоположной точкой зрения, высказываемой некоторыми индийскими деятелями культуры; эта точка зрения сводится к отрицанию национального наследия, к зачеркиванию литературного опыта прошлых веков, как якобы полностью себя изжившего.

— Самое главное, что делает сейчас индийскую культурную традицию такой универсальной и жизненной,— это ее гуманистическая основа, ее обращение к человеку, ко всему тому, что может принести человеку пользу, возвысить его, устремить его в будущее. В разные исторические периоды, под влиянием социальных требований той или иной эпохи эта общая основа претерпевает, конечно, эволюцию, но гуманизм, как ядро культуры, остается.

Е. Челышев рассказывает о том, как иные западные литераторы и исследователи, в частности те из них, кто принимал участие в международном семинаре памяти Рабиндраната Тагора в Дели в 1961 году, пытаются извратить существо гуманизма Тагора, индийского гуманизма в целом. Они извращали характер мирозерцания Тагора, подменяя его светлую, жизнеутверждающую мощь экзистенциалистской проповедью абсурдности бытия.

— Гуманизм индийской культуры и литературы,— продолжает Е. Челышев,— не является, однако, чем-то неподвижным и застывшим. Творческий путь Тагора или Премчанда убеждает в том, что их гуманистические идеи менялись. Так, последние книги Премчанда, созданные в конце жизненного пути, такие как «Жертвенная корова» и «Нити счастья», написаны в защиту гуманизма активного, действенного. Один из его героев говорит: «Нужно раздать оружие беднякам, чтобы они сражались с эксплуататорами». Это было приятием горьковских гуманистических идей, сдвигом в мировоззрении Премчанда, освободившегося к концу жизни от воздействия идей ненасилия Ганди.

Оратор ставит далее вопрос о том, возможен ли в творчестве писателей стран Востока, только недавно освободившихся от колониального ига, социалистический реализм.

— Мне кажется,— говорит он,— что последнее произведение известного индийского писателя Яшпала, который, к сожалению, из-за болезни не смог приехать на наш семинар,— его диалог «Ложная правда» является лучшим ответом на этот вопрос. Прочитав книгу, убеждаешься, что гуманистический дух национальной культуры стимулирует рост прогрессивных реалистических тенденций. В Индии наших дней создаются объективные предпосылки зарождения и развития социалистического гуманизма, пропущенного подлинной героикой.

Е. Челышев приводит ряд примеров, иллюстрирующих плодотворность взаимодействия советской и индийской литератур (образ Маяковского в книге стихов молодой индийской поэтессы; выход в Индии антологии русской классической и советской поэзии).

— Такое творческое содружество писателей и литературоведов наших стран может принести большую пользу,— говорит в заключение Е. Челышев.

ТАДЖ АС-СИР ХАСАН (Судан)

От имени суданского национального комитета по связям с писателями Азии и Африки участников семинара приветствует Тадж ас-Сир Хасан.

— В Африке ряд стран уже освободился от колониального гнета,— говорит оратор,— но еще имеются страны, которые продолжают испытывать империалистический гнет. К ним относится и Судан. Хотя наша родина получила в 1956 году официальную независимость, мы, суданцы, и в частности суданские писатели, считаем, что подлинной независимости Судан еще не добился.

Оратор говорит о том, что суданские литераторы лишены возможности широко печататься у себя на родине, и многие их произведения выходят в Каире, за что

Тадж ас-Сир Хасан выражает признательность своим египетским коллегам. Суданская культура является частью всей культуры арабского мира, и все наследие арабской культуры — также достояние культуры Судана.

— Об арабской литературе в целом, — продолжает суданский писатель, — у меня есть свое собственное мнение. Я считаю, что эта литература лирична, лирический характер ей свойствен в гораздо большей мере, чем эпический. Одна из причин здесь, возможно, в том, что когда арабы впервые обратились к переводу древнегреческих памятников, они прежде всего переводили прикладные и научные труды, но не переводили, скажем, гомеровского эпоса. Поэтому греческая литература не оказала влияния на арабскую. С другой стороны, я убежден, что ряд крупнейших писателей Европы, таких как, например, Данте, в известной мере испытал влияние крупных арабских поэтов и философов своего времени.

Тадж ас-Сир Хасан говорит о том, что новые полноценные произведения создаются лишь при условии освоения национального культурного наследия. Он рассказывает о бурном развитии новых литературных жанров — рассказа и романа — в литературах Египта, Ливана, Ирака. Социалистические преобразования в ОАР, заявляет оратор, безусловно приведут к еще большему прогрессу в области литературы.

Суданский литератор рассказывает далее о новых формах империалистической духовной экспансии и пропаганды в арабских странах. Угроза империализма продолжает висеть над культурой этих стран.

— В прошлом империалисты засылали своих миссионеров. Во второй половине 20-го века в мире, решительно шагнувшем в сторону социализма, подобные методы себя не оправдывают. Империалисты пытаются изменить формы своей пропаганды. В ангольские джунгли, где сражаются партизаны, миссионеров не пошлешь. И империализм обратился к различным формам проникновения в область культуры.

Различные проявления сюрреализма Т. Хасан считает одной из форм империалистической экспансии в литературе арабских стран.

Оратор благодарит советских литературоведов за их большую работу и выражает пожелание, чтобы их труды шире переводились на английский и французский языки, что было бы большой идеологической поддержкой для арабских стран. Тадж ас-Сир Хасан считает, что советские читатели еще мало знакомы с суданской литературой, что в ней есть произведения, заслуживающие перевода на русский язык.

В заключение Тадж ас-Сир Хасан рассказывает об эпизоде, имевшем место в прошлом году на сессии Исполкома конференции писателей Азии и Африки. Когда на эту сессию приехал суданский делегат аль-Амин, уважаемый писатель и критик, он обнаружил, что место Судана занимает некто Хейр, который никак не может представлять суданских писателей в международных организациях: он давно живет вне пределов Судана, к тому же он не является писателем.

— Я хотел бы во всеуслышание заявить, — говорит оратор, — что суданские писатели осуждают подобную позицию Постоянного бюро и требуют предоставить Судану место, принадлежащее ему по праву. Еще раз благодарю за возможность участвовать в работе этого семинара. Надеюсь, что я напишу о нем, и читатели в Судане узнают об этом интересном и полезном мероприятии.

П. ПЕТРОВ (СССР)

Представитель издательства «Прогресс» П. Петров знакомит участников семинара с планами работы издательства по переводу и изданию афро-азиатских литератур.

— Только за последние три года, — говорит оратор, — мы дали советскому читателю 60 художественных произведений писателей Азии и Африки общим объемом 655 листов. Эти книги принадлежат перу 58 писателей из 12 африканских стран и 15 стран Азии. Конечно, сделано еще недостаточно.

Кроме «Прогресса», литературу этих стран выпускают также издательства «Художественная литература», «Наука», «Детская литература», «Молодая гвардия». П. Петров рассказывает о больших тиражах, какими издаются книги писателей этих двух континентов. Если до 1960 года средний тираж одного произведения восточной литературы составлял 21 тысячу экземпляров, то теперь эта цифра выросла до 55 тысяч. П. Петров приводит некоторые конкретные данные о тиражах: книги индийских писателей К. Чандара, Яшпала, Р. К. Нарайана выходят тиражом 150—180 тысяч, роман японской писательницы Яэко Ногами «Лабиринт» — 150 тысяч, роман писательницы из ОАР Латифы аз-Зайят «Открытая дверь» — 180 тысяч, роман южно-африканского писателя Ла Гума «Скитание в ночи» — 75 тысяч экземпляров.

Оратор говорит и о задачах, которые стоят перед издательством в деле отбора литературы для переводов.

— Если 10—12 лет назад, — заключает свое выступление П. Петров, — переводами литературы Азии и Африки занимались порой люди недостаточно квалифицированные в литературном отношении (а художественный перевод — это большое искусство, требующее таланта), то за последние два-три года в эту область переводческой работы пришла плеяда настоящих, квалифицированных переводчиков, как поэтов, так и прозаиков.

САИД НАФИСИ (Иран)

— Собрание прогрессивных писателей Востока,— говорит иранский ученый-филолог проф. Саид Нафиси,— не может не отметить с прискорбием, что среди нас нет двух боевых товарищей, недавно ушедших от нас. Я предлагаю почтить вставанием память этих выдающихся поэтов — Лахути и Хикмета.

Проф. Нафиси выражает согласие с выступлением Д. Комиссарова; действительно, упадочные тенденции встречают отпор у демократических культурных сил Ирана. Но некоторые иранские писатели все же идут на поводу у литературной моды, у снобизма.

Значительная часть выступления иранского литературоведа посвящена проблеме традиций и новаторства в литературе.

— Писатель должен жить своим временем, в рамках требований своей эпохи,— утверждает оратор,— но не должен порывать при этом с национальными корнями своей культуры. И здесь огромную роль играет фольклор. Фольклор — это душа народа; самые нежные струны народного сердца звучат в фольклоре. Это — те традиции, которые открывают наиболее перспективные пути к будущему. Цель литературы — связать воедино прошлое с будущим. Литература, не основанная на наследии прошлого, строится на песке.

Проф. Нафиси говорит о вреде подражания неудачным образцам западной литературы. Естественно, что широкий круг читателей не в состоянии переварить эту чуждую ему пищу. Читатель должен чувствовать себя в литературе как в привычной среде, как среди знакомого пейзажа.

Саид Нафиси напоминает собравшимся, что музыка таких русских композиторов, как Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков, пользуется в странах Востока гораздо большим успехом, чем музыка западноевропейская.

— Дело здесь в том,— заявляет оратор,— что эти мелодии представляют собой переходную ступень, необходимую в каждом долгом путешествии. Культура Востока должна избрать естественный путь: идти к Западу через Восточную Европу. Модернистская литература, эта асимметрия слов и мыслей, эти прогулки в чуждом мире, никогда не сможет удовлетворить иранского народного читателя, являющегося поэтом по самому складу своей души. Лучший путь — это путь, ведущий от Пушкина к Горькому. И в Иране есть уже ободряющие примеры успешного следования по этому пути.

Проф. Нафиси считает, что литература должна воспитывать активное и жизнерадостное отношение к бытию; когда человек грустен, говорит он, у него нет мужества вести борьбу. Выступая за героическое начало в литературе, оратор призывает к осторожности в обращении к трагическим темам и сюжетам, ибо, говорит он, не всякая трагедия героична, не всякая трагедия вливает в человека бодрость.

— Нет нужды доказывать,— продолжает он,— что каждый писатель непременно должен быть прогрессивным человеком. Глаза человека с самого рождения всегда устремлены вперед, в будущее. Как же вы хотите, чтобы в литературе он смотрел назад, был реакционным! Непрогрессивная литература не может создать высоких произведений.

С. Нафиси говорит о необходимости использовать современные средства распространения передовых идей, обращаться к народу через театр, кино, радио, телевидение.

В заключение оратор отмечает важное значение той большой работы, которую ведет Институт народов Азии Академии наук СССР, и благодарит советских ученых за их труд. Проф. Нафиси предлагает создать Международный союз писателей Африки и Азии.

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

Известный киргизский писатель, лауреат Ленинской премии Чингиз Айтматов рассказывает собравшимся о своей недавней поездке в Алжир, о встречах и беседах с поэтами, прозаиками, общественными деятелями молодой народной демократической республики.

— Алжирский народ, донесший до наших дней свою большую древнюю культуру, переживает сейчас духовное обновление. Алжирская революция открыла перед народной интеллигенцией огромное поле деятельности. Все, что прежде было лишь в мыслях и планах, стало ныне повседневным практическим делом. Как вести работу по ликвидации неграмотности; что предпринять, чтобы удешевить книги и учебники; как наладить издательское дело; с чего начать создание национальной кинематографии и театра?.. Только революция, несущая народу свет и свободу, может поставить на повестку дня столько безотлагательных задач строительства новой культуры! И в том, что мы собрались здесь за «круглым столом», надо видеть добрые плоды освободительного антиимпериалистического движения современности. Лет десять назад мы не могли бы встретиться на подобном семинаре.

Оратор говорит, что пришла пора великого общения народов. Встречи и взаимосвязи деятелей культуры разных стран — это духовная потребность эпохи. Говоря

в наши дни о мировой культуре, нельзя обходить молчанием афро-азиатские страны: удельный вес культуры и искусства этих континентов возрастает с каждым днем. Борьба против империализма и колониализма, подчеркивает оратор, это также и борьба в сфере эстетики, борьба за воспитание нового человека.

— Мало изгнать империализм с территории страны, надо еще изгнать последствия колониализма из человеческих душ,— говорит Айтматов.— По нашему убеждению и опыту, эту миссию может выполнить лишь искусство революционное, искусство социалистического реализма, воспевающее лучшие качества человека-труженика, его гуманизм, его непримиримость к злу. На Западе некоторые тщатся доказать, что обществу нужен не герой, а «антигерой». Мне думается, это не от хорошей жизни! Если искусство не в состоянии зажигать умы и сердца, раскрывать глубину и многосложность человеческих чувств, то, по-видимому, оно просто перестает быть искусством.

Чингиз Айтматов рассказывает об опыте киргизской литературы, которая развивалась не изолированно и не только на почве своих фольклорных традиций, а в связях с братскими литературами СССР, со всей мировой культурой.

— Национальный эгоизм,— говорит он,— не только сковывает культуру народа и мешает ей взять все лучшее из сокровищницы человечества, но и не дает ей возможности самой внести в эту сокровищницу свою самобытную лепту.

Нас радует, что писатели Азии и Африки стремятся овладеть высокой профессиональной культурой, художественным мастерством, которое вобрало бы в себя и то, что достигнуто в этой области развитыми нациями, и то, что заключено в культурном наследии своих народов.

Чингиз Айтматов поддерживает выступление на семинаре алжирского писателя Мурада Бурбуна.

— Я рад, что мой друг выступил так горячо, умно, интересно,— говорит оратор.— Совершенно прав Мурад Бурбун, когда он утверждает, что язык не является собственностью одного какого-то народа. Если в силу исторических условий литература некоторых народов стала развиваться в двух языковых потоках, нужно правильно использовать это положение.

В заключение Чингиз Айтматов говорит о реакционной западной кинопродукции, попадающей на экраны ряда афро-азиатских стран, и призывает писателей выступать против подобных фильмов, обличать антигуманизм во всех его формах и проявлениях.

ТАЦУО КУРОДА (Япония)

— Позвольте мне рассказать вам о том, как переводится и распространяется в Японии советская литература,— сказал проф. Тацуо Курода.— Я касаюсь этого вопроса потому, что я лично на протяжении последних сорока лет своей жизни непосредственно участвую в этой работе.

Традиция перевода русской литературы существует в Японии уже более полувека. Первым русским писателем, переведенным на японский язык, был Тургенев. В настоящее время большинство основных произведений русской классики прошлого века издано в переводе на японский язык. Полностью переведены сочинения Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, а также труды Радищева, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Герцена. Японский читатель имеет возможность прочесть на своем языке все произведения Горького.

— Не будет преувеличением сказать,— заявляет проф. Курода,— что влияние, оказанное русской классической литературой на литературу Японии, превосходит влияние любой другой зарубежной литературы.

Переводы первых произведений молодой литературы советской страны стали появляться в Японии начиная с 1922—1923 годов. Такие произведения, как «Железный поток» Серафимовича, «Неделя» Либединского, «Чапаев» Фурманова, дали великолепный стимул для пролетарской литературы и для рабочего движения Японии. Тогда же, в конце 20-х — начале 30-х годов, были изданы книги Гладкова, Шолохова, Эренбурга и других авторов, рассказавших о строительстве социализма в СССР. Японский читатель с интересом и удовлетворением встречал эти книги.

С 1933 года, продолжает Тацуо Курода, в Японии поднимают голову милитаристские силы. Рабочее движение подавляется. Пролетарская литература также понесла большие потери. Такое положение немедленно сказалось и на издании книг советских писателей; впоследствии всякий контакт с советской культурой был вообще запрещен. Но в 1945 году, после поражения японского империализма советская литература, как поток, прорвавший преграду, хлынула в читательские массы. Особенный успех имели книги, раскрывавшие несгибаемое мужество советских людей в борьбе против фашизма: «Радуга» Василевской, «Непокоренные» Горбатова, «Дни и ночи» Симонова, «Молодая гвардия» Фадеева. Эти произведения помогали трудящимся в их борьбе за демократизацию Японии.

— Потом советских писателей издавать стали меньше. Правда, за последние годы у нас появились книги Стельмаха, Эренбурга, Солженицына, и каждая из них имела определенный резонанс, но все же число переводов советской литературы сократилось.

Проф. Курода отмечает, что в послевоенные годы, из-за отсутствия систематической информации о советской литературе, порой переводились произведения, не отличавшиеся высоким художественным и идейным уровнем.

Современная японская буржуазная литература быстро движется по пути упадка под влиянием модернистских течений. В этих условиях перевод лучших произведений советской литературы, с ее блестящими достижениями реалистического характера, может явиться для нас большой помощью и дать импульс прогрессивной японской мысли.

— Чтобы лучше знакомить японского читателя с новыми произведениями советской литературы,— заканчивает свое выступление проф. Курода,— мы собираемся начать издание в Японии журнала «Советская литература». Я верю, что это будет способствовать укреплению международных литературных связей, укреплению реализма в искусстве.

ДЖОН П. КЛАРК (Нигерия)

Нигерийский поэт Джон П. Кларк выступает на семинаре как член Общества писателей Нигерии, организованного в 1962 году.

— Мы — свободная организация отдельных лиц, работающих независимо друг от друга,— говорит Джон Кларк,— мы выполняем на благо своей страны самую различную работу, но нас связывает общая любовь к литературе... Я рад сообщить вам, что теперь, когда у нас есть Общество писателей Нигерии, мы получили приглашение на этот семинар непосредственно, а не через политическую партию или какую-нибудь организацию, которая не имеет отношения к литературе.

Д. Кларк рассказывает, что на его родине есть еще одна писательская организация — Ассоциация писателей Нигерии; по мнению Д. Кларка, в то время как Общество писателей охватывает тех, кто действительно занимается литературным творчеством, Ассоциация писателей пока еще дальше благих намерений не идет.

Нигерийский поэт говорит о своей стране, с ее 55-миллионным населением; каждый пятый или шестой писатель Африки — нигериец. В Нигерии существует около двухсот языков и диалектов, а общим языком служит английский.

— Мы не огорчаемся и не гордимся этим,— заявляет он,— а принимаем это как факт.

Одной из важнейших проблем, стоящих перед писателями Нигерии, является проблема неграмотности. Часть населения вообще неграмотна, часть умеет писать и читать по-арабски, часть — по-английски, многие читают лишь на местных языках.

Д. Кларк говорит о фольклорном богатстве нигерийской культуры:

— Как раз сейчас я работаю над фольклором. Этот фольклор — не те сказки, которые рассказываешь детям, сидя под деревом. Это эпическое повествование о моем народе, которое надо рассказывать несколько вечеров подряд. Здесь нужны также музыка и театральные декорации, потому что это — своего рода народное драматическое представление. Я записал эти предания на магнитофонную ленту, прослушивание ее занимает около 50 часов. Теперь я пытаюсь произвести в этом материале отбор и воссоздать таким образом ту эпическую драму, которую рассказывали и представляли многие поколения моего народа, воссоздать ее в таком виде, чтобы она дошла до самых широких кругов населения. Народу нужны не отдельные сказки, а именно эпос, который можно исполнять на сцене или декламировать, как «Илиаду». Хочу подчеркнуть также, что мы стремимся сделать свой эпос достоянием народов всех стран, чтобы его можно было прочитать на русском, или на японском, или на другом языке.

Д. Кларк рассказывает, что ряд писателей Нигерии использует в своих произведениях устные народные рассказы, бытующие в деревнях, изучая и записывая самые разные жанры фольклора. Кроме того, есть писатели, пишущие на английском языке, их романы читаются во всем мире; Д. Кларк называет эти произведения «наднациональными» или «интернациональными». Он говорит также о многообразии жанров и форм в современной литературе Нигерии, о профессиональных театральных труппах, которые ездят по стране и в репертуаре которых есть как пьесы национальные, так и мировая классика, исполняемая на английском языке.

Джон Кларк перечисляет тех писателей Нигерии, чьи книги, по его мнению, играют важную роль в развитии нигерийской литературы. Он говорит далее, что в его стране до сих пор существуют значительные трудности в деле издания произведений отечественных писателей; многие нигерийские авторы вынуждены публиковать свои книги за границей, прежде всего в Англии. Немногочисленные нигерийские издательства — это, по словам оратора, чисто коммерческие предприятия; плохо поставлен сбыт книг.



Сунити Кумар Чаттерджи и Джон П. Кларк

Перейдя к проблеме «негритюда», Д. Кларк заявляет, что эта теория, созданная в конце войны писателями Африки и Вест-Индии, пишущими по-французски, отразила их протест против расизма и колониализма, вдохновила на отражение африканского прошлого.

— В той мере, в какой «негритюд» вдохновляет на создание хороших произведений, хорошей поэзии,— говорит Д. Кларк,— в той мере его можно считать полезным движением. Если он помогает поэтам — что ж, это очень хорошо!

Но Джон Кларк протестует против придания теории «негритюда» характера догмы, против того, чтобы смотреть на «негритюд» как на застывшую эстетическую программу.

— Мне это движение нравится именно потому, что оно динамично, потому, что оно экспериментально. Но будь то «негритюд»,— говорит он,— или любая другая программа, писатели Нигерии не хотят, чтобы им указывали: «Делай то-то или то-то». Вчера на семинаре,— продолжает Д. Кларк,— один из выступавших говорил, что писатели Африки непременно должны писать о национально-освободительной борьбе и тому подобных вещах. Что ж, это хорошая тема, но если кто-нибудь захочет писать на другие темы — пожалуйста! Ведь нельзя писателя навсегда прикрепить к какому-то списку тем! Литературная работа — дело индивидуальное, и никого нельзя заставить писать по решению того или иного комитета.

Джон Кларк выступает за то, чтобы о творчестве африканских писателей судили на основании эстетических критериев, общих для всех писателей мира, он решительно возражает против приписывания Африке и ее культуре каких-то экзотических свойств, против создания «стереотипа».

— Мы не аскеты, как о нас писал Мур, мы не являемся крайними индивидуалистами и не состоим в лагере сторонников «негритюда». Мы не убегаем от действительности. Мы творим литературу, и романы, создаваемые в Нигерии,—реалистичны. Образы, которые мы используем, совсем не обязательно связаны с мифологией, но они всегда значат что-то определенное для нас, для наших африканских читателей.

В заключение Джон Кларк говорит:

— Мы как писатели верим в силу слова, преобразованного в труд. Мы не верим в слово как в таковое. Слово должно быть воплощено в произведение искусства. Одно дело писать программы и лозунги, а другое — создавать произведения. Любой критик, взглянув на современную Африку, увидит, что в одних ее районах произведения появляются, а в других нет. Надеюсь, что эти краткие замечания помогут вам лучше понять нашу действительность.

К. ЗЕЛИНСКИЙ (СССР)

— Тема моего выступления — завтрашний день мировой литературы и в связи с этим значения опыта литературы советской, — сказал Корнелий Зелинский.

К. Зелинский говорит о необычайно возросших темпах экономического, политического, технического, культурного развития народов во всем мире. В этих условиях взаимосвязь всех литератур оказывается значительно большей, чем в любой период истории человечества. Советский критик поддерживает мысль многих участников семинара о том, что задачи, стоящие ныне перед писателями стран Азии и Африки, отчасти сходны с задачами, которые приходилось решать на заре советской власти литераторам наших национальных республик.

— Мне думается, — продолжает К. Зелинский, — что советская литература — это та литература, где каждый народ может найти для себя если не пример, то во всяком случае опыт. Использовать наш опыт может каждый. В своем вступительном слове Виталий Озеров говорил о том, что в СССР развивается 57 национальных литератур. Каждый народ мира может найти среди них то, что ему ближе и понятнее. В значительной мере те проблемы, которые вставали перед писателями у нас, встанут теперь перед литераторами афро-азиатских стран.

Анализируя эти проблемы, оратор говорит о социальной направленности творчества, о стремлении писателя обращаться к миллионам людей, изображать жизнь в свете тех идеалов, которые близки огромным массам населения. Именно эта черта, характерная для советской литературы, становится тенденцией мирового культурного развития.

К. Зелинский останавливается на книге французского антрополога Шарля Летуэрно «Литературное развитие различных племен и народов».

— К каким выводам пришел этот ученый, сравнивая состояние литературы в разные времена и в разных частях света? Во-первых, к выводу о том, что прошлые цивилизации (Египет, Греция, Рим) скатывались по наклонной плоскости потому, что эти общества были основаны на рабстве и социальные их идеалы не могли питать настоящей литературы. Во-вторых, Летуэрно считает, что мировую литературу ждет печальная участь. Его работа написана давно, и он не мог предвидеть, что произойдет Октябрьская революция, которая в корне изменит ход культурного развития.

Стремительное развитие техники, в частности, развитие кино, радио, телевидения, разнообразие методов рекламы — все это создает новые отношения между литературой и читателем. В капиталистических странах искусство подменяется информацией. В США, например, говорит К. Зелинский, вы можете за несколько долларов купить книгу, в которой пересказаны сюжеты около двух с половиной тысяч произведений мировой литературы; но не следует соглашаться с мрачными прогнозами, звучащими на Западе, согласно которым «книга вымирает, книга обречена».

Литература придет в будущее человечества и займет в нем важное место, как первостепенный фактор умственной и эмоциональной деятельности. Ибо дело вовсе не в пресыщении масс книгой, а, наоборот, в том, что массы еще сплошь и рядом не имеют реального доступа к ней. Советский опыт, по убеждению К. Зелинского, тоже может многое подсказать в этом отношении. Радио, телевидение, кино не разлучают советского человека с книгой, а подогревают его интерес к более глубокому размышлению над прочитанным.

— Опыт культурного развития в Советском Союзе, — заявляет оратор, — показывает, что приобщение масс к художественной литературе неуклонно растет. Советский опыт говорит о том, что литературу ждет богатое цветение на почве, вспаханной орудиями коммунистической революции. Экстенсивное и интенсивное в искусстве, образ и информация, искусство и наука найдут свое гармоническое равновесие. Первые поля земного глобуса вспаханы, семена посеяны, наши потомки увидят их цветение.

АТТИЯ ХУСЕЙН (Индия)

Индийская писательница Атия Хусейн рассказывает о своеобразии положения литератора, живущего не на родине и пишущего не на родном языке. Родной язык А. Хусейн — урду, ее родина — Индия, живет она в настоящее время в Англии и пишет по-английски.

— Когда Англия правила нашей страной, — говорит А. Хусейн, — я ненавидела ее, ненавидела англичан как угнетателей, и таковы были чувства всего индийского народа. Но сейчас, прожив в Англии долгое время, я полюбила англичан. Дело в том, что сейчас для меня эта страна перестала быть страной угнетателей. Однако существуют мысли, которые я могу выразить только на языке урду.

Я сожалею, что не пишу на языке своего народа. Это мешает моему общению с народом. Но когда я пишу на английском языке, в этом тоже есть свое преимущество: я могу рассказать о своем народе другим. Мы, «перемещенные писатели», не забываем о своих национальных корнях. Мы несем в своей душе глубокую боль.

А. Хусейн выражает удовлетворение атмосферой дружбы, царящей на семи-

наре. Она приветствует выступления представителей среднеазиатских республик СССР. Проблемы двуязычия, по мнению А. Хусейн, роднят культуры этих республик с культурой Индии. Язык, говорит она, не может быть социалистическим или капиталистическим, он — средство общения, но его можно использовать как с дурными намерениями, так и с добрыми.

— Важно, чтобы люди знали о жизни других стран, и тут велика роль печатного слова, роль писателя, выражающего чаяния своего народа. Вот почему очень ценно, что литературы всех стран приходят друг к другу в переводах. И мне бы очень хотелось прочитать в переводе все интересные книги, которые упоминались на этом семинаре.

А. Хусейн рассказала о своем посещении библиотеки им. В. И. Ленина в Москве.

— На Западе часто говорят, что советский человек узок в своих взглядах, ограничен в своем чтении. В библиотеке имени Ленина я увидела, какими сокровищами мысли обладает советский человек, какие богатства находятся в его распоряжении, как страстно стремится он к книге — и читает не только отечественную литературу, но литературу всех стран. Нигде в мире я не видела ничего подобного.

Заклячая свое выступление, А. Хусейн говорит:

— Мы выступаем за мир и дружбу между народами, это наше общее желание. Как женщина и мать четырех детей, я всей душой — за мирное прекрасное будущее. Убеждена, что так думают все матери.

Аг. ГАТОВ (СССР)

— Среди рекомендаций, принятых Ташкентской конференцией, чуть ли не первое место было отведено изданию переводных книг, взаимному ознакомлению с литературами разных стран. Ибо перевод — это главный канал, по которому осуществляются взаимные связи и контакты.

За 6 лет, прошедших с Ташкентской конференции, значительно возросло число переводов с языков Индии, с китайского, японского, турецкого, арабского, монгольского; впервые стали издаваться переводы из литератур Бирмы, Индонезии, Непала, Камбоджи, Цейлона, Ганы, Камеруна, Кении, Мали, Мозамбика, Нигерии, Гвинеи, Либерии, Эфиопии и других стран. За эти же годы наши журналы и газеты поместили около 1000 публикаций произведений 903 африканских и азиатских писателей.

— По сути дела, — заявляет оратор, — создана целая библиотека фольклора, классической и современной прозы и поэзии многих стран, о литературе которых наш читатель прежде почти ничего не знал. Это и есть одно из живых и конкретных воплощений Духа Ташкента!

Переводческая работа в Советском Союзе успешно противостоит проявлениям замкнутости и вместе с тем содействует развитию общих для всех народов нашей страны черт будущей культуры коммунизма, которая, как сказано в Программе КПСС, «вбирая в себя и развивая все лучшее, что создано мировой культурой, явится новой, высшей ступенью в культурном развитии человечества».

Аг. Гатов говорит далее о том, что кое-кто на Западе по-иному смотрит на цели переводческой деятельности. Так, некто Вернер Винтер из Техасского университета увидел в размахе литературной работы советских переводчиков чуть ли не политическую угрозу «свободному миру», подрыв престижа США в странах Азии и Африки. Г-н Винтер не заметил главного, не заметил, что именно гуманистические принципы, которыми руководствуется советская школа художественного перевода, сделали возможным такой огромный разворот нашей издательской деятельности. Говоря о советской школе художественного перевода, Аг. Гатов приводит строки из стихотворения Бориса Слуцкого:

...Работаю с неслыханной охотой
Я только потому над переводами,
Что переводы кажутся пехотой,
Взрывающей валы между народами.

— Хамид Гулям говорил здесь о роли перевода на русский язык, который нередко оказывается связующим звеном, посредником для перевода афро-азиатских литератур на другие языки нашей страны, — продолжает Аг. Гатов. — Но переводы с русских переводов представляются нам временным явлением. С ростом культуры в нашей стране такая практика, играющая сейчас огромную положительную роль, постепенно будет уступать место практике перевода с подлинника. Процесс этот длительный, но исторически неизбежный.

В заключение Аг. Гатов останавливается на проблеме повышения качества художественного перевода; одним из важных путей к этому оратор считает обмен переводчиками, изучение ими «на местах» культуры, быта, языка тех стран, литературой которых они занимаются. Такой обмен рекомендован в решениях Ташкентской конференции. Нужна также профессиональная критика переводов. Нынешний семинар окажет помощь советским писателям-переводчикам.

САЛАХ ХАЛЕС (Ирак)

Выступление иракского литературоведа С. Халеса посвящено современной поэзии арабских стран.

— Арабская поэзия наших дней — прямая продолжательница классической арабской литературы, возраст которой исчисляется пятнадцатью столетиями. Классическая поэзия арабских стран крепко связана с новой арабской поэзией как самим характером художественных образов, так и всеми средствами поэтической выразительности, она продолжает оказывать свое воздействие на поэзию современную прежде всего своей социальной и идейной направленностью.

Салах Халес анализирует содержание и форму поэзии Ирака на разных исторических этапах, прослеживая связь творчества крупнейших иракских поэтов XIX и XX веков с национально-освободительным движением в стране, с чаяниями народных масс.

— После второй мировой войны прогрессивная литература завоевала в Ираке ключевые позиции. Несмотря на усилия проимпериалистических властей поддержать буржуазные литературные направления, среди большинства поэтов и прозаиков Ирака получили признание передовые эстетические идеи. Победа прогрессивных тенденций в искусстве явилась провозвестием политической победы, которую народ одержал над реакцией и империализмом 14 июля 1958 года. Именно после победы революции был создан Союз иракских писателей.

С. Халес говорит о жестокой расправе, которой подверглась прогрессивная литература страны в результате баасистского переворота в феврале 1963 года. Преступные террористические акты против писателей и демократической интеллигенции, продолжая оратор, сопровождался разгулом реакционной литературы, появлением на авансцене пресловутой Ассоциации писателей и сочинителей, претендующей на роль представителя иракской литературы.

Салах Халес оптимистически оценивает ближайшие перспективы развития культуры своей родины. Победы, одержанные народами Азии и Африки, в том числе и народами Арабского Востока над реакцией, вливают новые силы в ряды борцов за независимость, за подлинную национальную культуру Ирака.

— Иракская литература, как это было всегда в ее истории, сыграет достойную роль в борьбе своего народа!

АБДИЛЬДА ТАЖИБАЕВ (СССР)

Казахский поэт и драматург Абдильда Тажибаев рассказывает о литературе своей республики, о многообразии ее жанров, о выпускаемой Академией наук республики многоотомной истории древней и новой казахской литературы.

— Творчество таких писателей, как Ауэзов, Джамбул, Муканов, Мусрепов, давно вышло за пределы республики, завоевало признание и за рубежами Советского Союза. Героический эпос казахского народа переведен на многие языки, в частности на немецкий, французский, венгерский, чешский. Я могу с гордостью заявить, что наша казахская советская литература, которая сравнительно недавно обрела письменность, развивается, растет и входит большим и зрелым отрядом в многонациональную советскую литературу.

Но казахский народ, продолжает Тажибаев, хочет приобщиться к духовным ценностям всех народов мира. Пришла пора больших творческих встреч и разговоров, пришла пора писателям наших стран стать настоящими близкими друзьями.

— Я с удовольствием послушал бы на наших встречах выступление поэта из африканской или азиатской страны, послушал бы его стихи; даже не зная языка, я уловил бы самую музыку поэзии, биение чувства. Это помогло бы мне потом передать его стихи на моем языке.

А. Тажибаев говорит о бессмертии фольклора, который продолжает жить и развиваться и в наше время, параллельно с письменной литературой. Он предлагает начать выпуск библиотечки поэтов Азии и Африки, регулярно печатать сборники переводов современной поэзии этих стран.

ФАТХИ ГАНЕМ (ОАР)

— Мы, писатели ОАР, верим в тесную связь литературы и культуры с жизнью, с жизнью трудового народа, верим в то, что, повинаясь законам эволюции, человеческое общество неуклонно движется по пути социального прогресса, навстречу лучшей жизни для всех народов мира, — заявил в начале своего выступления писатель Фатхи Ганем. — История нашей борьбы против империализма и эксплуатации, за политическое и социальное освобождение является в то же время историей нашей литературы, нашей культуры.

Фатхи Ганем говорит о том, что писатели Объединенной Арабской Республики считают необходимым творчески использовать революционный опыт других народов,

принимая во внимание те великие изменения, которые произошли в мире после второй мировой войны. Ф. Ганем уточняет, что речь идет, во-первых, о подъеме национально-освободительного движения в Азии, Африке, Латинской Америке, во-вторых, о великой революционизирующей роли социалистического лагеря и, в-третьих, о грандиозных научных достижениях, о колоссальном скачке в развитии производительных сил, открывающем неограниченные возможности для прогресса.

— Если учесть все эти факты, непосредственно влияющие на нашу социальную жизнь, на развитие культуры и литературы, — продолжает Ф. Ганем, — то становится абсолютно ясно, что мы не можем находиться в изоляции друг от друга, что нам необходимо перенимать друг у друга положительный опыт.

Ф. Ганем рассказывает о культурной революции, явившейся непосредственным следствием революции политической, победившей в Египте в 1952 году под руководством Гамалы Абдель Насера. Перед интеллигенцией ОАР, говорит писатель, сразу встал ряд важнейших проблем, из которых он выделяет две: как сделать культуру достоянием всех членов общества и как понимать свободу творчества писателя.

— Первым нашим шагом на пути строительства социалистической культуры было признание фольклора как основного животворного источника, питающего культуру в целом. Систематически стали записываться произведения устного народного творчества, произведения музыкального фольклора получили доступ в театры, на радио и телевидение. Но при этом мы отнюдь не отказались от всего нашего богатого культурного наследия, создававшегося веками, от арабской литературы и арабского литературного языка.

Ф. Ганем рассказывает, как в 1956 году, в дни борьбы за Суэцкий канал, были открыты бесплатные театры для народа. Впервые в жизни простой феллах переступил порог оперного театра, говорит оратор. За последние пять лет в стране появилось 20 новых театральных коллективов, театр пришел в деревни, в районы освоения пустыни, на шахты и нефтепромыслы, к рыбакам в дельте Нила, к строителям Асуанской плотины.

— Мы сказали: «Если крестьянин или рабочий не может прийти в театр, пусть театр сам придет к нему!» Мы не можем согласиться с теми, кто утверждает, будто «высокая культура» — это монополия аристократии. Подлинная культура — культура народная.

Ф. Ганем говорит также о спорах, которые велись на его родине по так называемой проблеме «количества и качества». Проводя в жизнь лозунг «литература и искусство должны стать достоянием народа» деятели культуры ОАР столкнулись с нехваткой творческих кадров. Стали раздаваться голоса, что сначала надо бы решить проблему количества, обеспечить достаточное количество книг, спектаклей, театральных коллективов, не забывая пока о художественном уровне. Противники этой точки зрения, продолжал оратор, боялись, что погоня за количеством грозит превратить искусство в набор голых безжизненных лозунгов.

— Спор решила политика государства, открывшего театры и издательства, другими словами, политика, обеспечившая культурные институты материально, — говорит Ф. Ганем. — И это не оказалось погоней за количеством. Уже на следующий год появились новые писательские имена, новые таланты среди актеров, певцов, танцоров. Может быть, не всем хватает опыта, но бесспорно одно: создаются полезные и серьезные произведения.

Перейдя к вопросу о свободе творчества, Ф. Ганем сказал:

— Мы понимаем проблему свободы творчества как необходимость для писателя находиться в постоянной связи с народом, знать его нужды, его созидательную деятельность и борьбу. Наш писатель считает себя ответственным перед обществом, ставшим на путь строительства социализма. Но в рамках понимания этих задач мы не ограничиваем свободы писателя экспериментировать, не ограничиваем писателя или художника в выборе средств художественного выражения. У нас есть «экспериментальный театр», есть новое поэтическое движение, целью которого является развитие арабской поэзии, отмена старых, отживших стихотворных канонов, создание новых форм и привнесение в поэзию новых социальных тем.

В заключение, подчеркнув, что настоящий семинар был для его соотечественников крайне полезен, Ф. Ганем, выдвинул предложение издавать журнал, который публиковал бы оригинальные произведения и критические работы писателей Азии и Африки. Он выразил также желание, чтобы связи, укрепившиеся на семинаре, не прерывались и в дальнейшем.

С. БОРОДИН (СССР)

Советский писатель, автор исторических романов С. Бородин свое выступление на семинаре посвящает этой близкой ему проблеме.

— Историческая тема занимает сейчас большое место в ряде литератур Азии. Иногда это результат большой работы над документами и первоисточниками, иног-

да — переосмысление эпоса, преданий, фольклора. И мне хотелось бы поделиться некоторыми мыслями в этой области и послушать своих коллег из Азии и Африки.

Литература современности призвана не только воплотить свое время, но и переосмыслить прошлое народов, которое на протяжении веков искажалось, а то и просто замалчивалось, как это было с историей культуры Африки.

— Истинное знание и понимание прошлого, — продолжает С. Бородин, — приходит лишь в условиях освободительного движения народов.

Произведение на историческую тему может быть истинно новаторским, ибо актуальность и новаторство книги определяются не только материалом, но и ее идейной устремленностью.

С. Бородин рассказывает собравшимся о своей работе над историческим романом «Дмитрий Донской», в котором он стремился творчески осмыслить роль личности в истории. Придерживаясь строгой документальности исторического материала, он, как и большинство его советских коллег, оставлял за собой право свободно писать характеры, вводить вымышленных героев, которые, однако, должны быть достоверными для условий своего времени.

— Мой герой, Дмитрий Донской, — это герой лишь в той мере, в какой он отражает интересы народа. Когда задачи государственного деятеля совпадают с насущными нуждами страны, когда он возглавляет осуществление чаяний народных, он становится героем, хотя сам, может быть, не совершает никаких личных подвигов.

Писатель утверждает, что роль исторической личности всегда ограничена условиями эпохи и сам по себе герой не может изменить ход истории — он может лишь на какое-то время ускорить или затормозить исторический процесс, который впоследствии всегда возвращается в свое русло, продолжая свое закономерное движение.

— Эту тему, — продолжает С. Бородин, — я пытался развить в цикле исторических романов о Тамерлане. Я выбрал героя умного, волевого. Я выбрал завоевателя, покорившего Индию, Иран, Турцию, арабские страны, создавшего огромную империю. Я показываю, как в огне войны гибли сотни тысяч людей, материальные и культурные ценности. Но всюду был народ, и мал ли был этот народ или велик, вооружен или безоружен, он сопротивлялся завоевателям, он был завоеван, но не покорен. Это — тема бессмертия народов; как ни могуществен был Тимур, но народы уже накапливали силы для будущей борьбы за свое освобождение. Это — тема бессмертия культуры народов. Я согласен с Мурадом Бурбуном, что культура на Земле едина, но все же у каждого народа она по-своему неповторима, и в этом разнообразии единой культуры человечества — ее богатство и красота.

Оратор говорит также о вопросах формы исторического романа.

— Я не признаю форму ради формы, как бы красива она ни была. Форма — лишь средство, а не цель, средство возможно полнее и ярче выразить идею, мысль, образ. Это, разумеется, несколько не ограничивает творческих экспериментов и поисков наиболее совершенных форм.

Касаюсь в этой связи абстрактного искусства, оратор говорит:

— Абстракционизм рвет ткань реалистического произведения, уходит от той борьбы идей, которая составляет суть и жизнь реалистического искусства.

С. Бородин считает необузданным утверждение об отвлеченном характере искусства древних культур, об абстрактном характере их орнаментики и т. п. Оратор говорит далее о разнообразии реалистических приемов творчества:

— Мастера Японии или Индонезии, Ирана или Индии, России или итальянского Возрождения понимают форму различно. С этим разнообразием нельзя не считаться, говоря о реализме. Но в основе всех этих искусств и литератур лежит реалистическое понимание мира, стремление передать его таким, каким его видит глаз художника: в основе творчества у этих художников — не абстракция, а реальный мир.

В заключение С. Бородин говорит:

— В наше время, когда судьбы народов тесно переплелись, когда все сложнее становятся темы, идеи, материал, творческие контакты особенно необходимы. И я рад, видя взаимное стремление к тесной личной дружбе между писателями.

КАТЕБ ЯСИН (Алжир)

— Вы все, конечно, знаете, что многие десятилетия Алжир страдал под колониальным ярмом, жил под гнетом Франции, и я, естественно, находился в том же положении, что и другие алжирские дети: был вынужден посещать школу, где преподавание велось на иностранном, на французском, языке, в то время как дома, в семье, с отцом и с матерью, я говорил на другом языке — на родном арабском. — Так начал свое выступление известный алжирский романист, драматург и поэт Катеб Ясин. — Таким образом, — продолжает он, — для меня сразу же начался конфликт, о котором трудно сказать коротко, но вы понимаете, о чем идет речь: конфликт между двумя языками, конфликт, разрывающий человека надвое, и не только в практической деятельности, но и в духовном отношении, искажающий его знания, его контакты с другими людьми.



Катеб Ясин у выставки книг писателей стран Африки и Азии, изданных в Советском Союзе.

Катеб Ясин с горечью говорит о том, что мир, открывавшийся перед ним во французских учебниках, оказался миром фальшивым. Но юноша осознал это не сразу.

— В детстве я чувствовал себя французом,— продолжает он,— я оплакивал поражение Наполеона и лишь с пренебрежением пожимал плечами, когда мать рассказывала мне истории из прошлого нашего народа, из прошлого Алжира.

Катеб Ясин вспоминает о духовном переломе, который произошел в нем в дни алжирского восстания 1945 года, когда пятнадцатилетним юношей он был арестован.

— Там, в тюрьме, я впервые понял, что такое свобода, я нашел там новых для себя людей. Я понял, что на свете есть не только хорошо одетые молодые люди, умеющие говорить по-французски, но и подлинные сыновья моего народа. Я стал богаче, я понял необходимость стать революционером, борцом за народное дело. И тогда я решил выразить свои чувства и написал стихи. Я выпустил сборник стихов, но его даже не выставляли в витринах книжных лавок.

Катеб Ясин рассказывает о своей дружбе с настоящими людьми, патриотами, выходцами из народной гущи.

— Я понял, что они и только они — те люди, на которых я могу опереться и которые поддержат меня как писателя. Я увидел, что народ поддерживает дело, все значение которого он, быть может, еще и не

понимает до конца, но которое непременно поймет впоследствии. Народ — это Атлант, который держит на своих плечах земной шар.

Катеб Ясин приветствует идею созыва семинара, говорит о плодотворности дружеского обмена опытом между литературами стран Азии и Африки.

БУЮНГ САЛЕХ (Индонезия)

Индонезийский литературовед Буюнг Салех в своем кратком слове касается двух конкретных аспектов переводческой деятельности — перевода поэзии и перевода юмористических произведений.

Перевод стихов с одного языка на другой — дело необычайной сложности. Однако в области перевода индонезийской поэзии на русский язык, говорит он, уже сделаны первые шаги, этому помогло сотрудничество советских специалистов по индонезийскому языку и советских русских поэтов.

— Тот, кто на практике сталкивается с переводом поэзии,— продолжает Буюнг Салех,— понимает, что каждый язык — это другой мир, другая планета, и только человек, владеющий обоими языками, знающий оба эти мира, только он в состоянии понять и оценить прелесть переводимой поэзии. Лишь те поэты, которые знают другой язык, могут до конца оценить красоту поэзии на этом другом языке. Но так как, к сожалению, это условие трудно выполнимо, задачу перевода следует поручить поэтам, пусть и не знающим языка переводимой поэзии, но обладающим достаточно сильной выразительностью на том языке, на который они переводят.

Буюнг Салех замечает также, что своих переводчиков ждет и другой пласт литературы Востока — произведения юмористического плана. Много интересных вещей, насыщенных юмором, имеется и в фольклоре афро-азиатских стран. К таким ожидающим перевода народным произведениям относятся, например, легенды о радже Сулеймане.

— Разве юмор для духовной жизни не то же самое, что материнское молоко для младенца? — восклицает Б. Салех.

Б. РЮРИКОВ (СССР)

С заключительным словом выступает главный редактор журнала «Иностранная литература» Б. Рюриков. Он говорит:

— Мне кажется, что наш семинар прошел очень интересно. Он много нам дал. Это был свободный, творческий, товарищеский разговор. В этом разговоре, естествен-

но, высказывались и разные точки зрения, высказывались и положения, с которыми мы, советские писатели, не соглашались. Это совершенно закономерно, потому что только на кладбище нет разных точек зрения, а мы живем живой, многогранной и творческой жизнью, в каждой стране свой опыт, свои традиции, по-своему развивающаяся борьба идейных сил. Мы теперь лучше знаем друг друга, полнее знаем проблемы, волнующие друзей. Мы получили ценную информацию, шире узнали литературную жизнь и различные точки зрения, и мы очень благодарны всем друзьям — зарубежным писателям и ученым, нашим товарищам, которые приняли участие в этой большой работе.

Наша беседа выявила единство мнений на основе гуманизма, на основе идеи дружбы народов. Я думаю, что и наш старейший участник, индийский друг профессор Чаттерджи, и наш, кажется, самый молодой оратор Джон Окай, оба представляли гуманистическое направление своих литератур.

В понимании общественного долга писателя здесь было отчетливо выражено единодушие и дан правильный ответ. Это не отвлеченный вопрос, это не абстрактная теоретическая проблема. Речь идет об отношении писателя к тем историческим прогрессивным революционным преобразованиям, которыми охвачены континенты Азии, Африки и, я добавлю, Латинской Америки.

Развертывается освободительное движение народов Азии и Африки, укрепляются новые государства, и вместе с борьбой за социализм и коммунизм в Европе, вместе с рабоче-крестьянским движением в странах капитализма все это составляет великое прогрессивное движение народов нашей эпохи. Это борьба человечества за свое счастье, за расцвет общества и каждого человека. И то, что писатели и литературоведы не отделяют своего творчества от жизни народа, — великое достижение и залог успеха культуры этих стран.

Здесь выступал Джон Кларк из Нигерии. Он выдвинул несколько полемических соображений. Высказывания Джона Кларка заслуживают внимания. Он дал нам интересную информацию о том новом, что происходит в жизни его страны. Мы знаем ряд писателей современной Нигерии. Я хочу напомнить, что недавно вышла в нашей стране отличная повесть нигерийского писателя Киприана Эквенси «Когда горит трава», которая принадлежит к числу значительных достижений литературы последних лет. Но когда Д. Кларк говорил о том, что связь между литературой и политикой не обязательна, а что литература — «дело индивидуальное» и не надо мешать ему, то нужно отделить правильное от неправильного. Конечно, романы Толстого, Горького создавались не по постановлениям каких-то комитетов, и не следует утрировать представление об общественном призвании писателя. Писатель творит потому, что он чувствует общественную потребность. Достоевский писал: «Вот напишу роман, и весь выскажусь...»

Писатель выражает то, что волнует народ. Важно понимать значение личной творческой инициативы, художественной индивидуальности художника, но надо понимать и другую сторону дела — связь писателя с обществом.

Наш мир не так хорош, как нам хотелось бы. За его лучшее, более справедливое устройство приходится вести упорную и трудную борьбу. В этой борьбе важно объединить и направить усилия людей; существуют и стратегия, и программа, существуют идеи, которые воодушевляют людей. Нельзя недооценивать общественного опыта, опыта социальной борьбы, в которой так важна правильная политика. Мы противники дурного политиканства, мелких политиканских интриг, но мы за большую прогрессивную политику, которая служит народам. Такая политика помогает понимать мир и действовать, и связь с ней благотворна для писателя.

В ходе нашей дискуссии была раскрыта громадная всенародная потребность в культуре, потребность, которая уходит в самую толщу народных масс. В XX веке, веке огромных исторических перемен, культура нужна народу как хлеб, как воздух, как вода и, я бы добавил, как орудие переустройства жизни. Это очень важно сказать, потому что реакционная печать трубила и трубит, что борьба восстающего народа, борющегося за свои права, якобы разрушает цивилизацию, угрожает культуре. В своей речи Мурад Бурбун привел прекрасные слова Фанона: «Когда речь идет о культуре, нужно работать засучив рукава». Это блестяще сказано! Мы знаем, что патриоты Алжира, плохо одетые, голодные, плохо вооруженные, шли, не боясь артиллерийского огня, не боясь танков, преодолевая проволочные заграждения, — и они пришли к своей цели. И вот люди, которые прошли через тяжелые бои, закопченные порохом, эти люди говорят о культуре как о высокой ценности, для развития которой нельзя шадить сил.

Мурад Бурбун говорил, что в Алжире теперь ставят для народа Шекспира, Брехта. Такого подлинно революционного отношения к культуре. Народ поднимается, он обогащает свой духовный мир. Для нас имеет огромное значение вопрос о перспективах культуры. В выступлениях ораторов оживают картины развития культуры в странах Азии и Африки. Каждому приятно работать, зная, что его работа нужна другим.

Здесь говорили, что поднимающийся народ непримирим к идеям пессимизма. Да, для нас важен вопрос о перспективе, и наша встреча еще раз показала, что перед деятелями культуры стран Азии и Африки, связанными с освободительной и созидательной борьбой своих народов, — прекрасные перспективы.

Есть трудности, есть нерешенные вопросы, но в странах, которые покончили с колониальным гнетом, в которых трудящиеся овладели или овладевают



Группа участников семинара в последний день работы.

властью и поднимаются к высотам культуры, создается новая духовная атмосфера, благоприятная для художественного творчества.

Недавно мне пришлось быть в Каире в театре Республики на премьере новой пьесы нашего друга Юсуфа Идриса, присутствующего здесь. В этой пьесе есть дискуссионные моменты, я не собираюсь давать рецензию на эту пьесу, но хочу сказать о том, что для меня было чрезвычайно дорого. Идет спектакль, и из партера, амфитеатра, лож раздаются голоса то одобрения, то несогласия... Атмосфера заинтересованности и понимания необычайно дорога для всех нас, для каждого писателя. Пусть идут споры, но когда спор идет в обстановке живой заинтересованности, он становится наиболее плодотворным.

Много говорилось о поисках новых решений. Мы являемся сторонниками искусства социалистического реализма. Именно поэтому нам дорого индивидуальное своеобразие каждого поэта, прозаика, дорога его художественная неповторимость. Развитие таланта каждого художника содействует богатству искусства каждой страны, а нивелировка, равнодушие к таланту, равнодушие к мастерству, застойность художественного мышления нам противопоказаны.

В Индонезии, на Яве, рассказчика зовут «сахиб-уль-хикаят» — «властелин рассказа». Художник стоит перед лицом нового мира не как человек, повторяющий чужие слова, а как властелин рассказа, властелин своего творчества. Он формирует, он создает произведение. Мир дает ему богатые впечатления, писатель щедро черпает в жизни идеи, образы, характеры и возвращает их народу обогащенными талантом и мастерством.

Великий русский критик Белинский назвал роман Пушкина «Евгений Онегин» энциклопедией русской жизни. И вот искусство писателей Азии и Африки все больше становится энциклопедией народной жизни и могучим фактором движения вперед.

Здесь все выступали как сторонники идеи гуманизма, гуманизма активного, действенного, революционного, я бы добавил — гуманизма чувства, подкрепленного гуманизмом ясного взгляда на жизнь, гуманизмом революционного разума, гуманизмом научного познания мира. Гуманизм помогает понимать людей, сближает народы, содействует взаимопониманию, и гуманизм подводит к идее о народе как творце истории.

Джон Окай здесь сказал, что перед литературой его страны стоит задача утверждения африканской личности. Для нас идея народа, мира и идея личности — это не противостоящие, а дружественные идеи. Мы исходим из прогрессивного понимания личности. Исходим из того, что чем крупнее масштаб личности, чем значительнее личность каждого человека, чем она богаче, чем вернее ориентирована, тем богаче общество, тем значительнее масштаб общества. Создать сильный, яркий характер представителя народов, идущих новым путем, — это цель многих художников стран Азии и Африки.

Я хочу поделиться с друзьями творческой радостью, которую я испытал недавно, читая повесть ангольского прозаика Мунделе Диа Кванза «Путь Домингуша Шавиера». Эта повесть была недавно опубликована на русском языке. Автор сумел проникнуть в толщу народной жизни и показать, как там, в глубине, формируются активные, яркие характеры. И писатели разных стран: и Р. К. Нарайан, и Махфуз — автор известной книги «Вор и собаки», и другие показывают нам разные стороны жизни, и каждая книга нас обогащает.



Величие Лу Синя, величие Тагора в том и заключается, что они выразили свой народ и свое время, а быть нужным в свое время своему народу — значит быть нужным и в будущем.

Когда совершилась Великая Октябрьская революция в нашей стране, Ленин говорил, что народ, совершивший эту революцию, достоин великого искусства. Здесь нельзя довольствоваться малым. Надо исходить из больших потребностей народов, спланировать людей под знаменами народного дела, привлекать к творчеству людей из рабочих, из крестьян, из интеллигенции.

Мы знаем на опыте Октябрьской революции, что периоды колоссальных общественных преобразований раскалывают старый мир. Мы знаем, как пришел к революции великолепный, тонкий поэт Александр Блок, исследованию творчества которого наш друг профессор Тацуо Курода посвятил одну из своих работ; как пришел к революции талантливый поэт Валерий Брюсов; как стал советским писателем граф Алексей Толстой. И в том, что революция ставит под свои знамена людей, которые откололись от господствовавших вчера классов, — это тоже выражение силы и могущества нашей революции. Революция собирает под своими знаменами все честное, и Ленин учил нас помогать тем, кто приходит для служения народу и хочет стать в общий строй. Мы понимаем идею освобождения, идею счастья народов как великую объединяющую идею нашего века.

Я говорил уже, что у нас много нерешенных задач. Есть страны, в которых сегодня нет политических условий для широкого развития демократической народной культуры, — достаточно напомнить трагедию народов Южной Африки, Анголы, некоторых других стран, — но и в этих странах создаются значительные художественные ценности, создаются, несмотря на давление реакции.

Нашим братьям, которые еще живут под гнетом реакции, мы желаем больших успехов, мы твердо верим, что никакая реакция не сможет подавить талант, близкий к жизни народа.

В некоторых странах нет еще должных условий для широкого развития литературы. Господство колониализма оставило такие последствия, как неграмотность, слабое развитие литературных языков, отсутствие издательств и типографий и т. д.

В журнале «Иностранная литература» недавно была напечатана интересная статья Монго Бети, который рассказывает о трагедии африканского писателя. Он должен писать либо на французском языке, либо на языке своего камерунского народа. Но если он пишет на своем языке, то люди его страны не могут прочесть написанного, потому что нет ни типографий, ни издательств и мало кто читает на этом языке.

Есть трудности, которые реально стоят перед деятелями культуры стран Азии и Африки и в решении которых мы желаем успехов всем нашим друзьям.

В арабском мире есть страны, которые имеют большие возможности издания, книгопечатания и помогают другим. Так, например, здесь отмечали помощь Объединенной Арабской Республики в области издательской деятельности некоторым арабским странам.

Писательские организации могут быть инициаторами больших культурных начинаний, встреч поэтов — мушайр, могут содействовать выступлениям писателей перед народом в клубах, по радио, помогать продвижению литературы туда, где никаких книг раньше не читали. Нужно идти к народным массам!

Все выступающие здесь исходили из идеи единства культуры. Прогрессивная культура стран Азии и Африки — это наше общее достояние. Мы хотим овладеть всеми культурными ценностями, которые содействуют развитию народов. Дружба писателей разных стран укрепляется.

Цифры тиражей, которые тут назывались, наши взаимные визиты — это все звенья великой единой цепи, и нам очень дорого крепнущее единение писателей, деятелей культуры стран Азии и Африки.

Здесь говорили некоторые делегаты, в частности делегат Непала, другие наши друзья, о необходимости шире развивать писательские связи. Очень интересно об этом говорил Саид Нафиси.

У нас есть замечательное движение писателей Азии и Африки. Оно прошло через такие этапы, как Дели, Ташкент, Каир. Оно укрепляет единение писателей двух континентов. Нужно развивать это единение, отбрасывая все то, что мешает братству и дружбе наших народов.

В этой связи я должен сказать, что целиком понимаю огорчение делегата Судана, который рассказывал здесь, как в атмосферу дружелюбия и творческих исканий проникло затхлое дыхание закулисных интриг, нечистых махинаций. Советские писатели на том заседании Исполкома конференции писателей стран Азии и Африки на острове Бали, о котором шла речь, целиком поддерживали писательскую организацию Судана, настаивая, чтобы законные права этой организации были удовлетворены. Мы знаем, что представители Объединенной Арабской Республики заняли ту же позицию.

Недавно мне пришлось быть в Судане, и я сказал суданским писателям от имени советских литераторов, что мы считаем необходимым, чтобы писатели Судана осуществили свои законные права в Постоянном бюро писателей. Наша литературная печать также выступала с недвусмысленной оценкой этого эпизода.

Надеюсь, что подобных эпизодов больше не будет, но дело не только в этом эпизоде.

Нам жизненно важно обеспечить здоровую товарищескую обстановку в движении писателей Азии и Африки.

Мы не боимся полемики, и умеем ее вести, и будем ее вести с теми, которые нападают на нашу линию с ревизионистских или догматических позиций. Но у нас достаточно противников в лагере империалистов и колониалистов. Наш главный противник — империалистическая реакция, колониализм, и с этим противником, против его культурной агрессии надо бороться прежде всего. Надо решать в революционном духе встающие в жизни народов вопросы культуры, идейного развития, духовной жизни, искусства.

Мы не хотим разжигания противоречий в среде писателей Азии и Африки. Мы ищем то, что сближает, а не то, что разъединяет. Догматические, узкосектантские и националистические тенденции мешают укреплению нашего единства. Мы стремимся к дружной совместной работе, к диалогу, укреплению связей и надеемся, что раскольнические действия тех или иных элементов будут преодолены движением писателей стран Азии и Африки.

Перед нами благородная, гуманная цель: содействовать обогащению сокровищницы духовной жизни, развивать все таланты наших народов и каждого человека в отдельности.

Позвольте пожелать всем участникам семинара больших успехов в вашей, в нашей общей почетной работе на благо народов!



ГОЛОС ПАРТИИ

Ленинское требование — «литературное дело должно быть частью общепролетарского дела» — стало основополагающим принципом культурной политики коммунистических и рабочих партий стран социализма. Новое подтверждение тому — проходивший в июне этого года IV съезд Польской объединенной рабочей партии, который уделил внимание и вопросам дальнейшего развития социалистической культуры, и в частности литературы и искусства.

«Социалистическое развитие национальной культуры является органической составной частью строительства социализма», — сказал в своем отчетном докладе Первый секретарь ЦК ПОРП товарищ Владислав Гомулка. — По мере распространения культуры и обогащения ее идейного содержания возрастает ее влияние на формирование духовного облика нашего общества, на формирование его моральных устоев и образа жизни.

Культурная политика нашей партии направлена на идейное сплочение творчества и культурной деятельности со строительством социализма».

Отметив как одно из крупнейших достижений народной Польши за двадцать лет ее существования тот факт, что благодаря развитию издательской деятельности, расширению сети библиотек, развитию радиовещания, телевидения, кинематографии и театра, популяризации музыки и изобразительного искусства весь народ ныне вовлечен в орбиту культурной жизни, тов. В. Гомулка сказал, что партия высоко ценит работу и творческий вклад в развитие польской социалистической культуры тех, кто ее обогащает своим талантом и популяризирует в широких общественных кругах.

Вместе с тем тов. Гомулка подчеркнул, что бурное развитие культурной жизни, с одной стороны, повышает общественную ответственность творческих работников и деятелей культуры, а с другой — ставит новые, более высокие требования культурной политике партии:

«Партия, которая несет ответственность за формирование сознания народа и воспитание его в духе социализма, не может равнодушно и нейтрально относиться к идейному и моральному содержанию творчества и культурной деятельности».

Развитие нашей культуры, как и других областей духовной жизни народа, происходит в условиях столкновения новых социалистических идей со старыми, отсталыми взглядами, унаследованными от буржуазного прошлого, а также в борьбе с влиянием чуждых и враждебных социализму тенденций.

Руководящая роль нашей партии состоит в том, что ее социалистические идеалы и ее научное мировоззрение формируют общественное содержание художественного творчества и культурной работы, ее политика обеспечивает массовое распространение культурных ценностей, служащих развитию социалистического сознания народа, расширению его умственных горизонтов, преодолению отсталости, предрассудков, буржуазного и клерикального наследия».

Прогрессивное искусство, сказал тов. Гомулка, всегда было искусством борющимся, поддерживающим все созидательное и возвышенное, направленным против зла, несправедливости и унижения человека. Великое искусство всегда определяло свою позицию по отношению к большим социальным и моральным конфликтам, выступая

против сил тирании и реакции, на стороне борющихся за прогресс и демократию. Хранить и продолжать эти благородные традиции значит в наши дни поддерживать генеральную линию развития Польши, намеченную коммунистической партией, направляя острие социальной и моральной критики против пережитков прошлого, против косности и консерватизма, против всего того в человеческом сознании и обычаях, что противоречит новым, социалистическим отношениям, требованиям времени, в которое мы живем.

«Мы хотим, чтобы наше литературное и художественное творчество было проникнуто идеалами социалистического патриотизма и интернационализма,— продолжал тов. Гомулка.— Только тогда наша современная литература и искусство выразят правду о жизни и стремлениях нашего народа, только тогда она внесет весомый вклад в развитие общечеловеческой культуры. Именно поэтому мы боремся с появляющимися порой в литературе и художественном творчестве регрессивными тенденциями, которые находят свое выражение в пессимизме, а иногда в прямом недоверии к социализму, а также в анархистском, барском отношении к делам государства и народа...

...Есть в творческих кругах люди, обремененные на наш строй, которые под видом борьбы за свободу творчества требуют свободы антисоциалистической пропаганды, а порой заходят еще дальше и в этой борьбе сознательно обращаются за помощью к реакционным, враждебным Польше иностранным центрам. От их позиции и взглядов отмежевывается подавляющее большинство творческой интеллигенции».

На некоторых нездоровых тенденциях в литературе и искусстве остановился в своем выступлении на съезде и писатель **Юзеф Ленарт**. Полемизируя с теми, кто причисляет себя к «интеллектуальной левой», Ю. Ленарт убедительно показал смехотворность их претензий и на левизну, и на современность. За «левой» вывеской, сказал он, прекрасно уживаются изгнанный из партии фракционер, либерал, застывший в героической позе двадцатилетней давности, и бывший министр лондонского эмиграционного правительства. «Левизна» этой «левой» — не более чем демагогическая фраза. Не менее фальшива «современность», на которую претендуют иные литераторы.

«Когда слышишь эти разговоры о современности, очень часто создается впечатление, что речь идет исключительно о современных средствах художественной выразительности. С таким требованием трудно полемизировать — мы признаем внутреннюю логику развития художественных форм. Но когда мы говорим о современности, мы понимаем ее значительно шире. Современными могут быть

не только изобразительные средства, но и проблематика, которой эти средства служат».

Писатели, которых имеет в виду Ю. Ленарт, настаивая на автономии литературы, понимаемой ими в том смысле, что литература является «сама для себя рулем, и моряком, и кораблем», на деле отвергают именно современную проблематику, отказываются увидеть и отразить великие исторические процессы и свершения.

«Не будем заблуждаться, здесь речь идет не о вопросах формы, не об эксперименте — в эти проблемы партия не вмешивается, признавая компетенцию писателя. Речь идет о содержании. Трактовка истории лишь как жестокой бессмыслицы вместе со всеми последствиями такой позиции — совсем не новое явление в философии и литературе нашего столетия. Точно так же абсолютно не нова попытка усмотреть шанс нашей литературы в освобождении от исторических реалий жизни народа. Это старый комплекс провинциализма в нашей литературе и в искусстве, коренящийся в запоздалом развитии нашей страны, комплекс, который всегда порождал у нашей интеллигенции снобизм и преклонение перед Западом... Таким образом, в области содержания эта «современность» оказывается всего-навсего таким честным, но только по видимости честным, традиционализмом мещанина, который уже ничего не понимает в окружающей его действительности».

Но в своем подавляющем большинстве польские писатели хотят жить жизнью своей страны, впитывать в себя, в свое сознание действительность, о которой литература хочет свидетельствовать и на которую она хочет воздействовать. В своем подавляющем большинстве писатели — с партией.

«Нет, мы не можем признать историю жестокой бессмыслицей, несмотря на всю жестокость ее, несмотря на трагедии, которые мы знаем,— заявил Ю. Ленарт с трибуны съезда.— Мы не можем с этим согласиться, потому что иначе мы должны были бы признать бессмысленным все то, что совершается в нашей стране и в мире благодаря рабочему классу и его партии. Те, кто солидаризируется с рабочим классом и его партией, легко усмотрят в огромном социальном, политическом и культурном скачке, совершенном нашей страной в послевоенные двадцатилетие, факт, дающий нам все основания гордиться и верить в смысл того исторического труда, который мы совершаем и еще совершим. Ибо он является выражением стремлений нашего народа вообще, рабочего класса в особенности. Но если это так, а это действительно так, мы не можем признать, что для нашей литературы возможность иметь мировое значение кроется в том, чтобы освободиться от реалий нашей современной жизни, от проблем, которые

несет с собой ее динамичное течение... Мы не поверим в новаторство литературы, создатели которой не ценят подлинного новаторства нашей действительности».

Выступивший в числе других на съезде писатель Ежи Брошкевич говорил о том, что в противоположность капитализму, стремящемуся подменить мировоззрение мифами, а культуру — развлекательной автоматикой, оглушить человека, довести его до уровня немыслящего существа, ибо в этом одно из основных условий его дальнейшего существования, для социалистического общества главное условие и цель подлинного развития — мыслящий гражданин, личность просвещенная, интеллигентная, внутренне богатая.

Подчеркнув высокое общественное назначение литературы и искусства и решающую роль мировоззрения художника, Е. Брошкевич отметил, что «кодексом законов», которым руководствуется художник, «верша правосудие над миром», для многих деятелей польской культуры уже стала марксистская теория, наука о переустройстве нашей жизни. Но, конечно, этого еще нельзя сказать обо всех писателях и художниках:

«Трезво мысля, мы не можем требовать, чтобы все деятели искусства слишком легко или, что еще хуже, поверхностно усваивали наш кодекс. В марксисты не записываются; надо, чтобы марксизм стал собственной теорией художника; но и это еще не все — он должен взаимосочетаться с острым восприятием, талантом и фантазией. Нам не следует производить механического «набора в идеологию», но мы должны вести принципиальную борьбу за нашу точку зрения, за ее преобладание в произведениях и в направлении искусства».

Характер и задачи этой принципиальной борьбы определены в решениях съезда, где говорится:

«Мы хотим, чтобы польская литература и искусство, в соответствии со своей традицией служения делу народа и общественного прогресса, сопутствовали борьбе и труду людей, строящих в Польше социализм, вселяли в их сердца надежду и веру в завтрашний день, боролись со злом, унаследованным от прошлого либо родившимся в конфликтах современности, с мыслью о победе добра, показывали не только драмы, упадок и слабости человека, но прежде всего его творческие усилия, его распрявление, его способность противостоять стихийности и якобы фатальной судьбе. Мы хотим, чтобы литература и искусство показывали богатую и многообразную жизненную правду, проникнутую социалистическим гуманизмом — руководящей идеей нашей деятельности. Не должно быть места для произведений, идеологическая и моральная направленность которых враждебна социализму».

ГОРЬКИЙ ИЛИ КАФКА

Под таким заголовком в одном из последних номеров венгерского журнала «Критика» опубликована статья Ласло Форгача. Выступление критика нужно признать весьма своевременным. Сторонники модернизма пытаются, как известно, представить сейчас Кафку в виде незаменимого наставника современных писателей, за которым, как за вергилиевой тенью, они будто бы должны пойти по кручам безнадежного и мрачного мира. Указание на горьковскую традицию в литературе является в этих обстоятельствах особенно важным. Ибо этой традиции на самом деле следуют лучшие силы литературы наших дней, той литературы, которая не просто отражает определенные настроения и не просто воспроизводит окружающую действительность, а стремится понять ее законы и принять активное участие в переустройстве мира согласно передовым гуманистическим идеалам человечества.

Статья Форгача дает широкое историческое обоснование активному гуманизму в современной литературе, рассматривая в этой связи и различные пути в творчестве классиков XIX века.

Горький, пишет Форгач,

«является наследником не только искусства Толстого, но и Достоевского. Достоевский присутствует в художественных произведениях Горького и его публицистике в качестве противника, но их связывает и то, что Горький по-новому сформулировал вопросы Достоевского. Начиная с «Трех» и кончая «Жизнью Клима Самгина» Горький является постоянным оппонентом Достоевского в споре».

Суть этого спора была, по существу, в том, как ответить на то состояние отчуждения человека в капиталистическом обществе, которое с несомненной художественной силой изобразил Достоевский. Модернисты приняли и приветствовали это состояние как якобы извечное положение «человека в космосе». Иначе подошел к нему Горький.

«Подняться от бунтарской позиции мелкого буржуа до позиции сознательно-го пролетариата — вот что делает возможным художественное преодоление отчужденности. В «Климе Самгине», венчающем все его творчество, Горький ставит решающий вопрос всей кризисной эпохи и отвечает на него самым полным образом. Гениальное открытие художника — мелкобуржуазный интеллигент, отверженный «третьего пути» как собирательный тип эпохи... Картина разрушения буржуазного бытия и отчужденности покинутого человека может пролить свет

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

на всю общественно-духовную жизнь эпохи кризиса, поэтому художник, стремящийся к целостности изображения, берется заставить заговорить тип, воплощающий в себе отрицательные черты эпохи.

Однако главное в данном случае, продолжает Форгац, — оценка писателем изображаемой им действительности и процессов, происходящих в ней.

«Вопрос в том: откуда, с какой точки зрения смотрит художник эпохи кризиса на чуждый мир, на отчужденного человека и его иллюзии, видит ли он и в чем видит подлинную природу общественного состояния? Классовое содержание позиции писателя определяет и его художественный метод».

И в этом, как показывает Форгац, Горький решительно противоположен Кафке.

«Главной характерной чертой искусства Кафки, — пишет он, — является то, что он считает непреодолимым состояние отчужденности и в соответствии с этим показывает его... Для позиции Кафки характерным является то, что он, кладя в ее основу временную иллюзию мелкого буржуа, влачащего жалкое существование служащего и обывателя, возмущаясь от его имени, становится на колени перед Канцелярией и Властью. Антиисторически-антисоциальный характер творчества Кафки определяется типичным мелкобуржуазным содержанием его позиции. Он наблюдает за состоянием отчужденного человека с позиции чуждого жизни мелкого буржуа. Поэтому он может вобрать в себя отрицательные черты эпохи, и потому же он не способен победить, а может только представлять их».

Ущербность позиции Кафки наглядно выступает при сравнении его с писателем, который по-горьковски активно подошел к изображению социальных отношений той же, что и Кафка, действительности австро-венгерской монархии. — Ярославом Гашеком.

«Даже рисуя безобразие прогнившего во всех отношениях монархического режима, — отмечает Л. Форгац, — Гашек бросает свет на его смешной облик, так как на первый план своего произведения он ставит героя, выворачивающего наизнанку и показывающего бесчеловечность существующих отношений. Юлиус Фучик в этом способе поведения Швейка, разыгрывающем абсурдность, увидел секрет его типичности и сатирического метода писателя. Швейк — тип нереволюционного маленького человека, полупролетаризированного мелкого буржуа, который в ходе войны непосредственно знакомится с капиталистической государственной машиной. Его ошеломляет и запутывает все то, что ему преподносят в качестве государственных интересов. Строй империалистического государства воспринимается им как анархия. И же-

лая сохранить «трезвый рассудок», он начинает играть роль гениального дурака, пассивной лояльностью показывает абсурдность соблюдения интересов, законов и приказов государства, которому он служит. У него нет достаточно силы, а главным образом достаточно сознания для того, чтобы непосредственным действием устранить бессмысленный для него аппарат, но он ясно чувствует себя стоящим над ним. В писательской позиции Кафки и у кафковских героев не хватает именно этого преимущества. Они всерьез воспринимают свои роли. Бунтуя, они все-таки остаются лояльными; протестуя, они все-таки выполняют бессмысленные приказы аппарата».

Здесь пролегал рубеж, который Кафка переступить не в силах.

«Кафка останавливается именно там, где Гашек идет дальше: на враждебности пойманного в тиски отчуждения маленького человека по отношению к бюрократии. Он не исследует подлинное соотношение сил, подлинные общественные противоречия, скрывающиеся за видимым существованием, как это делает Гашек, а фетишизирует видимое существование как естественное положение вещей. «...Толстый человек, — пишет Кафка, — властвует над бедным человеком в пределах известной системы, но сам-то он не система. Он даже не властелин. Напротив, ведь и толстый человек носит цепи... Капитализм — это система зависимостей, которые идут изнутри наружу, снаружи внутрь, сверху вниз и снизу вверх. Зависимость, цепи распространяются на всех. Капитализм — это одно из состояний мира и души».

Кафка, таким образом, не только обрекает себя на полное непонимание реальных отношений в современном ему мире, но и пытается выдать это непонимание за единственно возможную реальность.

Он, пишет Форгац, ставит знак равенства между цепями бедного и богатого в системе вещественных отношений, созданных капитализмом.

«Он абсолютизирует видимую сторону отчуждения, вещественность, чтобы иметь возможность сделать относительной существенную сторону, классовые отношения, строящиеся на частной собственности и капиталистической эксплуатации. И в такой поставленной на голову действительности у вещей появляется мистическая сила... В то время как у великих реалистов от Достоевского и Чехова до Томаса Манна, от Чаплина до Гашека, от Горького до Аттилы Йожефа источником творчества является разоблачение фетиша, вскрытие подлинной сущности общества, скрывающейся за предметной видимостью, секретом творчества Кафки является превращение предметной стороны общественного бытия в его существенную сторону».

Л. Форгач не согласен с мнением Эрнста Фишера о том, что Кафка создает «фантастическую сатиру». Кафка не способен посмотреть на изображаемый им предмет с тем интеллектуальным превосходством, которое является отличительной, характерной чертой позиции художника-сатирика. Например, Гоголя отделяет от изображаемого мира определенная дистанция, он извне и сверху смотрит на основную нелепость бытия: в обществе, построенном на преступном угнетении, обильный стол ждет того, кто приспособляется к видимости. Само это приспособление к видимости, само спутывание этой видимости с сущностью комично. Писатель видит функцию подлинной власти и поэтому может показать в недолгом пребывании у власти Хлестакова уменьшенную копию этой подлинной власти во всей ее нелепости.

«В отличие от Гоголя, Кафка не способен как раз на это сатирическое сопоставление. У Гоголя даже в гротескной фантастике «Носа», в кошмарной прозрачности «Шинели» есть конкретное социальное содержание. Для искусства Кафки, напротив, характерно не выворачивание наизнанку бесчеловечных отношений, обнаруживающих при этом свою нелепость, а принятие за нечто само собой разумеющееся миража вещественных взаимосвязей, фетишизированных до непознаваемости».

Поэтому произведения Кафки не могут считаться сатирой.

«Прочинуть за обезличенность, увидеть конечную движущую пружину общества, из этого центра посмотреть на аппарат — этот творческий метод мог бы позволить «миражу» вещей вырасти до «фантастической сатиры», изображающей с позиции превосходства жизнь данного общества определенной эпохи. Однако для этого, по выражению Бехера, писателю необходимо было бы сделаться «другим»: нужно было бы перейти с позиции мелкого буржуа на позицию плебейского люда или сознательного пролетариата. Личное положение Кафки, его многократное отчуждение от непосредственного семейного, религиозно-общинного, национального и классового окружения воспрепятствовало превращению его в этого «другого». Писатель остался на позиции мелкого буржуа, бездейственно и недоуменно переживающего исторический кризис».

Кафке свойственно не сатирическое преодоление ненавистного ему мира, а, скорее, фаталистическое его принятие, примирение со злом.

«Художнику, который воспринимает состояние отчужденности как само собой разумеющееся, непреодолимое состояние, который заранее видит в вещах мистическую власть и не может проникнуть в то, что скрыто за ними, присуща другая непосредственность, чем тем художникам,

которые понимают общественную природу этого состояния и, именно исходя из нее, изображают находящегося в состоянии отчужденности человека. Естественность первого берет истоки не в правдивости видения, как у тех писателей, которые обращаются к обществу, а в искренности укоренившегося страха мелкого буржуа, отстраненного от истории и даже не догадывающегося о действительных причинах своей гибели».

В этом смысле характерно поведение героя романа Кафки «Процесс». Л. Форгач приходит к выводу, что добровольная выдача себя, покорное согласие Иосифа К. следовать к месту казни является не только конечным результатом его бунта, его протеста против несправедливости, против абсурдности бюрократического аппарата, но и выражением самой природы этого бунта. В конце концов этот герой склоняется к признанию того, что формулирует в беседе с ним священник, заявляющий: «Не нужно считать все справедливым; нужно считать все только необходимым». Иосиф К. соглашается с этим «пониманием» и в соответствии с ним ложится под нож. Он превращает в добродетель свое примирение, хотя ясно видит, насколько лжива эта необходимость, в какой степени «ложь превращают в мировой порядок».

«Существом его поведения, — подчеркивает критик, — является этот бунт на коленах. Именно поэтому он родственен герою «Замка» К., обивающему пороги ради того, чтобы его приняли... Искусство Кафки проникнуто убеждением, что человек — покинутое создание в оставленном богом мире. Мир враждебно противостоит ему, он вынужден выбирать: погибнуть под ударами природы или приспособиться к бесчеловечности?»

Так, исключая даже самую возможность борьбы и активного гуманизма, Кафка не отвечает на вопрос, как это сделал Горький, а по существу капитулирует перед вопросом «маленького человека», который поставил Достоевский.

«Раскольников спрашивает самого себя, червяк ли он или Наполеон. Создавая этот образ, художник преследует иллюзорные цели, но, показывая общественно-историческую сущность своего героя, четко мотивирует именно такой выбор, вытекающий из такого положения. У Кафки сам основной вопрос не мотивирован. Каким целям служит аппарат Замка? Почему К. не может вырваться из очарования Замка? Ответ Кафки: эти вопросы заранее решены, они не могут быть поставлены и на них нельзя дать ответ. Основной факт жизни — система угнетения — сам собой разумеется. Господство графа Вест-Вест вечно. И К. даже не «судится» с этим господином, он не доволен только бюрократическим

аппаратом, кажущимся ему независимым от существа власти; так же, как Иосиф К., он нападает не на существо процесса, а на бюрократический метод разбирательства и иерархию чиновников. В этом действительный общественный смысл творчества Кафки, которое отображает мироощущение мелкого буржуа, испытывающего отвращение к безличности монополитического капитала, и это делает его бунт романтическим, его критику формальной, придает его позиции характер косвенной защиты существующего режима. В отношениях маленького человека и Замка решающий вопрос остается незадаанным, и именно поэтому писателю «необходимо» абсолютизировать силу «предметности». Поэтому и в своем художественном методе Кафка склоняется к картине сна, давящего кошмаром правдивых деталей, к аллегории ощущений. В его композиции все моменты взаимосвязаны, только как раз у целого нет взаимосвязи. Фрагментарность его больших произведений — признание невозможности придать им законченную цельность. Это самокритика писателя. Искусство художника, творящего в состоянии отчужденности, приходит к саморазложению».

Говоря далее о запоздалом «открытии» Кафки на Западе, о превращении его в моду, о появлении у него многочисленных последователей, Л. Форгач подчеркивает наличие объективных причин этого явления.

«Когда освободительная борьба рабочего класса в общественной жизни, марксизм в философии, Горький и Аттила Йожеф в искусстве ставят на повестку дня вопрос о человеческом достоинстве; когда для господствующего строя правда вырастает в главную опасность, тогда на свет из забытья вытаскивают проповедников безнадежного бунта: Кьеркегора и Кафку».

Сущность мировоззрения Кафки, отмечает Форгач, в полной мере проявляется и в его отношении к пролетариату: он «сочувствовал» ему, но не солидаризировался с ним.

«У рабочих, по мнению писателя, процесс с конторой, а не с капиталистами, не господство нужно свергнуть, а «разнести на куски» Аппарат. У него нет ни одного произведения, которое выражало бы революционные интересы пролетариата в условиях капиталистического угнетения, — ведь его главное стремление состоит как раз в том, чтобы подняться над этим общественным противоречием. В его позиции до конца господствует мелкобуржуазная боязнь, одиночество, чувство безнадежной изолированности; оно пронизывает и его рассказы, показывающие судьбу художников («Художник голода», «Жозефина, певица», «Канатоходец»). Пером Кафки водит не пролетариат, переживающий отчужденность деятельно и способный вырваться из нее,

а мелкая буржуазия, которая, даже бунтуя, примиряется с судьбой. Его творчество — оправдание беззащитности».

Позиция Кафки отражает целую систему представлений мелкого буржуа, что и сделало возможным появление «кафкианства» как общественного и политического поведения, пишет Форгач.

«Только быющий по настоящему врагу может стать из жертвы человеком. Герои варшавского гетто, выступившие против фашизма с оружием в руках, погибли разумной смертью. В романе Апица «Голый среди волков» еврейская мелкая буржуазия, направляемая коммунистами, включающаяся в организованное сопротивление, встает на правильный путь, путь целеустремленного антифашизма. Только эта общественная позиция, а не беззащитная пассивность, которую оправдывает Кафка, и может вырвать мелкобуржуазную интеллигенцию из «кафкианства». Писатель в «Исправительной колонии» пророчески угадал и предсказал облик фашистского варварства, но он не мог проникнуть глубже; и здесь он показывает конфликт между представителем бюрократического аппарата и испытывающим отвращение к нему мелким буржуа, а также конфликт между консервативным и либеральным руководством. До самого конца этот художник видел и изображал мир под знаком беззащитности. Творчество Кафки не служит делу изменения истории, а тянет назад значительную часть борющейся против фашизма интеллигенции, тормозит пробуждение ее самосознания, задерживает ее поворот на путь борьбы за новое общество, за освобождение человечества, создающее основу подлинного расцвета искусства».

Сравнивая далее Кафку и Томаса Манна, Л. Форгач показывает решающее различие в позициях этих писателей. Путь героя Томаса Манна Адриана Леверкюна тоже ведет в пропасть, но здесь все художественно мотивировано.

«Томас Манн, — пишет критик, — человеческую отчужденность изображает как продукт данной общественно-духовной атмосферы, как реакцию данного характера на данное окружение и как отношение к этому миру и его движению. Писатель не считает предрешенным, неизбежным поведение своего героя, погружающегося в состояние отчужденности, и поэтому в лепке его характера, в изображении его творческого пути одновременно содержится и осуждение. Таким образом, мы находим у Томаса Манна детальную критику процесса отчуждения, слияния личности со стихией отчужденности».

Однако художественный метод Горького, как показывает Форгач, не только являет прямую противоположность методу Кафки, но и кардинальным образом отличается от метода Манна. И различие это выражается прежде всего в том, что Горький прослежи-

вает эволюцию своего героя не с его собственной точки зрения, как Кафка, и не «со стороны», как Манн, а с позиции сознательной революционности, которая в «Климе Самгине» воплощена в образе Кутузова.

В творчестве трех писателей, которых сравнивает в своей статье Л. Форгач, критик видит выражение трех путей в современном искусстве.

«Кафка переживает и оценивает хаотическое видимое бытие в состоянии отчужденности с точки зрения мелкого буржуа; процеживая видение мира через свое ложное сознание, он изображает его в форме кошмарных сновидений. Томас Манн повествует о трагедии развала с позиции плебейского гуманизма, с точки зрения сочувствующего, но смотрящего со стороны, понимающего, но находящегося на определенной дистанции от данного явления. Горький подходит к своему герою с точки зрения конкретной социалистической перспективы, с позиции рабочего класса... Интеллектуальный реализм писателя, который определяет свою позицию на основе конкретной социалистической перспективы и для которого характерен гармонический взгляд на мир, достигает истинного художественного решения, которое состоит в объективной критике бесчеловечности с позиции возвысившегося над ней «взрослого человека». Художественное самовыражение мелкого буржуа, который, бунтуя, становится на колени,— антиреволюционная современность. Сохранение дистанции плебейски-гуманистического художника— не революционная современность. Сознательный, говорящий от имени рабочего класса художник поднимается до уровня истории. Гозоря словами Аттилы Йожефа—его современность революционна, его революционность современна. Это окончательный «приговор» в «процессе» между Горьким и Кафкой».

О ГОЛОДЕ, ЛИТЕРАТУРЕ И НАРКОТИКАХ

Известно, как внимательно следит буржуазная пресса за писателем, готовясь тотчас же приклеить ему ярлык «завербованный», лишь только он заговорит о социальных противоречиях окружающей его действительности. И еще большее раздражение у нее, естественно, вызывает тот, кто хочет обосновать необходимость этого обращения к реальным проблемам современного мира.

Недавно в такое положение попал Жан-Поль Сартр. В своей новой автобиографической книге «Слова» он заявил об ответ-

ственности литератора перед лицом проблем, волнующих миллионы людей,— перед лицом голода, эксплуатации человека человеком, угрозы атомного уничтожения. Пытаясь подробнее разъяснить свою позицию, Сартр сообщил в интервью газете «Монд», что он начал склоняться к мысли о социальной ответственности художника еще в 1954 году.

«В тот момент, в связи с происшедшими политическими событиями, я был сильно озабочен своими взаимоотношениями с коммунистической партией. Я оказался в атмосфере действия... Раньше я не мог этого увидеть: я смотрел изнутри. Я безмятежно думал, что создан для того, чтобы писать. Из потребности оправдать свое существование я возвел литературу в абсолют. Мне понадобилось тридцать лет, чтобы отделаться от такого душевного состояния... Я хотел показать, как человек может перейти от литературы, которую считал священной, к действию, оставаясь, однако, по-прежнему деятелем умственного труда».

Заявив это, Сартр специально оговорился, что он вовсе не думает отказываться от всех тех романов, которые он написал раньше.

«Но я внезапно открыл для себя, что отчуждение, эксплуатация человека человеком, недоедание отодвигают на второй план метафизическое зло— оно слишком большая роскошь... Что значит литература в голодающем мире? Как носительница морали литература должна быть универсальной. Значит, если писатель хочет адресоваться ко всем, хочет, чтобы его читали все, он должен равняться на подавляющее большинство, на два миллиарда голодных. В противном случае он стоит на службе привилегированного класса и сам такой же эксплуататор... Как в стране, где не хватает культурных кадров (например, в Африке), уроженец этой страны, получивший образование в Европе, может отказаться от роли учителя, даже если за это надо заплатить писательским призванием? Если бы он предпочел писать романы в Европе, его позиция показалась бы мне близкой к предательству. Вопреки кажущемуся противоречию, между служением коллективу и требованиями литературы разницы не существует».

Как и следовало ожидать, эта идея служения писателя обществу вызвала оскорбленное изумление и негодующие восклицания реакционеров. Как? Предложить им, мэтрам и монопольным владельцам Слова, чему-то служить? Выступить против их права отворачиваться от реальной жизни, чтобы «мечтать об ином мире»? С необычайной откровенностью выдал эту характерную для буржуазного субъективизма позицию Ив

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Берже, автор декадентского романа «Юг», который он в связи с присуждением ему премии «Фемина» 1962 года комментировал в многочисленных интервью в духе теории «чистого искусства».

«А если мне так хочется? Если я чувствую, что как писатель я создан для этого? А если литература находит в этом для себя великую радость? Если ей не нравится этот сентиментальный словарь: человек, человечность, душа, изменить жизнь, служить и все прочее?»

«Сентиментальный словарь» — так именуется «абсолютно свободный» писатель всего, чем жила литература в течение веков и чем продолжает жить передовая литература наших дней. Ответ Ива Берже Сартру был напечатан в еженедельнике «Экспресс», он может служить наглядным образом того снобистского презрения к интересам и нуждам простых людей, которым давно гордится официально поддерживаемая «высоко-лобая» литература Запада. Характерной оказалась даже сама манера — отвечать на серьезный вопрос серией эстетски кокетливых фраз.

«Возвращаясь к этому (Берже продолжает обсуждать «сентиментальный словарь») вместе с Сартром. В связи с проблемой из числа самых деликатных — и даже шокирующих. Я хочу сказать: проблемой, сталкиваясь с которой мы испытываем своего рода шок. Проблемой голода.

Я видел, говорит Сартр, детей, умирающих с голоду. Ну так вот, перед лицом умирающего ребенка «Тошнота» легковесна. Великолепное заявление. Я не знаю и троих, даже двоих писателей, которые посмели бы объявить, что их лучшая книга (то есть месяцы, годы усилий, успех и заслуженная слава, вызванная этой книгой) кажется им напрасным трудом, потерянными и преступно растраченными временем, потому что какой-то (!) ребенок умирает с голоду».

Берже, впрочем, готов как будто признать, что голод, эксплуатация — это серьезные проблемы. Однако он высокомерно заявляет, что к литературе они не имеют никакого отношения.

«Отрицаю я только одно: то, что литература, какова бы она ни была, может спасти детей от голода, а Гвинею от отсталости. Так будем же продолжать творить нашу литературу эгоистов и привилегированных, или пусть мне растолкуют, что это за слова, которые могут накормить ребенка, сколько их требуется и в каком порядке их следует расположить.

Если предположить, что Сартр хоть немного изменил положение в мире, то этим улучшением он обязан славе, которую принесло ему его творчество. «Тошнота» — которую признали шедевром и упитанные жители Запада — не заслуживает презрения».

Без сомнения, Берже прекрасно знает, что

никто не предлагает «кормить» детей словами, слова или, вернее, мысли, образы помогают людям понять, как лучше построить жизнь и разрешить ее серьезные проблемы, в частности и те, о которых говорит Сартр. Но — мне так хочется». У Берже свое представление о задачах литературы.

«Писатель пишет, потому что знает, что умрет, и это ощущение всегда живет в нем. Оно не всегда доходит до его сознания, но течет в его крови вместе со временем.

Вы догадываетесь, что речь идет не только о писателе. Речь идет обо всех. Люди так хорошо чувствуют в себе смерть, что проживают свою жизнь, то есть медленно умирают, пытаясь забыть (и часто, если не всегда, это им удается, но те, кому не удается, всегда кончают с собой). пытаясь забыть, говорю я, о смерти: они едят, пьют, или курят, или работают, или развратничают, или убивают — и их поведение, их страсти состоят всегда в том, чтобы есть, пить, курить, работать, развратничать, убивать жизнь.

Не существует никакой человеческой деятельности, которая не была бы предназначена главным образом для того, чтобы скрыть от себя факт, что время течет. Мы все признаем это за собой. Так вот: писать — это то же самое. Это то же самое, что пить до бесчувствия, курить, как пожарник, развратничать так, как это умеет только человек. И если писатели придают акту писания большее значение, чем пьянству или курению, это происходит потому, что процесс писания дает им более полную и более прочную иллюзию, чем процесс пьянства или курения».

Этот безнадежно-пессимистический взгляд на жизнь и на искусство у Берже одобрен изрядной дозой цинизма.

«Оставьте в покое писателей, — пишет он. — Не говорите больше о литературе.

Мы ответим на ваш призыв позже, если вы дадите нам для этого время — сверх того, что нам отпущено. Немножко времени: столько, сколько надо, чтобы написать другую книгу. Совсем маленькую. В остальном же — пусть простят мне умирающие от голода дети, которых надо спасти, — литература всегда будет тем, чем она всегда была: попыткой спасти свою собственную личность».

Издательская и вместе с тем унылая интонация, жалкое требование: оставьте меня в покое и дайте наркотик — таков закономерный ответ буржуазного индивидуализма на насущные проблемы современной действительности.

По-видимому чувствуя, что откровенно капитулянтская статья Берже не слишком убедительный ответ Сартру, «Экспресс» поместил в том же номере и другую, безусловно более квалифицированную теоретически и тонкую по аргументации, но столь же

враждебную идею социальной ответственности. Ее автор — Клод Симон, один из корифеев так называемого «нового романа».

Симон хочет доказать, что требование социальной ответственности означает гибель искусства. В защиту этого мнимо гибнущего искусства он произносит много прочувствованных слов:

«Мир, даже временно лишенный искусства, то есть того измерения, которое нельзя отнести к области материальных явлений, лишенный выходов во всегда свободные и неотчуждаемые просторы воображаемого, чудесного или мечты, такой мир был бы просто кошмарен, как огромный, хорошо организованный концентрационный лагерь, с обильной пищей, нетрудной работой, непротекающими крышами, теплыми одеялами, лагерь, в котором коснели бы уже не люди, а животные».

Но кто же угрожает человечеству созданием подобного общества? Оказывается, те, кто хочет видеть в искусстве какую-то человеческую цель. По Симону же, этой цели быть не может, и, если даже ее себе и поставить, она останется недостижимой: мешает сама природа человеческого языка.

«Когда я пишу (я все больше сознаю это), то не «выражаю» нечто, существовавшее до того, как я начал писать. Конечно, есть то, что можно было бы назвать «отправной точкой», — бесформенная и туманная магла, которую я ношу в себе и из которой буду черпать.

Но по мере того, как я пишу, происходит любопытное явление: тот язык, который, как я полагал, сможет служить мне инструментом, развертывает фронт своих собственных сил. Изобилие образов, вызываемых каждым словом (если, например, я говорю, что чернила, которыми я пользуюсь, синие, то сейчас же в памяти всплывает все, что только есть на свете синего, проникает через лазейку этого общего понятия в мою мысль, а следовательно, в речь, в которой первоначально этому не было места), все время уводит меня в сторону от моего первоначального намерения, которое, по мере того как я пишу, смещается, меняется под влиянием непредвиденных препятствий или, наоборот, столь же непредвиденных перспектив, возникающих передо мной на каждом шагу.

Впрочем, творчество, писание упорно сопротивляется тому, кто так или иначе третировал его и пытается использовать в своих целях, то ли нейтрализуя его, то ли не доверяя ему без достаточных оснований; правда, в конце концов оно уступает, но уступает, как насилюемая девушка: становится инертным, пассивным, пресным. Как всякий художник, писатель находится столь же на поводу у своего материала, как и у своих намерений».

Из вполне реального противоречия, из-

вестного каждому художнику, всегда преодолевающему в борьбе за выражение идеи определенные трудности формы, Симон, как мы видим, приходит к глубоко неправильному и также чрезвычайно характерному для буржуазной художественной культуры выводу: важна только форма. Она-де сама диктует свои законы, сама говорит, а не выражает то, что хотел сказать художник. Так, по мнению Симона, в «Гернике» Пикассо важна и интересна лишь игра формы, а не антивоенная и антифашистская направленность этого произведения.

«Движимый чувством негодования, взяв за «отправной пункт» ужасную действительность, разбомбленный город, окровавленные и растерзанные тела, Пикассо пишет картину, в которой все — порядок, равновесие, красота. Хотя его побудительным импульсом было омерзение, стоило ему взяться за кисть, стоило оказаться лицом к лицу с языком своего искусства, как язык этот овладел его мыслью до такой степени, что в конце концов она стала только гармонией, архитектурой, реминисценциями классики...

И конечно же Пикассо не мог «свидетельствовать» об этом преступлении, ибо «нельзя работать над передачей крика без того, чтобы в конечном счете не ощущалась гораздо больше ваша работа, чем самый крик» (Ролан Барт).

Самое большое — «Герника» напоминает о нем, но так, как резьба Пьеро Делла Франчески, изображающая бесстрастные лица в шлемах и груды оружия, «напоминает» о кровавой победе Константина над Максенцием. Из действительности, любая фотография которой вызвала бы тошноту, Пикассо, как это ни парадоксально, создал объект наслаждения.

Ибо какой лицемер посмел бы требовать, чтобы, стоя перед его картиной, мы чувствовали бы себя больше взволнованными мыслью о страданиях, слезах, зияющих ранах, чем изысканными и утонченными сочетаниями красок, оттенками, контрастами и арабесками? Может быть, это кошунство, но это факт».

Намеренно оторвав таким образом форму от идеи, которую она выражает, Симон распространяет это свое «открытие» на все искусство. Отсюда, естественно, автоматически следует вывод, что ни о какой социальной ответственности писателя в царстве чистой формы и «законов языка» и речи быть не может.

Теоретический формализм Симона, как и индивидуалистическая поза Берже, служит таким образом одному стремлению — лишить искусство его общественной активности. Нет надобности доказывать, что их собственная активность в этом направлении обличает их зависимость от той самой культуры эксплуататоров, о которой на этот раз прямо сказал Сартр.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

НА ВЕРНОМ ПУТИ

Для человека восемнадцатилетие — это юность, но для организации, общества, союза — это почтенный, во всяком случае зрелый возраст. И Общество новой японской литературы, объединившее демократических писателей Японии вскоре после окончания войны, когда в стране царил разруха и голод, ужасы Хиросимы и Нагасаки были еще трагической действительностью, а не трагическим воспоминанием и странюю правила американские оккупационные войска, ныне действительно доказало свою зрелость.

На состоявшемся недавно XI съезде Общества новой японской литературы передовые писатели Японии решительно высказались по важнейшему вопросу современности — вопросу о предотвращении гибельной термоядерной войны и, не поддавшись пропагандистской обработке пекинских догматиков и их японских пособников, безоговорочно поддержали Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой, понимая, что этот договор, как отмечал Н. С. Хрущев в послании премьер-министру Японии Х. Икэда, не только покончил с загрязнением воздуха вредоносными радиоактивными осадками, но и явился первым в истории соглашением, направленным на то, чтобы затормозить усиление гонки ядерных вооружений.

«Ход событий в мировой истории последних двух лет, — сказал **Такэи Тэрую** в своем докладе, одобренном съездом, — благодари борьбу народов за мир, демократию и социализм и связанному с ней дальнейшему развитию политики мирного сосуществования, проводимой социалистическими государствами, сделал неизбежным решительный переход к мирному сосуществованию двух систем. Решительное осуждение народов всего мира вызвала авантюристическая политика американского империализма, попытавшегося осенью позапрошлого года уничтожить строительство социализма на Кубе и установившего с этой целью морскую блокаду страны. И только благодаря ликвидации кризиса советским правительством, выступавшим от имени мирового общественного мнения, была сохранена независимость Кубы и предотвращена угроза ядерной войны. Эти события послужили огромным уроком для всего человечества. Перед всем человечеством стоит сейчас важнейшая задача — избрать угрозы ядерной войны и с этой целью добиться мирного сосуществования двух систем.

Мы, демократические писатели и деятели искусства, приветствуя подобную позицию, стоим на стороне народов мира, стремящихся к ее последовательному осуществлению. Что касается договора о частичном запрещении испытаний ядерного оружия, заключенного между тремя странами, США, Англией и Советским Союзом, то, находясь на позициях тех, кто

участвует в борьбе за дальнейшее улучшение международной обстановки, за запрещение всех ядерных испытаний, уничтожение самого ядерного оружия и всеобщее сокращение вооружений, мы положительно оцениваем этот договор как первый шаг к претворению всего этого в жизнь».

Отметив неизменно расширяющееся во всем мире демократическое движение, в котором принимают участие прогрессивные писатели и деятели искусства, Такэи Тэрую напомнил, в частности, об успехе Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир, проходившего в Москве в 1962 году, о знаменательных конференциях писателей стран Азии и Африки, о плодотворной деятельности Европейского сообщества писателей и подчеркнул необходимость тесной связи японских литераторов со всеми этими демократическими организациями.

Усиливающийся контроль господствующих классов Японии над средствами массового воздействия, прямой политический террор, направленный против прогрессивных органов печати, радио и телевизионных компаний, явное и тайное подавление свободы слова, попытки уничтожить демократические ростки в области народного образования — таковы, отмечается в докладе, несомненные признаки идеологического наступления, предпринятого реакцией в последние годы. В свете насущных задач борьбы против этого натиска реакции, задач идейного контрнаступления и анализирует Такэи Тэрую положение в области литературы — трезво и смело, не замалчивая слабостей и не теша себя иллюзиями.

«Необходимо отдать себе отчет, в каком направлении развивалась японская литература в рассмотренной нами внутренней и внешней обстановке, в тех условиях, которые сложились в области культуры. Если подходить к литературе с точки зрения того, как она связана с народом, как она отражает его надежды и чаяния, то нужно признать, что в последние два года появлялось мало произведений, отвечающих этим высоким идеям. Японская литература еще далека от того, чтобы правильно, точно изображать жизнь народа.

Прежде всего, средства массовой информации наложили свой отпечаток на характер литературного творчества, на характер появляющихся произведений. Вместо того чтобы создавать глубокие социальные произведения, многие писатели стремятся к тому, чтобы их романы и повести, передающиеся по радио и телевидению, печатающиеся в коммерческой прессе, были занимательны. Таким образом, развлекательность часто ставится во главу угла литературного творчества. Художественные произведения превращаются в литературные поделки.

В противовес этим поделкам, рассчитанным на непритязательного читателя, создаются произведения так называемой «чистой литературы». Но в них авторы

подчас избегают показа сложной современной действительности и обращаются к истории, а иногда стараются снизить социальный накал этой действительности. Не свободны от этой тенденции и такие книги, вышедшие в прошлом году, как «Ветер и волны» Иноуэ Ясуси, «Противное чувство» Таками Дзюн, «Безумный змей» Умэдзакэ Харуо. Не особенно радуют последние произведения писателей старшего поколения — «Спящая красавица» Кавабата Ясунари и «Дневник выжившего из ума старика» Танидзакэ Дзюнъитиро, а также и более молодых — «Женщина издали» Фунабаси Сэйити и «Прекрасная звезда» Мисима Юкио. В общем, за последние два года наша литература не сумела найти свой метод изображения непрерывно меняющегося японского общества, жизни и мыслей народа».

Однако Такэи Тэрую далек и от намерения сгустить краски и нарисовать унылую безрадостную картину современной японской литературы.

«Но было бы, конечно, неверно говорить, — замечает он, — что активная творческая деятельность ряда писателей не дала никаких результатов. Например, «Женщина песков» Абэ Кобо, «Ком земли» Иноуэ Мицухару и некоторые другие произведения впечатляюще показали нашу действительность, правдиво отразили жизнь и думы народа, сталкивающегося с этой действительностью.

Как значительные явления в японской литературе последних лет, в которых подняты важные социальные темы, следует назвать «Там стоит наш обелиск» Нома Хироси, «Горный ручей» Сата Инэко, «Белую башню» Абэ Томодзи, «Приговор» Хотта Ёсиэ. Но очень жаль, что некоторые писатели, и в том числе такой

талантливый, как Оэ Кэндзабуро, растрачивают свои способности на темы, далекие от подлинной жизни народа. Так, «Крик», «Сексуальный человек», «Авантюра повседневности» — все эти романы Оэ, появившиеся один за другим, демонстрируют деградацию его творчества. И если подобные тенденции не будут преодолены, японская литература не сумеет поставить важные проблемы и найти верный метод их решения».

Демократическое литературное движение в Японии развивается и крепнет, говорит докладчик, но, чтобы сделать его поистине могучим, необходимо

«установить тесный контакт между японской литературой и японским народом и на этой основе создать новую литературу».

Подлинно «новая литература», которую имеет в виду Такэи Тэрую, может быть только литературой реалистической, и потому, говорится в докладе, одна из насущных задач Общества новой литературы и его журнала «Синнихон бунгаку» состоит в защите принципов реализма, которые атакует буржуазная критика, превознося декадентские, формалистические произведения и извращая картину литературного процесса в Японии.

Не со всеми положениями доклада Такэи Тэрую можно безоговорочно согласиться, и содержащаяся в нем оценка внутривнутриполитического положения Японии и расстановки политических сил на международной арене нуждается в уточнениях. Но главная идея этого доклада и решений съезда — идея создания и развития народной реалистической литературы, отвечающей благородной задаче борьбы за мир и демократию, — без сомнения, говорит о том, что Общество новой японской литературы на верном пути.



ЖАК ДЮКЛО

ПЕРВЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Вместе с коммунистами всего мира прогрессивное человечество отмечает столетие со дня основания Марксом и Энгельсом Первого Интернационала, заложившего фундамент мирового коммунистического движения, которое ныне стало самой влиятельной политической силой современности.

В связи с этой славной годовщиной мы печатаем фрагменты из недавно вышедшего в Париже труда товарища Жака Дюкло «Первый Интернационал», посвященного автором памяти Мориса Тореза.

Сто лет назад, 28 сентября 1864 года, на многолюдном митинге в Сент-Мартинс-холле в Лондоне было основано Международное товарищество рабочих. Такая годовщина непосредственно затрагивает рабочих всех стран, ибо создание Товарищества явилось первым проявлением существования организованного международного рабочего движения.

Хотя решение создать Международное товарищество рабочих было принято через шестнадцать лет после того, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали свой «Манифест Коммунистической партии», идеи научного социализма, изложенные в этом бессмертном произведении, еще отнюдь не господствовали в среде пролетариата.

В ту эпоху в различных высокоразвитых странах Европы рабочих рассматривали в политическом плане как подсобную силу, находящуюся в распоряжении мелкобуржуазных демократических партий. И одна из основных задач этого периода состояла в том, чтобы помочь трудящимся осознать свою мощь, научиться рассматривать себя как общественный класс, обладающий независимой силой и ставящий перед собой совершенно конкретные цели.

Нужно было создать рабочую партию, не зависящую от всех буржуазных партий, выступающую против эксплуатации и господства поборников капитализма.

В «Манифесте Коммунистической партии», написанном в 1848 году, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, назвав коммунистов «самой решительной, всегда побуждающей к движению вперед частью рабочих партий всех стран», следующим образом изложили ближайшую цель, которую ставят перед собой коммунисты:

«Ближайшая цель коммунистов та же, что и всех остальных пролетарских партий: формирование пролетариата в класс, ниспровержение господства буржуазии, завоевание пролетариатом политической власти.

Теоретические положения коммунистов ни в какой мере не основываются на идеях, принципах, выдуманных или открытых тем или иным обновителем мира.

Они являются лишь общим выражением действительных отношений происходящей классовой борьбы, выражением совершающегося на наших глазах исторического движения».*

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 4, стр. 66.

Составляя «Учредительный манифест» Международного товарищества рабочих, Карл Маркс учитывал тогдашнее состояние рабочего движения и хотел создать возможность объединения в лоне Интернационала различных групп рабочих, находившихся под влиянием столь разномасштабных идеологических воззрений, что способствовало бы возникновению более благоприятной обстановки для пропаганды идей научного социализма, разработанных в «Манифесте Коммунистической партии». Некоторые формулировки, менее точные, чем формулировки самого «Манифеста», были включены в «Учредительный манифест» под нажимом французских делегатов, находившихся в плену прудонистских идей; однако и «Учредительный манифест» заканчивался тем же лозунгом, что и «Манифест Коммунистической партии»: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Сто лет назад встала великая задача — объединить различные течения в рабочем классе, а это объединение могло произойти лишь на базе научного социализма. По этому поводу Ленин писал в своем труде «Карл Маркс»:

«Эпоха оживления демократических движений конца 50-х и 60-х гг. снова призвала Маркса к практической деятельности. В 1864 г. (28 сентября) был основан в Лондоне знаменитый I Интернационал, «Международное товарищество рабочих». Маркс был душой этого общества, автором его первого «Обращения» и массы резолюций, заявлений, манифестов. Объединяя рабочее движение разных стран, стараясь направить в русло совместной деятельности различные формы не proletарского, домарксистского социализма (Мадзини, Прудон, Бакунин, английский либеральный тред-юнионизм, лассальянские качания вправо в Германии и т. п.), борясь с теориями всех этих сект и школ, Маркс выковывал единую тактику proletарской борьбы рабочего класса в различных странах».*

Первый Интернационал, организовав трудящихся в международном плане, создал совершенно новую обстановку в рабочем движении всех стран.

Изучая деятельность Международного товарищества рабочих, нельзя не испытывать чувства восхищения и признательности: восхищения инициаторами этого великого дела Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, которые не только вложили в руки рабочих теоретическое оружие, но и принимали непосредственное участие в организации их битв; признательности всем тем, кто, невзирая на значительные трудности, боролся за торжество в лоне Интернационала принципиальной политики, отвечающей не только задачам защиты ближайших интересов трудящихся, но и их стремлениям к созданию нового общества.

Деятельность Первого Интернационала, его значение, его особенности и его слабости очень мало известны в рядах рабочего класса.

Недостаточно хорошо известно, что Парижская коммуна явилась в какой-то мере духовным детищем Первого Интернационала, и если он прекратил свое существование в годы, последовавшие за славной эпопеей в жизни народа Парижа, то это произошло потому, что рабочее движение оказалось в совершенно новых условиях и ему предстояло пережить важные события, приведшие к образованию II Интернационала, для которого, как известно, первая мировая война оказалась смертельной.

II Интернационал отказался от всего того, что было смыслом существования рабочего движения, а потому Ленин основал III Интернационал. Последний же, создав условия, благоприятствовавшие образованию и развитию коммунистических партий в различных странах мира, в дальнейшем также прекратил свое существование, ибо задачи, вставшие в эту эпоху перед различными партиями, могли быть решены в духе марксизма-ленинизма лишь самими этими партиями.

Если марксизм стал идеологией Первого Интернационала, то марксизм, обогащенный Лениным, иначе говоря, марксизм-ленинизм, стал сегодня идеологией международного коммунистического и рабочего движения.

Работая над этой книгой о Первом Интернационале, я хотел разъяснить, чем были политические и идеологические битвы Первого Интернационала, и если обстановка, сложившаяся в эпоху его существования, действительно сильно отличается от обстановки в нынешнюю эпоху, то ведь верно и то, что из опыта той борьбы можно извлечь весьма полезные уроки для наших сегодняшних и завтрашних битв.

* В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4, т. 21, стр. 33.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ БЫЛ ПРАВ

В момент своего основания Интернационал учел наличие в рядах международного пролетариата различных идеологических течений с тем, чтобы сформулировать принципы и правила действий, которые позволили бы объединить все эти течения, идеологически и политически сплотить их в дальнейшей борьбе.

Но, как показали дискуссии, развернувшиеся вокруг вопросов перевода и толкования устава, одни и те же слова имели разное значение для последователей Маркса, и для прудонистов, вожаком которых был Толён, и для других.

Урок этих разногласий был учтен на конгрессе в Гааге, который в своей резолюции по поводу устава решил добавить после статьи 7 статью 7-А, сформулированную с предельной точностью.

Такая формулировка означала решительный отход от разглагольствований прудонистов и бакунинцев относительно воздержания от политической борьбы. В 60-е годы трудящиеся опасались, что в политическом плане они окажутся лишь подсобной силой на службе мелкобуржуазных партий; для последних экономические и социальные проблемы, связанные с капиталистической эксплуатацией, не имели такого значения, какое они имели для лиц наемного труда. Мелкобуржуазные деятели, стремившиеся отвлечь рабочих от политической борьбы, указывали им путь, способный лишь завести в тупик, в то время как по существу вопрос сводился к взятию рабочим классом в свои руки политической власти.

Прудонисты, эти представители мелкобуржуазного социализма, отнюдь не ставя под сомнение существование капитализма, воплощали в своем лице оппортунизм. В рядах рабочего класса они были проводниками идеи воздержания от политической борьбы и призывали вести только экономические битвы. Подобные идеи, по сути дела, были направлены на сохранение системы эксплуатации лишь с некоторыми возможными поправками и улучшениями.

Анархисты-бакунинцы, рядившиеся в тогу разрушителей старого общества, оказались в одном лагере с прудонистами, вместе с ними стараясь отвлечь трудящихся от политической борьбы. Тем самым они показали, что оппортунизм и политический авантюризм отнюдь не исключают друг друга.

Отличительной чертой бакунинцев было презрение к массам, беззастенчивость, с которой они выдвигали разные и временами противоречивые доводы, в зависимости от «клиентуры», в оправдание часто постыдной политики, построенной на более чем сомнительных положениях.

Создавая свой Альянс после провала на конгрессе в Берне Лиги в защиту мира и свободы, Бакунин утверждал, будто он одобряет принципы и устав Международного товарищества рабочих. Это было просто вопросом стиля; для него значение имели не решения, коллективно принятые другими, а его собственные решения, ибо он отличался болезненным свойством считать себя непризнанным гением революции.

Интересно также отметить, как это сделала Комиссия Интернационала, что Бакунин, который изображал себя подрывателем основ царизма, не колеблясь, открыто поддерживал шовинистическую точку зрения царя, выступив против стремления польского народа вернуть себе независимость. Международное рабочее движение стало на сторону польского народа против его угнетателей. Бакунин же под предлогом того, будто его цель — освобождение всего мира, возражал против предоставления Польше независимости.

Согласно бакунинской концепции, революция — это не что иное, как разгул «дурных страстей» с каким-то регулятором на вершине, и роль этого регулятора, естественно, призван был играть сам Бакунин, враг государства, но сторонник бесконтрольной власти, принадлежащей, конечно, лично ему.

Вдобавок, характерной особенностью бакунинцев была исключительная резкость их нападок на всех, кто не склонялся перед их подозрительной деятельностью и их безумными планами. Вполне закономерно, что все озлобленные, все исключенные из Интернационала, все профессиональные провокаторы, бонапартистские агенты и другие отъявленные негодяи присоединились к рядам бакунинцев. Используя анархистский

ярлык, можно было развернуть деятельность, выгодную господствующим классам, прикрываясь при этом псевдореволюционными фразами.

Бакунин и его подручные стремились захватить руководство Интернационалом, и, если бы этим элементам удалось добиться своих целей, они исключили бы из Интернационала Карла Маркса, Фридриха Энгельса и всех сторонников идей научного социализма. Поэтому меры, принятые против Бакунина, — исключение его из Интернационала, бесспорно, были как нельзя более оправданы и необходимы.

Планы раскольников из Международного товарищества рабочих предусматривали установление личной власти Бакунина над этой организацией, и, добиваясь этих целей, бакунинцы острее своих нападок направляли против немецких организаций, как наиболее сильных, и против Карла Маркса.

После поражения Парижской коммуны, когда революционное движение переместилось из Франции в Германию и по адресу немецких организаций распространялась всяческая клевета, удары бакунинцев были направлены главным образом против Карла Маркса даже в тех случаях, когда на передний план выдвигался Генеральный совет Интернационала.

Один из подручных Бакунина*, исключенный вместе с ним конгрессом в Гааге, писал по этому поводу:

«В течение зимы 1870—1871 гг., в разгар, быть может, самых знаменательных для истории XIX века событий, в момент, когда развертывались волнующие этапы революции 18 марта, глубоко всколыхнувшие пролетарские массы всего мира, господа заправили из Генерального совета были заняты главным образом тем, чтобы воспользоваться представившимся удобным случаем и прочно утвердить в Интернационале свою власть, отменив всеобщие конгрессы, и окончательно разгромить противников, вызвавших их ненависть».

Нападки расистского характера на Маркса также стали для бакунинцев ходячей монетой. Если бы им удалось навязать свою сектантскую, авантюристическую политику, построенную на псевдореволюционной фразеологии, абсолютно беспринципную, не учитывающую реальные политические, экономические и социальные условия того времени, бакунинцы, позиции которых, по сути дела, носили абсолютно реакционный характер, понизили бы боевой дух рабочего класса и развенчали бы в их глазах перспективы социализма.

Бакунинцы утверждали, что они занимают более революционную позицию, чем Маркс, против которого они направляли свои самые злобные атаки, но от бахвальства Бакунина и его друзей ничего не осталось, тогда как учение Маркса, обогащенное Лениным, восторжествовало на обширной части земного шара и освещает своим светом путь международному рабочему движению.

Разглагольствуя о необходимости немедленного ниспровержения социальных основ общества, что было абсолютно невозможно в тогдашних условиях, бакунинцы прилагали все старания к тому, чтобы отвлечь рабочих от политической борьбы, от использования легальных возможностей для создания массовых политических и экономических организаций пролетариата.

Авантюристическая, сектантская и в то же время оппортунистическая политика бакунинцев в силу своей природы не могла быть ничем иным, как бесперспективной политикой мелкой буржуазии, политикой отсталых и изолированных групп пролетариата. Бакунин опирался на наименее сознательные слои рабочего класса, особенно в Испании, где начиная с января 1872 года Поль Лафарг развернул борьбу против анархистских раскольников. То же самое имело место в Италии и Швейцарии. Бакунин нашел также поддержку среди прудонистских элементов в Бельгии и некоторых французов, вынужденных после поражения Парижской коммуны жить в изгнании. И как бы ни показалось парадоксальным такое явление — впрочем, история дала с тех пор немало примеров подобного рода, — мир оказался свидетелем того, как левые бакунинцы были поддержаны правыми тред-юнионистами в Англии.

Конгресс в Гааге осудил бакунинцев и принял решение исключить их руководителей, но раскольническая деятельность этих элементов создала трудное положение

* Джемс Гийом.

для Интернационала, и результатом этого явилось перенесение местопребывания Генерального совета из Лондона в Нью-Йорк.

Международное товарищество рабочих уже не могло продолжать и развивать свою деятельность, как прежде. Неблаговидное поведение бакунинцев, их интриги, их фракционная деятельность, их нападки на Генеральный совет и особенно на Карла Маркса сослужили хорошую службу капиталистам и оказались пагубными для рабочего класса.

К КОММУНИЗМУ

Напоминая в общих чертах о деятельности Первого Интернационала, о тех битвах, которые ему приходилось выдерживать, я хотел показать с предельной ясностью, какие колоссальные перемены произошли с того времени. Факты говорят, что в наши дни необходимо всегда защищать дух интернационализма от проявлений национализма, которые имеют место то тут, то там и лежат, в частности, в основе поведения руководителей Китайской коммунистической партии.

Рабочий класс — класс патриотов, сознающий, что он — воплощение будущего страны, что он несет ответственность за это будущее; но пролетарский патриотизм является собой полную противоположность шовинизму, и, если последний проникает в ряды рабочего движения, это приводит в теоретическом плане к извращению и обеднению марксизма-ленинизма.

Лишь оставаясь верными испытанным принципам этого учения, коммунистические и рабочие партии, в которых возродились с еще большей силой чаяния и надежды Первого Интернационала, смогут выполнить возложенные на них великие задачи.

Конечно, условия, в которых разворачивается борьба в разных странах, отличаются друг от друга, но принципы марксизма-ленинизма применимы повсюду, и сейчас яснее, чем когда-либо, что учение Маркса и Ленина — Маркса, вдохновителя Первого Интернационала, и Ленина, основателя Третьего Интернационала, — освещает путь коммунистическому и рабочему движению в его продвижении вперед.

А потому мы с полной уверенностью смотрим в будущее, ибо вместе с миллионами людей во всем мире мы знаем, что ничто не сможет помешать победе великого дела коммунизма, и, как сказал товарищ Никита Хрушев:

«Могучее, все более ускоряющееся движение к коммунизму сметет все, что является преградой на пути к заветной цели — к построению самого справедливого общества на земле. Это не борьба одних против других, для того чтобы узаконить господство над ними, это борьба против угнетения, против рабства, против эксплуатации, борьба за счастье всех. Мы твердо верим, что придет такое время, когда дети и внуки тех, кто ныне не понимает и не приемлет коммунизма, будут жить при коммунизме».*

* Заключительное слово тов. Н. С. Хрущева на XXII съезде КПСС.

Сентябрь 1964 года.

ТОМАС ДЖ. БЬЮКЕНЕН

КТО УБИЛ КЕННЕДИ?

(Фрагменты из книги)

24 ноября — через два дня после смерти Кеннеди и спустя день после того, как полиция Далласа заявила, что дело об убийстве президента «закрыто» и больше выяснять нечего, — некий гангстер застрелил Освальда в Главном управлении полиции. Он совершил преступление на глазах полицейских, не сделавших даже попытки остановить его; это событие было донесено телевизионной камерой до рекордного числа зрителей. И начиная с этого момента все обстоятельства дела приобрели совершенно иной облик.

Тем, кто готов был поверить, что Освальд — коммунист, нельзя было внушить, что Руби — патриот. Объяснялось это очень просто. Среднему американцу не часто встречались субъекты типа Освальда — мрачные, замкнутые, сосредоточенные на самих себе, от которых и слова не дождешься. Трудно сказать, на что был способен Освальд. Но таких, как Джек Руби, знали предостаточно. В любом городе можно найти его двойников, готовых на все, что угодно, занимающихся всем на свете — лишь бы это было не дозволено законом. Вы хотите поставить ставку на скачках? В Америке это разрешается только на ипподромах, но такой человек, как Руби, может без особого труда помочь вам обойти закон. Вам надо только заглянуть за угол направо — в вестибюль при бассейне или кегельбане, разыскать там парня по имени Майк и шепнуть ему, что Тони сказал «о'кей». А быть может, вам нравятся порнографические фильмы? Или вы предпочитаете не фильм, а «натуру»? Что ж, отправляйтесь по такому-то адресу и скажите, что вас прислал Тони. Не хотите ли вы наркотика — марихуаны? Тони знает, где ее можно раздобыть. А если вы поставили свою машину рядом с пожарным крапом, Тони просто-напросто уничтожит талон на штраф. Дружков в полиции у Тони хоть отбавляй. В его деле без них

не обойтись. Это все равно что платить налог. И таких, как Тони или Джек Руби, — тысячи.

Кое-кому по душе люди, подобные Руби, другие их боятся, но многие ими пользуются, как пользуются проститутками, которыми эти темные личности торгуют. Однако никто не верит такому типу, когда он заявляет, что убил мнимого убийцу президента в порыве патриотического чувства, чтобы отомстить за вдову павшего лидера и избавить ее от мучительных переживаний, связанных с «бесполезным процессом».

Когда люди, подобные Руби, живущие в мире наемных убийц, совершают убийство, они делают это совсем по другим причинам. А в том преступном мире, где Руби вращался с детских лет, принят такой «закон»: если убивают свидетеля, который вскоре должен дать показания на суде, то убивают с одной-единственной целью — помешать ему сознаться и выдать соучастников.

Следовательно, Руби так или иначе был связан с человеком, которого он убил. Но никому на свете не придет в голову, что Руби — коммунист. Преступление — а его миллионы людей могли видеть своими глазами, сидя в собственной гостиной, — никак не вязалось ни с одной из версий, приводившихся полицией Далласа в связи с покушением на Кеннеди.

Таков был первый вывод, к которому пришла широкая публика. Отсюда вытекало и второе заключение: те, кто сначала склонен был говорить, что Освальд совершил свое преступление в одиночку, без посторонней помощи, никак не могли принять на веру, что Руби — виновник второго преступления — не имел пособников. Руби — один из самых известных в Далласе гангстеров, его уже привлекали к судебной ответственности за незаконное хранение оружия. При любых обстоятельствах и в любое время было бы

недопустимо позволить такому человеку проникнуть в Главное полицейское управление, да еще с заряженным пистолетом, — это ничем не могло быть оправдано. Но что именно в ту минуту, когда в полицейское управление будет доставлен самый важный из всех арестантов в США (на которого, как уже дважды настоятельно предупреждала федеральная полиция, готовится покушение), что именно в ту минуту туда же пройдет незамеченным сквозь ряды полицейских хорошо известный полиции гангстер (тогда как было строжайше приказано не допускать посторонних) и выстрелит без всякой помехи — такую картину не могла бы породить самая необузданная фантазия. Между тем все произошло именно так на глазах всей страны, видевшей это убийство на экранах телевизоров, и почти вся нация сделала напрашивающийся сам собой вывод.

Некоторые американцы, не веря объяснениям Руби, все же были очень довольны, что от его руки «коммунистический убийца» получил по заслугам. Так рассуждали люди, которые при известных обстоятельствах присоединились бы к толпе линчевателей, хотя сами, возможно, и не были бы застрельщиками. Они не составляли большинства — я бы сказал, что они составляли примерно треть населения. Ибо всюду, где есть люди типа Руби, находятся и такие, кто пользуется их услугами. Последние не любят задавать вопросов. Если они хотят, чтобы девушка провела с ними ночь или помогла им заполучить контракт от своего клиента, они подходят к телефону и набирают определенный номер. Если им нужно подкупить профсоюзного чиновника, чтобы предотвратить забастовку, набирают другой. Меньше всего они думают о том, кто оказывает им эти противозаконные услуги или извлекает из них выгоду. Они, разумеется, не дали себе труда подумать, что и Руби, которого они приветствовали, и столь ненавистный им Освальд, возможно, играли за одну и ту же команду.

Но в большей своей части американцы отвергли Руби как символ их образа жизни, хотя в качестве символа образа смерти он был бы идеален. Много уже писалось о зловещем характере далласовских затей Руби, служивших прикрытием для более серьезной деятельности, — о звезде стриптиза Тамми Трю из его «Карусели», предлагавшей клиентам проверить собственноручно, что их не надули, и о «любительских» сеансах, на которых, по словам одного репортера, исполнительницы награждали посетителей призами «за усердие». Все это несущественно. Но большинство американцев не могло простить рекорд непристойности: человек, который в течение двух дней околачивался среди репортеров и с игривой улыбкой раздавал свои черно-розовые визитные карточки — «под цвет белья его звезд», —

неожиданно провозгласил себя защитником молодой вдовы Кеннеди, называя ее только по имени...

Многие репортеры, сохранившие чувство ответственности, стали подвергать сомнению прежние версии, хотя до того их принимали на веру. К вящему смущению, они обнаружили, что и полиция, и пресса явно не выполнили своего долга, не обеспечив Освальда физической и моральной защитой, на которую он имел право по закону.

На другой день после второго убийства в Далласе газета «Нью-Йорк таймс» заявила: «Далласские власти, поощряемые и вдохновляемые прессой, телевидением и радио, растоптали в прах все принципы справедливости своим отношением к Ли Освальду. Их прямая обязанность — ограждать интересы общества, предоставляя любому обвиняемому полную возможность для своей защиты перед судом, назначенным должным образом... Вопреки этому — еще до рассмотрения предъявленного обвинения и представления доказательств — и не обращая внимания на то, что арестованный упорно отрицал свою вину, начальник полиции и окружной прокурор объявили о виновности Освальда. «В основном дело закончено», — сказал начальник полиции... После того как на протяжении двух суток распространялась версия о виновности Освальда — в атмосфере, насыщенной электричеством, — перевод Освальда в тюрьму состоялся в самый полдень, и об этом широко оповестили заранее. Какобы бы ни были просьбы репортеров и операторов телевидения, полиция вопиющим образом нарушила свой долг, организовав публичный перевод Освальда в тюрьму в обстановке, в которой он так легко мог пасть жертвой покушения.

По англо-саксонскому законодательству всякий заподозренный в преступлении имеет право не только на обеспечение физической безопасности, но и на определенную юридическую защиту, которая в данном случае не была соблюдена; он считается невиновным, пока суд не подтвердит его вину. «Нью-Йорк таймс» проявила немалое достоинство и мужество, когда в номере от 27 ноября поместила заявление, подписанное редактором Тэрнером Кэтледжем, признавшим, что «редакция допустила ошибку» в заголовке на первой полосе, назвав без каких-либо оговорок Освальда «убийцей президента».

«В соответствии с американской системой судопроизводства, — писал Кэтледж, — он невиновен, пока его виновность не будет доказана. В дальнейшем в наших статьях и заголовках будет учитываться это обстоятельство».

Как только на таком уровне была взята под сомнение первоначальная официальная версия об убийстве Кеннеди, начал подвергаться сомнению и тезис о коммунистическом заговоре. Он не исчез

совершенно — он попросту поблек. Было подчеркнуто, что никто не утверждал, будто у Освальда есть соучастники, напротив, полиция стала настаивать, что таких соучастников не было и в помине. Директор ФБР Дж. Эдгар Гувер заявил, что нет оснований полагать, будто американские коммунисты каким-либо образом замешаны в заговоре Освальда.

Но как же можно было объяснить это разноречие, если из дела не были изъяты ни одно доказательство, ни одна улика — из множества накопленных далласской полицией и впоследствии признанных следователями федеральной полиции окончательным подтверждением виновности Освальда? Ведь едва ли могло казаться правдоподобным, что сторонник коммунистов убил президента США, не посоветовавшись с какой-либо левой группой или отдельным деятелем, и сделал это без всякого мотива, который те могли бы одобрить: ныне большинство наблюдателей в США согласно с тем, — кстати, иностранная пресса утверждала это с самого начала, — что акт Освальда нанес американским коммунистам явный вред. Короче говоря, чего ради стоило коммунисту действовать как антикоммунисту?

А если ключ к разгадке лежит в следующем: так мог поступить только сумасшедший? И вот с каждым днем все более настойчиво навязывается версия: Освальд был фанатиком, страдавшим психическим расстройством. И столь же чудесным образом было признано, что и Руби находится в состоянии помешательства — разумеется, временного. Предполагалось, что, как только суд признает его невиновным, он вновь обретет желаемое здоровье — так же неожиданно, как утратил. Его адвокаты заявили: столь громко превозносившийся патристический порыв, что охватил Руби, когда он стрелял в Освальда, был всего лишь кратковременным приступом помешательства — неприятным инцидентом, о котором стрелявший ничего не помнит.

Таким образом, вторая версия объяснения этого двойного убийства свелась к тому, что ни у одного из преступников не оказалось серьезных побудительных мотивов. Речь уже не шла о том, что патристически настроенный гражданин убил коммунистического убийцу, чтобы отомстить за вдову президента, — просто один безумец застрелил другого.



Тем американским гражданам, что по своей простоте и наивности верят поба-сенкам Джека Руби, я могу лишь посоветовать обратиться к чтению юмористических фельетонов, ибо история покажется им скучной. Нам же, однако, предстоит обратиться к истории, ибо все, кто считает Освальда сумасшедшим, подкрепляют свои доводы ссылкой на то, что во всех случаях убийств президентов,

имевших место в Соединенных Штатах, преступником оказывался безумец.

Не было представлено никаких медицинских доказательств, что подозреваемый Освальд страдал какой-то душевной болезнью, толкнувшей его на преступление. Единственный факт, имеющий отношение к этому, звучит до смешного неубедительно — речь идет о сообщении, будто Освальда еще в годы учебы в школе обследовал психиатр и нашел тревожные симптомы «недостаточной приспособляемости». Когда Освальд стал взрослым, в особенности во время его трехлетней военной службы, любые признаки психического заболевания были бы несомненно сразу же обнаружены. Журнал «Тайм» от 29 ноября писал: «Многочисленные соседи Освальда по прежним и по нынешней квартире отзываются о нем, как о человеке достаточно разумном, но настолько неразговорчивом, что его молчаливость казалась выражением высокомерия». Помощник пастора Первой унитарной церкви в Далласе преподобный Берд Хеллигас заявил 1 декабря репортеру газеты «Вашингтон пост», что Освальд был человеком «спокойным» и не обнаруживал признаков какого-либо расстройства. Рой С. Трюли, у которого Освальд работал в последнее время, говорил: «Он производил впечатление простого нормального парня». Поведение Освальда после ареста, по наблюдениям репортеров, казалось также вполне нормальным, даже после того, как в течение двух дней он находился в состоянии чрезвычайного эмоционального и физического напряжения. А далласский окружной прокурор Генри Уэйд в ответ на вопрос, заданный ему, когда Освальд был еще жив, нет ли подозрения, что тот психически болен, категорически отверг это предположение.

Следовательно, все доводы в пользу душевного заболевания Освальда зиждятся на присущем большинству людей убеждении, что убийца, совершивший подобного рода преступление, уже по самому характеру последнего не может быть нормальным — иными словами, сама чудовищность такого акта исключает возможность разумных побудительных мотивов.

Очевидно, что такая теория весьма привлекательна для адвоката, берущего на себя защиту убийцы. В некоторых случаях при предыдущих убийствах президентов США адвокаты делали намеки, что их подопечный психически болен, а один из обвиняемых своим поведением в зале суда старался придать правдоподобность этим доводам защитника. Но и он был казнен, как и другие убийцы. В случае убийства президента ссылки на то, что убийство могло произойти при отсутствии разумных побудительных мотивов, никогда не встречали доверия и

ТОМАС ДЖ. БЬЮКЕНЕН
КТО УБИЛ КЕННЕДИ?

не принимались в расчет, если не было доказательств, что и в прошлом обвиняемый проявлял признаки душевного расстройства.

Один только факт приятия таких политических убеждений, какие большинство людей, быть может, отвергает, не является, разумеется, признаком неумяненности, классическое определение которой на юридическом языке выражается следующей формулой: неспособность понимать последствия своих поступков. Во всех предыдущих случаях убийства президентов считалось, что убийца отдает себе полный отчет в своих действиях, — он располагал не мнимым, а реальным поводом для недовольства президентом, рассчитывал, что совершенное преступление пойдет на пользу той группе, к которой он принадлежал, кроме того, во всех этих случаях убийца был членом партии, до фанатизма враждебной политике, осуществлявшейся президентом.

Следует помнить, что в обстановке ожесточенных гражданских конфликтов и разногласий внутри нации некоторые люди считают, что ради интересов страны необходимо заставить умолкнуть лидеров оппозиции.

Зачастую история отражает суждения победителей, а с их точки зрения, естественно, безумной нередко была жертва, но не убийца. Таково, например, всеобщее мнение о Калигуле — двадцати пяти лет от роду став императором Рима, он в течение первых восьми месяцев правления славился добротой и справедливостью. Однако после перенесенной болезни Калигула резко переменялся. В последующие три года в стране воцарился режим террора. Сам Калигула наслаждался зрелищем пыток, провозгласил себя богом, построил в свою честь храм, присвоил своему коню Инцитатусу звание консула. В конце концов Калигула был убит офицерами личной охраны. В наши дни ни один суд не признал бы убийц Калигулы психически ненормальными.

А что сказать о Цезаре и о Бруте? И тот и другой имели сторонников, искренне веривших, что противник потерял рассудок на почве честолюбия и жажды власти. Споры на эту тему ведутся и поныне.

Джон Уилкс Бут — человек, первым убивший президента Соединенных Штатов, — считал Линкольна тираном, достойным смерти, подобно тому как и Брут видел деспота в Цезаре. Первые слова, произнесенные Бутом после совершения террористического акта, — это те самые слова, которые, по преданию, произнес Брут после убийства Цезаря — «*Sic semper tyrannis*» (Пусть всегда так погибает тираны). Впрочем, слова эти в устах Бута обретали двойной смысл, поскольку именно таким был девиз города Виргинии, оплота Конфедерации, к сторонникам которой принадлежал Бут.

Бута, как и следовало ожидать, многие сочли сумасшедшим. Когда преступление обрело известность, стали ходить слухи об отдельных особенностях характера Бута, придававшие версии о его безумии некоторую долю правдоподобия. Так, рассказывали, что он подвержен внезапным приступам гнева, совершенно несоразмерного с той обидой, которая якобы была ему нанесена. Однажды, обсуждая в кругу семьи вопросы политики, Бут вскочил с места и схватил за горло мужа своей сестры, пытаясь его задушить. Повышенную чувствительность в характере Бута объясняли зачастую тем, что он являлся последним и наименее удачливым отпрыском самого прославленного в Америке актерского рода. Его отец Юний Брут Бут в 1821 году приехал в Соединенные Штаты из Англии, где пользовался репутацией одного из наиболее одаренных актеров того времени, талантливейшего исполнителя шекспировских ролей. Старший сын Юния, Эдвин Томас Бут, добился признания и в Англии и в Соединенных Штатах главным образом своим исполнением роли Гамлета. Карьеру младшего сына Юния — Джона Уилкса Бута, разумеется, затмила слава отца и брата, но совершенно неверно думать, будто это неизвестный и бездарный актер, не нашедший себе места на подмостках. Он был весьма популярен, и его часто приглашали в театральные труппы, этим Бут обязан был не только громкому имени, но и привлекательной внешности, романтической страстности своей натуры.

Надо признать, что в том, как Бут совершил преступление, было больше элементов мелодрамы, нежели приемов расчетливого и хладнокровного убийцы. Он застрелил Линкольна, когда тот в ложе ватиканского театра смотрел спектакль. За пять дней до этого события гражданская война пришла к завершению, армия южан под командованием Ли капитулировала. После того как Бут выстрелил и пуля попала в голову Линкольна, убийца замешкался на месте происшествия, хотя мог быстро и незаметно скрыться из театра, где все ходы и выходы ему хорошо знакомы. Не сделал Бут и другого — не выстрелил в единственного человека, который оказался в состоянии его задержать. Вместо этого он нанес ему удар ножом в кисть руки. Затем он пробежал мимо умирающего президента; за Бутом следовали раненный им офицер и две перепуганные женщины. Опираясь левой рукой на перила ложи, он спрыгнул вниз, на сцену, где продолжался спектакль. Это был прыжок с изрядной высоты, но не больше, чем с той скалы, с какой так часто прыгал стройный молодой актер, появляясь на подмостках в сцене встречи Макбета с ведьмами. Такой прыжок был ему вполне под силу, и он, очевидно, рассчитывал, что все сойдет гладко. Но в момент прыжка шпора сапога Бута зацепилась

за флаг, драпировавший ложу президента, — флаг Союза (столь ненавистный Буту). Бут подвернул ногу и упал на нее. Как впоследствии выяснилось, нога была сломана, однако Бут немедленно встал и обратился к зрителям (многие из них узнали его и подумали, что прыжок имеет непосредственное отношение к комедии, которую они смотрели); подняв окровавленный нож, он крикнул: «*Sic semper tyrannis!*» И тут же быстрой, хромающей походкой он прошел через сцену и скрылся. Два-три человека, услышав шум в президентской ложе, оставили свои места и побежали за Бутом. Но Бут дошел до выхода, вскочил на ожидавшую его лошадь и ускорился, чем началась погоня. Лишь через одиннадцать дней его обнаружили в Боулинг-Грин, в штате Виргиния, где он скрывался на ферме, расположенной за линией действия южных войск. На предложение сдаться Бут ответил отказом, и один из посланных на поимку убийцы солдат выстрелил в него. Три часа спустя Бут умер.

Был ли он безумен? Разумеется, не подлежит сомнению, что в Джоне Уилксе Буте можно обнаружить больше признаков психической неуравновешенности, чем в тех двух людях, имена которых пока связаны в нашем понимании с убийством Кеннеди. И если Бут осуществил бы план убийства и бегства в одиночку, тогда, пожалуй, было бы можно отнести более серьезно к той версии, что явилась первым откликом в народе на убийство Линкольна: «Это мог сделать только сумасшедший».

Но действовал ли Бут в одиночку? Ведь гипотеза о безумии убийцы рушится сразу же, как только выясняется, что он не совершил и не мог совершить свое преступление без помощи соучастника. Заговор всегда подразумевает наличие побудительных мотивов. Трудно представить, что двое сумасшедших убийц договорились убить президента Соединенных Штатов. И уж совсем невозможно предположение, что в заговоре участвовали трое или даже больше безумцев.

Все это, конечно, не исключает, что какой-нибудь сумасшедший или слабоумный мог быть использован для совершения преступления. Предположим — хотя это менее вероятно, — такому человеку отвели роль убийцы. Однако в заговоре, руководимом Джоном Уилксом Бутом, сам предводитель предпочел сделать роковой выстрел, хотя у него было двое сторонников — их, вероятно, признали бы психически неполноценными, если бы подвергли исследованию современными методами диагностики.

Уже одного того, что Буту, несмотря на травму ноги, удалось скрываться от посланных в погоню отрядов в течение одиннадцати дней, — достаточно, чтобы предположить, что Бут действовал не в одиночку. Он имел соучастников и пособников. Однако у него не было необхо-

димости переживать эти одиннадцать дней. Широкие масштабы заговора стали ясны сразу. Линкольн не являлся единственной мишенью убийц в тот вечер 14 апреля 1865 года. Три главных руководителя правительства должны были стать жертвой покушения, назначенного на одно и то же время. Для устранения каждого из них был выделен особый убийца.

В Линкольна стреляли немногим позже 10 часов вечера. За два часа до этого человек, убивший президента, передал своему соучастнику маленький, завернутый в бумагу пакет. Оба заговорщика сверили часы. И как раз в тот момент, когда Бут входил в театр, его соучастник скакал к дому государственного секретаря в правительстве Линкольна.

Молодого всадника звали Льюис Торнгон Поуэлл. Уроженец южного штата Флорида, он одно время сражался в армии южан. (Сам Бут никогда не нюхал пороха, хотя достиг призывного возраста и на здоровье не жаловался. Несмотря на свою пылкую приверженность делу южан, он продолжал выступать в театре.) Поуэлл взял себе имя Пейн. Человек исключительной физической силы и вместе с тем психически неполноценный, он являл собой, таким образом, подходящее орудие для любого жестокого преступления, не требовавшего от преступника умственных усилий. План его действий был разработан Бутом, который в течение некоторого времени объяснял Поуэллу, что тому надлежит делать. Сам Поуэлл был бы не способен выработать такой план — и если бы ему пришлось проявлять собственную инициативу, то по своему психическому складу он оказался бы не в состоянии правильно реагировать на обстоятельства, не предусмотренные заранее тем, от кого он получал указания.

Поведение Поуэлла в этом смысле весьма поучительно. Направивается вывод, что любая попытка убийства, принятая в одиночку психически ненормальным человеком, встретила бы такие же, если не более серьезные, препятствия: Поуэлл располагал большим преимуществом — с самого начала он должен был лишь следовать определенному плану, весьма хитроумному и тонкому, разработанному человеком коварным, но вполне разумным. Сумасшедший, действующий в одиночку, таким преимуществом не обладал бы.

Уильям Сиворд, государственный секретарь Соединенных Штатов и вторая по значению после Линкольна фигура в правительстве, лежал в постели, когда Поуэлл подбежал к дверям его дома. За несколько дней до этого карета, в которой ехал Сиворд, опрокинулась, и при падении он повредил себе правую руку и челюсть. Бут знал об этом обстоятель-

ТОМАС ДЖ. БЬЮКЕНЕН
КТО УБИЛ КЕННЕДИ?

стве и рассчитывал им воспользоваться. Следуя его инструкциям, Поуэлл соскочил с лошади и вбежал в дом. Под мышкой он держал пакет, который вручил ему Бут. Стоявшему в дверях слуге он сказал, что принес лекарство от врача, лечившего Сиворда. Когда слуга вызвался отнести лекарство, «курьер» ответил, что дело не терпит отлагательства и что ему поручено передать лекарство сиделке в руки.

Поуэлл чуть ли не силой прорвался в дом, взбежал по лестнице. Пререкаясь с Поуэллом, слуга не отставал от неожиданного «курьера». Голоса спорящих привлекли внимание сына государственного секретаря, и тот вышел в коридор выяснить, в чем дело. Фредерик У. Сиворд и сам был видным государственным чиновником — он занимал пост помощника государственного секретаря. Он сказал, что лично передаст пакет отцу. Поуэлл не был подготовлен к такому вмешательству со стороны члена семьи — преподанные ему наставления годились только для разговора со слугой. На мгновение Поуэлл задумался. Затем он выхватил пистолет и в слепой ярости ринулся на того, кто пытался ему помешать. Он спустил курок, но произошла осечка, и Поуэлл стал наносить удары пистолетом по голове своей жертвы; и Поуэлл и младший Сиворд ввалились через открытую дверь в комнату государственного секретаря. Фредерик Сиворд упал на пол без сознания и не приходил в себя в течение нескольких недель.

В комнате у постели больного находились его дочь и санитар из медицинского корпуса армии. Поуэлл оттолкнул их, ударил санитаря ножом, а затем принялся наносить удары по предназначенной ему жертве. Он нанес Сиворду три глубокие раны в щеку и затылок. Пытаясь защититься от ударов, Сиворд упал за кровать к стенке. Санитар тем временем с трудом поднялся на ноги и, схватив убитую сзади, хотел оттащить его от кровати Сиворда. Повернувшись к санитару, Поуэлл нанес ему еще два ножевых удара в плечо. Между тем другой сын Сиворда — полковник Огастас, услышав крики сестры, вбежал в комнату, схватил Поуэлла и, хотя тоже был серьезно ранен в голову и лицо, сумел вытолкнуть его из спальни. Поуэлл пустился бежать. Его пытался остановить другой слуга Сиворда. Но Поуэлл тяжело ранил и его. Не получив ни единой царапины, выбежал из дома, вскочил на лошадь, оставленную, как и для Бута, у ворот дома, и ускорил, надеясь укрыться в безопасном месте. Он нашел прибежище в лесах вблизи Вашингтона; казалось, ему ничто уже не грозило, но без наставлений Бута он чувствовал себя до того беспомощным, что через два дня вернулся в маленький городок Сурратсвилль (в Мэриленде), чтобы получить там дополнительные распоряжения. Именно в это время полиция допрашивала владе-

лицу таверны, где, как предполагали, встречались Бут и другие заговорщики. Вдова Мэри Суррат происходила из семьи, по-видимому пользовавшейся влиянием в Сурратсвилле, но дела ее пришли в упадок, от бывшего богатства не осталось и следа, и ей пришлось содержать пансион и таверну — занятие, которым она явно гнушалась. Когда полицейские спросили Поуэлла, знает ли он Мэри Суррат, тот ответил, что работает у нее. Вдова, не подозревая о его ответе и опасаясь, что он во всем уже сознался, подняла правую руку и тоном благожелательной южной аристократки торжественно произнесла: «Клянусь богом, я его не знаю, никогда не видела и не нанимала». Эта потрясающая ложь была правильно истолкована как подтверждение того, что ей известна тайна убийства президента, и 7 мая 1865 года Мэри Суррат и Поуэлл были повешены как соучастники Бута. Следствие показало, что хозяйка таверны играла отнюдь не пассивную роль в заговоре: она не только предоставляла убежище заговорщикам, но и участвовала в подготовке убийства и с помощью своего сына и нанятого ею человека, который обслуживал таверну, снабдила Бута оружием*.

Когда военная комиссия закончила расследование убийства президента, вместе с Поуэллом и аристократкой из Сурратсвилля было повешено еще двое. Один из них, Дэвид Э. Геролд, был клерком у аптекаря. Он, по-видимому, тоже страдал слабоумием, как и Поуэлл, но не отличался такой жестокостью. Его соучастие заключалось главным образом в том, что он сопровождал главаря заговора Бута во время его бегства в Виргинию, помогал ему в поисках пищи и ночлега, охранял его сон. Представить себе Геролда в роли действующего в одиночку убийцы Линкольна не решился бы никто, зная его характер.

Четвертый участник заговора, повешенный по решению суда, — уроженец Германии Георг Атцеродт, шпион Конфедерации, обещавший убить вице-президента Эндрю Джонсона. В этом единственном пункте заговор Бута потерпел полную неудачу. Атцеродту, видимо, просто не хватило решимости. Но суд, вынося приговор, должным образом учел тот факт, что убийство входило в намерения Атцеродта.

Еще три человека — врач, который укрывал у себя Бута и помог ему бежать, и два сепаратиста из Мэриленда, присутствовавшие на встрече в Сурратсвилле, где шла подготовка к преступлению, — были приговорены к пожизненному заключению за косвенное соучастие. Впоследствии пожизненная тюрьма была заменена им разными сроками заключения. К шести годам тюрьмы был приговорен

* Подробности о заговоре, приведенные здесь, основаны главным образом на книге Николая Гая «Авраам Линкольн» — одном из важнейших биографических трудов, ставшим классическим. (Прим. автора).

рабочий сцены, менявший декорации в театре Форда; Джон М. Ллойд, нанятый Мэри Суррат для обслуживания таверны, также замешанный в заговоре, избежал заслуженной кары, выдав полиции сведения, которые навели ее на след штаб-квартиры заговорщиков. Ллойд не впервые имел дело с блюстителями закона. Работа в таверне служила ширмой для его главного занятия — провоза контрабанды через границу. Он имел обширные связи с подпольным миром, и в наши дни его называли бы гангстером. Интересное обстоятельство: цепь заговора Бута прорвалась в самом слабом своем звене — выдал наемник.

Одному из заговорщиков — Джону Суррату, сыну владелицы таверны — удалось пересечь границу и бежать в Канаду, там он нашел убежище в монастыре, а со временем перебрался в Европу и поступил в зуавы. Суррата нашли и предали суду лишь в 1867 году, а к этому времени вся общественная атмосфера в США переменялась. Негодование первых месяцев улеглось, страсти поутихли. Как это ни покажется невероятным, но не нашлось присяжных, готовых осудить Суррата. Голоса присяжных разделились, и он был оправдан.

Итак, распространенное в народе мнение, что убийца Линкольна — сумасшедший, осуществивший свой преступный замысел в одиночку, оказалось неверным. Бут не только имел соучастников, эти соучастники занимали гораздо более высокое положение, чем он сам. Они-то и остались безнаказанными. А избежали они виселицы благодаря тому, что единственного человека, который мог их назвать, заставили замолчать. Этим человеком был Джон Уилкс Бут, и, подобно Ли Освальду, он был убит в то время, когда уже находился в распоряжении своих преследователей.

Убийца Линкольна спал в амбаре с Геролдом, своим слабоумным молодым помощником, когда их разбудил шум приближающейся погони. Лейтенант Э. П. Догерти, командовавший отрядом полиции, приказал Буту и Геролду выйти из амбара и пригрозил, что подожжет их убежище, если они не подчинятся его приказу. Геролд тут же выскочил и сдался. Но Бут, которому гордость не позволяла сдаться, пока он не сыграл свою роль до конца, пока не довел ее до высшей драматической кульминации, все еще медлил, даже когда вспыхнули первые языки пламени. И тут — в тот момент, когда фигура Бута выделилась на фоне озарившего амбар огня, — сержант отряда, нарушив приказ доставить Бута живым для передачи в руки судей, выстрелил в него, и тот спустя три часа скончался. До самого конца Бут сохранял сознание, но говорить он не мог, и если он и хотел произнести последнюю исповедь, поблагодарить или высказать гневное обвинение — он уже был не в силах сделать это.

Смерть Бута явилась поистине даром судьбы тем, кого он мог выдать. Во время суда над второстепенными участниками заговора правительственные адвокаты ясно доказали их подчиненную роль. Главные заговорщики остались непоиманными, и первым среди них был не кто иной, как Джефферсон Дэвис, президент Конфедерации, за поимку которого была назначена награда в 100 000 долларов. Официальное обвинение, предъявленное от имени Соединенных Штатов арестованному участнику заговора, гласило, что они «коварно, незаконно и вероломно... учинив заговор, замыслили в сговоре с нижепоименованными Джоном Г. Сурратом, Джоном Уилксом Бутом, Джефферсоном Дэвисом, Джорджем Н. Сандерсом, Биверли Такером, Джекобом Томпсоном, Уильямом К. Клири, Клементом К. Клеем, Джорджем Харпером, Джорджем Янгом и другими, оставшимися неизвестными лицами, злодейски убить... Авраама Линкольна... Эндрю Джонсона... Уильяма Г. Сиворда... и Улисса С. Гранта...»

Даже несмотря на отсутствие главного свидетеля, прокуратура Соединенных Штатов смогла доказать, что убийство в театре Форда вовсе не было, как думали вначале, стихийной вспышкой, порожденной жаждой мести после капитуляции генерала Ли. Заговор существовал никак не меньше года и по первоначальному замыслу должен был вылиться в военную операцию, а не в изолированный террористический акт. Бут рассчитывал не на убийство президента, а на захват его живым. Затем он предполагал с помощью своей группы и других пособников-южан доставить президента в распоряжение южных войск и передать в руки правительства Конфедерации. Бут даже выезжал в Канаду и там обсуждал этот план с агентами конфедератов, в том числе — на последнем этапе переговоров — с Джекобом Томпсоном, личным эмиссаром Джефферсона Дэвиса и, по-видимому, самым видным представителем правительства Конфедерации в Канаде, которая на всем протяжении войны была главным центром интриг агентов Конфедерации и изменников из числа северян. Предложение Бута произвело столь большое впечатление на Томпсона, занимавшего пост министра внутренних дел в расположенном к южанам правительстве президента Бьюкена — предшественника Линкольна, что Томпсон перевел крупную сумму на текущий счет Бута в банке Онтарио, в Канаде. Соответствующий чек, закрепивший эту финансовую операцию, был предъявлен судебным адвокатом Джоном Бингхемом военной комиссии, которая судила участников заговора. Заручившись официальным одобрением Джекоба Томпсона и ощутимыми доказатель-

ТОМАС ДЖ. БЬЮКЕНЕН
КТО УБИЛ КЕННЕДИ?

ствами поддержки со стороны правительства конфедератов, Бут возвратился в Соединенные Штаты вербовать помощников для выполнения своего замысла. Мимо друзей Бута не прошел незамеченным тот факт, что никогда еще у него не было столько денег, как во второй половине 1864 года. Он объяснял это тем, что нажился на спекуляциях нефтяными акциями, однако на суде маклер Бута показал, что Бут не получил ни пенса из этого источника, напротив, спекулируя на бирже, он едва не разорился.

Когда армии южан были разгромлены и возникла опасность капитуляции, группа, организованная Бутом для похищения президента, пришла к выводу, что от этого плана следует отказаться. Найти возможность захвата Линкольна оказалось нелегким делом: его слишком хорошо охраняли. Теперь, казалось, уже чересчур поздно думать о похищении, и один из заговорщиков высказал эту точку зрения Буту в письме, написанном за 18 дней до убийства президента. Он посоветовал Буту, прежде чем предпринимать дальнейшие действия, «отправиться в Ричмонд и выяснить, как там относятся к его планам». Намеки, содержащиеся в этом письме, и другие свидетельские показания говорили о том, что Бут при посредстве агентов, засылавшихся в расположение северян для встречи с ним, осведомлял столицу южан о своей деятельности. Так же очевидно, что он не только не был единственным инициатором заговора, но и являлся всего лишь подчиненным, выполнявшим приказы заговорщиков, которые стояли выше его; их авторитет был для него непререкаем вплоть до того момента, когда падение Конфедерации освободило Бута от всяких обязательств по отношению к его хозяевам. Если ставший завершением заговора террористический акт был осуществлен Бутом по собственному почину, что кажется наиболее вероятным, то ответственность за первоначальный план заговора падает на гораздо более высокопоставленных лиц и таких почетных и знатных людей, как Джекоб Томпсон, а тем самым — непосредственно на столицу Конфедерации и ее правителей.

Именно на этом обстоятельстве и было заострено внимание адвоката Бингхема, когда он предъявил чек с пометкой «оплатить по распоряжению Дж. Уилкса Бута» и определил, что подпись под чеком принадлежит «агенту Джефферсона Дэвиса». «Что еще требуется? — задал вопрос государственный обвинитель. — Нет надобности добавлять хоть одно слово в подтверждение того, что Джефферсон Дэвис и его многочисленные друзья в Канаде замешаны в этом заговоре. Если требуются какие-либо дополнительные доказательства соучастия Дэвиса, то пусть эта бумага, найденная у Бута — наемного убийцы, — его обличит».

Можно ли предположить, что Дэвис и другие предводители Конфедерации

были по своему моральному уровню не способны решиться на такой акт, как убийство (здесь в любом плане похищения не исключается возможность убийства)?

Факты доказывают, что заговорщики не отвергали это средство. В делах военной прокуратуры в Вашингтоне хранится письмо, найденное в архиве конфедератов. Из него явствует, что некто Олстон, лейтенант Южной армии, обращался к президенту Джефферсону Дэвису в 1864 году, в то самое время, когда Бут устанавливал контакты с канадскими агентами южных штатов. Олстон предлагал организовать заговор с целью убийства Линкольна, что, по его словам, «избавило бы страну от одного из ее смертельных врагов и поразило бы в самое сердце тех, кто пытается заковать ее в цепи рабства». Дэвис приказал тщательно рассмотреть представленный Олстоном план и выяснить, имеет ли он шансы на успех. Так, по указанию Дэвиса план предстоящего убийства был направлен в ведомство секретаря по военным делам (военного министра), где этот план был рассмотрен лично заместителем секретаря и передан генерал-адъютанту с пометкой «обратить внимание».

Кажется ясным, что убийство Линкольна рассматривалось южными штатами как реальная цель — высшие руководители этих штатов распорядились тщательно изучить планы и, если они окажутся основательными, поощрить и поддержать заговорщиков денежной субсидией. Можно считать также установленным, что несколько групп, подобных группе Бута, действовали на Севере независимо друг от друга: если бы одна из них попыталась осуществить свое назначение и ее участники были бы арестованы, то южные штаты, по-видимому, отреклись бы от них, как это бывает всегда при провале шпиона или саботажника.

Но как только убийца сам был убит, ни одно из этих обвинений не могло быть доказано с достаточной, не оставляющей места для сомнения убедительностью. Все нити между правительством мятежников и убийством Линкольна проходили через Бута — а Бута заставили замолчать навсегда. Его свидетельские показания уже нельзя было заслушать, и Бостон Корбетт, застреливший Бута, так болезненно размышлял о последствиях содеянного им, что в последние годы своей жизни оказался в приюте для душевнобольных.

А лица, представшие перед судом по обвинению в убийстве Линкольна, были всего лишь простыми исполнителями, а инициаторы заговора, за исключением самого Бута, ушли от возмездия.

Теодор Роско в своем предисловии к книге «Паутина заговоров» приходит к следующему выводу: «Факты свидетельствуют, что преступники, ответственные за смерть Линкольна, не понесли кары за убийство».

Дэвис, впрочем, в конце концов был арестован, и при обстоятельствах, для него, человека самолюбивого и гордого, крайне унижительных. Его задержали, когда он бежал от наступающих армий северян с семьей, слугами, с движимым имуществом, рассчитывая переправиться по воде из Флориды в Техас. До него дошли слухи, что шайка солдат, недавно отпущенных из армии, готовится напасть и ограбить его, дэвисовский, транспорт, проведая, что он увозит с собой часть золотого запаса южан. Войскам северян, однако, удалось опередить их. Солдаты, подошедшие к палатке, в которой прятался Дэвис, были встречены женой последнего. Она появилась босая и, покраснев, пробормотала, что ее дочь не может принять у себя мужчин. Немного погодя из палатки вышла мисс Мэгги Хоуэлл, приходившаяся ей, собственно, не дочерью, а сестрой. Девушку сопровождала какая-то пожилая дама, накрывшая голову шалью и согнувшаяся в три погибели. В ее руке было ведро. Старая дама сказала солдатам, что ей очень нужно набрать воды в ручье, и попросила пропустить ее.

Солдаты колебались. Возмущенная г-жа Дэвис, разыгрывая из себя аристократку, закричала: «Дайте, ради бога, моей старой матери набрать воды!» Солдаты отошли, и бедная старушонка заковыляла по направлению к лесу. Но тут же кто-то из солдат заметил, что для особы ее пола и возраста она носит чересчур тяжелые сапоги. К старухе подошел верхом капрал и предложил ей снять шаль. Под женским нарядом оказался не кто иной, как разыскиваемый президент Конфедерации. Взбешенный тем, что он очутился в столь нелепом и смешном положении, Дэвис начал осыпать бранью задержавших его солдат — как-де они посмели обыскивать женщину. «Есть ли среди вас настоящий мужчина? — кричал он. — Дайте-ка на него взглянуть!» «Я мужчина, — сказал капрал, — и если вы сделаете хоть один шаг, я вышибу у вас мозги».

Услыхав такое предупреждение, президент Конфедерации стал тише воды и ниже травы*.

Однако арест еще не означал признания виновности. Дэвиса даже не привлекали к ответственности за участие в заговоре с целью убийства президента. Со

смертью Линкольна атмосфера в стране быстро менялась. Те самые люди, которые всего лишь несколько лет назад боролись против собственной родины, были возвращены к власти. Несколько человек из числа свидетелей, доказывавших в своих показаниях непосредственную связь между Джефферсоном Дэвисом и заговором Бута, спустя год решили, что гораздо разумнее отказаться от прежних показаний. Дэвис, проведший два года в одной из тюрем Юга в весьма приличных условиях, в конце концов был признан виновным по статье об измене. Его дело слушалось в суде Ричмонда, столицы Конфедерации, однако виргинские судьи не сумели договориться между собой и прийти к единому решению. Тогда дело передали в Верховный суд США. Пока тянулось следствие, президент Соединенных Штатов южанин Джонсон (в момент убийства Линкольна он занимал пост вице-президента) объявил амнистию всем заключенным в тюрьмах Юга; кстати, именно Джонсон был единственным из грех руководителей государства, вышедшим невредимым из замышлявшегося тройного убийства. В первые месяцы после смерти Линкольна Джонсон принадлежал к тем, кто громче всего требовал возмездия, впоследствии, однако, его горячность поостыла. Джонсон настолько тесно связал себя с южанами, выступавшими против политики реконструкции, что в сенате было даже проведено голосование по поводу предъявленного новому президенту прямого обвинения в государственном преступлении. Ничего подобного не случалось за всю историю Соединенных Штатов. Тридцать пять голосов было подано за признание президента виновным и девятнадцать голосов — в его поддержку, но поскольку при решении такого рода вопросов требуется большинство в две трети голосов, не хватило только одного голоса, чтобы лишить его власти. После выборов нового президента, когда он ожидал момента вступления в должность, Джонсон по случаю рождения 1868 года провозгласил «безоговорочно и без ограничений, всем и каждому, кто прямо или косвенно участвовал в недавнем восстании или бунте, полное прощение и амнистию, если преступление заключалось в измене Соединенным Штатам или в принадлежности к стану их врагов в годы гражданской войны, с восстановлением всех прав, привилегий и неприкосновенности, предусматриваемых конституцией и законами, введенными в ее развитие».

К тому времени Дэвис был освобожден под залог, большую часть которого внес один из самых богатых в стране людей Корнелиус Вандербильт, миллионер с Севера. «Бизнес — как обычно» — таков

* После многих лет печальных раздумий Дэвис в своей книге «Взлет и падение правительства конфедератов» пытался оправдать собственное поведение. Он пишет, что в его палатке было темно и что он лишь по ошибке надел на себя пальто жены, а она, заботясь о его здоровье, дала ему свою шаль — «утро было сырое и холодное». Дэвис утверждает, что когда капрал приказал ему остановиться, он «ответил в вызывающем тоне», сбросил пальто и шаль жены и наверняка стащил бы наглеца капрала с лошади и ускакал на ней, если бы в эту решающую минуту жена не обняла его. Из-за целой серии неудач подобного рода гражданская война и оказалась проигранной (Прим. автора).

был общий лозунг; установление ответственности за смерть Авраама Линкольна казалось теперь предпочтительнее всего предоставить на усмотрение историкам — считалось, что «не может послужить никакой доброй цели» постановка вопросов, могущих ввергнуть в смущение южан, помощь которых так необходима для реконструкции.

После амнистии все обвинения против Дэвиса были сняты. Он прожил еще двадцать один год и умер в 1889 году, почти четверть века спустя после смерти Линкольна, весть об убийстве которого оглашалась войскам южан в присутствии Дэвиса и встречалась буйными кликами восторга. «Это было естественно», — писал впоследствии Дэвис, — при известии о падении того, кого они считали своим самым могущественным врагом... Речь шла о враге столь беспощадном в ходе войны за наше порабощение, что было бы просто немисливо ожидать от нас скорби».

В какой мере первый случай убийства президента Соединенных Штатов мог быть объяснен помешательством в том смысле, как этот термин понимается в нынешних судебных инстанциях? Ни в какой. В группе, которую сколотил Бут, двое характеризовались столь низким уровнем интеллекта, что их можно было отнести к слабоумным. Однако ни один из них не мог бы выполнить самостоятельно даже своей доли участия в заговоре. Люди подобного типа могут использовать в качестве орудий убийства, но не способны организовать его. Они способны учинить свирепую резню, подобно той, которую устроил Поуэлл в семействе Сиворда, но в преступлениях, требующих умения заглядывать вперед и менять тактику в соответствии с изменением обстановки, они бесполезны.

Это, однако, не означает, что убийство президента не может быть осуществлено неполноценным человеком более высокого умственного развития, но судебные инстанции Соединенных Штатов всегда придерживались мнения, что помешательство такого рода должно носить характер, распознаваемый медициной. Прецедент был установлен в ходе разбирательства дела Чарльза Дж. Гито, казненного за убийство Джеймса А. Гарфилда, второго президента Соединенных Штатов, которому суждено было погибнуть от пули убийцы. В Гарфилда стреляли 2 июля 1881 года, всего через несколько месяцев после его вступления на президентский пост. Стрелявший был тотчас же арестован и сразу признал себя полностью виновным, хотя признание его было аннулировано несколько месяцев спустя, когда адвокат обратился в суд с заявлением о помешательстве подзащитного, что могло послужить основанием к отмене наказания.

Сам Гито был адвокатом — или, по меньшей мере, претендовал на такое звание — и, подобно многим людям этой

профессии, рассчитывал на политическую карьеру. В выборах 1880 года планы Гито потерпели крах. Он делал ставку не на то крыло своей партии, и, хотя республиканцы получили большинство, лавры достались тем, кто поддерживал Гарфилда в борьбе за выдвижение его кандидатом на последнем съезде республиканской партии. Фракция Гито — из числа нью-йоркцев, известных под кличкой «стойкие», — составляла главную оппозицию Гарфилду. Тридцатидевятилетний Гито все еще оставался скромной политической фигурой и неудачливым адвокатом. Едва ли и тот кандидат, которому он оказывал поддержку, предоставил бы ему желаемое — скромный дипломатический пост во Франции. На это и не пошел Гарфилд, у которого Гито не престанно домогался аудиенции. Гарфилд, будучи в то время осаждаем другими претендентами на посты, игнорировал просьбы Гито. Наконец, в приступе гнева и отчаяния Гито, взяв пистолет, отправился на железнодорожный вокзал, откуда президент — один из самых мягких и самых интеллигентных людей, когда-либо занимавших этот пост, — намеревался покинуть Вашингтон, направляясь с коротким визитом в университет, в котором когда-то учился. Разъяренный адвокат окликнул его и, подняв пистолет, дважды выстрелил в Гарфилда. Первая пуля скользнула по плечу Гарфилда и слегка ранила его, зато вторая прошла вглубь в области позвоночника. Президента в тяжелом состоянии перевезли в больницу. Все лето Гарфилд боролся за жизнь, а 19 сентября скончался от последствий ранения.

У Гито были свои мотивы для подобной акции. Это не преступление безумца, который слепо наносит удар своей жертве без всякого к тому основания. Гито ненавидел Гарфилда, он был уверен, что президент обошел привилегиями его и других ему подобных, хотя они имели право на вознаграждение за свои услуги партии. В предвыборной кампании, рассуждал Гито, Гарфилд пользовался их поддержкой, но, попав в Белый дом, на все административные должности назначил исключительно политиков противоположного «стойким» лагеря, тогда как по традиции они предназначались тем, кто больше всего приложил стараний для победы своей партии. Обладая здравым рассудком, Гито был преисполнен злости и жаждал мщения. Если бы все убийцы, движимые подобными мотивами, объявлялись сумасшедшими, то наказание за убийство стало бы редчайшим явлением.

Сумасшедший, обуреваемый манией преследования, наверняка мотивировал бы свой акт мщения совершенной в отношении него несправедливостью. Гито сформулировал свои мотивы значительно сложнее. Это типично для людей вполне здравых, когда они совершают акт, который даже им самим показался бы невы-

носимо мелочным или неблагородным, если бы они решились признаться в этом. Они, как правило, изобретают мотив более благородный и обманывают самих себя верой в то, что они действовали якобы от лица некоей группы, с которой обошлись несправедливо, а вовсе не во имя самих себя. Так и Гито, выпустив пули в Гарфилда, провозгласил, что после смерти Гарфилда президентом станет вице-президент Честер А. Артур, а последний — настоящий «стойкий».

Здесь не было и признаков бреда сумасшедшего. Убийство Гарфилда действительно способствовало приходу к власти группы единомышленников Гито. Добившись выдвижения в кандидаты на пост президента в жесточайшей борьбе, Гарфилд пытался внести мир в ряды своей партии, предоставив побежденной фракции выдвинуть в вице-президенты собственного кандидата. Таким образом, как это часто случается в США, оба первых лица в государстве представляли прямо противоположные воззрения. Так было и с Эндрью Джонсоном при Линкольне, а по мнению многих, это в какой-то мере относится и к Линдону Джонсону при Кеннеди; в трех из четырех случаев убийства президента Соединенных Штатов его преемником становился человек, выдвинутый оппозицией справа. В четвертом, как мы покажем ниже, президент Маккинли, хотя и сам являлся представителем крайне правых, все же оказался впоследствии смененным еще более правым экстремистом.

Просчет Гитс заключался в том — и это свидетельствует всего-навсего, что он был лишь никчужным политиком, а отнюдь не каким-то психически неполноценным человеком, — что он воображал, будто совершенный им акт будет на руку «стойким», если он, Гито, открыто провозгласит свою приверженность к этой группе. Он был готов рискнуть собственной жизнью, принеся в жертву жизнь Гарфилда, во имя того, что сам он называл «политической необходимостью», которая «сплотит партию». В письме, написанном до убийства и предъявленном самим Гито в момент ареста, он обращался к лидерам группировки «стойких» с просьбой обеспечить его защиту. Он называл самого себя «стойким из стойких», перечисляя свои заслуги перед кандидатами этой группы во время предвыборной кампании.

По предположениям Гито, смерть Гарфилда должна была произвести тот же эффект, что в свое время и смерть Линкольна. Аналогичные соображения политической целесообразности побудили партию, к которой принадлежал президент Линкольн, во время выборов 1864 года выдвинуть кандидатуру южанина, придерживавшегося лояльных позиций, в качестве кандидата на пост вице-президента. Фактически же Джонсон был демократом, а Линкольн — респуб-

ликанцем, но еще со времен гражданской войны республиканцы временно объединяли свои силы с силами демократической партии, противодействовавшими выходу из Союза тех южных штатов, где демократы традиционно были очень сильны. В кампании 1864 года появилось название — Союзная партия. Эндрью Джонсон был единственным южным конгрессменом, сохранившим верность Союзу. Он, не страшась угроз со стороны убийц, выступал в защиту лояльности по отношению к Соединенным Штатам в своем родном штате Теннесси, где другие «сторонники янки» были к тому времени либо убиты, либо подверглись избиениям. В первый срок президентства Линкольна, с 1860 по 1864 год, пост вице-президента занимал уроженец штата Мэн, поскольку считалось, что, коль скоро в президенты намечается человек с Запада, второй пост должен быть отдан человеку с Востока. Линкольн нередко в шутку говорил, что ему не угрожает убийство, потому что его вице-президент известен как более непримиримый враг Конфедерации, чем он сам. В 1864 году, однако, представлялось хитроумнейшим маневром продемонстрировать Югу, что даже южанам, при условии их лояльности, открыт путь к крупным постам в союзном правительстве.

Джонсон не был слишком заметной фигурой в правительстве при жизни Линкольна. Его затмевал не только сам Линкольн, но и члены кабинета. Среди последних, большая часть которых получила образование в крупных учебных заведениях северо-востока, он чувствовал себя простым парнем из захолустья. Его никак нельзя было назвать интеллектуалом, и среди тех, кто когда-либо занимал Белый дом, Джонсон был наименее образованным человеком. Вплоть до женитьбы он был просто неграмотен. На политической арене он появился очень молодым, одержав свою первую победу на выборах, когда ему шел двадцать первый год. В рядах своей партии он настойчиво продвигался, добился поста губернатора Теннесси, отбыл в безвестности один срок в конгрессе. В своей политической деятельности Джонсон отличался непоследовательностью взглядов: по некоторым вопросам он вел борьбу с богатыми землевладельцами, добиваясь повышения налогов и введения бесплатного начального обучения, но как только на повестку дня вставал вопрос о ликвидации рабства, неизменно оказывался горячим поборником интересов богатых рабовладельцев. В целом его воззрения были воззрениями самоучки, а его политический опыт преимущественно основывался на жизни в районах по границе продвижения первых переселенцев.

Как человек простой. Джонсон был подавлен совершенным убийством — его

ТОМАС ДЖ. БЬЮКЕНЕН
КТО УБИЛ КЕННЕДИ?

первая реакция сводилась к тому, чтобы заговорщики во главе с Бутон были наказаны с максимальной строгостью. Видимо, вследствие своей неискушенности он не сумел сделать необходимые выводы из совершившегося, понять до конца, насколько тесно возникновение этого заговора, как и ряда других, неудавшихся, связано с президентом Конфедерации и его приспешниками. Вот почему мелкие участники заговора — люди типа Геролда и доктора, лечившего рану Бута, — понесли наказание, незаслуженно суровое, а его настоящие вдохновители и организаторы остались безнаказанными. После того как утихло общественное мнение, требовавшее возмездия за убийство президента, на первый план выступили разногласия с северянами. Джонсон разошелся с конгрессом по основным вопросам в политике реконструкции. Конгресс настаивал на предоставлении гражданам-неграм права голоса, но Джонсон заявил, что решение этого вопроса следует предоставить самим штатам Юга (которых, разумеется, это не устраивало). Конгресс провел законопроект о предоставлении денежных субсидий бывшим рабам на время устройства их на работу, президент отказался подписать его. Конгресс пытался лишить тех, кто воевал против правительства, права занимать ответственные посты до 1870 года, президент в 1868 году предоставил им амнистию.

Гито считал, что то же самое должно произойти после устранения Гарфилда, и в известной степени так оно и было. Изю всех тех, кого Гарфилд выбрал в состав своего кабинета — людей, в руках которых сосредоточивалась бы вся власть в стране на последующие четыре года — лишь один остался незамененным Артуром. Этим исключением был человек, которого он не посмел тронуть, — сын Линкольна. Впрочем, с другой стороны, новый президент порвал и со «стойкими». Открытое признание, что убийца действовал как их агент, возымело действие, обратное тому, на что рассчитывал Гито. Мужество, с которым Гарфилд боролся за свою жизнь, привлекло к нему симпатии всего народа, всеобщая же ненависть к «стойким» повлекла устранение их ставленников с занимаемых должностей. Вожак «стойких», Роско Конклинг, потерпел поражение при пере выборах в сенат всего через несколько дней после выстрелов в Гарфилда. Он издавна держал в своих руках политическую машину в Нью-Йорке, известную своей коррупцией, расхищением общественных средств и тесными связями с преступным миром, но после убийства Гарфилда ему уже не удавалось выдвигаться на какой-либо государственный пост. Изгнанный с национальной политической арены, Конклинг провел последние годы своей жизни в относительной безвестности. Семь лет спустя после убийства президента, прогуливаясь в

одиночестве по улицам Нью-Йорка в снежную пургу, Конклинг упал в сугроб, никто не оказал ему помощи, и он замерз — умер, забытый страной, возглавить которую в свое время помышлял.

Акция Гито, разумеется, была осуждена «стойкими» точно так же, как в свое время преступление Бута было осуждено Югом после первой реакции стихийного ликования, о которой говорил Дэвис. Однако в общественном сознании политический характер преступления Гито был широко признан: подлинной причиной преступления считались поджигательские выпады против Гарфилда со стороны людей, которые не могли сослаться на «психическую неполноценность». В одном из номеров тогда влиятельного журнала «Космополитэн мэгэзин» была помещена статья, в которой говорилось: «Когда Гито был арестован, у него в кармане обнаружили номер «Нью-Йорк геральд», содержащий резкий выпад против президента за разговор с Конклингом по вопросам назначений на государственные посты в Нью-Йорке. На тексте сделаны пометки рукой Гито; по-видимому, он долго носил его при себе, перечитывая, размышляя над ним до тех пор, пока его мозг не воспламенился жадной убийства». А газета «Нью-Йорк ивнинг телеграф» в день покушения писала, что, «говоря попросту», акт, совершенный Гито, был «естественным исходом грязной и разлагающей политической игры, жертвой которой с самого окончания войны является вся страна»*.

Пока Гито в тюрьме дожидался суда, у него была возможность поразмыслить над опрометчивостью своего поступка. Он мог понять теперь, как сильно он прочитался. «Стойкие», на одобрение которых он рассчитывал, оказались не в состоянии защитить его. Он был представлен самому себе, и, когда Гарфилд умер, он очутился не просто перед тюрьмой, а перед смертным приговором.

Он не смог отрицать свою виновность в преступлении, которое, подобно Джеку Руби, он совершил публично. Ему требовалось подобрать иной способ защиты — и для этого была лишь одна возможность.

С самого начала, как уже отмечалось, Гито отказался от версии, будто он действовал из личных соображений, из мелкой злобы. Он нашел мотив более благородный, попытавшись связать свои личные обиды с обидой всех претендентов от «стойких» на выгодные посты в правительственном аппарате. Поскольку теперь оказалось, что этого недостаточно, он решил искать оправдания своих действий в более высоких сферах — у самого господ бога. В какой степени это решение было продиктовано мудростью, никто не мог бы сказать наверняка, но достаточно заметить, что инстинкт самосохранения и псевдорелигиозные чувства

* Теодор Кларк Смит. «Жизнеописание и письма Джеймса Авраама Гарфилда».

с поразительной последовательностью не покидали его в течение всего судебного разбирательства. Ведь оставался один путь к спасению ему жизни — и это превосходно понимал сам Гито с его познаниями в области права: можно объявить себя сумасшедшим и своим поведением убедить в этом суд.

В медицинских кругах уже тогда принимались первые попытки опротестовывать приговоры к тюремному заключению, вынесенные в отношении сумасшедших, поскольку, по мнению врачей, такого рода преступников надо отправлять в психиатрические лечебницы. Используя увлечение этой теорией в Америке, Гито (под руководством своего зятя, Джорджа Сковилла, своего официального защитника) ухитрился превратить зал судебных заседаний на протяжении всех десяти недель, пока шел процесс, в поразительное зрелище: суд порою напоминал сумасшедший дом. Гито вскакивал и, прерывая свидетелей обвинения и прокурора, произносил длинные и несвязные речи, он утверждал, будто Иегова внушил ему нанести удар по Гарфилду, а в заключение обращался к суду с просьбой: «Пусть ваше решение подтвердит, что это акт божий, а не мой».

Судья, председательствовавший на фантастическом процессе-спектакле, подвергся резкой критике за то, что он предоставил Гито полную возможность демонстрировать свое помешательство, будь оно подлинным или симуляцией. В связи с этим еженедельник «Нейшн», выходявший и в то время, заявил: «Словом, надо задуматься, не следует ли, невзирая на использование обвиняемым ссылки на помешательство в качестве защиты, обращаться с ним в зале суда как со здравомыслящим и ответственным лицом, настойчиво требуя от него такого поведения, которое давало бы понять, что вся его защита есть не что иное, как обман».

Итак, Гито была предоставлена полная возможность продемонстрировать, что он полоумен. После того как присяжным рассказали немало историй о его прежних эксцентрических выходках и они терпеливо выдержали целую серию диких взрывов со стороны подсудимого, дело, наконец, было закончено — после часового обсуждения присяжные вернулись с определением: «В своем «уме, виновен». Гито казнили.

Довольно убедительной и до сих пор актуальной представляется редакционная статья еженедельника «Нейшн» за 2 февраля 1882 года. Этот журнал, один из самых авторитетных в те дни, писал: «Демонстрации помешательства, использованные Гито, не привели к желаемым результатам. Ведь в каждом помешательстве есть, в конце концов, своя логика. Даже безумцы полоумны в соответствии с какими-то правилами, и длительный опыт наблюдений над ними не оставляет сомнения в том, Гито не соблюдал их. Он не скрывал остроты, быстроты

и точности своих суждений по вопросам, глубоко задевавшим его. Единственными доказательствами помешательства были его озлобление и пренебрежение условиями, то есть такие признаки сумасшествия, которые легче всего симулировать, — вряд ли труднее, чем симулировать походку пьяного. Никаких иных признаков дефективности своего мышления он не проявлял...

Если вы достаточно здоровы, чтобы жить и делать свое дело, — продолжал далее журнал, — быть в нормальных взаимоотношениях с людьми здоровыми, вступить в заговор и заранее подготовить преступление и при этом показать, что вы знаете о возможных последствиях и боитесь их или наперед планируете возможности избежать ответственности, значит, вы будете привлечены к ответственности за совершенное преступление и понесете законное наказание. Иными словами, чтобы совершить преступление безнаказанно, уже недостаточно ни странностей в поведении и эксцентричности, ни иллюзий относительно места, занимаемого вами в мире, ни проявления неспособности держать свое слово. Ваше поведение задолго до преступления должно показывать, что вы безразличны к последствиям своего поступка. Иными словами, теория помешательства «ad hoc» или внезапного и временного помешательства, длящегося ровно столько, чтобы выполнить определенный противозаконный акт, получила, пожалуй, самый серьезный удар, какой ей когда-либо наносился».

Суд над Гито, в отличие от предыдущих процессов, следовавших за убийством Линкольна, происходил в современную эпоху — при толковании закона, по которому помешательству давалось современное определение. Он послужил бы явным прецедентом при суде над Ли Освальдом, если бы защитник Освальда объявил своего клиента невменяемым. Совершенно очевидно, что уж если такой неврастеник, как Гито, мог рассматриваться как человек, ответственный за свои поступки перед законами Соединенных Штатов, то убийца Кеннеди, притом несомненно в значительно большей степени, ответствен за свое преступление. Что же касается Руби, то приведенный выше отрывок из «Нейшн» превосходно формулирует доводы в пользу того, чтобы отвергнуть ссылки на «временное помешательство, длящееся ровно столько, чтобы выполнить определенный противозаконный акт».

Джон Уилкс Бут был убийцей со стороны нравых. «Стойких» Чарльза Гито, хотя им трудно дать какое-либо четкое определение, можно было бы считать

ТОМАС ДЖ. БЬЮКЕНЕН
КТО УБИЛ КЕННЕДИ?

правым крылом этой партии. Но Ли Харви Освальд, обвиняемый в убийстве Кеннеди, назван сумасшедшим левым — примечательно, что и в прошлом уже имел место прецедент подобного обвинения.

В этой связи поучительно было бы разобрать обстоятельства убийства Маккинли. В истории Соединенных Штатов не существовало президента, чья внешняя и внутренняя политика была бы столь ненавистной для левых, как политика республиканца Маккинли, впервые избранного в 1896 году и переизбранного четыре года спустя.

Если искать современного двойника Маккинли, то на ум приходит имя Джона Фостера Даллеса. Президент Маккинли находился в Белом доме, когда выявились два фактора огромного значения: США стали показывать себя империалистической державой с притязаниями на мировое господство, а с другой стороны — окончательно утвердился контроль крупных корпораций и финансовых учреждений над американской экономикой. Именно в период президентства Маккинли была спровоцирована и выиграна война с Испанией — почти без всякого сопротивления со стороны испанцев, но при упорном и мужественном сопротивлении народов, населявших испанские колонии, только что захваченные Соединенными Штатами. После окончания войны США произвели своего рода оккупацию этих колоний — либо косвенную, как это было в случае с Кубой, которой американцы навязали долгосрочный договор, утверждавший их экономическое господство над островом, либо прямую, как это было с новыми колониями — Пуэрто-Рико, Гуамом, Гавайями и Филиппинами.

В оправдание своих действий у Маккинли всегда находились веские моральные доводы. В войне с Испанией президент отказывался внимать своим советникам — сторонникам еще более крайних действий, заявлявшим, что движение за независимость Кубы несет угрозу американским капиталовложениям на этом острове (сахар, железо, табак), и требовавшим ввода войск США на Кубу для охраны этих ценностей и без разрешения на то испанского правительства.

Это противоречило тактике Маккинли. Он предпочел направить в Гавану линкор с заданием обеспечить безопасность жизни и собственности американцев, находящихся на Кубе, если там произойдет революция. Через три недели после прибытия линкора в порт Гаваны он был взорван и потоплен. Испания, отдавшая себе отчет в том, что она беззащитна, и предпринимавшая отчаянные попытки избежать войны, торжественно заверяла мир, что она не несет ответственности за этот взрыв. Несмотря ни на что Маккинли толкнул жаждавшую возмездия страну на объявление войны Испа-

нии, чтобы, как он утверждал, отомстить за потопленный ею линкор.

Это была самая недостойная война из всех, в которых когда-либо приходилось участвовать великим державам. Ни одного дюйма захваченной земли не приходилось завоевывать, ни один солдат американской армии не был взят в плен; потери, понесенные американской стороной, почти исключительно объяснялись либо малярией, либо смертельными отравлениями консервами, которые спекулянты сбывали армии США.

Что касается аннексии Филиппин, Маккинли сказал, что, дескать, ему открылось — такова воля самого господ бога. В беседе с группой духовных лиц президент Соединенных Штатов заявил, что он обратился к всевышнему за советом, как надлежит поступить с этими островами. По словам Маккинли, чудотворный ответ, ниспосланный ему, гласил: Америка должна отправить туда свои войска с целью поднять, цивилизовать население, распространя христианство, «поскольку эти темнокожие существа являются нашими собратьями, во имя которых Христос также отдал свою жизнь».

Президент известил духовенство, что, когда бог ниспослал ему такое откровение, он вызвал официального картографа и дал ему указание впредь на всех выпускаемых картах отмечать Филиппины как собственность Соединенных Штатов. Но покорение этих островов оказалось делом не таким простым, как рассчитывал президент. Среди местного населения, бороздевшего за свою независимость, погибло 600 тысяч человек, потери американской армии составляли 4300 человек. Когда американцы — противники империализма — задавали вопрос, какие права их страна предполагает предоставить филиппинскому народу, Маккинли отвечал: «Сейчас неподходящий момент для освободителей выдвигать важные вопросы, касающиеся свободы и правительства для освобождаемых, поскольку последние заняты истреблением своих избавителей».

Внутри страны Маккинли следовал политике мультимиллионера Маркуса А. Ханна, который еще в начале политической карьеры Маккинли предоставил ему большую денежную ссуду для уплаты долга, после чего стал его главным «советником».

Много воды утекло в Америке со времен Линкольна. Гражданская война была вызвана причинами более сложными, чем те, которые приводятся обычно; с точки зрения экономической — это был союз независимого фермера Среднего Запада с предпринимателями и работниками Севера против крупных владельцев плантаций на Юге и тех, кто от них зависел. Западная сельскохозяйственная экономика дополнялась северной индустрией и коммерцией; Запад и Север торговали в основном друг с другом, а Юг выращи-

вал продукты, необходимые лишь для удовлетворения своих собственных потребностей, и его основные источники дохода поступали от экспорта на европейский рынок хлопка и табака. Север, подобно любой другой поднимающейся буржуазной нации, стремился оградить свою индустрию от европейского соперничества путем установления протекторатских тарифов, в то время как Юг, безропотно соглашаясь со своим положением полуколонии, поддерживал более низкие тарифы. Южане понимали, что европейские страны вынуждены сбывать свои товары в Америке, желая сбалансировать свои торговые кредиты и продолжать закупку на Юге хлопка и табака. Более того, импорт товаров европейского производства, конкурирующих с продукцией Севера, приводил к понижению цен, в чем Юг был заинтересован как потребитель. Союз между Севером и Средним Западом, сложившийся в период гражданской войны, уже распадался во время правления Гарфилда, бывшего генерал-майора линкольновской армии, которого поддерживали фермеры с Запада в борьбе с богатыми нью-йоркцами за право держать в своих руках партию, некогда избравшую Линкольна. В годы, последовавшие за убийством Гарфилда, финансовый капитал, открыто помогавший «стойким», полностью овладел контролем над Соединенными Штатами. К тому моменту, когда Маккинли был выдвинут кандидатом от республиканцев, они уже явились главной силой и в сфере политической. Антитрестовский закон Шермана, имевший своей целью защиту мелких предпринимателей от монополий, был принят в 1890 году, но в 1896 году президентом избрали Маккинли, и при его правлении тресты с многомиллионными капиталами, созданные вопреки этому закону, не подвергались ни малейшим ограничениям. Одним из таких трестов была сталелитейная компания «U. S. Steel», располагавшая уже тогда миллиардом долларов.

Президент, прибывший в Буффало 5 сентября 1901 года на грандиозную выставку, открывшуюся в этом городе с целью прославить превращение Соединенных Штатов за последние годы в мировую державу, был, таким образом, деятелем не совсем обычного типа. Маккинли проехал по «Триумфальной дороге», произнес речь, затем осмотрел выставку, выпил кофе в пуэрто-риканском павильоне и в тот же вечер полюбовался фейерверком — огненным изображением в небе двадцати двух боевых кораблей. На следующий день он вновь посетил выставку, чтобы еще раз осмотреть ее экспонаты. К вечеру, по заведенному обычаю, он направился поздравить свои почетателям в толпе посетителей выставки. Их выстроили в ряд. Маккинли шел вдоль шеренги, пожимая руки, пока не остановился возле какого-то человека, который не подал ему руки и вместо

этого выстрелил сначала в грудь, а потом в живот президента. Президент умер не сразу. Маккинли, который всегда был прекрасно осведомлен о воле создателя, восемь дней находился между жизнью и смертью. «Таково желание господ, да будет исполнена его воля, а не наша», — сказал он. Жена запричитала: «Я хочу умереть вместе с тобой, вместе с тобой». «Мы все умрем, все умрем» — ответил Маккинли. Вскоре его не стало.

Убийцу Маккинли сбили с ног, его волокли по земле и избивали, хотя он не оказывал никакого сопротивления. Как выяснилось, это был рабочий по имени Леон Чолгош, 28 лет, сын польских иммигрантов. Когда его спросили о мотивах убийства, Чолгош тихо ответил: «Я убил президента, потому что он — враг честных трудовых людей. Я не раскаиваюсь в своем преступлении».

Убийство президента Соединенных Штатов во имя честных трудовых людей расценено было в Америке как неопровержимое доказательство невинности Чолгоша. Когда на допросе он сообщил, что в свое время посещал митинги социалистов и анархистов, это первое предположение укрепилось. А когда он заявил своим адвокатам, что знает, какой конец его ждет, и не намерен помогать назначенным судом юристам готовить выступления в его защиту, люди окончательно убедились в том, что он сумасшедший.

По мнению американцев, голосовавших за Маккинли, лишь обезумевшие заговорщики либо вступившие в заговор безумцы могли воспринимать анархизм как философское направление, а марксизм как экономическую доктрину.

О жизни Чолгоша мало что публиковалось, да и то, что известно, окрашено субъективным отношением его биографов. Отец Чолгоша, простой чернорабочий, приехал в Соединенные Штаты из Польши. Леон Чолгош родился уже в Соединенных Штатах. Когда он достаточно подрос и мог начать работать, его приняли на кливлендский завод по производству проволоки. Сохраняя репутацию честного и знающего свое дело рабочего, ему удалось остаться на работе и в годы кризиса, когда многие другие ее потеряли. Он работал вплоть до 1898 года, пока болезнь не вынудила его заняться менее изнурительным трудом.

В Кливленде он увлекался чтением. Многие из его знакомых считали его «необщительным», «тихоней», но в остальном его поведение было вполне нормальным. Молодой рабочий интересовался теоретическими дискуссиями, касавшимися взаимоотношений капитала и труда, он посещал лекции на эту тему. Из всех рассмотренных им доктрин его больше всего привлекали убеждения анархистов.

ТОМАС ДЖ. БЬЮКЕНЕН
КТО УБИЛ КЕННЕДИ?

Вынужденный искать более легкую работу, Леон решил возвратиться домой и помочь отцу управлять небольшой фермой, которую семья к тому времени сумела приобрести. Он чинил фургоны и детали машин, охотился на кроликов, помогая прокормить семью.

Мать Леона умерла, когда мальчику было двенадцать лет, отец женился вторично. Между Леоном и мачехой происходили нескончаемые распри. Она считала, что Леон слишком много времени тратит на сон и чтение, тогда как ему следует побольше работать. Наконец Леон заявил отцу, что не может больше выносить придирок мачехи, и потребовал от отца вернуть ему деньги, одолженные им на покупку фермы.

Получив свои деньги, Леон переселился в Буффало.

Еще на ферме Леон Чолгош продолжал интересоваться анархистской философией, его внимание привлекало все, что приписывалось анархистам во всем мире.

Когда 29 июля 1900 года итальянский король Умберто I был убит анархистом, который незадолго до этого жил в Нью-Джерси, Чолгош вырезал из газеты сообщение об убийстве короля и постоянно перечитывал его. Как говорили, он неоднократно пытался вступить в анархистские организации в Кливленде и в Чикаго, но в то время анархистов подвергали таким тяжелым репрессиям, что они с недоверием относились к любому незнакомому человеку, опасаясь, что это агент, подосланный полицией с заданием следить за ними. Представления Чолгоша об анархизме были весьма наивными и ультраидеальными. Это усугубляло подозрения, и орган американских анархистов «Свободное общество» в выпуске, опубликованном за пять дней до убийства Маккинли, особо предостерегал своих читателей, что Чолгош несомненно является провокатором и следует пресекать всякую его деятельность среди анархистов.

Невзирая на это считалось, что все анархисты Соединенных Штатов несут коллективную ответственность за убийство Маккинли. Сотни из них были схвачены, арестованы и заключены в тюрьмы. Пытались утверждать, что среди них Чолгош имел сообщников, хотя и не нашлось улик, подтверждавших подобное подозрение. При всем этом можно с полной определенностью утверждать — и здесь обвинения основываются на более твердой почве и заслуживают большего внимания, — что при определенных обстоятельствах и в известные периоды анархисты других стран замыслили и осуществляли аналогичные убийства. Несомненно, преступление Чолгоша было продиктовано исключительно его философской позицией, которую он, во всяком случае, определял как анархист.

Как мы могли убедиться, все три убийства были продиктованы политическими

мотивами. Но при убийстве Маккинли — что является случаем из ряда вон выходящим — отсутствовало какое бы то ни было стремление убийцы к славе или мести.

Бут прыгнул на сцену, чтобы удостовериться в том, видела ли толпа человека, который нашел в себе мужество выстрелить в Линкольна, а когда впоследствии Бут прочитал в газетах сообщение о своем преступлении, он записал в дневнике: «Я нанес удар отважно, а не так, как об этом сообщают газеты. Я твердым шагом направился к нему сквозь тысячи его друзей, меня останавливали, но я упорно пробивался вперед. Возле него находился полковник. Прежде чем грянул выстрел, я воскликнул: «Пусть так всегда погибают тираны».

Прыгая, я сломал себе ногу. Я провалился через все заграждения. В эту ночь я проскакал шестьдесят миль с переломом кости, и при каждом толчке кость вонзалась в мякоть ноги. Я покинут всеми, на мне лежит печать Каина, хотя, если бы мир знал, что происходит у меня в душе, одно это сразу сделало бы меня великим».

Гито вручил схватившим его письмо, содержащее его собственную, не лишенную преувеличений биографию, а Чолгош, когда полиция спросила его имя, ответил: *Nietan* — «Никто». Он ни разу не проявил чувств личной обиды. Сидя в тюремной камере, когда от него требовали признания в тайных мотивах убийства, Чолгош твердил только одно: «Я думал, что это будет на пользу родине».

Сообщникам Бута было дано право обжаловать приговор в течение нескольких месяцев, так же поступили и с Гито. Процесс над Чолгошем был проведен скоропалительно, всего за восемь часов; суд признал его виновным, посовещавшись ровно 34 минуты. Затем он был казнен на электрическом стуле. Палачи не сразу выдали его тело семье, сначала они обильно полили останки карболовой кислотой. Этот последний жест — возмездие труп «безумного» убийцы — очевидно, казался сторонникам Маккинли здравомысленным актом.

Убийство Маккинли попросту привело к передаче власти в руки человека, который, хотя и проявлял меньшее раболепие перед монополиями внутри страны, в своей внешней политике придерживался более империалистического курса. Сам по себе Маккинли не был той движущей силой, которая направляла экспансионистскую политику США. Он являлся лишь одним из выразителей интересов монополий. Находилось немало и других, вроде сенатора из Индианы Беве-риджа, которому принадлежит следующее изречение: «Господь сделал нас руководителями и организаторами мира, призванными внести порядок и систему в царство хаоса... Он выделил американский народ, как избранную им нацию,

которой суждено возглавить возрождение мира. Такова священная миссия Америки». И даже такой здравомыслящий человек, как Уильям Аллен Уайт, один из известнейших американских редакторов и советников Белого дома, заявил: «Судьба явно предназначила англо-саксам роль завоевателей мира».

После убийства Маккинли в Белом доме воцарился Теодор Рузвельт, самый оголтелый из всех империалистов, считавший политику Маккинли слишком умеренной. Однажды, разгневанный тяжелой атакой на Кубу, он заявил, что президент Маккинли, пытавшийся искать какие-либо моральные оправдания войне, «был не тверже шоколадного крема»*.

В отличие от двух предыдущих убийств, убийство Маккинли не изменило политических позиций прежнего правительства — напротив, лишь укрепило уже намеченный курс. Поэтому можно подвергнуть сомнению действенность отдельных террористических актов даже с точки зрения тех, кто замышляет и осуществляет их.

Никаких убедительных объективных доказательств безумия Чолгоша никогда не было представлено. Ни один суд не признал его невменяемым. Вся эта версия строится на весьма поверхностном доводе — о приверженности его к определенной идеологии, которая-де сама по себе уже является свидетельством невменяемости. И в то же время не известно ни одного высказывания, приписываемого Чолгошу, которое по своему безумию могло бы сравниться с заявлением Теодора Рузвельта, сделанным перед началом военных действий на Кубе: по мнению последнего, именно потому, что так много людей жаждет мира, должна на-

чаться война. «Шумиха, поднятая кликой, ратующей за мир, убедила меня в том, что нашей стране нужна война... Я бы предпочел, чтобы она началась как можно скорее».



Этот исторический обзор предыдущих убийств позволяет дать оценку тому заявлению, которое так часто повторяется на страницах газет и журналов, откуда большинство американцев черпает факты и на основании их делает свои выводы, — заявлению, что все президенты Соединенных Штатов, павшие от пули убийц, были жертвами сумасшедших, у которых не было ни сообщников, ни определенных политических целей. Следует еще раз отметить, что подобная официальная версия выдвигалась не раз.

Поначалу утверждали, что Освальд — агент мирового коммунистического революционного движения, а Руби — разгневанный патриот, возложивший на себя миссию отомстить за мученически погибшего президента и его отважную молодую вдову. И лишь после того, как доводы Руби были подвергнуты сомнению во всем мире, на смену этой версии преступления появилась новая.

И Освальд, и Руби были представлены как безумцы, действовавшие в одиночку и незнакомые друг с другом. А поскольку не существует конкретных доказательств невменяемости Освальда, новая версия основывается исключительно на беспрепятственных заверениях в том, что исторически это являлось единственным объяснением всех предыдущих убийств, поскольку убийства политического характера никогда в Соединенных Штатах, дескать, не происходили.

* Маргарет Лич. «В дни Маккинли».



А. КОКОРИН

В ГОЛЛАНДИИ

Голландия — крошечная страна, где все миниатюрно, где мало места для людей, где маленькие домики и маленькие комнаты, где негде вешать большие картины, — породила очаровательное искусство «Малых голландцев».

Голландское искусство органично связано с характе-

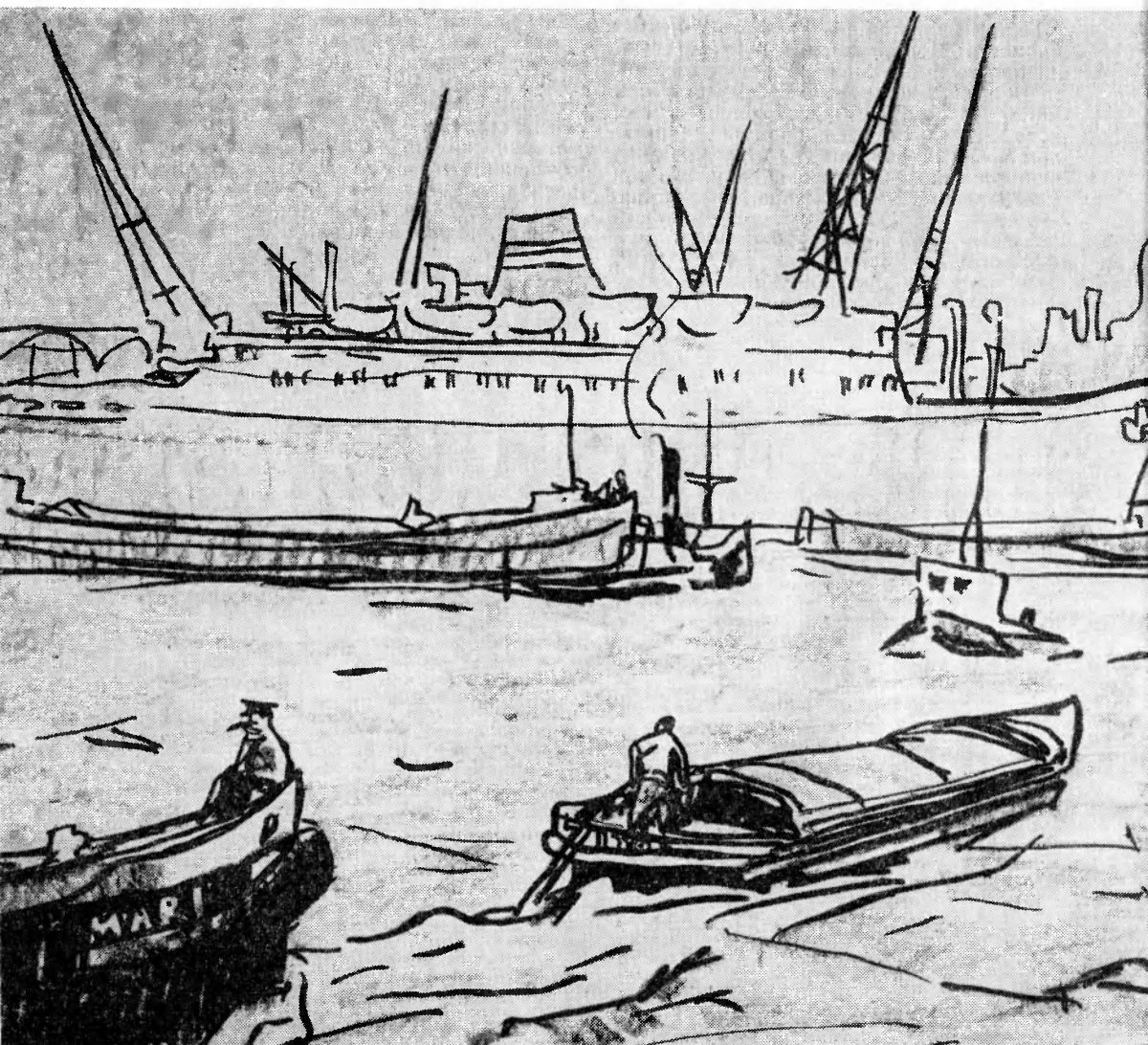
ром страны и необыкновенно верно передает ее сущность.

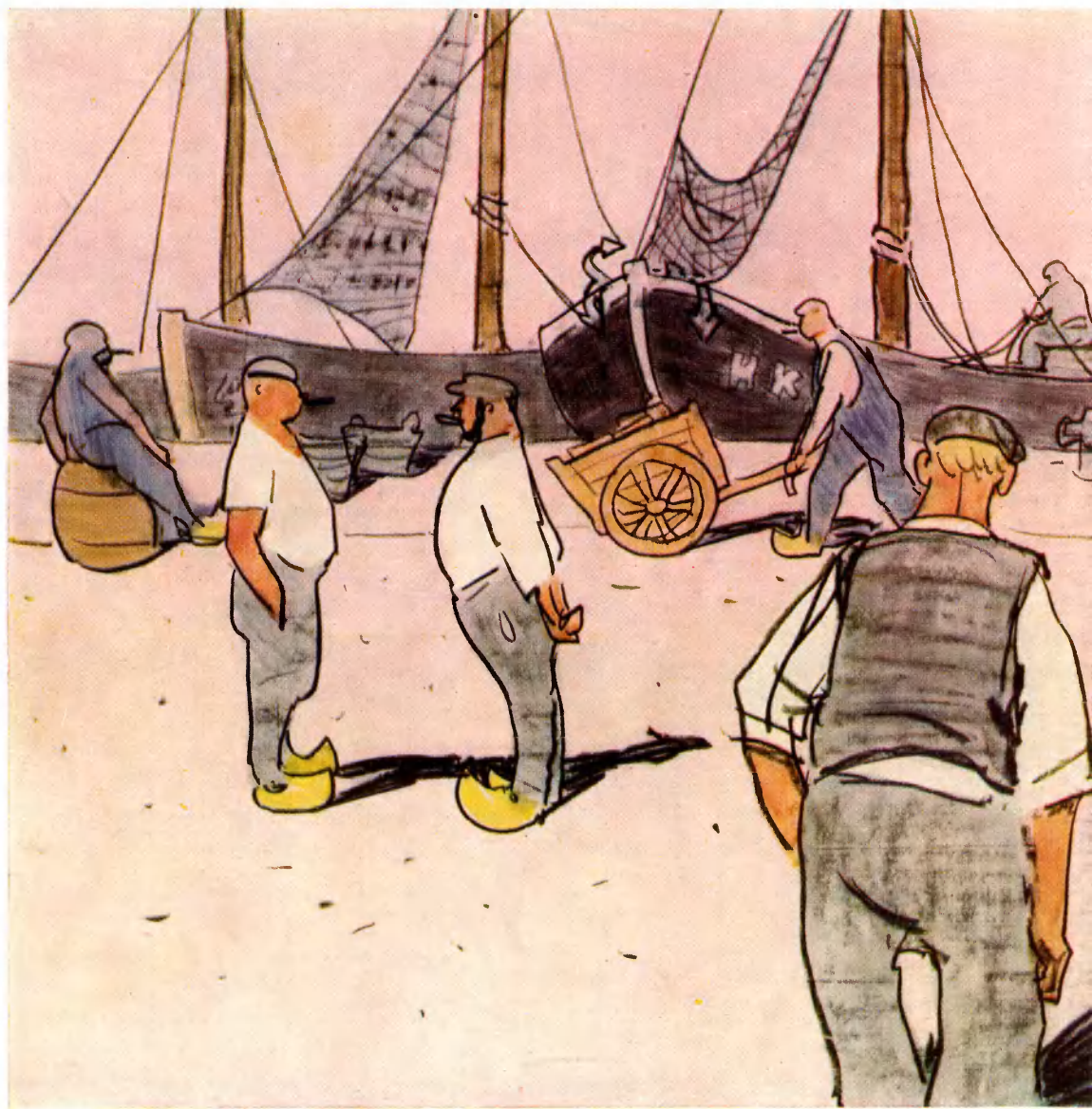
И хотя прошло уже триста лет — Голландия «Малых голландцев» очень похожа на Голландию XX века.

Сегодняшняя Голландия — это страна крупнейшей в мире нефтяной компании «Шелл»; страна, где сумел

поместиться второй в мире по величине Роттердамский порт; страна, торгующая таким необычным товаром, как цветы; страна, которая славится молоком, сыром, яйцами, на пастбищах которой пасутся стада в миллионы голов; страна, где редко кто ходит пешком — все передвигаются на колесах.

Роттердамский порт



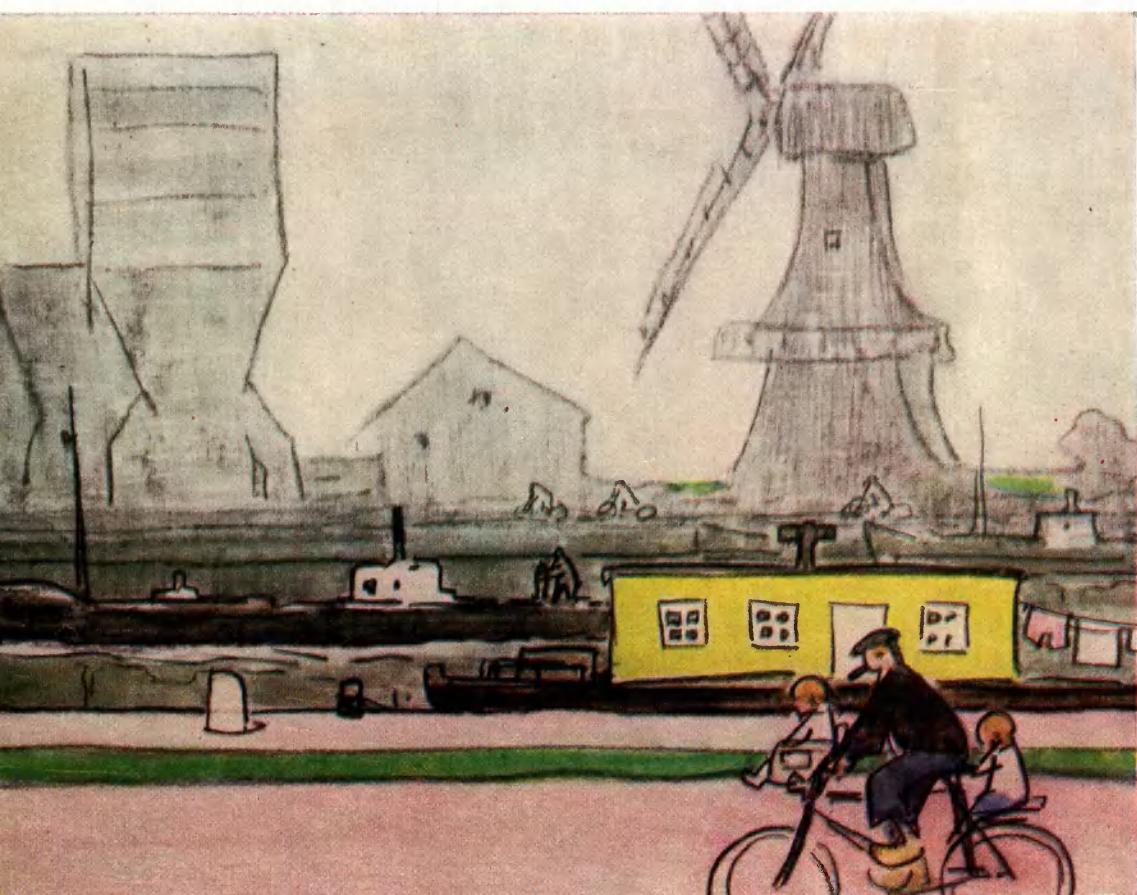


В рыбацком поселке



Кирпичный Амстердам

Голландия по горизонтали





Уголок голландской столицы

Мостик в Амстердаме





Амстердам. У светофора

Набережная реки Амстел





Набережная Амстердама

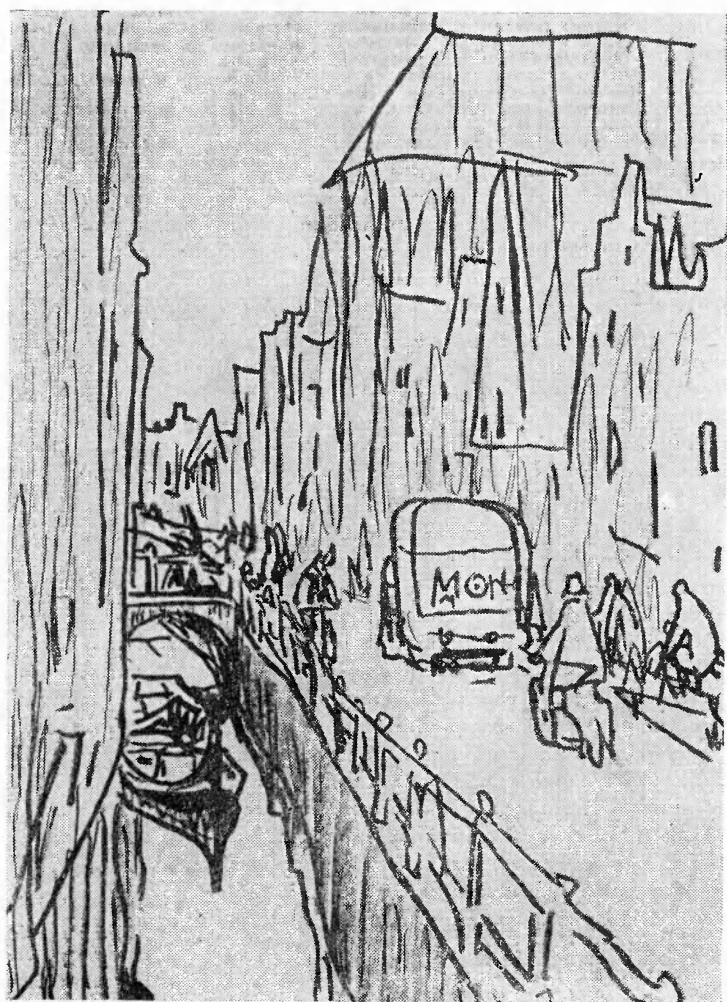
И все же она очень похожа на Голландию «Малых голландцев» — с бесчисленными каналами, баржами, лодками, парусами, мельницами, ветлами; страну горизонталей, маленьких городков с кирпичными тротуарами, зелени лугов с черно-белыми коровами; страну, где окружающий мир повторяется в тихой воде каналов.

Несколько раз я видел тот знаменитый деревянный мостик через замшелый канал, что изображен на чудесном офорте Рембрандта. Мне даже показалось, что я вижу у перил мужчину в широкополой шляпе с фарфоровой трубой в зубах...

...Черные, рыжие паруса, смоленые баркасы и рыбаки в синих блузах и желтых сабо, на берегу — игрушечные кирпичные домики. Это рыбацкий поселок.

Но есть рыбацкие селения, где все жители носят старинную голландскую одежду и где все напоминает «добрую, старую» Голландию. В этих поселках все специально предназначено для туристов, расплачивающихся за «экзотику» валютой. Государство получает прибыль, и какие-то деньги перепладают жителям этих «туристических» поселков за то, что они сохраняют обстановку и костюмы прежних времен.

...Чистенькие, разноцветные домики; у дверей сидят и вяжут розовощеие голландки в белых чепцах, в платьях с громадными узорчатыми воротничками и в деревянных сабо; на скамейках группами располо-



Делфт



Рыбачий поселок

жились старые рыбаки с трубками и сигарами, в черных широкополых шляпах и черных блузах. В маленькой бухте приютились смешные пузатые барнасы с латаными парусами, сушатся сети, бегают рыжеволосые ребята-тишки; здесь торгуют селедкой, пивом и... кока-колой. Не поймешь, где настоящее, а где бутафория в этом типично «голландском» пейзаже.

Мы повидали многие города — Амстердам, Гаагу, Делфт, Гарлем, Лейден, — города, бесконечно дорогие каждому художнику. В них когда-то жили и работали Рембрандт, Вермер, Гальс, Ван-Гог.

Я нежно люблю Вермера Делфтского. А после посещения Голландии еще больше проникся к нему уважением. Единственно, в чем мне хочется упрекнуть ху-

дожника, — он оставил нам слишком мало своих творений. В Амстердамском музее висят пять его картин и в музее Гааги — две. Сколько в этих небольших полотнах настоящего светлого искусства, тишины, прозрачного воздуха, уюта и человечности!

И как не похож на него неутомимый забулдыга Гальс. В Гарлемском музее — доме художника со-

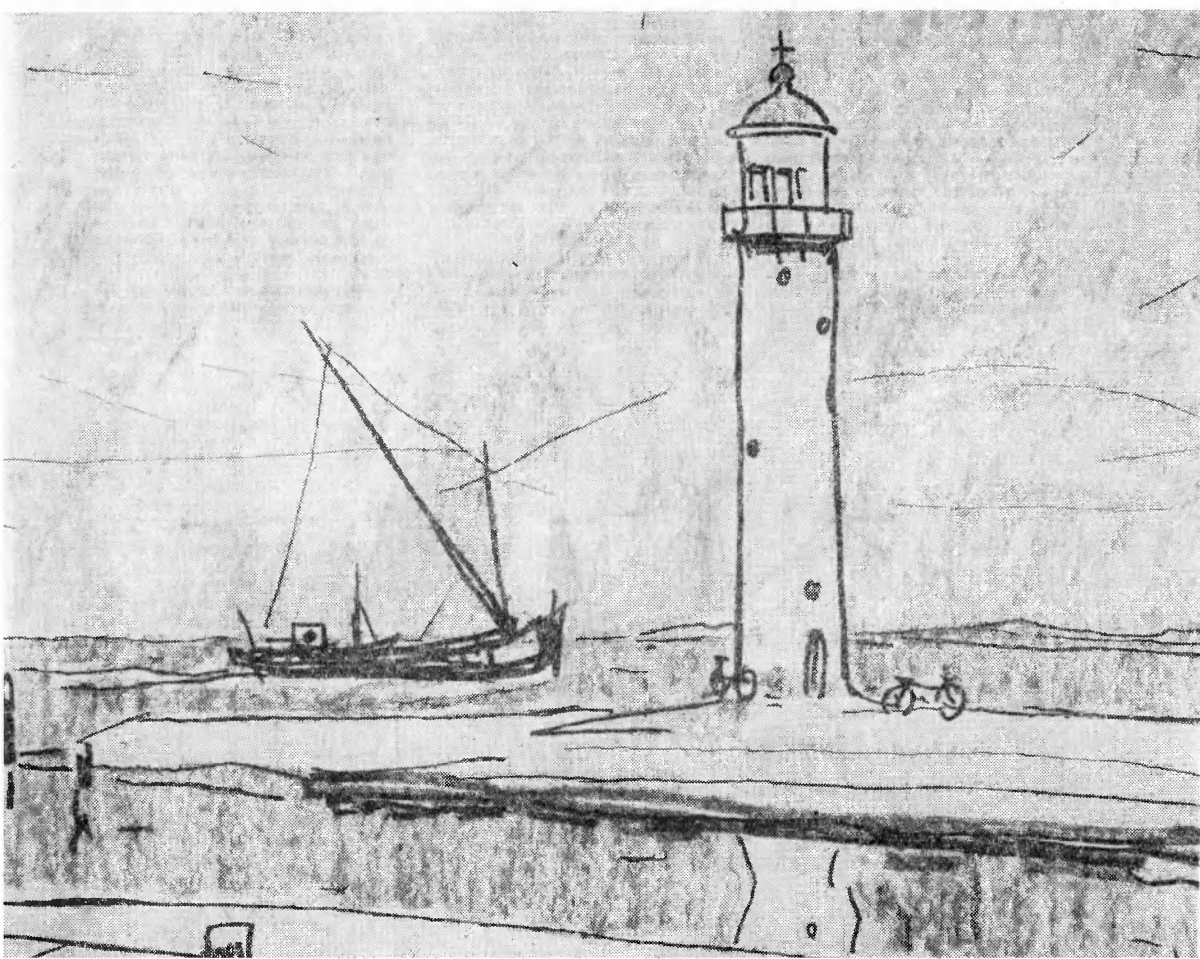
Старые рыбаки

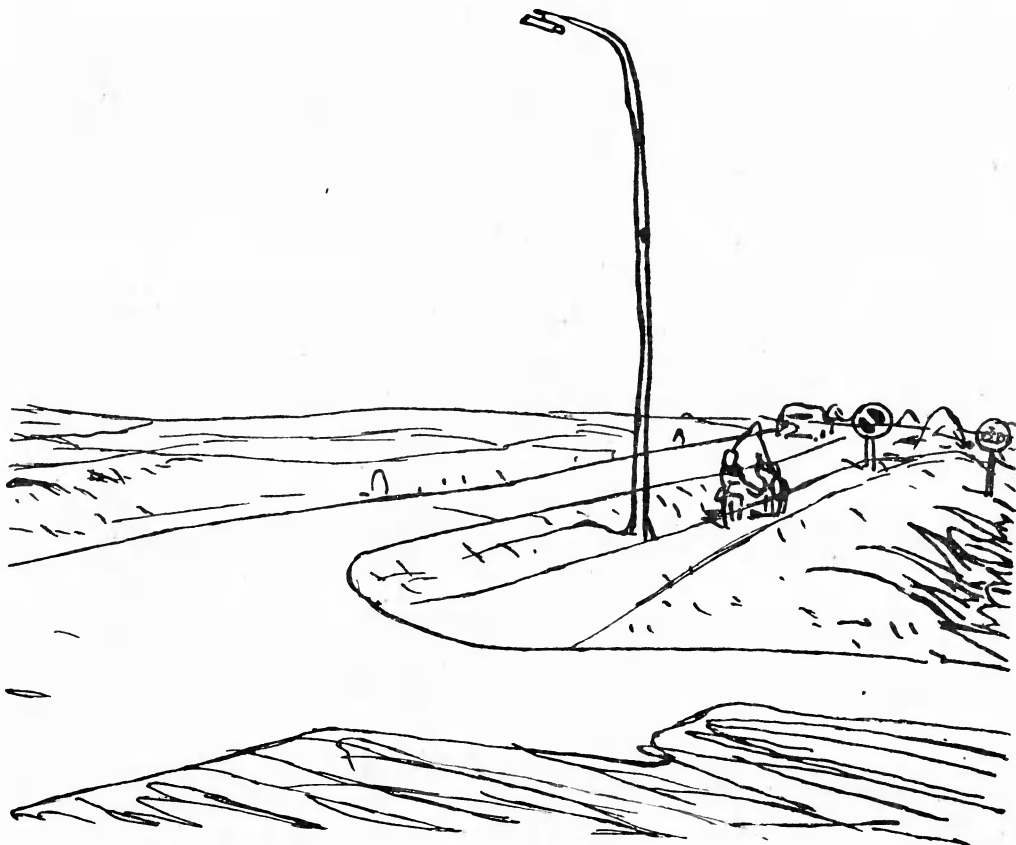




У маяка

Тихая погода





Полдер

хранились следы беспечной жизни: каминные с вертелами, медные кружки и бокалы. Сколько тут было выпито всякого вина! А со стен кричат, смеются, сквернословят собутельники Гальса. Картины здесь писались молниеносно, всегда во хмелю, иногда плохо, наспех. Кривые физиономии, короткие руки, но бунвально во всем ощущение гениальности.

Громадный зал заполнен полотнами с фигурами в человеческий рост. Целые пол-

ни развеселившихся буйных стрелков. Стоит такой невероятный крик, бушует хохот, стучат бокалы, раздается пьяная стрельба из мушкетов, лязгают алебарды и шпаги, царят гогот и ругань.

Через некоторое время ты слышишь звон в ушах, голова начинает кружиться, ноги слабеют и ты невольно чувствуешь, что пьянеешь. Вот это силища!

В последней маленькой комнате господствует молчание. Здесь висит последнее большое полотно Гальса —

групповой портрет наставниц. Вещь спокойная, мудрая — видно, что Гальс устал.

В музее Кроллер-Мюллер, близ Арнема, можно увидеть всего Ван-Гога. Несколькo сотен работ. В них вся его жизнь, вся его трагедия. Что же касается Рембрандта, то мне кажется, что у нас в Москве и в ленинградском Эрмитаже он представлен полнее и лучше, чем в голландских музеях.

Амстердам. Когда идешь по его вечерним улицам, ви-

Рыбачья гавань





На шоссе

дишь все, что происходит в каждой квартире. Никаких штор; двери из комнаты в комнату настежь; все лампы зажжены, чистота, каждый предмет на своем месте — любой должен знать и видеть, что здесь все благополучно и благопристойно.

Город засыпает рано. На каналах воцаряется удивительная тишина и спокойствие.

Но тут же рядом есть улицы, где жизнь кипит всю ночь напролет. Это улицы ночных баров, кабаков и всяких прочих увеселений для туристов и моряков всех стран. Из тишины сразу попадаешь в невообразимый крик, шум. Яркий свет рекламы и витрин. Узкая улица заполнена разноязычной толпой. «С девочками» моряки — негры, японцы, шведы, англичане, немцы... Джазовая музыка из открытых дверей баров. Все кричит, прыгает, зазывает.

В центре Амстердама — на каналах — ярко-синие, красные, желтые баржи. Торгуют цветами, овощами, фруктами. Это зрелище вдвойне красиво, так как отражается в воде бесчисленных каналов.

Есть на каналах и особые баржи — жилища. В них обитают те, кто не имеет квартиры.

Haring — селедка. Она всюду. Маленькие киоски по всей стране. В больших и маленьких городах, чуть ли не на каждом углу киоск с вывеской «Haring».

Вы берете двумя пальцами малосольную, нежную, уже без костей, без чешуи и головы селедку, окунаете ее в миску с маслом, потом в миску с луком, уксусом, перцем, и она становится объединением.

Альсмер — центр торговли

цветами со всем миром, международный аукцион цветов. Километры оранжевых с трубами. Фабрики нежнейших растений. Торговля цветами приносит государству огромный доход. Аукцион и оптовая торговля производятся в громадных стеклянных зданиях, напоминающих ангараы.

Каждый цветок завернут в целлофан; все рассортировано; на больших столах-тележках цветы куда-то везут, где-то упаковывают, что-то с ними еще делают. И к двенадцати часам дня уже все закончено, сделки завершены. Сотни тысяч цветов мчатся на поездах, самолетах, автомобилях или плывут на пароходах и баржах в разные города и страны.

Роттердам. Нельзя не удивиться, как в столь маленькой стране умещается бесчисленное множество кораблей, доков, кранов, причалов, буксиров, барж, катеров, лодок... Мы плыли у причалов больше часа, а до конца портowych сооружений так и не добрались.

Во время войны Роттердам был разрушен. Строится заново. Это уже, конечно, не традиционная Голландия. Серые громады-ящики стеклянных домов. После уютных Амстердама, Гарлема и Делфта Роттердам на первый взгляд угнетает, давит своей деловитостью и урбанизмом. И все же это — центр жизни страны, город портыхиков, город рабочего класса.



МИГЕЛЬ ДЕ УНАМУНО

К 100-летию
 со дня
 рождения

В истории мировой литературы нередко встречаются такие писатели, изучение творческого пути которых следует начинать не с начала их деятельности, а с заключительного периода, так как именно он дает ключ к правильному пониманию иногда весьма сложных и противоречивых явлений прожитой ими жизни. К числу таких писателей принадлежит Мигель Унамуно-и-Хуго.

Талант могучий и многогранный, Унамуно объединил в своем лице философа, ученого, новеллиста, поэта и драматурга. Он принадлежал к так называемому «поколению катастрофы» (то есть к поколению, пережившему утрату Испанией ее колониальных владений в результате войны с Соединенными Штатами) и очень рано начал задумываться над горькими судьбами своей родины, над ее исторической миссией. Особенно близкие и дорогие ему мысли о будущем Испании, в частности мысль о существовании в жизни народа двух историй: «интра», внутренней, «нить которой прядут невежественные, темные люди», — истории подлинной, творящейся в недрах народной души, и «инфра» — истории внешней, официальной, — были сформулированы Унамуно в первоначальной форме в письмах к его выдающемуся современнику Анхелу Ганивету Гарсиа. В дальнейшем Унамуно только всемерно развивал и обогащал свою теорию о наличии в жизни любого народа двух исторических процессов.



Унамуно-человек, Унамуно-философ непрерывно мучается вопросами жизни и смерти, вопросами существования высшего разума, бессмертия. Постоянные метания Унамуно между мистицизмом и социальной критикой не могли, конечно, найти разрешения в тех условиях трагической пустоты, в которых существовали интеллигенты поколения 1898 года. Но эти настроения Унамуно стали причиной появления его философского трактата «О трагическом чувстве жизни у людей и народов» (1913) — трактата, произведшего потрясающее впечатление в Западной Европе силой заложенного в нем пессимизма и обеспечившего мировую известность его автору.

Таковыми же трагическими по существу являются и художественные произведения Унамуно, его прекрасные «нивоны» (изобретенный Унамуно термин для обозначения философско-символических этюдов, написанных чаще всего в диалогической форме): «Туман», «Абель Санчес», «Три назидательные повел-ды», превосходный цикл стихов «Четки из лирических сонетов», поэма «Христос Веласкеса», драмы «Настоящий человек», «Тени сна», «Перевязь», «Воскресшее бывшее». В художественных произведениях Унамуно нашли выражение те черты его таланта, о которых можно было лишь догадываться по трактатам и статьям об испанской культуре. Написанные на могучем творческом дыхании, все они согреты горячей любовью к человеку. По-видимому, ставя в «ниволах» перед собой задачу вскрыть те уродливые противоречия,

которые лежат в основе испанской жизни, Унамуну нарисовал яркую картину современной ему Испании, нарисовал ее без всяких скидок и прикрас. Советский читатель может легко в этом убедиться, прочтя «ниволы» и «Три назидательные новеллы» в прекрасном переводе на русский язык, выпущенном Государственным издательством художественной литературы в 1962 году*.

Отдельно, но в неразрывной связи со всей творческой деятельностью Унамуну следует рассматривать его публицистические статьи и письма. Конечно, большинство этих статей имеет для нас сегодня лишь исторический интерес, но в свое время появление каждой новой статьи или свежего письма Унамуну было событием крупного общественного значения, и нередко они зачитывались публично в мадридском Атенео. Последние тридцать лет существования монархии Бурбонов Унамуну был практически на передовой — на линии огня. И сам писатель не мыслил себя иначе. Отвечая в мадридском Атенео своим противникам, обвинявшим его в политическом безумии, Унамуну сказал: «В безумии обвиняли Христа, Колумба и Жанну Д'Арк. Из этого враги мои могут увидеть, что совсем не так просто быть безумным... Да, я товарищ этих безумцев, но не в их безумии, а в завоевании вечности». Эти гордые слова Унамуну старался оправдать, ведя ожесточенную борьбу с клерикально-феодальной монархией Бурбонов, с королем Альфонсом XIII и его министрами, которых не без основания считал злейшими врагами испанского народа. Он ненавидел испанский традиционализм, эту худшую форму реакции, и для него изобрел специальный термин «каинизм». В своей борьбе Унамуну опирался на лучшие силы передовой испанской интеллигенции, любовно называвшей его «наш Мигель» и жадно ловившей каждое его слово.

Если Унамуну пламенно ненавидел клерикально-феодальную власть Испании, то и она отвечала ему тем же. В 1914 году, то есть еще за семнадцать лет до падения монархии, Унамуну был удален с поста ректора Саламанкского университета, где начиная с 1890 года он занимал кафедру греческого языка. «Уже полтора года,— писал Унамуну своему другу в 1920 году,— как я привлечен к суду по трем процессам.

Все три в Валенсии, и все три по обвинению в печатном оскорблении его величества».

Особенно усидились репрессивные меры против писателя в период военной диктатуры Примо-де-Риверы. Диктатура была установлена в сентябре 1923 года, а в январе следующего, 1924 года, Унамуну, выступивший к тому времени с рядом острых статей, разоблачавших маневры клерикально-феодальных властей, был выслан на безлюдный остров Фуэртевентуру. За этим, возможно, последовало бы и физическое устранение Унамуну. Известны слова одного из палачей Альфонса XIII и Примо-де-Риверы генерала Мартинеса-Анидо: «Если бы на то была моя воля, арестованный Унамуну не добрался бы живым до Фуэртевентуры. Я оторвал бы голову всем этим интеллигентикам». Эти слова как бы предвосхитили истошный вопль генерала Мильяна Астрыя, бесславного героя колониальной войны Испании в Марокко. «Смерть интеллигенции!» — кричал генерал на том трагическом университетском акте в Саламанке, где писатель бросил в лицо испанской военнице свою знаменитую фразу: «Вы можете победить, но не убедить».

В июле 1924 года Унамуну бежал с острова Фуэртевентуры во Францию. Многолетние дружеские связи, существовавшие между Унамуну и Роменом Ролланом, видевшем в своем испанском друге «героя высокой интеллектуальности, писателя трагического и страстного», обеспечили Унамуну почетное место в редакции «Монд». Впрочем, Унамуну провел в Париже только начальный период своей эмиграции, а затем перебрался в пограничное с Испанией местечко Эндайя. На родину он смог вернуться лишь после падения в Испании монархии Бурбонов, в апреле 1931 года.

Республиканское правительство, отдавая должное заслугам Унамуну, присвоило ему звание почетного гражданина, поставило его во главе Высшего национального совета культуры, ввело депутатом в Учредительные кортесы. Однако первые же шаги нового правительства показали писателю, что свержение монархии не внесло по существу никаких коренных изменений в политическую жизнь страны. У власти оказались вместо генералов парламентарии псевдорядикального склада, а к парламентарному строю Унамуну относился с недоверием. Так же мало верил он в эффективность для Испании революционных методов борьбы, носившей здесь вначале ярко выраженный

* Мигель де Унамуну, «Назидательные новеллы» с обстоятельной и хорошо написанной статьей составителя сборника В. Столбова.

анархический характер. Унамуну стал искать людей, которые вывели бы Испанию на новый путь. Великий писатель-патриот, пламенно любивший свою страну и свой народ, совершил гибельную ошибку, поверив было в идеи молодого основателя испанской фаланги Хосе Антонио Примо-де-Риверы, сына диктатора. Эта роковая ошибка привела писателя в лагерь реакции. Известно, как сложилась здесь жизнь Унамуну: он вынужден был стать свидетелем возвращения старых методов правления ненавистной ему монархии Бурбонов. Хорошо известна также история конфликта писателя с испанской военщиной и его трагический конец во франкистской Саламанке, где он скоропостижно скончался 31 декабря 1937 года, находясь фактически под домашним арестом. Но гораздо менее известен факт, сообщенный на одном из заседаний Второго международного съезда писателей в защиту культуры в июле 1937 года голландским делегатом-католиком Броудером, о существовании предсмертного письма Унамуну. В этом письме Унамуну отрекался от всякого единомыслия с фаши-

стскими генералами. Броудер, незадолго до смерти писателя, посетил Саламанку. После краткой беседы, в ходе которой писатель горько жаловался на окружающую его обстановку, Унамуну передал Броудеру свое письмо для оглашения его в печати. Броудер взялся это сделать, но так и не довез письмо до места назначения. Однако самый факт существования письма был зафиксирован в протоколах конгресса.

Таков этот предсмертный эпизод трагической жизни великого писателя и великого испанца. «Нам известно его гордое одиночество, приведшее его, как Дон Кихота, к смерти в руках меланхолии,— сказал об Унамуну Антонио Мачадо.— Но все то, что в его творчестве и в его жизни было живым словом, борется вместе с нами». А в написанной за год до смерти Унамуну записке великий поэт, перечисляя четырех «покровителей Испании», «земли Мигелей», последним назвал Унамуну. Так велико было его уважение к памяти этого патриота и замечательного писателя.

Федор Кельин





НА САМОЙ ВЕРШИНЕ ПЛАМЕНИ

Индонезия давно уже не колония голландской короны, не добыча интервентов, и, хотя из рук стомиллионного народа все еще вырывают каучук и копру, нефть и олово, будущее уже безраздельно принадлежит индонезийцам.

Как воевалось вам за свободу, друзья за океаном? Куда вы идете? Как вам дышится? Как поется? Каким огнем горят ваши души?

Поэты — уста народа. Страна «трех тысяч островов» отвечает на наши вопросы сборником произведений молодой индонезийской поэзии, переведенным русским поэтом.

В сборнике более ста восьмидесяти стихотворений двадцати авторов, участвовавших — кто словом, кто словом и делом — в народной освободительной борьбе. Наш читатель, к штыку приравнивая перо, угадывает за столбцами этих стихов тот же энтузиазм молодости, каким были порождены и стихи ранних поэтов нашей революции:

Родина пламя в тебя вдохнула —
Родина в бой зовет.
Кровью отплатим за годы рабства,
За нестерпимый гнет.
Лишь тот, кто в бою не жалеет жизни,
Сладость ее поймет.
Вперед! Нападай! Атакуй! Штурмуй!

(Хайрил Анвар. «Липонгсеро»)

Таких стихотворений-лозунгов в сборнике немало. Это насыщенная поэзия для периода борьбы за свободу, от начала этой борьбы до победы. Индонезия добилась политической независимости, теперь народ сам выбирает свою судьбу:

Вчера мы рабами были —
Сегодня борцами стали;
Прахом и глиной были —
Силой орлиной стали.

(«Песня индонезийских патриотов»)



Голоса трех тысяч островов. Стихи индонезийских поэтов. Переводы Сергея Северцева. Составление, предисловие и комментарии Вил. Сикорского. Редактор П. И. Железнов. Москва, Издательство иностранной литературы, 1963. 319 стр.

Нелегко далась победа индонезийскому народу:

Тысячу раз он жертвовал жизнью
Ради вот этой желанной минуты.

(Али Росиди. «Герой вернулся»)

Современная индонезийская поэзия молода, но она уже имеет свою историю. У ее истоков — деятельность поэтов «поколения сорок пятого года», затем общества народной культуры «Лекра», много сделавшего в те годы, чтобы «поставить культуру и искусство на службу родине, революции, народу и миру во всем мире».

Сборник фиксирует первый этап победы индонезийской революции — освобождение от иноземной кабалы. Регистр сборника — романтическая приподнятость тона, явление обычное для каждой молодой поэзии, вызванной к жизни коренными общественными преобразованиями.

Общие для поэзии всех времен и народов темы преданности родине, труда и любви у индонезийских поэтов находят свое национа-

нальное выражение и выражение личное (в этом познавательная и поэтическая ценность книги). О чем бы ни говорили Хайрил Анвар или Риваи Апин, Дарта или Бандахаро, Ситор Ситуморанг или кто-нибудь другой из представленных в этом сборнике поэтов, перо каждого из них заострило революция. Прошлое разлучало любящих — будущее соединит их. В прошлом труд — мука, в будущем — радость; «три тысячи островов» были разоблены — революция спланила их воедино. В индонезийской поэзии большую роль играет традиция, склонность к определенному сюжету, однако новый угол зрения заставляет поэта разрешать задачу по-новому.

Конечно, перед участниками сборника — долгая дорога совершенствования, и мы еще не в праве требовать от каждого из них той исключительной самобытности, которая дается большим жизненным и поэтическим опытом. И все же эта книга позволяет заглянуть в душу и многих новых для нас поэтов, и свободолюбивого народа, близкого нам по устремлениям:

Поэт!

Ты — на самой вершине пламени,
Если борьба запылала костром.

Поэт!

Ты — на самом дне под обломками,
Если разрушен твой отчий дом.

(Рамадан Картахадимаджа, «Поэт!
Ты — на самой вершине пламени...»)

Земной шар велик, острова Индонезии далеки от нас, но их обитателей и нас соединяет поэзия — высокое проявление человеческого духа. Читателя не могут не взволновать стихи видного индонезийского поэта Харахапа Бандахаро, в которых есть такие строфы:

Осенняя ночь, ледяное дыхание,
Безмолвно течет Нева,
Тройных фонарей золотое сиянье
Какая едва-едва.

И далее:

На друга, на волны гляжу — и вижу
Черты молодых солдат,
Отдавших жизнь, чтобы в бурях выжил,
Чтоб вечно цвел Ленинград.
(«Ленинград»)

Или его же «Ташкент»:

Сердце полно под полной луной —
Какая луна в Ташкенте!

Или «Баку»:

Дышит тревожный Каспий
Утренним ветром свежим,

УЧИТЕСЬ У ДИМИТРОВА!

Георгий Михайлович Димитров — один из тех людей, с кого можно и нужно «делать жизнь». Его мужественная, полная трудов и борьбы жизнь, его путь от простого рабочего-печатника до Генерального секретаря Исполкома коммунистического Интернационала и Болгарской коммунистической партии — пример беззаветной преданности делу революции.

Тысячи глаз лучистых
Влещут над побережьем.

Ньото оплакивает Патриса Лумумбу. Ситор Ситуморанг посвящает стихи кубинской девушке. Не зря говорят, что поэту принадлежит весь мир, поэзия не знает разделения судьбы на «свою» и «чужую», в этом ее нравственная и общественная сила.

В сборнике много стихотворений-зарисовок, стихотворений-раздумий, стихотворений подчеркнута лирических, личных; стихотворений, форма которых могла бы показаться новшеством и любителю поэтических изобретений нашего времени. Рамки журнальной заметки не позволяют нам вдаваться в подробное описание всех произведений сборника. Нам казалось важным прежде всего отметить целеустремленность сборника, указать на то, как молодая индонезийская поэзия разрешает основные встающие перед ней задачи.

Переводчик стихов индонезийских поэтов Сергей Северцев — молодой представитель советской школы перевода, основывающейся на верности духу подлинника, стремлении передать особенности его идей, стиля, системы образов, звучания. Читая «Голоса трех тысяч островов» мы испытываем чувство доверия к русскому поэту: он избегает всякой «нескромной вольности», никогда не пытается подменить собою автора подлинника. Сергей Северцев успешно справляется с трудностями переложения и свободного и традиционного стиха, на равных правах обитающего в книге. Его можно упрекнуть только в одном: он сгладил различие словаря поэтов, наблюдающееся, конечно, в подлиннике. Подобно тому, какими нам представляются, если судить по переводам Сергея Северцева, индонезийские поэты, выглядели бы в переводе на другой язык Блок и Маяковский, Светлов и Есенин, если бы мы не могли отличить словарь одного от словаря другого. А ведь язык поэта — его палитра, и словарь Есенина еще менее похож на словарь Маяковского, чем колорит Врубеля на колорит Дейнеки, например.

И все же книга эта займет место в сердце читателя не только благодаря заслуге поэтов Индонезии, но и усилиям русского поэта, изучающего язык подлинника, любовно выбравшего из сокровищницы во многом ненесомой нам до этого поэзии драгоценности и передавшего их русскому читателю.

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

Книга Камена Калчева «Сын рабочего класса» рассказывает об основных этапах этого пути. Чтобы написать ее, Камен Калчев проделал огромную работу: отыскал множество документов, беседовал с людьми, знавшими Димитрова в разные периоды его жизни, изучил досконально труды замечательного революционера. И многое из того, что раньше не было известно, стало известно всем. В этом большая заслуга писателя.

«Я решил стать членом социал-демократической партии, потому что, как рабочий, считаю, что только эта партия борется по-

Камен Калчев. Сын рабочего класса. Перевод с болгарского и послесловие А. Стекольников. Москва, издательство «Молодая гвардия», 1962. 256 стр.

следовательно и верно за интересы рабочего класса, только она единственная выдвинула лозунг освобождения рабочего класса от капиталистической эксплуатации, улучшения жизни народа. Только под знаменем рабочего класса, объединенного в своем Интернационале, будут осуществлены самые возвышенные идеалы человечества: свобода, братство и равенство!..» — так сказал двадцатилетний Георгий Димитров, вступая в 1902 году в болгарскую социал-демократическую партию. С тех пор дело

партии — основное, главное дело и его жизни.

Пожалуй, самое яркое место в книге — страницы, повествующие о страстной борьбе Димитрова на Лейпцигском процессе. Димитров превратил процесс в суд над фашизмом, и смертным приговором нацизму на этом суде прозвучала его заключительная речь.

Много теплых слов нашел Камен Калчев для матери Георгия Михайловича Парашкевы Димитровой, доброй, справедливой и умной женщины, в молодости плясуньи и певуни, воспитавшей всех своих детей — а было их у нее восемь — революционерами.

Каждым эпизодом, каждой страницей своей книги писатель говорит нам, молодым: учитесь у Димитрова — мужеству, упорству, верности, берите с него пример во всем, пусть жизнь ваша будет такой же честной и цельной, как жизнь Димитрова!

ВАЛЕРИИ МАКИЕВ

НОВЫЕ ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ

Никола Фурнаджиев. Солнце над горами. Перевод с болгарского под редакцией М. Зенкевича. Составитель и автор предисловия Д. Марков. Современная зарубежная поэзия. Москва, Издательство иностранной литературы, 1963. 111 стр.

 и вырос в стране, где «солнце на небе все ярче горит, щедро лучи раскидав по Балканам», где сборщицы «рвут лепестки распутившихся роз». И сказал о себе: «Я земли этой ласковый брат».

Неиссякаемой нежностью и благодарностью дышат стихи Фурнаджиева, посвященные Отчизне:

Я грудью к тебе наконец припадаю.
И горы твои я в объятья беру,
которые сниклись в разлуке суровой.

(«Возвращение». Перевод А. Гатова)

Обращаясь к ней, он клянется:

Мне тебя не забыть, я с тобою работаю,
Твое сердце в своей ощущаю груди.

(«Родина». Перевод А. Ревича)

Поэту было 20 лет, когда над Болгарией загудел «весенний ветер» Сентябрьского вооруженного восстания против монархо-фашистов. Но оно было жестоко подавлено.

И после буйной «свадьбы весны» (в этом символично-романтическом образе поэт запечатлел народную борьбу) наступили грядущие дни испытаний, наступила тьма «с лачугами, с казармою сырою, с борьбой, со смертью, с гулом канонад».

Разгорается с новой силой ненависть к фашизму, партизаны открывают фронт в тылу врага, народ «жаркой кровью Историю пишет» («С честью пали они»). Он мечтает об освобождении. Слушая голос Москвы, верит, что и на болгарскую землю придет Октябрь, который «всколыхнул и возродил народ и дал мечтам совсем иное имя» («Октябрь»).

И этот день настал. 9 сентября 1944 года поэт встретил победу над фашизмом в рядах отечественного фронта. Теперь в своем творчестве Фурнаджиев все чаще обращается к России со словами братской дружбы:

Тобой, Россия, очарован,
в твой богатырский дух влюблен!
И боль и трепет я изпедал,
когда боролся твой народ.

(«Россия». Перевод П. Железнова)

Возродилась Болгария, и гордой силой наполнились стихи поэта. В них как основной мотив властно ворвался рокот трактора («Осень»), запели на ветру столбы («Зимний вечер»), и перед зарей «веселой-красной зарозовели хлеба» («Ночь во Фракии»). В творчестве Фурнаджиева отныне не прорывается отчаяние, оставившее следы в его ранних стихах.

Герои стихов его последнего сборника — новые хозяева земли: крестьяне, шахтеры, строители, люди коммунистического труда.

Н. ОРЛИНСКАЯ

СРЕДИ КНИГ

ИНТЕРЕСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Г. Д. Гачев. Ускоренное развитие литературы. (На материале болгарской литературы первой половины XIX в.) Ответственный редактор Д. Ф. Марков. Москва, Издательство «Наука», 1964. 312 стр.

М

то, что в XIX и XX веках культуры многих стран и народов восточной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки развиваются ускоренно, — факт установленный. Но как протекает это развитие, как оно соотносится с предшествующим опытом человечества? За разрешение этого вопроса взялся Г. Гачев в книге «Ускоренное развитие литературы». Он рассмотрел целый литературный организм — болгарскую литературу первой половины XIX века, которая из-за пятисотлетнего турецкого ига, прервавшего письменную культурную традицию, начинала фактически заново — с фольклора и житийной литературы — и за полвека подошла к развитым современным формам. Соотнеся полвека болгарской литературы с двумя тысячелетиями европейского литературного развития, автор убедительно показал, что даже ускоренно и как бы «сгущенно» развивающаяся молодая литература осуществляет «необходимые фазы мирового литературно-художественного процесса, хотя и не в чистом виде, а часто в зародыше-

вой форме или в смешении с другими ступенями».

При научной точности исследования в книге ощущаешь смелость фантазии, активного творческого воображения. Ибо только при их участии можно было вжиться и воскресить духовную жизнь далекого прошлого, увидеть в локальных фактах болгарской литературы XIX века аналогии с типами художественного сознания, присущими эпохе Гомера, Ренессанса или Просвещения.

Сам автор отдает себе отчет, что им исследован «случай ускоренного развития, характерный для относительно мирных, спокойных исторических условий XIX века». В XX столетии гораздо резче скачки, перемены постепенности.

Современная болгарская литература, говорит автор, «оказывается наследницей не только предшествующих завоеваний, но и многого не осуществленного ранее в силу тех или иных исторических причин». Прошлое как бы говорит настоящему: «Мы не успели, сделайте вы!» Многообразие современной социалистической литературы Болгарии есть как бы заповедь, повеление ее истории.

В книге Г. Гачева немало спорного. И это не может быть иначе, поскольку автор во многом как бы открывает саму проблему. Книга зовет к дискуссии, обсуждению, и было бы полезно, чтобы поднятые в ней вопросы были соотнесены с вопросами литературной жизни разных стран Азии, Африки, Латинской Америки, которые ныне переживают аналогичный процесс ускоренного развития. К сожалению, резонансу этой интересной работы препятствует мизерный тираж: издательство выпустило столь острую и актуальную книгу всего лишь в 1800 экземплярах.

С. БОЧАРОВ

КОГДА ВЫРАСТАЮТ КРЫЛЬЯ

Милчо Радев. На тротуаре. Перевод с болгарского Л. Хлыновой и Т. Елисеевой. Редактор Е. Кострова. Преисловие Ю. Шалыгина. Москва, Издательство иностранной литературы, 1963. 84 стр.

«**Б**ыла там горная вершина. Над нею всегда парило белое облачко. Как будто эта вершина вырвалась из душевной лесной чащи и, устремившись к небу, вздохнула с облегчением. Облачко было похоже на такой вздох».

За этим поэтическим образом стоит судь-

ба молодого врача Евгения, героя повести «На тротуаре». Небольшая книжка молодого болгарского прозаика Милчо Радева — взволнованный, проникновенный рассказ о втором рождении героя, о становлении его характера.

Евгений окончил университет и получил диплом врача. Но привык во всем полагаться на авторитет других, ничего не решал самостоятельно. Даже находил удовольствие в том, что кто-то стоит за спиной и указывает, что надо делать.

Оказавшись в глухом горном уголке Брезовице, Евгений растерялся, почувствовал мучительную неуверенность в себе. До него в Брезовице не видели врача. Белый халат здесь не имел силы: тут должен был проявить себя сам человек. Первые шаги Евгения в самостоятельной жизни полны неудач. Он впадает в отчаяние от малейшей трудности, не раз ошибается. Принять самостоятельное решение, отстоять его оказывается так же сложно, как сдержать напор воды в разбушевавшейся реке.

Но однажды Евгений все же делает тот первый самостоятельный шаг, который во многом определяет его дальнейшую судьбу.

Преодолевая неверие в собственные силы и насмешки окружающих, он на свой страх и риск оставляет больного у себя в Брезовице и принимается за его лечение. Впервые удается Евгению победить свою слабость, поверить в себя и заставить поверить других.

Он устоял наперекор всем трудностям! Вот в чем радость, о которой он раньше даже не подозревал. И все это ему дала Брезовица. Ее суровые и мужественные люди научили его борьбе с трудностями. дали испытать счастье борьбы и победы.

Милчо Радев по профессии врач. Он пишет о том, что очень хорошо, в мельчайших деталях знает и, без сомнения, любит. Работа врача, его каждодневная борьба со смертью, за жизнь человека опозитизирована автором в повести, и это одна из привлекающих ее сторон.

Врач и больной. Жизнь и смерть. Проходят долгие часы, и перестаешь ощущать, где ты и кто ты. Только видишь перед собой человека, он зависит от тебя. Долгая, упор-

ная, подчас мучительная борьба. И вот наконец человек начинает приходить в себя. «Тогда ты можешь вздохнуть с облегчением. Лучше этого ничего нет. Ты поднялся очень высоко, на самую крутизну. На самый верх. И вот ты удобно располагаешься, и перед тобой открывается самая прекрасная картина на свете. Ты видишь, как больной медленно открывает глаза».

Так думает Евгений, стоя на тротуаре, у дверей дома любимой девушки. Он полон радостного сознания своей силы, уверенности человека, который понимает, как прекрасно, преодолев трудности, подняться на вершину горы, туда, где плавают белое облачко.

Милчо Радев еще очень молод. «На тротуаре» — его первая большая вещь. Но уже в ней он показал себя как вдумчивый психолог, пристально вглядывающийся в судьбы людей. Думается, что повесть «На тротуаре» — хорошее начало его творческого пути.

И. РУМЯНЦЕВА

СОВРЕМЕННЫЙ БОЛГАРСКИЙ РАССКАЗ

В тени Балкан. Рассказы болгарских писателей. Составители В. Злыднев и А. Собкович. Предисловие В. Злыднева. Редактор А. Собкович. Москва, Издательство иностранной литературы, 1962, 581 стр.

Эту книгу вошли произведения болгарских прозаиков разных поколений, успешно работающих в жанре рассказа.

Сборник отражает тематическое разнообразие болгарского современного рассказа. Разоблачению цинизма и лицемерия буржуазной морали посвящены рассказы Св. Минкова «Красные покойники» и Б. Райнова «Юнгфрау». Трагическая судьба маленького человека в капиталистической Болгарии, тяжелая участь женщины, принужденной продавать себя, чтобы зарабо-

тать на жизнь, — проблемы, которые привлекают внимание К. Константинова («День за днем», «За стеной»). Г. Караславов, О. Василев и Э. Манов воскрешают на страницах своих произведений героическую борьбу болгарского народа против фашизма («При попытке к бегству» Г. Караславова, «Зайчонок» О. Василева, «Веточка миндаля» Э. Манова). К событиям времени Отечественной войны болгарского народа обращаются П. Вежинов и Д. Чавдаров-Челкаш («Стихи» и «В трясины» П. Вежинова, «Иван и его товарищи» Д. Чавдарова-Челкаша). Многие рассказы сборника посвящены проблемам строительства новой жизни в Болгарии после освобождения от буржуазного гнета и фашизма. Ломка старых буржуазных устоев в деревне, кооперативное движение, борьба между старой и новой моралью, новое отношение к собственности и труду в социалистической Болгарии — вот вопросы, которые интересуют А. Каралийчева («Туннель зовет», «Марушка»), Кр. Григорова («В гости»), И. Волеца («Вишо смотрит вперед»), Ст. Даскалова («Излишки»), И. Радичкова («Наша земля»).

Вступительная статья к сборнику знакомит читателя с историей развития рассказа в болгарской литературе, с его успехами в наши дни.

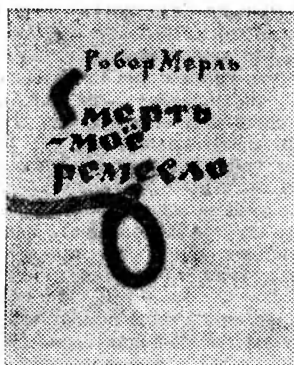
Н. ПОНОМАРЕВА

КНИГИ РОБЕРА МЕРЛЯ

Биография Мерля (он родился в 1908 году) характерна для того поколения французских писателей, которое пришло в литературу после второй мировой войны. Преподаватель английского языка и

литературы, он в годы войны наблюдает своими глазами один из трагических военных эпизодов — разгром объединенных сил французской и английской армий в Дюнкерке, проводит несколько лет в лагере для военнопленных и в фашистском лагере смер-

СРЕДИ КНИГ



Р о б е р М е р л ь.
Смерть — мое ремесло. Перевод с французского Горация Велле. Предисловие Степана Злобина. Редактор К. Северова. Москва, Издательство иностранной литературы, 1963, 253 стр.

ти; после окончания войны, в числе многих свидетелей, присутствует на Нюрнбергском процессе.

Свой литературный путь Робер Мерль начал романом «Уик-энд на Южном берегу» (1949), изображающим два страшных дня, в течение которых был завершен разгром в Дюнкерке. Роман этот сразу привлёк внимание своим безоговорочным осуждением войны и был награжден премией Гонкуров.

Трагическая сущность войны увидена в нем глазами интеллигента — гуманиста и пацифиста Жюльена Майя, на которого война неожиданно надвинулась как олицетворение страшного хаоса и абсурда, сводящего на нет все высокие человеческие держания и надежды. Человек, по мысли Майя, бессилен в этом кровавом кошмаре: он не может ни противодействовать преступлению, ни спасти любимую девушку, ни даже управлять своими собственными чувствами. Он превращается в затравленного зверя, обуреваемого страхом перед мощными средствами уничтожения. Изобретенными современной войной, он ожесточается, убивает, насилует, наконец, бессмысленно погибает. Сама форма романа — его разорванная композиция, отрывистый, экспрессивный язык, которым говорят его персонажи, — усиливает впечатление потерянности и беспомощности человека, попавшего против своей воли в страшную военную мясорубку. «Беспросветный роман о солдате, который не знает, во имя чего он принесен в жертву», — так охарактеризовал это произведение Андре Вюрмсер в 1953 году, когда появился на свет второй роман

Мерля «Смерть — мое ремесло», отметивший собою знаменательную эволюцию во взглядах автора.

«Смерть — мое ремесло» — одно из самых выдающихся произведений послевоенной французской литературы.

Сам Мерль признавался впоследствии, что писал свой роман из нравственных и психологических побуждений и только благодаря неистово злобной реакции на него во Франции и особенно в Западной Германии понял его подлинное политическое значение. «Этот роман... оказал на меня, его автора, глубокое влияние, — заявил писатель. — Он был для меня первым шагом на пути осознания писательского долга».

Действительно, «Смерть — мое ремесло» — роман, в котором от слепого негодования Мерль перешел к осознанному обвинению конкретных носителей зла. Теперь объектом его наблюдения становится фашистский лагерь смерти, центральной темой — разоблачение фашистских палачей, олицетворяемых Рудольфом Лангом, прототипом которого явился Рудольф Гесс — комендант Освенцима. Изучая дневник Гесса, опубликованный во Франции уже после его осуждения и казни, Мерль решил проследить, как воспитывались подобные чудовища, способные на хладнокровную, сознательно рассчитанную организацию массового уничтожения людей.

«Смерть — мое ремесло» — это, с одной стороны, классический «роман воспитания», в котором история героя дается в тесной связи с главными политическими событиями нашего времени, на фоне тщательно проследженной истории Германии — от кануна первой мировой войны до разгрома гитлеризма и Нюрнбергского процесса 1945 года.

В то же время роман «Смерть — мое ремесло», написанный от имени самого Ланга, явился своего рода психологическим исследованием фашистской системы воспитания, с ее игрой на низменных инстинктах, на слепых, иррациональных движениях души. В этом плане необычайно интересны и знаменательны сцены свиданий Рудольфа Ланга с Гиммлером, который вколачивает в него бесчеловечные принципы фашистской системы. Пройденная Лангом школа обезчеловечивания уподобляет его своеобразному автомату, который исправно регистрирует события и точно выполняет приказы, но лишен даже минимума критической мысли. В таком виде Рудольф Ланг полностью подготовлен к тому, чтобы стать идеальным исполнителем гитлеровского плана организованного уничтожения миллионов людей.

Самая сильная часть книги — Рудольф Ланг в действии на посту коменданта гитлеровского лагеря смерти. Здесь Мерль пользуется очень эффективным художественным приемом: не выходя за пределы сознания своего «героя», он раскрывает его страшную деятельность путем сухой констатации происходящего на свойственном этому «герою» бесстрастном языке цифр и технических расчетов. (Как добиться заданной цифры уничтожения определенного количества «единиц» в день? Как организовать наиболее быстрое удушение жертв в газовой ка-

мере? Как решить проблему уничтожения трупов? и т. д.) В какой-то момент в обесчеловеченном мозгу Ланга возникает идея создания единого индустриального агрегата смерти, включающего кроме основных камер для удушения зал для раздевания жертв, помещения для обслуживающих эсэсовских команд, комнаты для трофеев, для обработки трупов и для занятых «ученых» — национал-социалистов; все это должно завершаться гигантским крематорием. «Было что-то успокаивающее в самой мысли, что с того момента, как двери раздевалки захлопнутся за партией в две тысячи евреев, до момента, когда эти евреи будут превращены в пепел, вся операция будет происходить бесперебойно в одном и том же помещении», — спокойно рассказывает Рудольф Ланг.

И когда, уже после поражения гитлеризма, Рудольф Ланг должен предстать перед судом и следователь пытается добиться от него признания в том, что он думал и чувствовал, посылая в смертоносную камеру ни в чем не повинных людей, Рудольф по военному встает перед ним «во фронт» и отчеканивает, глядя прямо перед собой: «Какое имеет значение, что думаю лично я. Мой долг повиноваться». После окончания суда и объявления смертного приговора Рудольф Ланг первый раз в жизни пытается осмыслить свой путь. Но у него ничего не выходит. Тогда он встает и начинает ходить вдоль камеры, механически считая шаги. Этим последним штрихом писатель еще раз с ужасающей наглядностью обнажает превращение человека в уродливую машину, полностью освобожденную от таких естественных и необходимых свойств человеческого существа, как чувство и мысль.

Показывая таким образом формирование характера фашистского убийцы, Мерль видит, разумеется, не только прошлое и не только немецкий фашизм. «Освещим не ставит германской проблемы... он ставит проблему человека... Мы должны стремиться к тому, чтобы бесконечное тупоумие ненависти не нашло случая снова водвориться в мире и опустошить его», — говорит Мерль в «Материалах к роману «Смерть — мое ремесло».

Если в первом романе Мерля еще можно найти отголоски экзистенциалистской концепции «потерянного» человека, беспомощного перед абсурдными силами, то все дальнейшее его творчество говорит о поисках наиболее эффективных средств борьбы со злом, об укреплении убеждения в том, что человек может и должен бороться, чтобы защитить себя и себе подобных.

В драме Робера Мерля «Сизиф и смерть» (1956), известной советскому читателю, и затем в ее более полном варианте — «Новый Сизиф» (1957) ясно видна полемика с экзистенциалистской философией абсурда. Мифический Сизиф, разгневавший богов своим непокорством и осужденный ими на вечную каторгу — на нескончаемый труд восхождения на вершину горы с кам-

нем, который неминуемо скатится обратно, — является одним из излюбленных образов экзистенциалистских мэтров. В своем знаменитом «Мифе о Сизифе» (1942) Альбер Камю стремится призвать человечество к известному примирению с существующим, доказывая, что человеку нужно искать счастья внутри своей судьбы, не сопротивляясь ей, а лишь осознавая ее абсурдность. В противоположность Камю Мерля интересует не Сизиф-каторжник, а Сизиф-богоборец. Он берет Сизифа в первый период его жизни, когда тот восстает против порядка, установленного богами: не желая умирать, он отнимает у Смерти ее главное орудие — золотую палочку, с помощью которой она отмечала конец человеческой жизни, и пытается тем самым сделать человека «столь же бессмертным, как боги». Сизиф Мерля — это свободный человек, стремящийся постигнуть смысл бытия и презирающий богов. Он утверждает беспокойство, дерзание, вечное стремление к совершенству жизни, свойственное человеческой натуре. Но этим не ограничивается в пьесе Мерля расхождение с экзистенциалистской трактовкой образа Сизифа. Мерль вводит в античный миф остротное социальное и политическое содержание. Боги одни не могут справиться с Сизифом, и тогда им на помощь приходят власть имущие: архонты Коринфа и их приспешники оказываются на стороне богов, а не Сизифа, принесшего им бессмертие. Ибо с исчезновением смерти исчезает и страх перед несправедливыми законами, установленными ради блага избранных. Коринфский плебс требует перераспределения земли, и архонты не знают, как справиться с ним; порядок, установленный архонтами, поддерживается солдатами, стражей и палачами. Но что такое палач, лишенный возможности угрожать людям смертью? Богоборец Сизиф становится борцом против угнетения, борцом против социальной несправедливости.

Однако тут проявляется и слабость Сизифа. Вместо того чтобы поставить добытое им оружие — палочку смерти — на службу угнетенному народу, которому он сочувствует, — он толкует о всеобщем примирении и об освобождении всех от страха смерти, но слишком поздно понимает, что смешивает воедино палачей с их жертвами. В результате он упускает нужный момент, теряет палочку, погибает сам и губит дело угнетенных, которые могли бы с помощью драгоценного оружия создать на земле подлинно справедливый порядок.

В романе «Остров» (1962), который недавно вышел в русском переводе, Робер Мерль тоже требует от своего героя не только высоких человеколюбивых идеалов, даже не только дерзновения и бунта, но и активного, действительного участия в борьбе угнетенных масс. В журнале «Иностранная литература» уже говорилось об этой книге*.

* См. рецензию в № 2 за 1963 год.

Герой ее горько осуждает свою собственную тактику «ненасилия», которая привела к роковым результатам. В трудной и мучительной эволюции героя — главная мысль романа.

Проблема героя, ищущего наиболее эффективных путей борьбы со злом, становится в наше время чрезвычайно характерной для писателей-реалистов Запада. Окидывая взглядом еще далеко не завершенный

творческий путь Робера Мерля, мы можем констатировать, что все его такие разные по жанрам произведения (документальный роман о нашей современности, философская драма на античный сюжет, приключенческий роман, относящийся к событиям XVIII века) вызывают к совести, ответственности, чувству долга перед современниками.

Е. ЕВНИНА



Ян Козак. Марьяна Радвакова. Перевод с чешского И. Ивановой под редакцией Н. Аросевой, Москва, Гослитиздат, 1963. 159 стр.

НОВАЯ ВЕСНА

Марьяна Радвакова, молодая крестьянка из горной деревни, где недавно организован кооператив, и Янко Турок, тракторист того же кооператива, полюбили друг друга. Но у Марьяны есть муж Михал и маленький сын Мишка. О перепетиях этой нелегкой любви, о переживаниях героев и написана повесть чехословацкого писателя Яна Козака «Марьяна Радвакова». Что же, спросит читатель, опять любовный треугольник? Но любовь всегда нова, и писатель сумел это показать. А за простым, казалось бы, сюжетом повести стоят острые проблемы современной чешской деревни.

Жизнь Марьяны, нелюбимой невестки-беднячки, взятой в богатый дом, — это длинная цепь унижений и обид.

Теперь любовь и обстоятельства жизни поставили Марьяну перед выбором — Михал или Янко.

И этот выбор не так прост. Марьяна должна выбирать как бы между двумя мирами. Михал Радваков одержим стремлением к наживе. «Мое» цепкими руками держит его и требует: гни спину, сгибай в не-

посильной адовой работе жену — будет у тебя свой дом, свой огород.

Ян Козак пишет: «Бесило его... что старики вступили в кооператив, Михал вырос с мыслью, что поле достанется ему, он был единственный сын. И всем своим существом Михал лынул к хозяйству. Вступление в кооператив лишило его всех надежд. Когда старики обманули его и Михалу ничего не оставалось, как тоже записаться в кооператив, он сделал это с ненавистью».

Ему казалось, что все в нем оборвалось, сердце металось в груди. Он ждал того часа, когда все рухнет, прислушивался к сплетням, ловил всякие слухи, радовался им. Но бездельничать он не мог, и тоску свою топил в надсадной работе. Когда они с Марьяной получили первую выплату, у них оказалось сразу столько денег, сколько он отродясь не видывал. Деньги согревали, жгли, деньги оттягивали ему руки. Глаза его горели недобрым огнем».

В этой длинной выдержке из повести — квинтэссенция характера Михала. Здесь, как говорится, ни прибавить, ни убавить.

Таков старый мир.

Когда Янко спрашивает Марьяну: «Почему ты так живешь?» — его вопрос сначала возбуждает в ее сердце только беспокойство. Но когда растет и крепнет любовь к Янко — приходит уверенность, что жить так, как она живет с Михалом, нельзя.

И она начинает понимать, что Михал — это прошлое, прошлое ее, Марьяны, прошлое деревни, прошлое родины.

Однако уйти от Михала — значит бросить вызов этому старому миру, который еще жив, еще борется. И сейчас в селе многие осудят Марьяну. Но стяжателей Радваковых уже не уважает и не боится никто. Их время кончилось! Те, кто доброжелательно отнесутся к ее уходу из семьи Радваковых, отнесутся так потому, что поймут и поражаются — злобная, гнетущая обстановка в доме стариков Радваковых не убила в Марьяне ни ее женской гордости, ни ее красоты. А любовь открыла ее.

Решиться бросить вызов семье, в которой она в страхе, трепете и непосильном труде прожила десять лет, деревне, где ты вся на виду, как одинокая березка в поле, решиться на это — все равно что остановить на скаку коня или войти в горящую избу.

Марьяна бросает этот вызов.

С маленьким узелком в руке и с сынишкой, которого она ведет за ручонку, Марьяна спокойно, на виду у всего села, садится

на трактор Янко и уезжает. Ее дорога — к большому счастью. Эта короткая сцена завершает повесть Яна Козака. И конец этот закономерен. Читатель с первых строк понимает, что автору мила героиня. Он нашел очень хорошие слова, чтобы запечатлеть на страницах повести ее красоту, силу духа, страстную веру в новое.

«Нежданно-негаданно,— пишет Козак о Марьяне,— в душу ее нагрянула новая весна, вся словно налитая сладким живительным соком. Мир, давно рухнувший в ее душе, поднимался обновленный, более просторный и богатый». Как расцветает душа, когда вдруг женщине «ни с того, ни с сего» вздумалось сбежать в Церковную долину показать Мишке, как проклюнулась рожь»,— Марьяна, двадцать с лишком весен прожिए-

шая в деревне, раньше никакого внимания на это не обращала! А теперь, теперь она заметила совсем неожиданно для себя, что «воздух напоен не только ароматом влажной, просыпающейся земли, но и ромашки, и медвяным запахом цветущего луга», а волосы сына «пахнут солнцем».

Остается добавить, что маленькая повесть Яна Козака очень лирична, написана хорошим языком, с большим знанием деревенского быта и с большой любовью к сельской природе.

Чехословацкая критика, отзывавшаяся о повести, как об одной из лучших «из опубликованного до сих пор о сегодняшней Чехословакии», воздала должное писателю.

А. ГРУЗИНОВА

КНИГА ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ

Сенанкур. Оберман.
Перевод с французского
К. Хенкина под редакцией
Б. Вайсмана и С. Рошаль.
Предисловие С. Великовско-
го. Москва, Издательство
художественной литературы,
1963. 370 стр.

Роман французского писателя Этьена де Сенанкура «Оберман» — это скромная исповедь героя, как будто герметически замкнутая в его интимном мире и отгороженная от современной автору общественной и литературной борьбы.

Появление романа в 1804 году почти никем не было замечено, на русский язык роман переведен не был. Может возникнуть вопрос: что же может найти в этой затерявшейся книге современный советский читатель?

Прежде всего, герметичность книги скорее кажущаяся. Это хорошо поняли французские романтики, через три десятилетия «открывшие» роман, «как одну из самых правдивых книг века».

Подоплекой духовной драмы Обермана — одного из первых «блудных детей» буржуазии, действующего в условиях деспотического режима Наполеона, — является конфликт человека и подавляющей его общественной и государственной системы. Правда, конкретные общественные условия остаются в основном за рамками книги, но именно они определяют все происходящее в ней. Тем более, что письма Обермана, как мы узнаем из предисловия, — это «тщательно зашифрованный», «своеобразный ретроспективный дневник самого Сенанкура», оппозиционно настроенного по отношению к современному

ему государству и его институтам (особенно по отношению к церкви). Эволюция героя, этапы которой запечатлены в его письмах к другу, и составляет психологический сюжет романа.

Понимая, что он не в силах изменить общество, Оберман хочет бежать от людей, ищет уединения и одиночества, путешествует по горной Швейцарии, восходя от «земной юдоли» на неприступные ледяные вершины, живет, как дикарь, в лесу Фонтенбло... Пройдя через отчаяние и мысли о самоубийстве, Оберман в конце концов приходит к примирению с буржуазным обществом и скорбному самоотречению.

В своей критике буржуазной цивилизации Оберман опирается на традиции просветителей, в частности на их теорию «естественного» человека. В философских рассуждениях героя содержится немало мыслей, не потерявших своего значения и до сих пор. Но в целом рационализм просветителей подорван у него утверждением субъективности восприятия, релятивизмом и некоторым недоверием к науке (там, например, где он обосновывает мистическое значение чисел). Но, хотя выводы Обермана часто противоречивы, он все же сохраняет веру в общественный прогресс и человеческий разум.

Как видим, роман Сенанкура — переходная книга, стоящая на перепутье французской литературы: от века Просвещения к романтизму. Переходны и жанр ее и стиль — философские моралистические рассуждения сочетаются в ней с живописными путевыми заметками и углубленным психологическим анализом. Ж. Санд считала «Обермана» одной из книг, открывающих «литературу человеческого сознания».

Таким образом, советский читатель знакомится с одним из значительных, несправедливо до этого забытых произведений, по праву занимающих свое место в истории французской литературы.

Н. ПОЛЯНСКИЙ

СРЕДИ КНИГ

НА ЛИНИИ ОГНЯ

А познакомился с Анри Аллегом в мае 1962 года, когда он впервые приехал в Советский Союз на пятидесятилетний юбилей «Правды».

Невысокий, очень подвижной, с молодыми глазами, искрящимися боевым задором даже за стеклами больших очков,—он совсем не похож был на «традиционного» героя, такого, каких отливают в бронзе или высекают из мрамора.

Он действительно был героем. Едва вырвавшись из тюрьмы, он уже думал о новых схватках.

— Еще юношей,—говорил Аллег,—когда я только что вступил в ряды алжирского комсомола, я мечтал побывать в Москве... Моя мечта осуществилась! Я нахожусь в вашей столице только несколько десятков часов, но уже увидел заветный Кремль, Мавзолей Ленина, высотное здание университета. Я уже ощутил громадность Москвы, ее исполинский размах и силу. Это незабываемо!

Все месяцы после моего побега из тюрьмы наполнены чудесными впечатлениями. Я был в цветущей социалистической Чехословакии, только что гостил на Кубе...

Алжир был еще в огне войны. Возвращение во Францию грозило Аллегу новой тюрьмой или смертью.

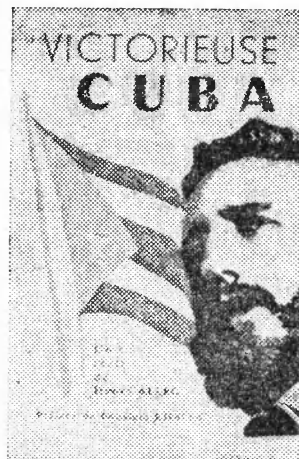
Но он готовился к этому возвращению с первой минуты побега. Он готовился к освобождению Алжира. Он собирался теперь написать книгу о Кубе — о друзьях и соратниках.

— Это будет книга для алжирцев. И мне представляется, что сейчас, в новый период, который открывается в жизни Алжира, моему народу особенно важно изучить революционный опыт Кубы. Алжирцы понимают, что окончание многолетней колониальной войны еще не означает окончания борьбы за независимость Алжира.

Вот почему,—подчеркнул Аллег,—прежде всего я возьмусь за книгу о Кубе, хотя впереди у меня немало дел на родине. Меня ждет газета. Многие мои товарищи погибли в боях. Мы должны работать за всех — за живых и за мертвых.

Он не хотел рассказывать о себе. А между тем даже самое короткое изложение его биографии — материал для романа.

Рядом с алжирцами-арабами в борьбе против французских колонизаторов участвовали алжирцы европейского происхождения. Одним из них был молодой алжирский жур-



Victorieuse Cuba. Un récit de Henri Alleg. Les Editions de Minuit et "Alger Républicain", 1963.

налист Анри Бенсале, писавший под псевдонимом Анри Аллег. Совсем юношей вступил он в Алжирскую коммунистическую партию и вскоре стал редактором газеты «Альже републикен». Гневные статьи его были боевыми снарядами, взрывающимися в стане врага. В сентябре 1955 года газету запретили. Анри Аллег ушел в подполье. За его голову фашисты назначили немалую сумму. 12 июня 1957 года он был схвачен французскими парашютистами.

Аллега жестоко пытали. Но он был из тех, кто молчал под пыткой.

Он молчал под пыткой. А голос его прорвался за тюремные стены. Измученный, изувеченный, он сумел написать потрясающую книгу и послать рукопись на волю. Это был его первый подвиг.

В феврале 1958 года вышла в свет тоненькая книжка, ныне переведенная на все языки и известная всему миру: «Допрос под пыткой».* Это книга о палачах. Но это и рассказ о героях алжирской трагедии. О непокоренных.

«Допрос под пыткой» был, конечно, запрещен во Франции. Десятки писателей выступили с протестом и требовали положить конец преступлениям, разоблаченным Анри Аллегом.

Его судили. За «посягательство на безопасность государства» военный трибунал, точнее фашистский трибунал, приговорил его 13 июня 1960 года к десяти годам заключения.

В тюрьме он сумел тайно написать новую книгу. «Бойцы в плену».* Она рассказывала

* Опубликовано в «Иностранной литературе» № 6, 1958 г.

о трех годах, проведенных Аллегом в страшной алжирской тюрьме Барберусс.

Это новый потрясающий человеческий документ и неопровержимый обвинительный акт.

Палачи собирались отомстить Аллегу, похоронить его, больного и измученного, в каменном застенке. И тут... «находящийся при смерти» Анри Аллег совершил необычайно дерзкий побег, всколыхнувший всю мировую прессу.

У него было немало друзей во Франции. Они сумели переправить его за рубеж.

Он поистине нестигаем, этот худощавый, с первого взгляда такой хрупкий человек. И вот он уже легит на Кубу. И вот он уже стоит среди нас в Москве и, смущенно улыбаясь, рассказывает нам о Кубе.

...В дни недавнего пребывания на Кубе я часто вспоминал Анри Аллега и его рассказы. И надо же было так случиться, что в первый день по возвращении в Москву я получил бандероль из Алжира. Анри Аллег прислал мне свою только что изданную книгу «Победоносная Куба». На обложке кубинский флаг и мужественное лицо Фиделя Кастро.

Я «проглотил» эту книгу за одну ночь... Это была новая моя встреча с Кубой, и это было новое мое свидание с Анри Аллегом.

«Из тюрьмы на остров Свободы». Так называется первая глава. Он летел на самолете над Атлантическим океаном. Он задремал, и ему приснилась (не впервые!) тюремная камера. Он сидит за решеткой. Рядом камера смертников. Глухие, чуть слышные удары в стену. Сосед — отважный алжирский борец Омар сообщает, что на Кубе, на Плайя-Хирон, высадились американские наемники. Он не думал о том, что завтра его расстреляют. Он беспокоится, спрашивает: «Как ты считаешь, Анри, сумеют ли они справиться с янки?» И сам отвечает: «Такой народ никогда не сломить американцам. Кубинцы похожи на нас, алжирцев»...

А в другую стенку стучит самый молодой из заключенных, в шестнадцать лет ушедший в маки Мусса д'Эль Кантара. И Аллегу кажется, что он слышит, как бьется сердце юноши, слышит бурное его дыхание. «Знаешь, Анри, когда это кончится у нас с французами и я буду на свободе, как бы я хотел поехать к Кастро — пожать руку бородачам...»

Аллег просыпается от внезапного толчка. Нет узкой камеры. Нет решеток. Ощущение огромного счастья охватывает его. Он выполняет поручение друзей. Он едет к Кастро — пожать руку бородачам.

Сегодняшняя Куба — это завтрашний Алжир, думает Анри Аллег...

Эта книга — правдивый, суровый и вдохновенный рассказ борца и соратника.

Глубоко значительны уже сами названия глав этой книги. «Небоскребы не принадлежат больше миллиардерам», «Его величество праздничный карнавал в честь социализма-победителя».

«Бедная Куба. Так далеко от бога и так близко от США».

Американцы хотели сделать из Кубы свое Монте-Карло, «культивировали» свои Плас Пигаль. Теперь роскошные особняки принадлежат народу. Школы. Музеи. Выставки. Детские сады. Нет больше кварталов нищеты. Нет негритянских гетто. Город сверкает огнями. И неоновый профиль великого Ленина над Атлантическим океаном.

Нигде не фальшивя, избегая «бронзы многопудья» и «хрестоматийного глянца», рисует Аллег облик вождя кубинской революции. Очень доверительно и просто рассказывает Фидель журналисту о сложном и нелегком пути своем к марксизму. Он рассказывает о борьбе и о победе. Рассказывает честно и открыто, не скрывая ошибок и трудностей.

«Двенадцать человек на штурм Сьерра-Маэстра» — так называется одна из глав.

Кубинская провинция Ориенте — алжирский Джебель... Кто не был в Ориенте — не знает Кубы. На всем пути Ориенте — Гавана — памятные доски похода «барбудос». А теперь вдоль этой дороги, пролегающей среди тростниковых плантаций и банановых рощ, совершают победный марш советские и чешские тракторы.

Прошлое неразрывно соединяется с настоящим.

Народные имена. Новые машины по рубке тростника. Аллег успел увидеть только первые их советские образцы. А вот замечательное народное имя, носящее имя «Свободный Алжир»... Вы слышите, алжирцы? Одно из лучших народных хозяйств на Кубе называется «Свободный Алжир»!..

Алжирцы — читатели книги должны знать не только поэзию революции и борьбы, но и прозу повседневной жизни. В романтической книге Аллега много «деловых», совсем не лирических глав. Социализм строится не под гром фанфар и гитарные напевы. Аллег повествует о работе на плантациях и сахарных «централях». Это тоже был фронт, поле боя, и не одного боя.

Сложен и труден путь от рабства к свободе.

— Все это нелегко, — сказал Аллегу шестидесятидвухлетний руководитель нового кооператива Хулио Ортис, — но ты скажи алжирцам, чтобы они шли по нашему пути. И скажи им еще, что после революции Хулио Ортис ест по три раза в день — утром, днем и вечером. И скажи им, что Хулио Ортис счастлив. Что он счастлив...

Настоящей романтикой окрашены страницы, посвященные борьбе с неграмотностью. Как гордо звучало это звание, данное Фиделем: «Солдат борьбы за грамотность».

...Школьный городок «Камило Сьенфуэгос», в котором обучалось 20 тысяч детей. Многие ребята, приехавшие из дальних деревень, никогда не видели ламп и искренне удивлялись тому, что здесь так низко горят звезды.

* Опубликовано в «Иностранной литературе» №№ 1—2, 1962 г.

Младшие школьники изучали грамоту, а старшие — основы марксизма. Впрочем, основы марксизма изучали и учителя, и инженеры, и врачи... Они изучали и политическую экономию, и труды Марти, и речи Фиделя, и книги Хрущева.

«Сам народ руководит своей революцией» — глава о кубинской демократии, о связи рабочего класса с крестьянством. О привлечении широких масс к утверждению основных законов Республики, о том, как «выбрал кубинский народ свой путь к социализму, единственно правильный путь». Глава, изобилующая фактами, подводящая итог многим разговорам с Раулем Кастро и другими руководителями кубинской революции.

Немало сказано в этой главе и о связи с социалистическими странами, и о помощи Советского Союза. В самые острые, в самые опасные моменты...

С огромным волнением слушал Аллег речь Фиделя Кастро, провозгласившего Вторую гаванскую декларацию:

«Мы скажем прошлому: Довольно! Вели-

кая человечность начинает новый путь. И этот марш гигантов не остановится!»

«Это была поэма надежды и веры, — кончает свою книгу Анри Аллег. — Миллион рабочих, крестьян, женщин, детей, освобожденных навеки, повторяли слова Фиделя».

...Только под утро я кончил читать книгу Аллега «Победоносная Куба» — книгу борца, книгу настоящего человека. Мне казалось, что в эту ночь я снова совершил поездку на Остров Свободы, что бок о бок с Анри Аллегом стою в центре Гаваны, у памятника Хосе Марти, и слушаю речь Фиделя, брожу по ущельям в горах Сьерра-Маэстра, нахожусь на Плайя-Хирон и вглядываюсь в темную голубизну Карибского моря.

За окном только начинался рассвет московского утра. На Кубе уже горячо пламенел день. А в Алжире редактор ежедневной газеты «Альже републикен» Анри Аллег подписывал к выходу в свет очередной номер.

АЛЕКСАНДР ИСБАХ



Стефан Продев.
Фред или пролетта. Опыт за
портрет. София, «Народна
младеш», 1963.

ДЛЯ ТЕХ, КТО МОЛОД ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ

...*П*рижественно благовестили в Бармене колокола, когда в семье крупнейшего фабриканта родился сын, наследник фирмы. Со всей Вуппертальской округи в дом Энгельса-старшего, как его стали именовать, съехались самые именитые гости. Отец счастлив. Гости провозглашают

тосты. Они пьют за то, чтобы сын был силен, как Зигфрид, славен, как Цезарь, душевен, как мать, и умен, как отец. Но Энгельс-старший хочет большего, он хочет, чтобы сын унаследовал еще и дух Фридриха Великого. Именно поэтому он решил дать первенцу имя императора — Фридрих.

О том, как случилось, что в семье богача, в семье, где царил безжалостный прусский дух, вырос не «наследник императора», а действительно великий человек — революционер-мыслитель, один из будущих вождей пролетариата, рассказывает молодой болгарский писатель Стефан Продев в книге «Фред, или Весна гения». Понимая, какую ответственность он берет на себя, автор подчеркнул в подзаголовке, что его книга — лишь опыт, набросок литературного портрета. Прежде чем взяться за перо, он много лет изучал документы и материалы о детстве и юношеских годах Энгельса.

Книга хорошо встречена на родине писателя. Ей посвящено немало добрых рецензий. ЦК комсомола Болгарии присудил автору первую премию своего ежегодного литературного конкурса.

Многое подкупает в этом произведении, и прежде всего взволнованное отношение автора к предмету своего повествования. С. Продеву удалось показать не только самого Энгельса, но и его окружение, условия, в которых он рос, воспитывался, процесс становления его характера и мировоззрения.

В кратком эпилоге, обращаясь к читателю, автор говорит:

«Сейчас, когда я поставил самую последнюю точку в этой скромной книге, хочу рассказать, почему я написал ее.

С риском разочаровать кого-нибудь отведу напрямик:

книгу написал для тех, кто не забыл, что и они были молодыми.

И для тех, кто и сегодня чувствуют себя молодыми.

Дело в том, мои дорогие, что и жизненный путь гения начинается в юности. Никто еще на нашей грешной земле не рождался с бородой Гуса.

Это и в самом деле книга для тех, кто молод душой и сердцем, книга, написанная

с точки зрения нашего времени, поможет не только молодым, но и людям старшего поколения глубже, осмысленнее взглянуть на окружающую действительность, поможет начинающему сознательную жизнь смелее шагать по избранному пути.

Б. ДИДЕНКО

НОВЫЕ ГРАНИ

Тодор Павлов. Избранные произведения. Приложения к т. IV, VI и VII. Публицистика и художественная литература. София, Издание на Българската академия на науките, 1964.

Знающий, кто знает академика Тодора Павлова по его трудам, посвященным проблемам марксистской философии, литературоведения, эстетики, истории болгарской общественной мысли, с нескрываемым интересом обратится к небольшой книжке приложений к его собранию сочинений, на которой стоит заглавие: «Публицистика и художественная литература». Это очерки, притчи и поэмы в прозе, сказки и рассказы, которые принадлежат перу Тодора Павлова и открывают новые грани богатой творческой натуры болгарского ученого.

Хронологические рамки этого издания чрезвычайно широки: мы находим здесь произведения, датированные и 1906 и 1962 годами. И «Письма из тюрьмы» (1923—1939), и «Притчи и поэмы» (1906—1918), и «Рассказы» (1928—1962) не только показывают авторское отношение к изображаемой им действительности, но и передают атмо-

сферу, царившую в те годы, когда создавались эти произведения.

Со страниц очерков Тодора Павлова встают образы истинных борцов за правду и свободу, стойких и верных коммунистов, которые никогда не теряли веру в историческую необходимость победы своего великого идеала, не теряли веру в торжество правды и красоты.

Как отмечает сам автор, в его произведениях, помещенных в этой книге, имеются положения, с которыми он теперь не согласен, но они оставлены им без изменения. И благодаря этому мы имеем возможность проследить эволюцию взглядов одного из крупнейших представителей марксистско-ленинской философии.

В заключительном разделе, озаглавленном «Несколько дополнительных замечаний», Тодор Павлов пишет:

«...Автор собрал в этот сборник работы, написанные им на протяжении более чем пятидесяти лет, руководствуясь мыслью, что они представляют известный интерес не только в связи с его личным идеологическим развитием, но и с общим идеологическим развитием нашего народа за эти пятьдесят с лишним лет».

Мы можем вполне искренне сказать в ответ на это, что автор несколько не ошибся, собрав свои публицистические работы, свои рассказы и легенды воедино, так как все созданное им и в этой области — в области художественной литературы — интересно и заслуживает глубокого и пристального внимания.

И. ШЕПТУНОВ

РОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭПОПЕИ

Георги Караславов. Обикновени хора. София, Български писател. Част I—1952; част II—1957; част III—1963.

Мало кто из современных болгарских писателей так остро чувствует и так мастерски умеет передать сложную, напряженную жизнь довоенного болгарского села, как Георгий Караславов. Этому селу

с его дурманом частнособственнических инстинктов, драматическими социальными конфликтами и контрастными характерами писатель посвятил многие свои книги, созданные до народно-демократической революции и после нее. Его талантливые романы «Сноха» и «Дурман» давно уже перешагнули национальные границы и принесли автору мировую известность. В ряду книг последнего десятилетия, большая часть которых также посвящена жизни болгарского крестьянства, томившегося под гнетом монархо-фашистского режима, особо выделяется цикл романов «Простые люди».

По замыслу автора это должно быть большое эпическое полотно, рисующее жизнь трудового народа на протяжении последних тридцати лет буржуазной Болгарии. На широком фоне исторических событий писатель

СРЕДИ КНИГ

стремится показать живой процесс созревания революционного сознания народа, здесь немалую роль сыграли идеи Октябрьской революции и сам факт существования социалистического государства. Из задуманного большого цикла романов уже вышли первые три части, две из них переведены на русский язык.*

Первая часть эпопеи относит нас ко времени полувековой давности... Не успели еще зарубцеваться раны участников балканских войн, не успели высохнуть слезы вдов и матерей, потерявших близких на фронтах, а над болгарским селом Проходец нависла новая беда. Начиналась большая мировая война, и, как знать, не докатятся ли ее волны до границ Болгарии,— так думали проходчане. И в доме бедняка Крстю Тошаврова появились новые заботы. Нужно было торопиться с уборкой урожая, пришло время собирать приданое для Станки, да и младших ребят хотелось доучить.

Круг выведенных в первом романе характеров сравнительно невелик: это родные и близкие Станки, приехавший в село учитель Борис Ткачев, сельский кмет Грозев, дядя Станки Атанас Пинтов, «тесные» социалисты**, тогда еще далекие от крестьян и непонятные им, но сюжетную основу романа составляют отношения Станки к новому учителю Ткачеву, которого девушка горячо полюбила. Ее целомудренная любовь, переданная писателем с большой психологической глубиной, завершается тяжелыми душевными переживаниями. Она оказалась обманутой. А сам учитель раскрывается перед нами как мелкий и бездушный эгоист. Этот мнимый народолюб трусливо бежит из села, а затем становится офицером германской армии. Только через год после этого Станка встретила Выкрила — человека с открытой душой и чистым сердцем. Их взаимная любовь завершается свадьбой, хотя счастье молодоженов и было кратким — Выкрил уезжает на фронт. Первая часть эпопеи, написанная в основном в плане семейно-бытового романа, заканчивается тяжелыми вестями с фронта о гибели односельчан. Проходец одевается в траур.

Во второй части — «Пробуждение» — относящейся уже к концу мировой войны, круг героев расширяется, а конфликты на селе приобретают более острый характер. Через восприятие Атанаса Пинтова, приехавшего в село с фронта, писатель показывает, какие перемены произошли в том же селе. Крестьяне ободнели, многие хозяйства запущены, а кучка богачей во главе с кметом Грозевым бесчинствует и благоденствует. Резкие и самостоятельные суждения Атанаса Пинтова о местных властях оказались не по душе кмету, и он, уловив удобный момент, публично избивает фронтовика до полусмерти. Оправившись от болезни.

* «Простые люди». Москва, Издательство иностранной литературы, 1958. «Пробуждение». Москва, Издательство иностранной литературы, 1961.

** Революционное течение в Болгарской социал-демократической партии, а с 1903 г. самостоятельная марксистская партия болгарского рабочего класса, предшественница Болгарской коммунистической партии.

подавленный и озлобленный против всех властей, Пинтов возвращается в свою часть. Проходит некоторое время, и он вместе с шестью односельчанами дезертирует с фронта. Им ненавистна эта война, они жаждут отомстить кмету за свои обиды и за все село. Большая часть романа посвящена истории скитаний дезертиров, переживаниям их родных, борьбе властей против непокорных крестьян. В этой части Г. Караславов с большой художественной силой сумел показать стихийный протест солдат против правящих кругов, раскрыть хищный и коварный облик представителей околийского управления.

В глухое село просачиваются многие вести с фронтов, сюда доходят и раскаты Октября из Советской России. До этого апатичные крестьяне начали интересоваться борьбой политических партий, потянулись к газетам, стали собираться на митинги. И вот уже Станка, которая теперь работает на табачной фабрике в соседнем городке, посещает собрания рабочих и участвует в большой демонстрации, организованной «тесняками». Поистине происходит народное пробуждение.

Третья часть романа переносит нас в первые послевоенные годы в Болгарии, когда вся страна приходит в движение. Теперь уже Крстю Тошавров регулярно читает газету «тесняков» «Работнически вестник». Его личные интересы резко расходятся с интересами его брата Кире, типичного сельского буржуа, который активно помогал правым земледельцам. Теперь в маленьком городке в повседневную жизнь входят политические демонстрации, митинги, столкновения с полицейскими, сельскими стражниками. На первый план выступают вожаки рабочих, испытанные деятели «тесных» социалистов. Особенно удался автору образ Спасы Илкова, который стал во главе политической борьбы народа. В общественную жизнь включается и Станка. Третья часть эпопеи — это уже роман о политической борьбе народа за свои экономические и социальные права. Переменяя описания событий, происходивших на митингах, в рабочем клубе, на улицах городка, с мастерским изображением героев в их повседневном домашнем окружении и их настроениями и переживаниями, писатель создает глубоко правдивое произведение о судьбах народа, о его мужестве и героизме.

По широте охвата исторических событий, по силе психологической характеристики героев, идущих к активной политической борьбе, первые романы эпопеи Г. Караславова «Простые люди» — новаторское произведение для писателя и для современной болгарской литературы. Это подлинное произведение социалистического реализма, свидетельствующее о неисчерпаемых возможностях новой литературы Болгарии и о большой творческой активности одного из крупнейших ее представителей. В эти дни, когда мы отмечаем двадцатилетие народной Болгарии, хочется пожелать писателю успешно завершить национальную эпопею.

В. ЗЛЫДНЕВ

В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ

Васил Колевски.
РЛФ борец за партийна ли-
тература. София, Издател-
ство на Българската акаде-
мия на науките. 1964 г.

Для многих современных писателей Болгарии старшего поколения конец 20-х, начало 30-х годов — время революционной закалки и творческого формирования. Это чрезвычайно важный период в истории революционной литературы страны. Между тем он все еще очень слабо изучен. Книга Василя Колевского «РЛФ» — борец за партийную литературу» в известной мере восполняет пробел. Она посвящена одному из боевых органов литературного движения тех лет — газете «РЛФ» («Рабочий литературный фронт»), вокруг которой объединялись видные писатели и критики Т. Павлов, Хр. Радевский, Г. Караславов, М. Исаев, Н. Ланков, А. Тодоров и другие.

Автор книги рассказывает, с каким волнением он перелистывал пожелтевшие от времени страницы, воссоздающие атмосферу эпохи. Книга строится на богатом материале: изучена сама газета, выходившая в течение 1929—1934 гг. в Софии, привлечено огромное количество архивных документов, которых оказалось так много, что пришлось их дать в специальном приложении к книге В. Колевский раскрывает революционно-пролетарскую направленность газеты, ее связи с революционными писателями ряда стран, ее борьбу за социалистическую литературу в условиях жестокой фашистской диктатуры, в обстановке постоянных преследований и репрессий. Опираясь на труды В. И. Ленина, на опыт советской литературы, газета отстаивала принцип коммунистической партийности, метод социалистического реализма.

Отмечая заслуги газеты, автор вместе с

тем говорит и об ее ошибках сектантского характера (редакция не нашла верного подхода к творчеству некоторых крупных критических реалистов, таких как Вазов, Яворов, Дебелянов и другие, к творчеству ряда писателей общедемократического литературного лагеря). Но он справедливо отбрасывает всякие попытки представить газету как рупор вульгарно-социологических концепций.

Анализируя статьи и художественные произведения сотрудников «РЛФ», В. Колевский ставит их в связь с общими процессами развития болгарской литературы. Говоря, например, о стихах Хр. Радевского и М. Исаева 30-х гг., он видит в них характерные черты нового этапа социалистической поэзии, рассказывая о том большом внимании, какое уделяла газета выходу в свет романа Крума Велкова «Село Борово», В. Колевский связывает это с утверждением принципов социалистического реализма в художественной прозе.

Примерно одну треть книги занимает раздел «Советская литература в «РЛФ». Здесь мы найдем многочисленные факты об отношении болгарской литературной общественности к творчеству Горького, Маяковского, Гладкова, Серафимовича, Шолохова, Тихонова, Федина и других, о переводах их произведений, пользовавшихся мировой популярностью. «Редакция «РЛФ», — пишет В. Колевский, — делала все возможное для ознакомления своих читателей с лучшими произведениями советских авторов, с их взглядами на жизнь и литературу».

Книга строится на богатом материале: изучена сама газета, выходившая в течение 1929—1936 гг. в Софии, привлечены архивные документы, которых оказалось так много, что пришлось дать их в специальном приложении. Однако, мне кажется, книге недостает широкого фона литературной борьбы эпохи, более целостной картины прогрессивной литературы того времени; «РЛФ» дана в известной изоляции от других революционных и демократических газет и журналов.

Но это частные замечания. В целом же книга получилась удачная, и хотелось бы поздравить болгарского коллегу с ее выходом в свет.

Д. МАРКОВ

«КЛАРТЕ» И ШВЕДСКИЕ ПИСАТЕЛИ

«Clarke» Tidskrift for so-
cialistisk intellektuell.

Важды в год — на рождество и в середине лета — шведский король присуждает премии писателям и деятелям искусства. Средства эти берутся из фонда,

собранного шведским народом к восьмидесятилетию короля. По недоразумению на рождество 1963 года королевскую стипендию получил писатель Бенгт Андерберг. Как человек, питающий отвращение к монархии, он отказался принять стипендию, а причитавшиеся ему 2500 шведских крон передал шведскому социалистическому журналу «Кларте». Социалистический журнал, получающий королевскую премию, — это явление, необычное даже в нашей стране.

СРЕДИ КНИГ

«Кларте» отмечает в этом году свое столетие. Все эти годы студенты-коммунисты и социал-демократы неутомимо боролись за свой журнал. Многие выдающиеся деятели Швеции поддерживают журнал материально. Такие писатели, как Артур Лундквист, Сара Лидман, Ян Мюрдаль, Стиг Карлсон, сотрудничают в «Кларте» бесплатно. Шведским писателям важно иметь в своем распоряжении журнал, не боящийся поднимать такие политические вопросы, которые не решится затронуть никакое другое периодическое издание.

«Кларте» — шведское ответвление международного движения, основанного Анри Барбюсом после первой мировой войны.

Журнал был создан в двадцатые годы группой студентов из Лунда и выходит шесть раз в год. С первых дней своего существования журнал активно вмешивался в литературную жизнь. Коротко характеризуя цели «Кларте», можно сказать, что его важнейшая задача — пропагандировать социализм среди шведской интеллигенции. В борьбе против капитализма он стоит на стороне рабочего класса. У «Кларте» есть отделения в Стокгольме, Гётеборге, Лунде, Упсале и других городах. В настоящее время движение насчитывает около 500 членов, а журнал — около 2000 подписчиков.

Сама по себе тема «Кларте» и шведские писатели столь обширна, что могла бы послужить основой для докторской диссертации объемом в 800 страниц, как это принято в Швеции. В заключительной части «Истории шведской литературы» Эрика Ялмара Линдера писателем, связанным с движением «Кларте», отведена целая глава. Основное ядро литераторов, примыкающих к «Кларте», составляли такие выдающиеся деятели шведской литературы, как Карин Бойе, Эрик Блумберг, Арнольд Лjungdal. Можно также причислить к ним таких пролетарских писателей, как Йозеф Чельгрэн и Эрик Асклунд. На страницах «Кларте» часто выступали широко известные финские писатели Хагар Ульссон и Эльмер Диктониус. Все это люди, страстно любившие жизнь и искусство, антифашисты по своим взглядам.

Среди авторов «Кларте» много отважных полемистов. К сожалению, большая часть из напечатанного ими не переведена на другие языки и потому недоступна зарубежному читателю. К осени 1964 года предполагается издать антологию, в которую войдет самое главное из напечатанного в нашем журнале за сорок лет его существования.

Стиг Карлсон следующим образом описывает тот период, когда он был членом редакционной коллегии «Кларте»: «Невозможно забыть огромное внимание, с каким относились к журналу молодые писатели. Статьи, за которые так называемые почтенные журналы расплачивались бы сотнями крон, радуясь, что сумели их заполучить, поступали в маленькую комнату на Апельбергсгатан в ответ на обыкновенный телефонный звонок. Поступали без расчета на какой-либо гонорар. Никогда раньше мне не приходилось видеть, чтобы писатели так

пренебрежительно относились к оплате своего труда, им важно было одно — дать ценный материал журналу «Кларте». Это еще больше поднимало наш энтузиазм. С «Кларте» связано какое-то совершенно особое отношение к жизни, думается мне».

Эти слова хорошо характеризуют атмосферу и условия, в которых работает журнал «Кларте». Когда последний еженедельник, издававшийся участниками рабочего движения, — «Фолькет и бильд» — перешел в руки издательства «Бонниерс», которому принадлежит большинство шведских еженедельников, началась кампания за переход прогрессивно мыслящих подписчиков в ряды читателей «Кларте». Писатель Ян Мюрдаль протестовал против капитуляции журнала: до тех пор, пока редакторы готовы не спать ночей, заботясь о его спасении, хотя бы даже его существование висело на волоске, журнал будет жить. Как человек, редактирующий «Кларте» начиная с 1960 года, я полностью поддерживаю эту точку зрения. В настоящее время «Кларте» почти целиком перешел в руки молодого поколения. Средний возраст активистов примерно 23 года. Эта молодежь внесла свежую струю в споры, волнующие шведскую общественность.

В последние годы «Кларте» издает книги, посвященные самым различным областям жизни. Усилиями нашего актива были выпущены в свет путевые очерки о Вьетнаме и Кубе, переписка супругов Розенберг, книга о воспитании молодежи. Эрик Блумберг, крупный поэт, критик и искусствовед, написал книгу «Кто угрожает миру?». (В 1962 году он вместе с Сарой Лидман совершил по поручению «Кларте» поездку по Швеции и в своих выступлениях говорил о мире.) В предисловии к книге он подчеркивает свою связь с движением «Кларте»: «Кларте» в переводе означает «ясность». Осветить ясным светом те силы в нашем мире, которые развязывают современные войны, — такова была цель основателя международного движения «Кларте» Анри Барбюса. Вель именно он в годы первой мировой войны написал два романа, проникнутые идеей мира, — «Огонь» и «Ясность». И свой журнал он тоже назвал «Кларте», и в этом журнале должен был «громко звучать голос правды, звучать мощно и отчетливо, и этот могучий голос должен был стать голосом демократии». Шведское движение «Кларте» неизменно усматривало свою главную задачу в том, чтобы внести ясность в вопрос о причинах возникновения войн. Эта задача становилась все более актуальной по мере того, как международное положение все более обострялось, а войны неизбежно должны были превратиться в тотальные, ввиду бурного развития современной военной техники. Программа «Кларте» предусматривает рассмотрение социальных проблем сквозь призму социалистических взглядов, но на вепартийной основе». Книга Эрика Блумберга содержит обстоятельный анализ причин возникновения и развития холодной войны и убедительно доказывает необходимость мира. Она вы-

звала к себе пристальное внимание шведской прессы, поднявшей вокруг нее большой шум.

28 января 1964 года «Литературная газета» опубликовала статью Евгения Долматовского о «тихой Швеции». Статья эта завершается рассказом о посещении отделения «Кларте» в городе Унсала. На встречу с Долматовским пришло более сотни студентов, и развернувшаяся дискуссия увлекла как публику, так и гостя. В последние годы на страницах журнала появлялись стихи Владимира Маяковского (а также статья «Как делать стихи») и Евгения Евтушенко.

Не так давно специальный номер «Кларте» был целиком посвящен современной антифашистской Испании. В номере были опубликованы выдержки из стенограммы процесса по делу испанского коммуниста Рамона Ормасабалы. Были в нем также стихи испанских поэтов Пачеко, Эрнандеса, Селайн, Отеро, Валенте, Биеды, Гойтисоло и Баррала в переводах замечательного молодого поэта Лассе Сёдерберга. Испанская проза была представлена произведениями Салинса и Хуана Гойтисоло. Номер разошелся в количестве 6000 экземпляров, что по нашим масштабам составляет рекордную цифру.

Специальные номера «Кларте» посвящались также и другим странам: Исландии, Румынии, США, Китаю. Самым популярным специальным номером за последнее время оказался выпуск, посвященный десятилетию со дня смерти писательницы Карин Боје. Номер этот вызвал такой интерес, что впоследствии вышел дополнительным тиражом.

К 1 мая 1964 года замечательный шведский поэт и драматург Вернер Аспенстрём написал для нас статью «О беде и прочем», являющуюся полемическим выступлением против реакционных асоциальных критиков и искусствоведов. Традиционный международный номер этого года будет посвящен положению в Португалии. Стихи португальских поэтов для этого номера перевел Лассе Сёдерберг. Есть у нас еще порох в пороховницах!

В будущем мы предполагаем опубликовать обстоятельные статьи о внешней и внутренней политике Швеции, а также материалы по разоблачению фашизма и колониализма, статьи о борьбе за мир, за превращение всего земного шара в безъядерную зону. Мы собираемся также рассказать о Советском Союзе и показать, что действительно происходит в этой стране. Мы будем по-прежнему отстаивать жизненные интересы работников культуры, вести борьбу за то, чтобы сделать культуру доступной всему народу. Даже на страницах нашего собственного журнала мы порой грешили глупыми, запутанными языковыми оборотами. В тридцатые годы шведский поэт, отстаивающий интересы народа, писал о наших обездоленных соотечественниках:

А это — нищие из нищих. Мне больно
глядеть на них.
Ни куска хлеба им от Армии спасения,
ни слова о них в «Кларте».

Помня об этом, молодое пополнение «Кларте» будет продолжать начатое дело, стараясь выпускать хороший журнал.

УЛА ПАЛЬМЕР

г. Стокгольм

НА ВО ЯЗЫКАХ

29 сентября исполняется 60 лет со дня рождения выдающегося советского писателя Николая Островского. Его творчество получило признание широких кругов читателей далеко за пределами Советского Союза.

Роман «Как закалялась сталь» издан на 46 языках мира в 42 странах, а «Рожденные бурей» — на 23 языках в 20 странах. Ниже приводятся более подробные, хотя и неполные сведения об этих изданиях.

В Чехословакии собрание сочинений Н. Островского выпущено Государственным издательством художественной литературы в 1954 году.

В Польше вслед за собранием сочинений Н. Островского, изданным в 1953 году, вышли отдельными изданиями роман «Как закалялась сталь» (в издательстве «Наша ксенгарня», 1954 г.) и «Рожденные бурей» (в издательстве «МОН», 1956 г.).

Первое издание романа «Как закалялась сталь» вышло во Франции в 1937 году с предисловием Ромена Роллана и в переводе профессора философии Дьеппского лицея Валентина Фельдмана, впоследствии активного участника движения Сопротивления, расстрелянного фашистскими оккупантами. В дальнейшем в этом переводе роман переиздавался в 1952, 1954 и 1957 годах. В переводе В. Фельдмана книга вышла и в брюссельском издательстве «Ла Сантен» в 1945 году.

Роман «Рожденные бурей» выпущен издательством «Эдитер франсе реюни» в 1957 году.

Румынское издательство «Эдитура тинеретулуй» опубликовало роман «Рожденные бурей» в 1952 г. В 1955 году тем же издательством выпущено в свет собрание сочинений Н. Островского.

В ГДР роман «Как закалялась сталь» издавался трижды — в 1954, 1956 и 1957 годах. Роман «Рожденные бурей» выпущен в 1951 году издательством «Нейес лебен».

Широкой популярностью пользуются на Кубе, где «Рожденные бурей» изданы в 1962 году (издательство «Насьональ»); в Мексике, где роман «Как закалялась сталь» вышел в 1958 году (издательство «Эдиториал Грихальбо»); в Аргентине, где этот роман опубликован в 1964 году (издательство «Эмисферио»), и в других странах Латинской Америки.

В Индии роман «Как закалялась сталь» неоднократно выходил на языках пенджаби, бенгали, гуджерати, хинди, урду и тамили.

Роман «Рожденные бурей» издавался различными болгарскими издательствами в 1945, 1946, 1951 годах. Роман «Как закалялась сталь» выпущен в Болгарии издательством «Нова култура» в 1955 году.

В Японии роман «Как закалялась сталь» выпущен двумя издательствами — «Аоки сётэн» (1954 г.) и «Иванами сётэн» (1955 г. и 1956 г.), а роман «Рожденные бурей» — издательством «Сэйдо» (1953 г.).

В Греции роман «Как закалялась сталь» вышел в двух разных переводах в 1952 и в 1956 годах, а «Рожденные бурей» — в 1956 году (издательство «Талос»).

Во Вьетнаме роман «Как закалялась сталь» издавался дважды — в 1956 и 1962 годах.

Роман «Рожденные бурей» вышел в 1945 году в Белграде (Югославия).

Шведских читателей познакомил с творчеством Николая Островского издательство «Фолкет и Билд», выпустившее роман «Как закалялась сталь» в 1947 году.

Издательство «Уй Мадьяр Кенивниадо» (Венгрия) выпустило роман «Как закалялась сталь» в 1956 году.

В Финляндии «Рожденные бурей» выпущены в свет издательством «Кансанкултуури» в 1952 году.

В Голландии роман «Как закалялась сталь» выпущен в 1955 году издательством «Пегасус».

Недавно созданная экспериментальная театральная студия в г. Алжире поставила пьесу М. Горького «На дне».

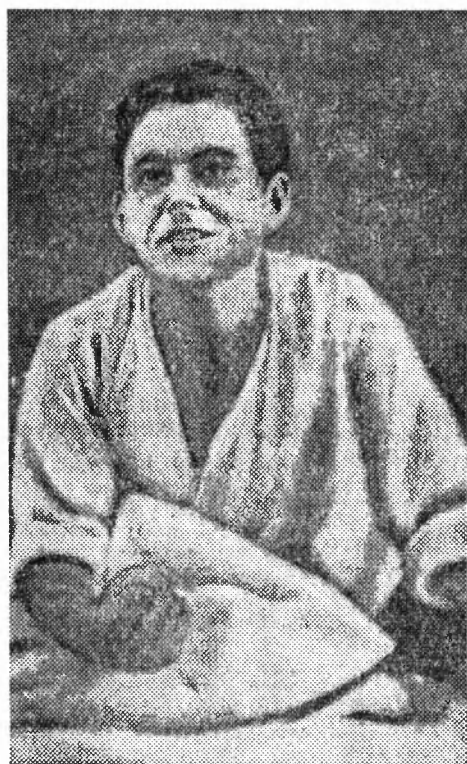
Сказки об Италии М. Горького изданы в Индии на языках пенджаби и тамили.

Итальянское издательство «Нуова аккадемия» выпустило большой сборник стихов В. Маяковского.

В Италии вышла антология педагогических произведений под названием «Школьное воспитание и общество». В антологию вошли статьи и отрывки из книг, написанных А. Макаренко, которого рецензент газеты «Унита» называет «классиком педагогики».

Опера «Повесть о настоящем человеке» Сергея Прокофьева поставлена берлинским Немецким государственным театром оперы и балета. На снимке: солист театра Рольф Кюне в роли Алексея Мересьева.

(Газета «Нейес Дейчланд»)



Издательство «Народна култура» (Болгария) выпустило одиннадцатым изданием роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Там же вышли поэма А. Твардовского «Страна Муравия», избранные стихотворения Н. Заболоцкого и сборник рассказов и повестей молодых советских прозаиков.

Выходящий в Софии еженедельник «Литературен фронт» опубликовал «Секвойю Ленина», А. Вознесенского, а также стихи К. Симонова, М. Светлова, А. Жарова.

Отрывок из романа «Тронка» Олеся Гончара опубликован в еженедельнике «Зонитга» (ГДР). Отдельным изданием роман выходит в издательстве «Культур унд Фортшритт».

Стихи А. Ахматовой, посвященные Ленинграду, опубликованы в западногерманской газете «Ди андере цейтунг».

В чехословацком издательстве «Наше войско» вышел вторым изданием роман К. Симонова «Живые и мертвые».

Государственным издательством художественной литературы и искусства в Праге выпущена «Автобиографическая повесть» А. Грина под названием «Свидетельство моей жизни».

Трехтомные облака А. Борщаговского вышли в датском издательстве «Графиск форлаг».

Будапештское издательство «Зурапа» выпустило в последнее время несколько книг советских авторов: повести А. Чаковского «Свет далекой звезды», В. Быкова «Третья ракета», И. Голословского «Хочу верить» и киносценарий Е. Евтушенко «Я — Куба», написанный им совместно с кубинским поэтом Энрике Пинеда Барнетом.

Стихотворения Э. Межелайтиса опубликованы в венгерском еженедельнике «Тисатай». Публикации предпослано вступительное слово поэта Дёрдя Далоша.

В английском издательстве «Голланц» вышла книга С. Маршана «В начале жизни».

Издательство «Графички завод» в югославском городе Титограде выпустило цикл новелл И. Ильфа и Е. Петрова «1001 день, или Новая Шехерезада».

Книга К. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» издана в Объединенной Арабской Республике.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

СБОРНИК РАССКАЗОВ БИЛЛА САТТОНА

Билл Саттон — рабочий-писатель из Квинсленда, признанный мастер австралийского короткого рассказа. Вышедший недавно сборник девяти его рассказов, названный «Не снимайте с них головы», одобрительно встречен прогрессивной литературной критикой. Джуда Уотен в рецензии на сборник, опубликованной в газете «Трибюн», пишет, что, «как всякие хорошие рассказы, их можно вновь и вновь перечитывать».

Рассказы Саттона о рабочих, по словам Уотена, проникнуты глубоким уважением к товарищам по классу, любовью к простому трудовому человеку. Мастерство Саттона высоко оценивает и Алан Маршалл. Одним из лучших в сборнике критики считают рассказ, в котором описывается забастовка сельскохозяйственных рабочих на крупной ферме в Квинсленде в ответ на решение хозяина уволить старого рабочего, не выполнявшего ежедневную норму стрижки овец.

Уотен пишет, что рассказы Саттона несут радость читателям и являют собой образчик яркого, жизнеутверждающего юмора, свойственного людям труда.

АВСТРИЯ

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА СТЕФАНА ЦВЕЙГА

На прилавках книжных магазинов Австрии появился сборник «Неизвестные письма Стефана Цвейга из эмиграции к одной знакомой».

Литературный обозреватель газеты «Фольксштимме» сообщает в связи с этим, что письма Стефана Цвейга собраны Гизелой Зильден-Гот, которой они были адресованы, и относятся к периоду 1935—1941 гг.

История их вкратце такова. Предвидя потерю Австрии независимости, Стефан Цвейг покинул ее еще в 1933 году. В письмах из Неаполя, относящихся к 1937 году, писатель выражал глубокую тревогу за судьбу своей родины перед лицом фашистской опасности. В апреле 1938 года из Лондона Стефан Цвейг писал: «Целый месяц я не мог работать. Всей душой мне хотелось бы помочь родине, хотя, впрочем, и самому себе не могу помочь...»

Весной 1940 года в письмах из Нью-Йорка преобладают те же настроения, то же чувство безысходности. В последнем письме в августе 1941 года из Нью-Йорка он писал: «Я снова в пути, на этот раз в Южную Америку, и хочу побыть там на одном месте — устал

от бродяжничества... Как далеко все мы друг от друга! Конец этому я вижу, к сожалению, только в далекой дали...»

«Если бы Стефан Цвейг дождался до великой битвы на Волге, предопределившей разгром гитлеровского фашизма, ему, возможно, не пришлось бы испытать такой душевной боли», — пишет в связи с этим обозреватель «Фольксштимме».

АЛЖИР

ВОЗРОЖДАЕТСЯ НАРОДНОЕ ИСКУССТВО

Алжирский национальный театр существует в стране около года и уже успел показать зрителям несколько пьес национальных и зарубежных авторов. В его репертуаре — пьесы Кальдерона, Брехта, Мольера, Голдони, а также произведения алжирских драматургов — Раиса и Абд-ар-Рахмана Хаки, посвященные актуальным проблемам сегодняшнего Алжира и Африки в целом.

Одной из своих важных задач коллектив Национального театра считает возрождение алжирского народного танцевального и песенного искусства. С этой целью при театре был создан народный ансамбль.

Интересны также, по отзывам печати, выступления



Выступление ансамбля Алжирского национального театра.

(Газета «Юманите»)

певцов и танцоров ансамбля «М' Сирда» из города Марния на юго-западе страны. На концертах исполняются дошедшие из глубины веков суровые и простые песни бедуинов Сахары.

АНГЛИЯ

РИСУНКИ ТЕККЕРЕЯ

Замечательный английский писатель Уильям Теккерей, автор бессмертной «Ярмарки тщеславия», исторических романов «История

Один из неизвестных рисунков Уильяма Теккерей.

(Газета «Таймс»)



Генри Эсмонда», «Виргинцы» и других произведений, был также талантливым художником-графиком. Исполненные им на высоком профессиональном уровне иллюстрации к его собственным романам хорошо известны. Однако до сих пор не были известны его рисунки, карикатуры и наброски сатирического характера, не имевшие непосредственного отношения к его литературному творчеству.

Недавно лондонская газета «Таймс» опубликовала статью, рассказывающую о неизвестных рисунках Теккерей. Как оказалось, в частных собраниях и библиотеках существует большое количество сатирических зарисовок Теккерей. Много рисунков содержится на полях его писем к родным и друзьям. В большинстве случаев Теккерей высмеивает в карикатурах надменность, самодовольство, чванливость «сильных мира сего».

В юности, говорится в статье, Теккерей думал стать художником - профессионалом, учился живописи в Париже. Часами он просиживал в Лувре, копируя старых мастеров. Однако после первого литературного успеха Теккерей начал рассматривать рисование как свою вторую профессию и как занятие во время отдыха. Рисунками Теккерей восхищались многие из его современников, в их числе был Гете.

«БУДУЩЕЕ ЗА РОМАНOM»

«Экономическое положение писателя в капиталистическом мире таково, — заявил недавно английский писатель Томас Хайнд корреспонденту газеты «Дейли уоркер», — что он не может свести концы с концами. За небольшие деньги приходится проделывать огромную работу... Мы находимся в полной зависимости от издателей, которые диктуют нам свои условия».

Переходя далее к проблемам творчества, Хайнд сказал: «Я думаю, что роман по-прежнему будет оставаться главенствующей формой в прозе. По моему мнению, роман более достовер-

но и широко, чем произведения других жанров, показывает жизнь общества».

Сторонник реалистического творчества, Хайнд известен как автор романов «Мистер Николас», «Счастлив, как Лэрри», «Клетка», «Для блага общества». Недавно вышел его новый роман о современной жизни Англии — «День, когда раздался зов».

А ВЫ, ДРУЗЬЯ, КАК НИ САДИТЕСЬ...

С большой помпой английская печать сообщает о предполагаемом фестивале искусств стран Британского содружества наций, который намечено провести в Лондоне в будущем году. По мысли организаторов фестиваля, он призван «укрепить» содружество, а в действительности посеять иллюзию полного единства входящих в него стран.

Корреспондент журнала «Коммонуэлс джорнэл» довольно откровенно пишет в связи с этим, что в настоящее время не существует прочных культурных связей между странами, входящими в содружество.

Политические заправилы, стоящие за этим «культурным мероприятием», очень сродни крыловским музыкантам из его известной басни «Квартет». Как бы они ни усаживались, а «показывать остальному миру коренное единство мыслей и чувств этой группы наций» им вряд ли удастся.

АФГАНИСТАН

РАЗВИВАЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Кабульский Институт изобразительного и театрального искусства является в настоящее время одним из центров культурной жизни страны. Руководит институтом видный писатель и режиссер Фаиз М. Хаирзада. В интервью корреспонденту газеты «Кабул таймс» Хаирзада заявил, что основная цель института развивать национальную культуру Аф-

ганистана, используя сокровища региональных культур, имеющих давние традиции.

Недавно артистическая труппа, созданная при институте, осуществила под руководством Хайрзады постановку музыкального обозрения на национальные темы.

БОЛГАРИЯ

БОЛГАРО-СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В залах Музея революции в Софии состоялась документальная выставка «Участие советских солдат в болгарском партизанском движении». На ней были представлены многочисленные экспонаты и снимки, документы, оружие, — свидетельства незабываемых дней в истории Болгарии, когда советские бойцы и болгарские партизаны плечом к плечу боролись против общего врага — германского фашизма, когда закалялась и крепла дружба и братство двух народов.

«Эта выставка, — писал обозреватель еженедельника «Литературен фронт», — является собой летопись героических дел, общей борьбы советского и болгарского народов».

ИЗДАЕТСЯ К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ

Обширна книжная продукция издательства «Болгарский писатель», приуроченная к двадцатилетию освобождения страны от фашизма. Директор издательства Петр Пондев в интервью корреспонденту еженедельника «Литературен фронт» рассказал, что к юбилейной дате переиздаются поэма Гео Милева «Сентябрь» — вдохновенное произведение о народном восстании в сентябре 1923 года, а также «Стихотворения» Николы Вапцарова, проникнутые пафосом антифашистской борьбы. Переиздаются, кроме того, роман Димитра Димова «Табак», роман Димитра Ангелова «На жизнь и на смерть»

и книга Димитра Методиева «О времени и о себе».

Среди книг, написанных специально к двадцатилетию, — поэма о революционерах-подпольщиках «Годы, вихревые годы» Алеко Андреева; сборник стихотворений Михаила Берберова, посвященный комсомольцам, павшим в борьбе против фашизма; новые стихотворения Анастаса Стоянова — «Посвящение», в которых рассказывается о социалистической современности Болгарии.

«Проблемы, авторы и книги» — так назван подготовленный издательством сборник критических статей, посвященных развитию болгарской литературы за прошедшее двадцатилетие.

Выходит также сборник «Праздник поэзии 1964 года», в него включены лучшие произведения, написанные болгарскими поэтами в связи с юбилеем.

В ДНИ, КОГДА РОЖДАЛАСЯ СВОБОДА

Новый болгарский художественный фильм «13 дней» переносит зрителя в канун 9 сентября 1944 года — дня начала антифашистского восстания болгарского народа.

...В доме реакционера Караделова, где свили гнездо офицеры-заговорщики, племянница Ирина скрывает подпольщика с радиостанцией. Наступают решающие дни. Партия готовится последний удар для за-

хвата власти. Нужно обезвредить предателей, готовящихся помешать антифашистскому восстанию. Ирина выпускает в дом Караделова группу партизан — и из всей шайки заговорщиков удается уйти только их вожаку — генералу Сербезову. Вскоре и он попадает в руки патриотов. Кончается последняя ночь перед рассветом новой жизни свободной Болгарии...

Фильм поставлен режиссером Стефаном Сырчаджиевым по сценарию писателя Лозана Стрелкова.

КНИГА О ВЕЛИКОМ УКРАИНСКОМ ПОЭТЕ

В издательстве «Наука и искусство» вышло исследование Симеона Русакиева «Тарас Шевченко и болгарская литература», в котором собраны и систематизированы материалы о влиянии творчества великого украинского поэта на общественную, культурную и литературную мысль Болгарии за последние сто лет.

«Автор стремился показать, — пишет корреспондент еженедельника «Литературен фронт», — что сходные исторические условия развития болгарского и украинского народов способствовали воздействию идей Шевченко на наш литературный процесс и наше освободительное движение».

В разделе «Тарас Шевченко и болгарская литература до Освобождения» Русакиев рассказывает о раннем проникновении шевченковской поэзии в Болгарию благодаря переводам Райко Жинзифова, Любена Каравелова, Петко Славейкова. Последующие разделы, «Шевченко и болгарская литература в 1878—1897 гг., 1917—1944 гг. и 1944—1964 гг.», автор посвящает зарождению и развитию болгарского шевченковедения, анализу особенностей перевода стихов великого кобзаря, росту читательского интереса к его произведениям.

Корреспондент еженедельника называет исследование Русакиева «значительным вкладом в изучение болгаро-украинских литературных связей».

Кадр из фильма «13 дней».
(Журнал «Филмови новини»)



ВЕНГРИЯ

БИБЛИОТЕКА КНИГ ПО ЭСТЕТИКЕ

Издательство «Кошут» приступило к выпуску серии книг по проблемам марксистской эстетики. В этой серии будут выпущены произведения Маркса, Энгельса, Ленина по вопросам искусства и литературы. Готовится издание избранных работ по вопросам эстетики основателя компартии Италии Антонио Грамши. В плане издательства — выпуск сборника статей Максима Горького, который будет носить название «Действительность и литература». Отдельным сборником выйдут работы Луначарского, Плеханова, Брехта, Арагона, а также видного представителя марксистской литературной критики в Венгрии Габора Гаала. Увидит свет книга погибшего в Испании в борьбе против фашизма английского писателя Ральфа Фокса «Роман и народ».

Значительное место в этой серии отведено книгам венгерских авторов. Среди них — работы Нора Аради «Абстрактное изобразительное искусство», Ференца Хонта «Современный театр», Кароя Немеша о советском киноискусстве, Пала Фехера о советской литературной критике, Золтана Кеньереша «Проблемы литературной критики в Венгрии» и другие.

«Библиотека книг по эстетике, — пишет литературный обозреватель газеты «Непсабадшаг», — призвана с позиций марксизма-ленинизма в доступной широкому читателям форме осветить самые различные вопросы эстетики».

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Исполнилось тридцать лет со дня образования Группы социалистических художников, созданной по инициативе компартии Венгрии в трудных условиях предвоенного подполья. «Группа социалистических художников, — пишет корреспондент



Будапештский Национальный театр открыл сезон постановкой пьесы Имре Мадча «Трагедия человека», приурочив ее к исполняющемуся в октябре 1964 года столетию со дня смерти этого выдающегося венгерского поэта. На снимке: актриса Хеди Варади, исполнительница роли Евы в спектакле.

(Журнал «Филм-синхаз-мюзика»)

газеты «Непсабадшаг», — поставила своей целью создание социалистического реалистического искусства. Произведения этих художников доходили до угнетенного народа ценой огромных усилий, разрозненно и нерегулярно». Сегодня, тридцать лет спустя, можно убедиться, отмечает корреспондент, что Группа «успешно выполнила поставленные перед собой задачи».

ГВИНЕЯ

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В первые годы после провозглашения независимости многие гвинейские писатели перешли на государственную работу, чтобы помочь в строительстве новой, незави-

симой Гвинее. Так, известный писатель Камара Лайе, автор романов «Черное дитя» и «Взгляд короля», был назначен на дипломатический пост. Писатель Кейта Фодеба, создавший в разгар антиколониальной борьбы пьесы «Полночь» и «Африканская заря», стал министром обороны.

В настоящее время, спустя пять лет после провозглашения независимости, у гвинейских литераторов появились возможности вернуться к творческому труду. Камара Лайе сейчас работает над новым романом, а Кейта Фодеба уделяет много времени развитию национальной музыки. Большую популярность в сегодняшней Гвинее приобрели массовые музыкальные, танцевальные и литературные конкурсы. Широкое распространение получили пьесы, которые помогают разъяснять народным массам проблемы национального строительства.

Одна из острых проблем, с которой столкнулась независимая Гвинея, это проблема языка. По-французски в Гвинее может читать всего 15% населения, 45% жителей знает только арабский алфавит. Чтобы решить эту проблему, в Гвинее предпринимаются шаги по созданию на основе местных языков языка типа суахили в Восточной Африке, который сделал бы литературу доступной основной массе народа.

ГДР

НА СЦЕНЕ — «ВЕЛИКИЙ ПЛАН»

Как о крупном событии в культурной жизни республики печать ГДР пишет об инсценировке поэмы Иоганнеса Р. Бехера «Великий план», осуществленной коллективом берлинского «Немецкого театра».

Это произведение было создано великим пролетарским поэтом в 1931 году, когда фашизм уже рвался к власти в Германии. Иоганнес Р. Бехер написал «Великий план» под впечатле-



Сцена из спектакля «Великий план».

(Газета «Нейес Дейчланд»)

нием поездки, совершенной им в 1929 году по молодой Советской республике, и посвятил его советскому народу.

Впервые поэма была инсценирована в 1932 году в Берлине. Многие немецкие рабочие увидели ее тогда и по достоинству оценили.

В новой постановке 1964 года, по отзывам театральной критики, режиссеру Вольфу-Дитеру Панзе удалось достигнуть большого сценического мастерства.

ПОЭТ РАБОЧЕГО КЛАССА

В берлинском и веймарском издательствах «Ауфбау» одновременно появились два тома поэтического наследия рано ушедшего из жизни поэта немецкого ра-

бочего класса Луиса Фюрнберга. Берлинское издание вышло под названием «Песня жизни», веймарское — «Родина, которую я всегда подразумеваю». По сообщению корреспондента еженедельника «Зоннтаг», архив Фюрнберга в Веймаре, которым заведует Лотта Фюрнберг, подготовил к изданию еще один том, в который впервые будут включены музыкальные произведения поэта. В ближайшее время в Берлине выйдет из печати полное собрание сочинений Луиса Фюрнберга в 6 томах.

Творчество Фюрнберга высоко ценили современники. Так, Иоганнес Р. Бехер однажды сказал: «Когда мы раскрываем книгу Фюрнберга, нас захлестывает волна жизни XX века — пенящаяся, бурная и вместе с тем полная мечты и нежного дуновения ветерка... Это поэт, творчество которого было посвящено рабочему классу. Поэт, для которого призвание поэта прежде всего состояло в труде».

Произведения Фюрнберга оказали большое влияние и на многих современных молодых немецких поэтов. Один из них, Вальтер Вернер, заявил на страницах еженедельника «Зоннтаг», что тот, кто знал мечтателя и солдата Луиса Фюрнберга, и тот, кто любит его стихи, не перестает любить природу, людей, родной край. Вернер восхищается революционным пафосом стихов Фюрнберга, их боевым духом и партийностью. По его словам, творчество Фюрнберга помогло ему научи-

ться по-настоящему любить свою социалистическую родину.

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН

КРИСТА ВОЛЬФ БЕСЕДУЕТ СО СТУДЕНТАМИ

Зал студенческого общежития в Западном Берлине, где недавно выступила с чтением отрывков из романа «Расколотое небо» (опубликован в «Иностранной литературе» № 1, 1964) Криста Вольф, был переполнен. Очень обстоятельно в течение полутора часов отвечала на вопросы студентов: почему Рита, главная героиня романа, вернулась в ГДР; что писательница думает о социалистическом реализме, что она читает и т. д.

«Своим романом,— сказала Криста Вольф,— мне очень хотелось показать немецким читателям, что ГДР — их настоящая родина». На вопрос, действительно ли у писательницы были трудности с изданием романа в ГДР, как утверждает, например, гамбургская газета «Вельт», Криста Вольф ответила: «Многие западные журналисты спрашивали меня о моих «разногласиях» с издательствами. Я терпеливо растолковала им, что эти слухи абсолютно вымышленны. Мы много говорили с ними, много спорили, и они обещали рассказать об этих беседах на страницах западной печати. Но до сих пор ни одного правдивого

Известный художник Вальтер Вомацка работает над мозаичным панно, которое украсит Дом учителя на Александерилац в Берлине. Художник изображает жизнь людей в обществе, строящем социализм, демонстрирует достижения науки и техники в ГДР. По словам корреспондента газеты «Берлинер цейтунг», «художнику удалось создать яркие образы людей; у него необычайно богатая гамма красок, в работе художник применяет новые материалы». На снимке: фрагмент панно.

(Газета «Берлинер цейтунг»)



слова в их газетах о своем романе я не прочла».

По сообщениям печати, студенты устроили Кристо Вольфу горжественные проводы. Интересная беседа с писательницей, ее спокойная и деловая манера держаться произвели на студентов Западного Берлина огромное впечатление.

ФРГ

«ТРИ МИЛЛИАРДА РАЗ ЖЕСТОКОСТЬ...»

«Шестьдесят процентов семей Западной Германии вообще не покупают книг и читают только иллюстрированные журналы и так называемые «хефтхен-романы», то есть бульварную литературу», — рассказал недавно корреспонденту агентства АДН (ГДР) член Политбюро компартии Германии Оскар Нейман, ссылаясь на данные последнего опроса населения ФРГ.

Книги современных писателей Западной Германии, таких как Бель, Вальзер, Хохгут, не всегда продаются в книжных киосках, продолжал Нейман. Зато пресловутые «хефтхен», пропагандирующие реваншистскую политику Бонна, а также серии «солдатских» рассказов, рассчитанные на молодежь, выпускаются миллионными тиражами издательскими концернами вроде Бертольсмана или издательствами типа «Пабель-ферлаг».

С 1950 года в Западной Германии было издано 3 миллиарда экземпляров бульварной и реваншистской «литературы». Это, по меткому выражению корреспондента газеты «Франкфуртер рундschau», «три миллиарда раз жестокость, ненависть, смерть, убийство».

НЕРАЗРЕШИМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

«Правящая партия — христианско-демократический союз — ничего не делает для развития духовной жизни Западной Германии» — такое обвинение выдвинули представители западногер-



Костас Варналис (в центре) среди участников Второго Марафонского похода за мир.

(Газета «Авги»)

манской интеллигенции на диспуте, который был проведен во время недавнего съезда ХДС в Ганновере. В диспуте участвовали писатели, журналисты, научные работники.

Профессор Вальтер Иенс недвусмысленно заявил на этой встрече: «Противоречия между государством и интеллигенцией слишком велики». Подобную точку зрения, по свидетельству обозревателя гамбургской газеты «Вельт», высказал и писатель Мартин Вальзер, ее разделяют и многие другие западногерманские писатели.

«Не первая такая встреча оканчивается провалом и проходит безо всякого интереса, безо всякого внимания к выступлениям писателей и других деятелей культуры», — констатировал обозреватель «Вельт».

ГРЕЦИЯ

ЮБИЛЕИ КОСТАСА ВАРНАЛИСА

В Афинах была проведена «Неделя Костаса Варналиса» в связи с восьмидесятилетием со дня рождения этого замечательного грече-

ского поэта, выдающегося борца за мир, лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». В «Клубе книги» издательства «Темелио» открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Варналиса. На стендах — рукописи поэта, отечественные и зарубежные издания его произведений. Особый интерес представляет вышедший в 1922 году в Александрии сборник стихов и прозы Варналиса «Свет, который жжет». На обложке этой книги греческий цензор, встревоженный ее «еретическим» содержанием, начертал свое вето.

Раздел фотографий знакомит посетителей выставки со студенческим периодом жизни поэта, с годами ссылки и активной борьбы за демократизацию страны. Многочисленные фотографии последних лет рассказывают о неустанной деятельности Варналиса на поприще борьбы за мир. Почетное место среди них занимают снимки, сделанные в Кремле в момент вручения Варналису Международной Ленинской премии.

Восемьдесят лет — преклонный возраст, но представление о старости несовместимо с обликом Варна-

лиса, пишет корреспондент газеты «Авги». Поэт выступает на митингах в защиту Кипра, требует освобождения политзаключенных, протестует против ущемления демократических свобод. 17 мая, в день Второго Марфонского похода за мир, в рядах демонстрантов шагал и Костас Варналис.

ДАНИЯ

НОВОЕ О ВЕЛИКОМ СКАЗОЧНИКЕ

«Андерсениана» — литературоведческий журнал, занимающийся изучением творчества Ханса Кристиана Андерсена, — в одном из последних выпусков опубликовал два интереснейших документа. Первый — полный текст дневника, который юный Андерсен вел в годы учения в частной школе Мейслинга в Слагельсе. Второй — начальная глава исторического романа, задуманного Андерсеном под впечатлением поездки в Швецию в 1837 году. В письме к Ингеманну, датированном 1838 годом, сам Андерсен так рассказывает об этом: «Я начал новый роман — никак не мог удержаться. Действие его происходит в Трольхеттане, Стокгольме и Упсале. Мой герой на этот раз будет бодрым, сильным и жизнерадостным...» Писателю, однако, не удалось осуществить свой замысел полностью.

ИНДИЯ

СТОЛЕТИЕ ДВИВЕДИ

Бронзовый бюст знаменитого писателя Ачария Махавирпрада Дживеди, создавшего свои произведения на языке хинди, установлен в Бенаресе в ознаменование столетия со дня его рождения, которое отметила литературная общность Индии. На торжественной церемонии один из крупнейших поэтов страны, Сумитранандан Пант рассказал о плодотворном писательском труде



Бронзовый бюст Дживеди, установленный в Бенаресе.
(Журнал «Стейтсмен»)

Дживеди, о его многолетней работе в качестве редактора литературного ежемесячника «Сарасвати», издававшегося в Аллахабаде, о его кропотливом труде по созданию литературного языка хинди. Пант отметил, что Дживеди справедливо называют «архитектором современной прозы хинди». Одновременно была открыта выставка произведений писателя.

ИСПАНИЯ

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

В Мадриде, Барселоне и Валенсии франкистской полицией была проведена недавно новая серия арестов среди деятелей культуры. В числе арестованных — поэт Хоакин Орта Массанес и большая группа прогрессивно настроенных студентов, выпускавших литературный журнал «Критика».

В связи с репрессиями против деятелей культуры Испании несколько французских писателей выразили свой протест франкистским властям. Протест, опубликованный еженедельником «Леттр франсез», подписали Луи Арагон, Эльза Триоле, Натали Саррот, Андре Вюрмсер, Пьер Дэкс, Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Жан Кассу, Роже Гренье и многие другие.

«ИЗ БУРГОССКОЙ ТЮРЬМЫ»

Недавно в Лондоне по инициативе Комитета за амнистию испанских политзаключенных выпущена книга «Из Бургосской тюрьмы», в которую вошли написанные в заключении стихи Маркоса Аны и Видаля де Николаса, а также репродукции пятнадцати работ художника-патриота Агустина Ибарролы («Иностранная литература» уже сообщала — см. № 3, 1964 — о состоявшейся в Лондоне выставке картин Ибарролы, томящегося во франкистском застенке). Поэт Маркос Ана провел много лет в заключении «за политические взгляды», а Видаль де Николас был брошен в тюрьму Бургос на шесть лет за поддержку стачечной борьбы астурийских горняков.

ИТАЛИЯ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРЕМИИ

Недавно муниципалитет южноитальянского городка Роджано-Гравино решил установить ежегодную литературную премию за произведение, «способное стимулировать культурные интересы населения Юга Италии». Одним из инициаторов создания новой премии выступил писатель и художник Карло Леви, предложивший следующий необычный, но весьма демократический порядок присуждения премии. Ежегодно жюри, в которое входят Рафаэль Альберти, Данило Дольчи и Жан-Поль Сартр, под председательством Леви отбирает не менее трех художественных произведений — итальянских или иностранных, но изданных в Италии, посвященных жизни Юга страны, и передает несколько сот экземпляров книг изъявившим желание прочесть их жителям Роджано-Гравино; книгу может получить каждый, достигший пятнадцатилетнего возраста, на срок в двадцать дней. Затем всем прочитавшим эти книги выдается специальный бюллетень, и они принимают

участие в тайном голосовании, высказываясь «за» или «против» присуждения премии тому или иному произведению. Победившая книга удостоивается премии в один миллион лир — эта сумма полностью используется на приобретение максимального количества экземпляров книги-победительницы, а также и других, которые участвовали в конкурсе. Закупленные книги бесплатно распределяются среди населения городка и членов местных общественных и культурных организаций. В Роджано-Гравино проживает около 8 тысяч человек, причем городок этот — редкое исключение на Юге Италии: все жители его грамотны.

Хотя предложение Леви имеет целью стимулирование культурных интересов населения Юга, власти в областном центре Козенце отвергли этот демократический проект и высказались за создание обычного жюри, которое состояло бы из «высококвалифицированных» лиц и само присуждало бы премию. Однако местные органы Роджано-Гравино поддерживают проект Леви и настаивают на его осуществлении.

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА...

Итальянские газеты сообщают о курьезе, происшедшем при издании в Париже перевода одного из последних романов Васко Пратолони «Расточительство». Парижский издатель Пратолони, желая поместить на суперобложке биографию автора, по ошибке вместо фактов из жизни писателя привел сведения о «жизни» героя его известной повести «Семейная хроника». Ошибка обнаружилась, во время приема, который издатель устроил по случаю приезда в Париж Пратолони. Весь тираж книги пришлось задержать на складе и срочно менять суперобложку.

ЕЩЕ РАЗ О КРИЗИСЕ КИНО

В одном из последних номеров журнала «Эуропа letteraria», в разделе, посвященном кино, опубликованы



В фильме Витторио Де Сика «Вчера, сегодня, завтра» главную женскую роль исполняет Софи Лорен (на снимке).

(Газета «Унита»)

высказывания видных итальянских деятелей культуры — историка-коммуниста Паоло Алатри, кинорежиссера Витторио Де Сика, сценаристки Сузо Чекки Д'Амики и других о переживаемом ныне итальянской кинопромышленностью кризисе (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 5, 1964) и борьбе, идущей вокруг проекта нового законодательства о финансировании кинопромышленности и цензуре в кино. Критик Антонелло Тромбадори еще раньше писал в газете «Унита» о том, что «итальянское кино парализовано глубочайшим кризисом».

Режиссер Де Сика пишет на страницах журнала о финансовых затруднениях, которые усложняют его творческую работу в кино: «Продюсер Понти сообщил мне из Нью-Йорка об успехе моего фильма «Вчера, сегодня, завтра» — фильма, которым, впрочем, как и всеми поставленными мною в последнее время картинами, я не могу считать себя полностью удовлетворенным... И несмотря на это, когда я прошу Понти финансировать создание фильма, который я смог бы назвать действительно «моим», он заявляет, что согласен предоставить мне сумму, которая слишком мала, чтобы я мог надеяться сделать что-нибудь значительное».

КАНАДА

«СВЯТОТАТСТВЕННАЯ» ПЬЕСА

Печать сообщает о политической буре, разразившейся недавно вокруг постановки Канадской радиовещательной корпорацией пьесы-аллегории под названием «Раскрытая могила». Съемки для телевидения велись на улицах Торонто (никто не делал из этого тайны), и потому слухи о «еретическом» содержании пьесы сразу дошли до лидера оппозиции Джона Диффенбекера, который задолго до премьеры «в порядке защиты свободы печати» начал требовать ее запрещения. Его горячо поддержал преподобный отец Уилкинсон — англиканский епископ Торонто. Что же так не понравилось им в «Раскрытой могиле»?

Пьеса представляет собой как бы осовремененную легенду о смерти и воскресении Иисуса Христа. Место действия — Торонто наших дней. Герой — некий Джошуа Корбэтт, приговоренный к смерти за то, что он якобы убил канадского полицейского офицера. Судебный процесс над Корбэттом инсценирован с начала до конца. На самом деле Корбэтт ни в чем не виновен. Истинная его «вина» состояла в том, что он был лидером движения «Активно бороться за мир».

...Через сорок часов после казни и погребения Корбэтта было обнаружено, что могила пуста, люди религиозные начали поговаривать, что он «восстал из мертвых». Постепенно выясняется подлинная политическая подоплека процесса над Корбэттом.

К легенде о воскресении Христа обращались в своем творчестве авторы разных времен и народов. Нападки на пьесу «Раскрытая могила» проще всего объяснить тем, что идеи мира на земле приходится не по вкусу некоторым клерикалам. Успех постановки у телезрителей показал, однако, что канадцы не разделяют таких «чувств» и таких «вкусов».

ЛИВАН

ПЕРВЫЕ КНИГИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Вышла из печати повесть Эдвиги Шейбуб «Маленький доктор», предназначенная для детского чтения. По словам рецензента журнала «Аль-Адиб», повесть Шейбуб — одно из первых значительных произведений детской литературы в Ливане.

В повести рассказывается о жизни детей из небольшой прибрежной ливанской деревушки — о том, что они делают дома и в школе, как они играют и как помогают взрослым в их нелегком труде.

Повесть «Маленький доктор» была в этом году удостоена премии ливанского «Общества друзей книги».

НОРВЕГИЯ

ПОВТОРНОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ ОБ ОСВЕНЦИМЕ

«Дорога в Освенцим» — такое название носит книга Кирстен Брюнфолль, впервые изданная в 1947 году. Это единственное в Норвегии литературное свидетельство о гитлеровском лагере смерти. Автор ее — одна из десяти норвежских пленников, вернувшихся живыми из Освенцима. Еще в лагере, по словам рецензента газеты «Фрихетен», Брюнфолль мысленно «писала эту книгу».

Недавно издательство «Ашехоуг» переиздало ее. «Прочтите эту книгу и не забывайте о прошлом!» — призывает читателей рецензент.

ОАР

ИССЛЕДОВАНИЕ О МАХМУДЕ ТЕЙМУРЕ

В Александрии вышел первый том исследования Фахти аль-Абьяри «Махмуд Теймур и арабская новеллистика».

Автор рассказывает о среде, в которой развивалось дарование этого крупнейшего современного арабского писателя, о народных источниках его творчества, подробно анализирует произведения писателя, демонстрируя, как совершенствуется его мастерство.

По сообщению литературного обозревателя журнала «Аль-Адиб», исследование аль-Абьяри будет трехтомным. Второй том будет посвящен прозе и драматургии Махмуда Теймура, третий — его критическим статьям и исследованиям.

ПЬЕСЫ БРЕХТА И ЛОРКИ НА АРАБСКОЙ СЦЕНЕ

Новаторская драматургия Бертольта Брехта все больше привлекает внимание деятелей арабских театров. Недавно каирский театр «Масрах аль-Гейб» поставил «Исключение и правило», а «Ливанский современный театр» — «Сны Симоны Машар». Интерес к творчеству Брехта велик и в Сирии. Так, крупнейший сирийский журнал «Аль-Маарифа» напечатал в нескольких своих номерах отрывки из про-

изведений выдающегося немецкого драматурга.

Другой иностранный автор, популярный в арабских странах, — знаменитый испанский поэт и драматург Федерико Гарсиа Лорка. Его пьеса «Кровавая свадьба» уже лет десять назад была переведена в Ливане и опубликована в журнале «Ас-Сакафа аль-Ватания». Недавно египетский литератор Хусейн Мунис заново перевел эту пьесу на арабский язык. «Кровавая свадьба» скоро будет поставлена в Каире.

ПОЛЬША

ПОЭТ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ

Событием в культурной жизни Польши стал фестиваль поэзии Константы Ильефонса Галчинского в Щецине, явившийся составной частью «Щецинского лета 1964» (наряду с этим фестивалем одним из основных мероприятий «Лета» был фестиваль современной живописи).

Писатель Леопольд Бучковский известен в Польше и как художник-график. Зимой он пишет, летом — рисует. Здесь воспроизведены иллюстрации Бучковского к «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Рабле.

(Еженедельник «Политика»)



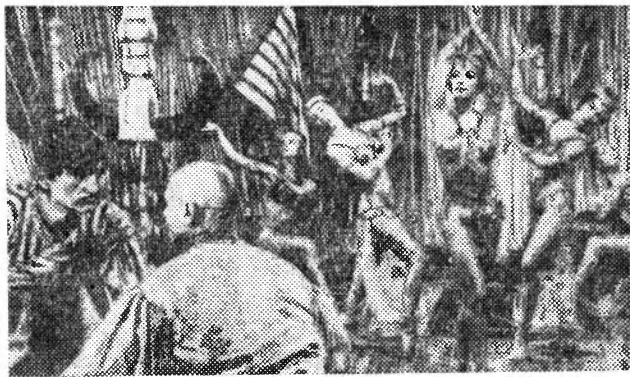
Галчинский жил и творил в Щецине не очень долго, однако память об этом в городе на Одере жива и поныне. В течение четырех дней звучали там стихи одного из самых выдающихся современных поэтов Польши.

«Поэтический язык Галчинского,— писал в своем репортаже с фестиваля корреспондент газеты «Жице Варшавы»,— заключает в себе много элементов, актуальных и близких сегодняшнему читателю,— шутку, гротеск, сатиру. Этот певец польской земли был, как сказал Зенон Клишко во время недавнего спуска на воду корабля, названного именем Галчинского, поэтом простых людей, поэтом понятным и доступным, который сознательно отождествлял свое творчество с трудом рабочего и ремесленника».

НОВЫЕ РАССКАЗЫ МАХЕЕКА

Владислав Махеек пришел в литературу пятнадцать лет назад, пришел как человек, имеющий за плечами опыт партизанской борьбы против немецко-фашистских оккупантов, как человек, хорошо знающий жизнь польского крестьянства. И потому героями многих книг писателя стали партизаны-подпольщики, коммунисты, сельские активисты, осуществляющие политику партии в деревне. Не всякий писатель может похвастать таким богатым урожаем произведений о польской деревне: «Утром прошел ураган», «Глубокая пахота», «Кто следующий?», «Цень», «Репорт не будет отправлен», «Колокола», «Заговорщики» — и это далеко не полный перечень книг, выпущенных Махееком за полтора десятилетия.

Недавно изданы два новых сборника рассказов писателя. Первый, «Ты похорошела в лесу», выпущен издательством министерства национальной обороны, в нем собраны рассказы, сюжетно связанные с участием автора в партизанской борьбе отрядов Гвардии и Армии Людовой. Второй сборник, «Все иначе», вышел



Румынские киноработники все чаще обращаются к творчеству Михаила Садовяну. За несколько последних лет были экранизированы «По Серету мельница плыла», «Митря Кокор»; в настоящее время режиссер М. Драган работает над экранизацией исторического романа «Род Шоймаров». На нашем снимке: кадр из фильма «Род Шоймаров» — в татарском стане. На переднем плане — актеры К. Рауцкий и К. Рауту (в роли Темир-бея).

(Журнал «Кинема»)

в Краковском литературном издательстве, в него включены новые и уже публиковавшиеся рассказы писателя о современной польской деревне и о тех переменах, которые внесла в ее жизнь народная власть.

Рецензент газеты «Трибуна люду» Вацлав Садковский пишет в связи с выходом двух этих сборников, что в них «проявляется острая наблюдательность писателя, его глубокое знание жизни деревни, ее людей, революционной борьбы, в которой в дни исторических испытаний приняли участие лучшие сыновья польской деревни». Читатель верит, что герои Махеека действительно жили либо живут и сегодня, говорится далее в рецензии. По словам Садковского, творчество Владислава Махеека пронизано глубоким и искренним интересом к судьбам революции и революционеров.

ли, имя которого уже хорошо знакомо румынским читателям.

«Рассказы Вели, несомненно, представляют собой нечто новое — не столько своей литературной техникой, сколько особым писательским подходом к жизни, именно этим и вызван интерес к ним,— пишет литературный критик Александру Опря.— Вели — решительный противник описательности, линейного построения повествования... Произведения Вели вызывают у читателей ощущение чего-то непривычного, далекого от знакомых литературных образов. Там, где у приверженца классической манеры было бы пространное описание (знакомство с обстановкой, героем), у Вели читатель находит кульминацию событий...»

В произведениях Вели почти всегда присутствует сам рассказчик, его меткие иронические замечания порой выявляют неожиданный смысл событий, по-новому раскрывая их перед читателем. По словам критика, стиль Вели — сдержанный и лаконичный; автор как бы стесняется громких слов.

Все рассказы Вели посвящены современности, одна из любимых тем автора — жизнь румынской молодежи.

РУМЫНИЯ

БЕЗ ГРОМКИХ СЛОВ

Печать сообщает о выходе сборника «Восемь рассказов» — второй книги молодого прозаика Николае Ве-

Лучшими рассказами о молодежи критик считает «Ночь плохого настроения» и «Мимоходом». Герой последнего рассказа — молодой человек, который бесечно наслаждается жизнью, игнорируя обязанности, налагаемые на него обществом. Паразитический образ жизни приводит героя рассказа на путь преступления...

В румынскую литературу пишет Опря, пришел настоящий, значительный талант.



ЧТО ЧИТАЮТ ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРИТИКИ?

В последнее время замечено, что на страницах американской печати начали появляться рецензии на книги самых разных авторов, содержащие много одинаковых, стандартных фраз. «А читают ли наши критики книги, которые они рецензируют?» — задал в этой связи тревожный вопрос корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс». И нужно сказать, что основания для тревоги и беспокойства имеются.

Уже давно в целях рекламы на книжных суперобложках кратко пересказывается содержание (чтобы привлечь покупателя), сдобренное неумеренными подчас похвалами в адрес автора. Кстати, зачастую издательства предоставляют самим авторам писать тексты на суперобложках. В результате любой недобросовестный рецензент может, потратив пять минут на чтение текста суперобложки, тут же отстучать на машинке рецензию, слегка перефразировав и перестроив любезно предложенный издательством совместно с автором книги готовый рецепт.

Подозрения в том, что именно так пишутся многие рецензии, возникают у большого числа авторов, пишет корреспондент газеты.

Бывали случаи, когда в рецензии целиком вставлялись цитаты из рекламного текста суперобложек. Вко-



Генри Фонда и Клифф Робертсон в эпизоде фильма «Лучший кандидат».

(Журнал «Мэгезин»)

нец разленившиеся рецензенты даже не утруждают себя поисками других выражений. В результате из одной газеты в другую переходят одни и те же «литературно-критические оценки».

«ЛУЧШИЙ КАНДИДАТ»

Режиссер Франклин Шефнер поставил фильм «Лучший кандидат» по пьесе Гора Вайдала. Эта пьеса, которая с успехом шла на Бродвее с 1960 по 1962 год, изображает «кухню» президентских выборов в США, конкуренцию монополий и их битву за власть.

В пьесе, по свидетельству обозревателей, претенденты на пост в Белый дом несколько напоминали Джона Кеннеди и Никсона. Ныне, в фильме, оба персонажа скорее напоминают Рокфеллера и Голдуотера. Последний, как отмечает прогрессивная печать, удался великолепно: он изрыгает бешеные тирады против коммунистов, не стесняется применять грязные методы, чтобы скомпрометировать своего противника.

По сообщениям печати, этот актуальнейший для современной Америки фильм, в котором главные роли играют выдающиеся актеры

Генри Фонда и Клифф Робертсон, был прислан в Канн с нарочитым опозданием. Гор Вайдал заявил по этому поводу: «Определенные круги не желали, чтобы во Франции официально был представлен фильм, показывающий в столь неприглядном виде избирательные нравы, ныне царящие в США...»

«Надо признать, — пишет корреспондент журнала «Мэгезин», — что это действительно одно из самых впечатляющих за последние годы разоблачений американских политических нравов и путей, которые ведут «лучших кандидатов» к президентскому креслу».



ПУБЛИКАЦИЯ ПИСЕМ ВИКТОРА ГЮГО

В 1913 году душеприказчик Виктора Гюго Поль Мерис передал Национальной библиотеке Парижа конверт с надписью: «Вскрыть только в 1963 году». Конверт заключал в себе письма Виктора Гюго к Жюльетте Друэ, которые, правда, уже

частично были использованы Луи Барту в его книге «Любовь поэта» и Раймоном Эшоле в книге «Гениальный возлюбленный». Но то были подчас вызывавшие сомнения копии...

Недавно издатель Повер опубликовал оригиналы писем Гюго. Автор предисловия к этому изданию Жан Годон пишет: «3 января 1964 года к открытию библиотеки я был у дверей кабинета рукописей... Целых полвека любви и бурь, освобожденных от кривотолков и вольных комментариев, ожили передо мной в своей первозданной истине».

Как отмечает рецензент газеты «Монд», публикация писем Гюго полезна тем, что теперь внесена полная ясность в отношения поэта с Друэ. Сам Гюго в письме к Друэ так писал о своем желании сохранить в тайне их переписку при жизни современников: «Я не хочу, чтобы след твоей жизни в моей оказался навсегда стертým. Я хочу, чтобы он остался, чтобы его обнаружили когда-нибудь, когда мы будем уже неплотом оба, когда это уже не разобьет ничьи сердца».

Это желание писателя выполнено теперь, спустя 80 лет после смерти Жюльетты Друэ.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ПЕВЕЦ ПРАЖСКИХ ПЕРВОМАЕВ»

Так назвал корреспондент газеты «Руде право» недавно умершего художника-графика Франтишека Чигака. Большое место в творчестве художника занимала Прага, в прошлом и настоящем которой, по словам корреспондента, Чигак постоянно черпал творческое вдохновение. В его работах изображена Прага минувших лет, Прага революционная, а также столица Чехословацкой Социалистической Республики наших дней — праздничная и будничная. Излюбленным



Эскиз Франтишека Чигака к гобелену «Революция».
(Газета «Руде право»)

мотивом Чигака были пражские первомайские праздники.

В последнее время он создал несколько произведений на революционные темы. Центральное место в этом цикле должен был занять гобелен «Революция», посвященный Великому Октябрю. К сожалению, Чигак успел сделать лишь эскизы к гобелену, один из которых с изображением В. И. Ленина мы здесь воспроизводим.

ШВЕЦИЯ

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ИНГРИД БЕРГМАН

Знаменитая шведская киноактриса Ингрид Бергман снимается в фильмах режиссеров разных стран мира. Недавно она закончила работу над главной ролью в фильме по пьесе Дюрренматта «Визит старой дамы». В ближайшее время она начинает сниматься в фильме английского режиссера Энтони Асквита. Кроме того, актриса дала согласие играть в шведском фильме, который будет состоять из нескольких новелл. В основу новеллы, в которой будет сниматься Ингрид Бергман, положен сюжет мопассановского «Ожерелья».

ЮГОСЛАВИЯ

ЮБИЛЕЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В нынешнем году исполняется двадцать лет деятельности крупного югославского издательства «Просвета». Главный редактор издательства Петар Джаджич на страницах газеты «Борба» рассказал читателям о дальнейших издательских планах. В ближайшее время выйдут сочинения Вука Караджича, книги Иована Скарлича, первая серия из десяти книг избранных произведений сербских и хорватских писателей XII века, рассказы Велька Петровича, сочинения Бранко Чопича, произведения Тина Уйевича, Растка Петровича, Августа Цесарца, Исака Самоковлии и Антуана Барца.

В последние годы, отметил Джаджич, в Югославии возрос интерес к поэзии. Издательство вскоре выпустит десять сборников стихов югославских поэтов разных поколений. Выйдет также несколько антологий — сербской литературы XVIII века, народной поэзии периода до Вука Караджича и другие.

Будет продолжено издание библиотеки «Мировые классики», а также современных произведений зарубежных авторов.

ФИЛЬМ ПО ИСТОРИИ ХОРВАТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Многие герои хорватской литературы последних пяти веков обретут жизнь в интересном фильме, который снимает режиссер Рудольф Сремец на студии «Загреб-фильм». В создании фильма, носящего название «Пять веков хорватской литературы», принимают участие югославская Академия наук и искусств, издательства «Зора» и «Матица хрватска».

По словам обозревателя газеты «Политика», в этом фильме «будет показано все богатство хорватской литературы и воссозданы образы выдающихся писателей от Марулича до Крлежи».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ



ПАВЕЛ МАТЕВ (род. в 1924 г.) — болгарский поэт, автор сборников стихов «В строю» («В строя», 1951), «Ясные дни» («Ясни дни», 1953), «Долг» («Дълг», 1955). «С верой в людей» («Със вярата на хората», 1959) и других.

Стихи, опубликованные в номере, были напечатаны в газете «Литературен фронт».

СУАН ЗИЕУ — XUAN DIEU (род. в 1917 г.) — вьетнамский писатель — поэт, прозаик и литературовед. Автор сборников «Стихи» (1937), «Запахи, которые приносит ветер» (1945), «Звезда» (1956), «Личное и общее» (1962), романтических новелл, литературоведческой работы «Три великих национальных поэта» (1959) и других произведений.

Стихи, опубликованные в номере, взяты из последнего сборника поэта «Мыс К-мау. Рука с рукой», вышедшего в 1963 году. Стихотворение «Новая черепица» взято из журнала «Литература и искусство армии».

ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ (род. в 1918 г.) — болгарский поэт и прозаик. Автор произведений «Партизанские песни» («Партизански песни», 1947), «В Лопянских горах» («В Лопянската гора», 1947), «Есть на свете Москва» («Има на света Москва», 1951), «Партизанский подарок» («Партизански подарък», 1959) и др.

Публикуемые рассказы взяты из сборника «Партизанские рассказы» («Партизански разкази», 1963).

ГРЭХЕМ ГРИН — GRAHAM GREENE (род. в 1904 г.) — английский писатель. На русский язык переведены его пьесы

«Гостиная» («The Living Room», 1954) и романы «Суть дела» («The Heart of the Matter», 1948), «Тихий американец» («The Quiet American», 1955), «Наш человек в Гаване» («Our Man in Habana», 1958), из которых последние два впервые опубликованы в нашем журнале.

Роман «Ценой потери» («Burnt Out Case») вышел в 1961 году.

ДЖОН ОКАИ — JOHN OKAI (род. в 1941 г.) — поэт Ганы, лауреат Президентской премии поэзии за 1960 год. Его стихи неоднократно публиковались в нашем журнале.

Поэма, напечатанная в номере, передана автором в рукописи.

ПЕНЧО ДАНЧЕВ (род. в 1915 г.) — болгарский литературовед, преподаватель марксистско-ленинской эстетики, автор работ «Индивидуализм в болгарской литературе» («Индивидуализъм в българската литература», 1949), «Вопросы литературы и искусства» («Въпроси на литературата и изкуството», 1955), «Вопросы марксистско-ленинской эстетики» («Въпроси на марксистско-ленинската естетика», 1960).

Публикуемая статья получена в рукописи.

ТОМАС БЬЮКЕНЕН — THOMAS BUCHANAN — американский писатель, журналист и ученый. Статьи и выступления Бьюкенена в связи с исследованием убийства президента Кеннеди публиковались в советской печати.

Книга «Кто убил Кеннеди?» («Who Killed Kennedy?») вышла в 1964 году.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. Н. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский**

Технический редактор **В. Л. Шачнев**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 09740.

Сдано в производство 3/VII-64 г.

Подписано к печати 11/IX-64 г.

Бумага 70×108¹/₁₆ = 9,0 бум. л.; печ. л. 24,66 + 1 вкл.

Зак. 1511.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.



К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

**ЖУРНАЛ
«ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ПЕЧАТАЕТ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПИСАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СТРАН —
РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, СТИХИ,
РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ,
СЦЕНАРИИ.**

Журнал систематически печатает статьи, освещающие важнейшие проблемы развития зарубежных литератур, литературные портреты, статьи о новинках зарубежной литературы, рецензии на новые книги зарубежных писателей, вышедшие в советских и зарубежных издательствах.

Журнал знакомит читателей с новыми произведениями искусства, рассказывает о новых кинофильмах и театральных постановках.

Широкая информация о литературной и культурной жизни дается в разделе «Из месяца в месяц».

В журнале выступают зарубежные и советские писатели, деятели науки, культуры и искусства.

Журнал богато иллюстрирован.

Подписная цена на год —
9 р. 60 коп.
на 6 мес. — 4 р. 80 коп.
на 3 мес. — 2 р. 40 коп.
Цена одного номера — 80 коп.

В 1965 году редакция предполагает напечатать следующие произведения:

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
«Пастухи ночи» (Роман)
ДЖОН АПДАЙК (США)
«Кентавр» (Роман)
ЛУИ АРАГОН (Франция)
«Очарованный Эльзой» (Поэма)
МОНГО БЕТИ (Камерун)
«Исцеленный король» (Роман)
ГЕНРИХ БЕЛЬ (ФРГ)
Новая книга
МАКС ФОН ДЕР ГРЮН (ФРГ)
«Светляки и пламя» (Роман)
ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ (Швейцария)
Новая пьеса
САУД ДЕРВИШ (Турция)
«Любовные романы» (Роман)
ХОРХЕ ИКАСА (Эквадор)
«Злоключения Ромеро-и-Флореса» (Роман)
ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ (США)
Новая книга
АЛЬБЕРТО МОРАВИА (Италия)
«Внимание» (Роман)
ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ (Англия)
Новый роман
ЯН ОТЧЕНАШЕК (Чехословакия)
Новый роман
ХОРХЕ ОРТЕЛАНО (Испания)
«Летняя гроза» (Роман)
ДЖОН Б. ПРИСТЛИ (Англия)
«Сэр Майкл и сэр Джордж» (Роман)
МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА (Венесуэла)
«Онорио» (Роман)
ЖОРЖ СИМЕНОН (Франция)
Новый роман
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
«Харматтан» (Роман)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
«Бидерман и поджигатели» (Пьеса)
КАРЛОС ФУЭНТЕС (Мексика)
«Смерть Артемио Круса» (Роман)
РОБЕРТ ШЕКЛИ (США)
Научно-фантастические рассказы
МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ (ГДР)
«Мы не пыль на ветру» (Роман)

Редакция рассматривает также новые произведения

МИГЕЛЯ АНХЕЛЯ АСТУРИАСА, **РАФАЭЛЯ АЛЬБЕРТИ**, **ХУАНА БОША**, **ХАЙМЕ ТОРРЕСА БОДЕТА**, **УИЛЬЯМА ГОЛДИНГА**, **НИКОЛАСА ГИЛЬЕНА**, **ДИМИТРА ДИМОВА**, **ЮСУФА**, **ИДРИСА**, **АЛЕХО КАРПЕНТЬЕРА**, **ЛАЙОША МЕШТЕРХАЗИ**, **МАРИИ МАЙЕРОВОЙ**, **Р. К. НАРАЙАНА**, **ИГОРЯ НЕВЕРЛИ**, **ЗДЕНЕКА ПЛУГАРЖА**, **ОКТАВИО ПАСА**, **ЭРИХА МАРИА РЕМАРКА**, **ЖАНА-ПОЛЯ САРТРА**, **АНДРЕ СТИЛЯ**, **ДИКО ФУЧЕДЖИЕВА**, **КАТЕБА ЯСИНА** и др.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТДЕЛАМИ «СОЮЗПЕЧАТИ», ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ.